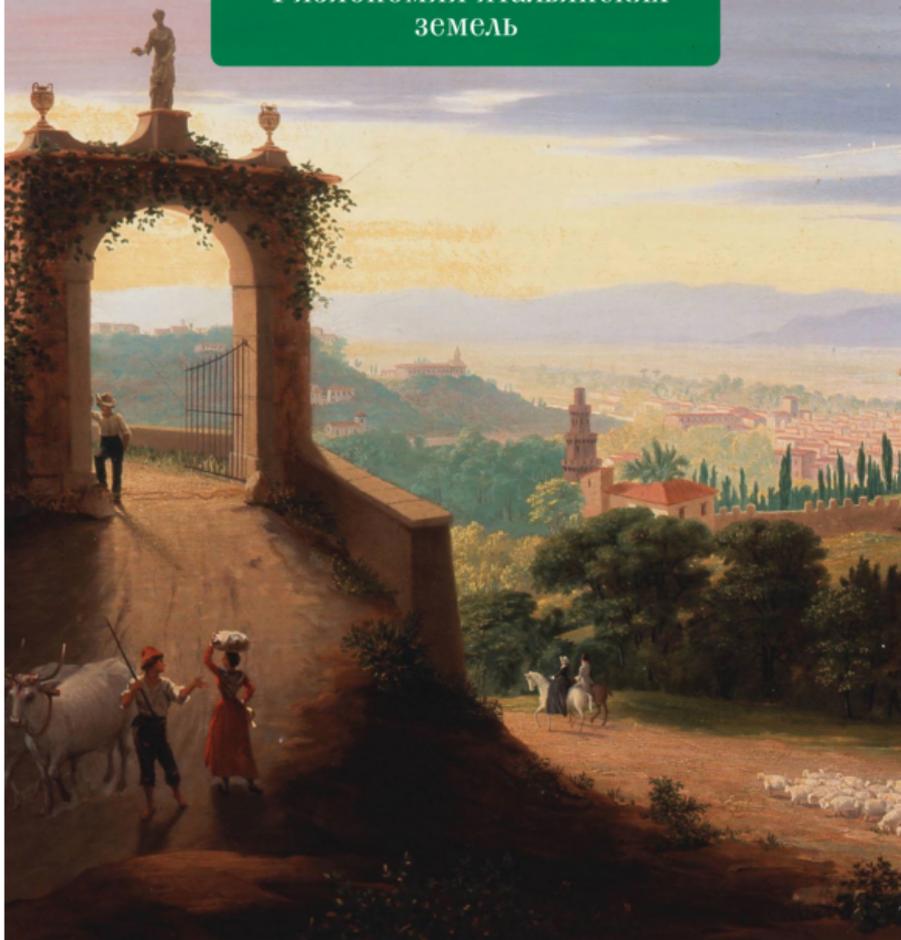


Лев Мечников

НЕАПОЛЬ И ТОСКАНА

Физиономии итальянских
земель



Неаполь и Тоскана. Физиономии итальянских земель //Алетейя, СПб.,
2018
ISBN: 978-5-907030-22-0
FB2: Александр Умняков "shum29 " <au.shum@gmail.com >, 02 October
2018, version 1.0
UUID: fa3f33fd-9341-11e8-aa6b-0cc47a520474
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Лев Ильич Мечников

Неаполь и Тоскана. Физиономии итальянских земель

Завершающий том «итальянской трилогии» Льва Ильича Мечникова (1838–1888), путешественника, бунтаря, этнографа, лингвиста, включает в себя очерки по итальянской истории и культуре, привязанные к определенным городам и географическим регионам и предвосхищающие новое научное направление, геополитику. Очерки, вышедшие первоначально в российских журналах под разными псевдонимами, впервые сведены воедино.

Содержание

#1	0005
#2	0007
От публикатора	0007
Лев Мечников и Италия	0012
Неаполь и Тоскана Физиономии итальянских земель	0059
Часть 1	0059
Часть 2	0325
Часть 3	0462
М.Г. Талалай Итальянский триколор Льва Мечникова Послесловие редактора	0808
Краткая хроника жизни Л. И. Мечникова ..	0818
Современные публикации Л. И. Мечникова в Италии	0824

Лев Ильич Мечников
Неаполь и Тоскана.
Физиономии итальянских
земель

© Р. Ризалити, публикация, 2018
© М.Г. Талалай, редакция, 2018
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018
* * *



От публикатора

В первых двух томах нашей трилогии Л. И. Мечников предстает перед нами как боец, участвующий в итальянском Рисорджименто с энтузиазмом и с отречением – на грани самопожертвования, в итоге «заплативший» за это изгнанием из любимой Италии, так как его борьба за свободу и независимость народа переросла в опасную для правительства борьбу за социальную справедливость.

Живя вне Италии, Мечников не перестает глубоко интересоваться историей, географией, культурой различных итальянских регионов. Решающими для его комплексного видения процесса освобождения Апеннинского полуострова от отсталости, голода, нищеты, гнета стали путешествия на Ближний Восток, по Европе и Северной Африке, и, особенно, служба в Японии. Кругосветное путешествие 1874–1876 гг. и японский опыт позволили Мечникову окончательно расширить и «глобализировать» свои исторические концепции, и стать одним из основателей новой науки, впоследствии получившей бурное разви-

тие под названием «геополитика».

Первые элементы этой новейшей отрасли истории можно уже отчетливо усмотреть в его очерке «Этрурия» и в «Письмах о тосканских Мареммах»: в них автор четко выводит перипетию Вольтерры из ее геологической конфигурации и из того обстоятельства, что положение города между Флоренцией и морем являлось помехой развитию флорентийской коммерции. Неслучайно Франческо Ферруччи («Гарибальди» XVI столетия, по выражению самого Мечникова) был беспощаден к Вольтерре, почти ее уничтожив...

Публикуемые очерки о тосканской Маремме с ее отличительными геоморфологическими характеристиками являют особый анализ человеческого сообщества, психологические и этнографические черты которого зависят от лесистых и плоских земель, окаймленных лиманами (*lagoni*).

Статья «Неаполь и Тоскана», открывающая наш сборник и давшая ему название, имеет немалую важность: она показывает, как Гарибальди сумел убедить неаполитанскую каморру встать на сторону объединения Ита-

лии – в этом состоит его историческая заслуга, которую не сможет зачеркнуть никакой морализм: ведь таким образом новое государство смогло избежать планы по *конфедерации* Италии под президентством папы римского (идея Джоберти, затем измененная и вновь предложенная Кавуром), а также проекты по *федерализму*, выдвинутые Карло Каттанео.

Очерк Мечникова о Сиене – это суровая критика одной отрицательной особенности Италии – ее безудержного местничества, которое часто превращает страну в «бордель», согласно обвинениям Данте. Вместе с тем, автор также позволяет увидеть город не замкнувшимся в своем провинциализме, а полноценно и сознательно участвующим в процессе Рисорджименто, не без реакции папистских сил, всё еще пропагандировавших за папу-короля.

«Письма об итальянских ремесленных братствах» обнаруживают высокий гуманизм Льва Мечникова. Он мечтает о том, чтобы бедные городские и крестьянские слои в Италии избежали пороков ускоренной индустриализации. К сожалению, европейская и миро-

вая история пошла не тем путем, на который уповал автор: теперь периферии больших городов превратились в средоточие нищеты и депрессии, но это уже – вина не нашего бесстрашного борца против пороков общества.

В третьей части сборника мы представили проникновенные суждения Мечникова о современной ему итальянской живописи, хотя в представленную им панораму не попало зарождавшееся тогда движение «маккьяойли», воистину новаторское, предвосхитившее европейский авангард и незаслуженно обойденное искусствоведами. В этой же части – обстоятельные тексты о итальянской литературе, начиная с Уго Фосколо и кончая Джузеппе Джустини. Особенность анализа Мечникова – в том, что справедливо видит главную противоположность в литературе между Леопарди и Джустини, а не между Леопарди и Манцони, на чем ошибочно настаивает итальянское литературоведение.

Льву Мечникову удалось одному из первых, за многие десятилетия до других русских исследователей, охватить развитие итальянской политической мысли, начиная от Данте

и Фомы Аквинского и кончая Чезаре Бальбо и другими деятелями Рисорджименто (от Мадзини до Феррари). Мечников и поныне остается единственным – даже в итальянской историографии – кто сумел описать историю политической мысли в Италии с самого ее начала, то есть с Данте и до эпохи объединения страны. А ведь это – родина Макиавелли! Но будем верить, что рано или поздно и какой-нибудь итальянский исследователь, не взирая на местничество и ватиканскую проблему, найдет время для подобного трактата.

Нам же остается поблагодарить этого русского эмигранта и горячего патриота Италии за его бесстрашный труд на службе исторической истины.

Ренато Ризалити, январь 2018 г. Пистойя

Перевод с итальянского М. Г. Талалая

Лев Мечников и Италия[1]

Лев Ильич Мечников (1838, С.-Петербург – 1888, Кларан, Швейцария) – одна из ярких фигур истории XIX века, чья деятельность по сей день остается еще мало изученной и далеко не во всем оцененной. Энциклопедические справочники по-прежнему выдвигают на первый план его вклад в географическую науку, а самые новые – в геополитическую. Однако, с не меньшим основанием мы можем говорить о значении его работ для этнографии, социологии, истории, литературоведения, педагогики и т. д. В этом направлении выдержано недавнее переиздание его магистрального трактата «Цивилизация и великие исторические реки» и комментарии к нему.

Неутомимый труженик науки, Мечников, однако вовсе не ассоциируется с традиционным образом кабинетного мыслителя. Он жил жизнью, полной тревог и опасностей, посвященной борьбе с политическим деспотизмом, за права и свободу народов и человеческой личности. Эта борьба тесно переплеталась с его научными занятиями, служила пи-

тательной почвой и стимулом для них.

Творческое наследие Льва Мечникова огромно и до сих пор не собрано полностью, оставаясь рассеянным в различных русских и западноевропейских изданиях, в наше время малоизвестных, а то и вовсе забытых. По ориентировочным данным, оно насчитывает около полутысячи печатных произведений. Важное, во многом определяющее будущее направления творчества Мечникова, место среди них занимают работы, посвященные культуре и истории Италии и итальянским событиям, современником которых он был, и которые теперь изданы петербургским издательством «Алетейя» – в форме своеобразной трилогии – трудами историков Ренато Ризалити и Михаила Талалая.

* * *

Мечников жил в Италии в 1860–1864 гг. Эти пять лет оказались чрезвычайно насыщенными. Мечников интенсивно учился живописи, принял участие в гарибальдийском походе 1860 г., путешествовал по

Италии, проявил себя в общественной деятельности, в том числе, русских и итальян-

ских конспирациях, устроил личную жизнь, установил обширные знакомства (Дж. Гарибальди, А. Дюма, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, М. А. Бакунин и др.), начал писать и сотрудничал во многих русских и итальянских изданиях. Его печатные выступления внесли новую струю в освещение современной действительности Италии прежде всего тем, что представляли «взгляд изнутри» на ее проблемы, выражая позицию общественных сил, солидарных с лозунгами Гарибальди.

Естественно, что главными персонажами журналистских работ становятся близкие автору своими идеалами итальянские патриоты, участники гарибальдийских организаций. Символичной была и подпись, которую избрал Мечников для своих корреспонденций, *Гарибальдиец*. Она стояла под сообщениями, посылаемые из разных городов Тосканы в редакцию московского еженедельника «Современная летопись». Эти и другие итальянские статьи Мечникова во многом носят автобиографический характер и представляют особую ценность для реконструкции его деятельности в посленеаполитанский период

пребывания в Италии.

Первая корреспонденция за подписью *Гарибальдиец* вышла под названием «Неаполь и Тоскана» (включена в настоящий том). Она была написана во Флоренции и датирована 29 июля 1861 г. Вот как объяснял автор цель статьи:

Я выбрал именно эти две области, потому что, во-первых, я их знаю лучше остальных частей Италии, а во-вторых, потому что они представляют две совершенно противоположные фазы развития. Тоскана, с ее блестящим прошедшим, с ее кроткими и трудолюбивыми жителями, страна промышленности, и Неаполь с его буйными ладзаронами, готовыми на всё, даже поработать полчаса, чтобы продолжать сладкое far-niente[2], долго еще будут жить своеобычною отдельною внутреннею жизнью, какое не затевайте административное единство. Лишь когда сгладятся эти особенности, тогда только единство Италии будет вполне совершенным, тогда только начнет существовать итальянская нация...[3]

Единство Италии, за которое ратует Лев Мечников, он связывает с созданными под председательством Дж. Гарибальди «Comitati di Provvedimento»[4]. Принимал ли Мечников непосредственное участие в них уже в те первые после возвращения из Неаполя месяцы 1861 г.? Возможно. Очерк «Неаполь и Тоскана» однозначно лишь подтверждает, что он – горячий сторонник этих организаций, защищает их от распространяемых в Италии инсинуаций, будто они состоят «на иждивении венского кабинета». Свою позицию Мечников раскрывает в рассказе о затеянном в королевском суде процессе против журнала «La Nuova Europa» («Новая Европа»), ставшего трибуной движения за объединение Италии. С глубоким уважением он характеризует главного редактора этого издания проф. Монтанелли: «экс-министр 1848 г., друг Мадзини и горячий приверженец идей его, признаваемый даже врагами за одного из даровитейших людей Италии и за одного из лучших ораторов Тосканы»[5]. Мечников присутствовал на судебном заседании, где выступал Монтанелли, а вынесенный присяжными

вердикт в пользу «La Nuova Europa» расценил как выражение поддержки идеи единства страны, которая всё глубже укореняется «в народном сознании».

Для подтверждения огромного авторитета Гарибальди в разных слоях народа бывший гарибальдийский офицер обращается к воспоминаниям о своей военной службе в Неаполе, которые дополняют характеристику, изложенную в «Записках гарибальдийца» (перезданных в первой книге новой трилогии, подготовленной Р. Ризалити и М. Талалаем).

Зловещую картину присутствия каморры в городе Мечников обрисовывает так:

*В первое время моего пребывания в Неаполе меня поражали страшные, мрачные фигуры, в живописных лохмотьях, с выразительными, большею частью злыми козлиными физиономиями, которые постоянно замечал я везде, где только собиралась толпа народа. Они неподвижно стояли среди всеобщего движения, ни с кем не говорили и только внимательно посматривали из-под нахлобученных своих *sombbrero*, многозначительно заложив за пазуху*

руку [...]. Я не один раз спрашивал у людей, более знакомых с Неаполем, что означают эти фантастические фигуры. «Гамморист, sono della gamorra»[6], – отвечали мне, почти всегда шепотом и с суеверным страхом оглядываясь во все стороны[7].

Мечников, по собственному свидетельству, встречал Гарибальди при въезде в Неаполь и слышал приветственную речь, которую произнес главарь каморры Гамбарделла «на неаполитанском диалекте»:

Не знаю, понял ли ее Гарибальди, – я же со своей стороны видел только отчаянную мимику. Оратор не мог окончить своей речи. Он с неподдельным волнением бросился на колени и поцеловал руку народного героя. После этого Гарибальди имел с ним много свиданий и между ними бывали продолжительные разговоры. Из этих-то и тому подобных разговоров Гарибальди в несколько дней успел коротко ознакомиться со страной, которую видел первый раз, но которую понял и угадал все нужды, и спешил по возможности удовлетворить им административ-

ными распоряжениями[8].

Благодаря ремаркам о датах и местах написания последующих статей мы узнаем, что в ноябре 1861 г. автор «Записок гарибальдийца», то есть уже после выхода их в свет, живет в Сиене. Этот переезд, как выясняется, имел прямое отношение к активизации комитетов за объединение Италии в Тоскане. Не случайно их деятельность занимает центральное место в новых публикациях Мечникова. В Сиене, погруженной «в свои муниципальные интересы», он отмечает признаки отрадного для всей Италии явления настойчивости горожан, связывавших дальнейшую судьбу родины с Гарибальди.

Мечников знакомится с сиенцами, которые в 1860 г. «оставили свои семейства и мастерские и отправились в ряды волонтеров» гарибальдийского войска. Теперь же «главная польза, извлеченная итальянскими городами вообще из последнего переворота, есть появление ремесленных братств и обществ взаимного вспомоществования между рабочими. Они делают «великое общественное дело», к которому Мечников относит выпуск в Сиене

еженедельного листка «для народного чтения» – «одну из первых попыток в совершенно новом для Италии роде»[9].

Важным моментом в политической деятельности Мечникова стало его вступление в состав Сиенского комитета за объединение Италии, что говорит прежде всего о продолжении активного участия гарибальдийского волонтера-иностранца в итальянском освободительном движении. Как видно из его корреспонденции, Мечников стал членом этой организации на первом ее заседании в январе 1862 г. в зале Дворца dei Rozzi[10]. С его же слов мы знаем также о втором заседании комитета под председательством профессора университета Феррари, бывшего узника герцогского режима. В корреспонденции «Из Сиены», публикуемой также и в настоящем томе, читаем: «На правах члена, я принимал очень деятельное участие в заседании, бывшем утром 2-го февраля»[11], где бурную дискуссию вызвал вопрос об отношении к готовящейся в тот день в Сиене демонстрации против светской власти папы. Мнения членов комитета разделились. Мечников оказал-

ся на стороне тех, кто выступил в поддержку манифестации и вечером принял в ней участие. В своем ответе он сообщал о провозглашавшихся там возгласах «viva[12] королю Италии и Гарибальди» и «вовсе не дружеских пожеланиях папе-государю и сиенским клерикалам»[13].

Еще одно заметное событие в сиенской биографии Мечникова произошло 16 февраля 1862 г., когда общее собрание комитета итальянского единства сформировало свое новое руководство. Сам Мечников по какой-то причине там не присутствовал, хотя комитет и принял решение относительно его нового статуса. Оно было изложено в сохранившейся записке за подписью сиенского демократа Фортунато Фанелли, который уведомлял Мечникова, что он избран в руководящий центр комитета[14]. Свою новую обязанность русский гарибальдиец совмещал с редактированием газеты «Flagello» («Бич»), о чем свидетельствует письмо от 12 июля 1862 г. в Петербург к редактору журнала «Современник» Николаю Чернышевскому[15].

Лев Мечников не ограничивается в своей

деятельности делами сиенских общественных организаций. Сторонник идеи Гарибальди о консолидации патриотических обществ, он выезжает в другие города для установления связей между ними. В конце февраля 1862 г. посещает Лукку, чтобы «посмотреть на учреждение ремесленного братства»[16]. Судя по присланной отсюда корреспонденции, его интерес к луккскому братству был вызван общей для подобных организаций задачей. Здесь он рассказывает о генуэзском центре комитетов за объединение Италии, в том числе о «комитетах по делам Рима Венеции», и об одном из ремесленных братств – обществе вольных карабинеров, занимавшемся закупкой оружия и военной подготовкой итальянцев. Мечников цитирует ответ Гарибальди от 18 февраля на обращение студентов: «Вас была тысяча со мной в 1860 году. Пусть вас будет миллион в 1862-м. Готовьтесь, это главное». К этим словам автор луккской корреспонденции многозначительно добавляет: «итальянцы приготавливаются и чего-то [подчеркнуто в тексте] ждут»[17].

В ходе подготовительных мероприятий га-

рибальдийцев Мечников посетил конгресс ремесленных братств и комитетов за объединение Италии, открывшийся 9 марта 1862 г. в Генуе и нашедший отражение в двух его мартовских публикациях в «Современной летописи» и «Современнике». Подробности, сообщаемые в очерке «Капрера»[18], не оставляют сомнения, что их автор присутствовал на заседаниях не только в качестве корреспондента, но и участника конгресса. Он описывает «зал маленького театра Паганини», куда прибыли посланцы местных комитетов: «Около половины двенадцатого громкие рукоплескания с площади дали знать собравшимся о приближении их председателя. Скоро действительно вошел Гарибальди и занял место за президентским столом»[19].

В своем отчете Мечников сосредоточивает внимание на итогах работы конгресса, целях, которые там были определены. В корреспонденции «Из Сиены», публикуемой в настоящем томе и написанной сразу после завершения работы в Генуе, он отметил создание по инициативе Гарибальди центральной комиссии, объединившей «существующие здесь от-

тенки оппозиционной партии», перечислил персонально ее членов: Дольфи, Монтанелли, Брофферрио, Кунео, Кампанелла, Мордини, Карбонелли, Криспи. Здесь же почти полностью была приведена программная речь Гарибальди к представителям «славной Италии» о готовности «выкупить нашей кровью» провинции страны, всё еще находящиеся «под гнетом иностранного деспотизма»[20].

Примечательно, что свой отчет о генуэзском съезде автор закончил публикацией документов, составленных в духе решений конгресса и непосредственно касающихся Сиены. Это письмо тамошнего общества вольных карабинеров к Гарибальди и его ответ в Сиену, где, как мы видели выше, Мечников играл руководящую роль в комитете за объединение Италии. Таким образом, нельзя исключать причастность гарибальдийца к этой переписке, выражавшей и его взгляды на дело освобождения Италии. Сиенцы писали генералу:

Мы уже устроили Общество карабинеров по образцу, одобренному вами для Генуэзского батальона, и скоро будем готовы идти туда, куда вы призовете

нас на славные победы, на защиту отечества. Но чтобы не поступить как-либо несогласно с вашими видами мы просим вас стать действительным председателем нашего общества, которому этим вы придадите новую силу и значение[21].

Чего бы ни касался в своих тосканских статьях Мечников, в них неизменно фигурирует имя Гарибальди. Для него Гарибальди – нечто большее, чем действующее лицо текущих событий. В определенном смысле журналистские описания Мечникова – продолжение «Записок гарибальдийца», где он стремился показать в Гарибальди не просто человека, блестяще владеющего военным делом, но и олицетворяющего надежды и волю народа. Понять феномен Гарибальди он пытается и в упомянута очерке «Капрера» в связи с появлением генерала в Генуе и его выступлениями в зале им. Паганини. Он делает вывод:

Гарибальди во всем мало похож на обыкновенных смертных; в особенности красноречие его очень мало имеет общего с витийством лучших здешних

ораторов, очень еще привязанных ко всяким фьоритурам, неожиданным эффектам и неумеренной жестикуляции. Особенности Гарибальди, уменьье очень определено высказать многое в немногих словах простым, разговорным, но чистым итальянским языком, говорить которым здесь имеют очень немногие и которым никто не пишет[22].

Мечникова-журналиста интересует в Гарибальди всё – его манеры и внешность, быт и взаимоотношения с окружающими и конечно ставший легендарным остров Капрера, с тех пор как там поселился прославленный герой. «Теперь, – пишет он о Капрере, – глаза всех обращены на нее, вся Италия у нее ждет решения своей участи. Всё, что есть в Италии смело думающего, горячо преданного благу родины, отправляется на поклонение в Капреру, как правоверные в Мекку»[23]. И автор этих слов представляет панораму острова, его неказистой природы, описывает дом Гарибальди. В очерке мы не находим прямых признаков авторского присутствия на этой земле. Но сама манера описаний свидетельствует,

что их представил человек, лично посетивший остров и хорошо знакомый с сельской жизнью. Иначе невозможно объяснить «украинское» сравнение, которое он использовал, детализируя капрерский пейзаж: «Стада волов пасутся на небольшом луге, с совершенно такой же тупой и хорошо всем известной физиономией, как и сотоварищи их в малороссийских степях»[24].

Разумеется, для Мечникова посещение Капреры было вызвано не туристским любопытством, а скорее всего подготовкой генуэзского конгресса комитетов за объединение Италии. Капрерские впечатления дали возможность ему расширить представления о знаменитом обитателе острова. «Гарибальди, – делился Мечников своими размышлениями, – так мало жил личной жизнью частного человека, что в Италии думают, будто у него нет и не было никогда потребности в ней. А между тем многое в нем заставляет предполагать, что он приносит тяжелые жертвы своим убеждениям, когда решался проводить всю свою жизнь то на военных кораблях, то на полях сражений». Его любимое занятие – мир-

ный сельский труд, а его скромность несоизмерима с подвигами, совершенными им. Вспоминая ноябрь 1860 г., Мечников пишет: «Сложив с себя все чины и форменные отличия, распустив свое войско, Гарибальди остался всё же тем, чем был прежде, то есть главою и центром итальянского движения, выступившего теперь в совершенно иной форме своего развития»[25].

То, что Мечников называл новой формой итальянского движения, продемонстрировал в Генуе съезд сторонников Гарибальди, ставший отправной точкой также и для дальнейшей деятельности волонтера-гарибальдийца. Он объезжает разные местности Тосканы, о чем можно судить по его статьям. В майской книжке журнала «Современник» за 1862 г. появились его путевые заметки, собранные под общим названием «Этрурия» и подписанные псевдонимом *Леон Бранди*.

Вся поездка Мечникова, пролежавшая через Вольтерру, Монтекатини, Помаранче, Лардерелло, проходила под знаком имени Гарибальди. Их историко-географические описания автор сопровождал отчетом о своих встре-

чах и беседах с местными жителями. Среди них он находит тех, кто как и он, сражался в 1860 г. против неаполитанских Бурбонов. В Вольтерре стал свидетелем того, как, услышав звуки оркестра, скотоводы, пришедшие из Мареммы, дружным хором запели вдруг гимн Гарибальди, а музыканты подхватили его мотив. Из разговоров с рабочими медного рудника Мечников выясняет, что отсюда приверженцы Гарибальди уходили добровольцами в его армию. А о господствующим среди населения настроениям автору путевых заметок постоянно напоминали стены домов, испещренные «патриотическими надписями» [26]. Там же на древней земле Этрурии, Лев Мечников познакомился с человеком, спасшим Гарибальди от австрийских оккупантов в драматические дни после падения Римской республики в 1849 г. Имя его – Джироламо Мартини, воспоминаниями которого завершаются путевые заметки.

Еще об одной поездке Мечникова узнаем из его «Писем о тосканских Мареммах», опубликованных в упомянутом «Современнике» и переизданных в данном томе. Она также

была обусловлена подготовкой гарибальдийцев к новым походам. В г. Масса Мечников провел время в обществе вольных карабинеров, председателем которого оказался его сослуживец по Южной армии в боях под Капуей в 1860 г. В «Письмах» называется его имя – Аполлонио. На встрече с вольными карабинерами Мечников увидел и других знакомых по гарибальдийской армии. «Вся эта молодежь, – сообщал он, – требовала, чтобы ее непременно вели на австрийскую границу, где, по носившимся тогда слухам, Гарибальди снова собирал волонтеров». И далее цитировал их заявление: «Довольно уже мы парадировали в саду да стреляли в цель. Или пусть распустят общество, или ведут нас к Гарибальди»[27].

Нетерпение, которое проявляли сторонники Гарибальди, уже в мае 1862 г. обернулось столкновением между ними и правительственными войсками в Брешии, преградившими путь волонтерам в Венецианскую область. В Сиене эти события отозвались репрессивными мерами властей против Мечникова. В попавшем в руки российской полиции письме от 12 июня 1862 г., отправленном

из Сиены в Петербург на имя Н. Чернышевского, он так характеризовал свое положение: «Дело мое по поводу Брешии окончилось, хотя и не так худо, как можно было ожидать, судя по самовластию здешних префектов и министерских чиновников с эмигрантами; тем не менее тоже положение очень дурно. У меня отобрали редакцию “Flagello”, и для личной безопасности я должен уехать из Италии, где не могу жить, не действуя»[28].

Обратим внимание на последние слова письма, подтверждающие, что Лев Мечников не представлял своей жизни в Италии без участия в ее национальном движении. Хотя после мая месяца над ним сгустились тучи, он не уехал из страны. Но Сиену пришлось покинуть. На некоторое время гонимый эмигрант переселяется в Ливорно. Отсюда 20 июня он адресует в редакцию «Современника» первую часть своего биографического повествования о Джузеппе Мадзини[29]. Этот очерк, однако, не увидел свет в связи с арестом российской полицией редактора журнала Н. Чернышевского.

В Ливорно была также написана статья

«Аспромонте», обозначенная в конце текста датой – 18 ноября 1862 г.[30] Прежде чем взяться за эту взволновавшую Европу тему, Мечников задавал себе вопрос: сможет ли он, чьи «существенные жизненные интересы тесно связаны с закончившейся при Аспромонте драмой, относиться к ней с тем холодным беспристрастием историка, какое необходимо в подобном случае?» Иного пути, был его вывод, для него не существует, чтобы восстановить истинный ход событий в виду попыток проправительственной прессы очернить Гарибальди. «Для этого, – признавался Мечников, – приходилось анатомировать многое мне слишком близкое, приходилось забывать, во имя более или менее холодных принципов, многие слишком горячие привязанности»[31].

Такой подход позволил автору представить аргументированный исследовательский труд, составленный на основе документальных материалов и проверенных свидетельств гарибальдийцев и правительственных чиновников, показать, что появление Гарибальди в 1862 г. в Сицилии и Калабрии с планом

похода на Рим отвечало настроениям разных слоев населения. Массы горожан и крестьян ждали от Гарибальди «скорого по возможности и честного решения всех волнующих Италию вопросов»[32].

Приверженность Мечникова гарибальдийскому движению определила его позицию к политическому течению, которое представляли умеренные. Она нашла отражение в его довольно объемистой работе, написанной в преддверии высадки Гарибальди в Палермо и сражения на Аспромонте и опубликованной в апрельском номере «Современника» за 1862 г. под названием «Последний венецианский дождь», где шла речь о Даниеле Манине[33]. Автор считал важным на материале недавней истории дать анализ сложного пути к объединенной Италии. Отмечая заслуги главы Венецианской республики в революции 1848–1849 гг., Мечников обращал внимание на эволюцию его взглядов: «Манини первый составил проект того здания, которое создал Кавур (у Манина оно было только на бумаге) и которое теперь благословляет оба эти имени, которым оно обязано своим существова-

нием. Здание это – теперешняя конституционная Италия, опирающаяся на национальную гвардию, на избирательный ценз, на пушки-cavalli[34] регулярной армии и на пьемонтских карабинеров с либеральными бородками». И далее автор подводил итог: «Многие великодушно хотели приписать и Гарибальди долю участия в этом сооружении. Они ошибаются: Гарибальди никогда не был сотрудником Маниных и Кавуров – он трудится и теперь, но над другим великим предприятием»[35].

Тоскана, где Лев Мечников сформировался как политик и публицист, также пробудила в нем талант беллетриста (повесть «Смелый шаг», 1863 г.) и литературного критика («Заметки о новой итальянской литературе», «Современные итальянские поэты. Джузеппе Джустини», «Франческо Доменико Гверрацци», 1863–1864 гг.). Эти произведения печатались в петербургских журналах «Современник» и «Русское слово» и теперь переизданы в новой трилогии издательства «Алетейя». В них высказывалась высокая оценка творчеству Гверрацци, Леопарди, Джустини как идейному ору-

жию борцов Рисорджименто. Особое значение Мечников придавал историческому роману Гверрацци «Осада Флоренции», ставшему, по его мнению, «для итальянской молодежи школой, в которой образовалась марсальская Тысяча»[36].

Важным условием успешного «делания» Италии Лев Мечников считал также международное сотрудничество демократических сил. Эту мысль он хотел донести и до Н. Г. Чернышевского в письме из Сиены 12 июля 1862 г. Предлагая для его журнала «Современник» серию статей об Италии, он указывал на их общий лейтмотив: «Италия должна возродиться, сродниться с новым элементом – славянским и начать с ним универсальный союз»[37]. Заметим: Мечников не выделяет здесь какую-либо одну национальность, речь идет о славянстве в целом. И в этом вопросе он выступает в русле тех принципов, которые, в частности, провозглашал в своих «Славянских письмах» Джузеппе Мадзини еще в 1857 г. и которых придерживался в своих сношениях с зарубежными революционерами Джузеппе Гарибальди.

Сам Мечников не ограничивается популяризацией идей итало-славянского сотрудничества. Он прилагает усилия к практическому налаживанию таких связей как внутри Италии, так и за ее пределами. Среди его соратников в этой работе – И. И. Прянишников, служивший, как и он, в гарибальдийском войске. К сожалению, об этом волонтере имеются лишь отрывочные сведения. Наиболее раннее документальное подтверждение о его пребывании во Флоренции нами найдено в хронике официальной газеты «Monitore Toscano» («Тосканский монитор»), сообщавшей о его выезде отсюда по каким-то делам в Ливорно 14 июня 1861 г.[38] Известно также, что из Италии Прянишников ездил на Балканы для участия в 1862 г. в антитурецкой борьбе черногорцев, которую поддерживал Гарибальди. Во Флоренции, по свидетельствам современников, Прянишников и Мечников часто появлялись неразлучной парой на разных встречах и собраниях[39].

В Россию связи Мечникова простирались через приезжавших из нее литераторов и других лиц. В 1861 г. Италию посетил один из

протагонистов демократического движения в России, соредактор журнала «Современник» Н. А. Добролюбов, активно интересовавшийся итальянской политической жизнью и посвятивший ей ряд своих статей. Согласно хронике газеты «Monitore Toscano», 5 февраля 1861 г. он приехал во Флоренцию из Ливорно и, остановившись в гостинице «Европа», находился здесь 15 дней[40].

Публичная информация о прибытии во Флоренцию столь известного в литературном мире России деятеля не могла пройти без внимания Льва Мечникова, проживавшего в это время в городе («Monitore Toscano» сообщал, что Мечников выезжал отсюда в Ливорно лишь 28 февраля[41]). Всё это дает основание полагать, что он встречался с Добролюбовым и, возможно, через него установил письменную связь с Чернышевским, который и начал публиковать очерки гарибальдийца в «Современнике». Пребывание во Флоренции отставного русского офицера Алексея фон Фрикена, который находился в Италии с 1860 г. и знал Мечникова, подтверждает это предположение. Указывая на свои встречи с

фон Фрикеном, Добролюбов в письме к Чернышевскому писал в мае 1861 г.: «В Италии он был мне действительно полезен своими знакомствами»[42].

В это же время Флоренцию посетили историк литературы А. Н. Веселовский, публицисты Н. Ф. Щербина и В. Д. Скарятин[43] – корреспонденты популярного московского еженедельника «Современная летопись», автором которой с июля 1861 г. стал и Лев Мечников. Не все они сходились в своих оценках происходящего в Италии. Если Веселовский с симпатией воспринимал движение за объединение страны во главе с Гарибальди, то иные акценты в своих статьях делал Скарятин, выражавший неприязнь к «мадзинизму», подразумевая под этим деятельность Монтанелли, Дольфи и самого Гарибальди.

В августе 1861 г. во Флоренцию возвратился пенсионер Петербургской академии художеств Николай Ге. Его квартира находилась в доме на пьядце Индипенденца (площади Независимости), где он начал работу над картиной «Тайная вечеря», получившей впоследствии большой общественный резонанс сво-

им созвучием с проблемами современности. У флорентийцев квартира Н. Н. Ге получила название «голубой гостиной» за цвет интерьера ее комнат. Здесь регулярно собирались представители местной интеллигенции и приезжие из разных стран.

Колоритную фигуру этого общества представлял зять хозяина «голубой гостиной» скульптор Пармен Забелло, покинувший Россию еще в 1850-х гг. и поселившийся во Флоренции. Мечников, равнодушный к искусству вообще, хорошо знал его и, вспоминая свое пребывание в городе тех лет, отмечал, что «из постоянных жителей Флоренции более всех выделялся скульптор З[абелл]о, один из красивейших представителей малороссийского чумацкого[44] типа. [...] З[абелл]о много читал, преимущественно Прудона и Герцена, и умел хорошо переваривать прочитанное» [45]. Скульптор был в близких отношениях Михаилом Бакуниным, а также с флорентийским народным вожаком Джузеппе Дольфи, образ которого запечатлел на портрете.

Другой пенсионер Петербургской академии художеств, Григорий Мясоедов, также из-

бравший вслед за Н. Н. Ге местом своих занятий Флоренцию, оставил описание характерных для «голубой гостиной» встреч:

У Николая Николаевича Ге собиралось много весьма разнообразного народу. Тут были русские, жившие во Флоренции с давних пор, вновь приезжающие и проезжающие, тут же попадались итальянцы, французы и другие национальности. [...] В темах для разговоров недостатка не было. Политическая жизнь Италии, в это время бившая ключом, не могла не увлечь русскую колонию, а потому у Ге, после искусства, всего более говорилось о политике. Господствующий тон был тон крайнего либерализма, подбитого философией и моралью. Спорили много, спорили с пеной у рта, не жалели ни слов, ни порицаний, ни восторгов...[46]

Мясоедов называл имена некоторых участников вечеров. Это – члены семьи издателя газеты «Колокол» в Лондоне Александра Герцена, среди них его сын – Александр Александрович Герцен, помогавший отцу в его связях с демократами Италии и других стран, упо-

минавшийся выше П. П. Забелло, публицист-эмигрант, критик российского самодержавия князь П. В. Долгоруков[47], участник французской революции 1848 г. И. Доманже, писатель профессор Анджело Де Губернатис, Л. И. Мечников и др. Особенно много было «иностранцев», имена которых спустя десятилетия Мясоедов не мог припомнить.

Собрания на квартире Ге носили характер жарких дискуссий по поводу событий в Италии и за рубежом. В 1863 г. в центре внимания было польское восстание, взбудоражившее Европу и вызвавшее движение в Италии в защиту поляков. Сам Гарибальди намеревался ехать на помощь повстанцам. Об этом свидетельствует его рассказ, записанный Бакуниным сразу после посещения Капреры в январе 1864 г.:

*За последнее время мне жизнь надое-
ла; я охотно расстался бы с нею, но я
хотел бы умереть с пользой для моего
отечества и для свободы всех народов.
Я собирался поехать в Польшу, но по-
ляки просили мне передать, что я буду
там бесполезен, а мой переезд прине-*

сет больше вреда, чем пользы, поэтому я воздержался. Впрочем, я и сам полагаю, что здесь я буду для них полезнее, чем там. Если мы сделаем что-нибудь в Италии, то это будет выгодно и для Польши, которая ныне, как и всегда, пользуется всем моим сочувствием[48].

О движении солидарности с Польшей вспоминал и Г. Г. Мясоедов: «Флоренция [...] была, разумеется, на стороне угнетенных поляков[49]. Многие из проживавших там русских делили их симпатию. Помню, что Николай Николаевич [Ге] был за поляков, горячо их защищал»[50].

Во Флоренции был создан комитет помощи Польши, куда вошли, наряду с другими, Дж. Дольфи и Л. Мечников. С целью организации широкой поддержки польских патриотов оба обратились в начале 1863 г. с письмами в Лондон к Герцену. 3-го марта того же года на пьядце Индипенденца прошла манифестация в защиту независимости Польши, на которой с речью выступил Лев Мечников. После этого Герцен поместил в «Колоколе» его

письмо, в котором от имени эмигрантов из России выражался протест «против ложно патриотических чувств, заявляемых официальной Россией по поводу польского восстания» и высказывалось «живейшее сочувствие благородным деятелям польской независимости»[51].

В Петербурге же после этого была составлена официальная реляция, с которой могла знакомиться лишь правящая верхушка империи. В конфиденциальном документе – «Морально-политический обзор» за 1863 г. в разделе «Революционная деятельность русских выходцев» – шеф III отделения докладывал: «Мечников, служивший прежде в отряде Гарибальди адъютантом генерала Мильбица, живет обыкновенно в Ливорно, но в начале года переселился во Флоренцию и на митингах в пользу Польши неоднократно говорил речи, направленные против русского правительства»[52].

Переезд Мечникова из Ливорно в столицу Тосканы во многом был связан с формированием здесь зарубежного центра общероссийского нелегального общества «Земля и Воля».

В 1863 г. во Флоренции появляются его активные члены и сторонники, среди них А. Ф. Стурт[53], Н. Д. Ножин[54], Н. С. Курочкин[55], с которыми Мечников поддерживает контакты.

Важным звеном в расширении международной деятельности Льва Мечникова стала в конце мая 1863 г. его конспиративная поездка в Лондон для встречи с А. Герценом. Из-за отсутствия каких-либо документов мы можем судить о содержании переговоров лишь косвенно. Но вполне очевидно, речь могла идти там о вопросах, связанных с тогдашней международной проблемой – польским восстанием, а также о сотрудничестве между демократами разных стран. В связи с этим следует указать на обнаруженную среди принадлежавших Мечникову бумаг запись от 1 июня 1863 г. на визитной карточке Герцена, сделанную рукой последнего для Маурицио Квадрио. В ней издатель «Колокола», называя Мечникова «другом», просил через него прислать адрес «Жозефа» – Мадзини, находившегося в то время в Швейцарии[56].

Осенью 1863 г. Лев Мечников попал под

тайный надзор итальянской полиции в связи с приездом во Флоренцию представительницы династии Романовых – великой княгини Марии Николаевны[57].

3 ноября префект Флоренции издал распоряжение:

В Комиссию по общественному надзору при префектуре Считаю нужным заявить, что некий Мечников [Mehnikoff], российско-подданный, проявил намерение устроить покушение на Е. И. В. Великую княгиню Марию Российскую, разместившуюся со своей свитой в сем городе в гостинице «Le Ville» на пьяцце Манин.

Означенной комиссии надлежит произвести расследование относительно названного индивидуума, сообщить о необходимости внимания к нему со стороны квартального уполномоченного и о старательном наблюдении. Об изъянах и других особых приметах, о которых сама комиссия соберет сведения и передаст уполномоченному, можем заранее сообщить, что Мечников – хромой[58].

В тот же день префектура издала приказ, чтобы полиция района Санта Мария Новелла организовала наблюдение и охрану территории вокруг гостиницы «Le Ville», поскольку «некий Мечников, российско-подданный, вероятно, предложил совершить покушение на Великую княгиню, к которой ему не будет сложно представиться». Далее говорилось, что «особые приметы» Мечникова собираются «агентами общественной безопасности, которым поручена данная служба, а также дело изгнания из сего города означенного Мечникова [Machnicoff]»[59].

В деле префектуры о Мечникове сохранился секретный «специальный рапорт» от 11 ноября 1863 г. с биографическими данными и «особыми приметами». Вот полный текст этого документа, представляющего полицейскую характеристику деятельности Мечникова во Флоренции и его политических взглядов:

Российско-подданный инженер Лев Мечников находится во Флоренции с 1860 года и в настоящее время проживает вместе с женой и сыном[60] в доходном доме Винченцо Страттези на

виа Паникале № 39, входящей в квартал государственной администрации Санта Мария Новелла.

Был офицером у Гарибальди во время кампаний на Итальянском Юге, и принадлежа к радикальной партии участвовал в демократическом митинге, состоявшемся на пьядце Индипенденца в защиту Польши, где выступил с соответствующей речью.

Его поведение – тихое и спокойное, и даже в сии дни не проявил никакого раздражения по поводу присутствия во Флоренции Е. И. В. Великой княгини Марии Российской, более того, согласно специальному за ним надзору, установленному третьего числа, выяснено, что, кроме пренебрежительного о ней устного отзыва, у него при возможной встрече с указанной принцессой нет никакого намерения нанести ей ущерб. Продолжая надзор за указанным Мечниковым, я передал в государственную администрацию Санта Мария Новелла его особые приметы, которые таковы:

Возраст – около 35 лет[61].

Рост – средний.

Телосложение – хрупкое.

Цвет кожи – белый.

Волосы – светлые.

Брови – такие же.

Борода – во всё лицо, но редкая.

Нос – регулярный.

Рот – средний.

Лицо – худощавое.

Носит белые очки[62], белую соломенную шляпу. Одевается посредственно.

Хромает на правую ногу[63].

Служка за Мечниковым, как явствует из приведенного выше рапорта, ни в чем не подтвердила предположений о нем как заговорщике, готовившим покушение на высокую персону. Да иначе не могло быть: вся политическая деятельность гарибальдийца-демократа ничего общего не имела с идеологией экстремизма и тактикой террористических методов.

Тайные действия флорентийской полиции по отношению к Мечникову совпали с приездом в Италию Герцена. Во Флоренции он остановился в Hotel American на улице Vigna Nuova, где и проживал с 4 по 22 ноября. Своей миссией на полуостров издатель «Колокола»

намеревался укрепить связи с действовавшим в России обществом «Земля и Воля», которое в своем организационном построении и пропаганде ориентировалось на итальянскую Партию действия. В памятной записке, составленной Н. П. Огаревым для поездки Герцена в Италию, особое внимание акцентировалось на взаимодействии между эмигрантами и их единомышленниками в России в деле распространения информационно-пропагандистских материалов[64].

Не случайно во флорентийском окружении Герцена самой заметной фигурой стал Лев Мечников, обладавший широкими политическими связями в городе. Все лица, с которыми встречается здесь Герцен, – это знакомые бывшего гарибальдийского офицера. Среди них – представители «Земли и Воли» А. Ф. Стюарт, А. фон Фрикен, Н. Д. Ножин, венгерский эмигрант Ф. Пульский, А. Марио и его жена-англичанка Дж. Уайт. Здесь же происходит знакомство Герцена с Дж. Дольфи, с которым тесно сотрудничал Мечников. После этой встречи редактор «Колокола» с нескрываемым восхищением писал в Лондон: «Доль-

фи – молодец, Чичероваккио заткнул за пояс. Мужчина с Бак[унина] ростом, с лицом античной статуи, выражающим несокрушимую волю и энергию, у него мускулы не повисли. Настоящий трибун – и очень умен»[65]. 11 ноября с участием Мечникова состоялся торжественный обед, устроенный в честь Герцена, где провозглашались тосты за общество «Земля и Воля» и в память погибшего за свободу Польши одного из руководителей Комитета русских офицеров в Польше Андрея Потемнина [66].

Встречи и беседы Герцена во Флоренции убедили его в необходимости публично высказаться по вопросам о Польше и России, к которым было приковано внимание итальянской общественности. Свои мысли он решил изложить в виде обращения к авторитетнейшему представителю демократической Италии и «мужу народов» других стран. Так появилось «Письмо к Гарибальди», где давались оценки положению революционных организаций в России, героизму польских повстанцев, а также их ошибкам в аграрном и национальном вопросах. Высказывая уверенность в

торжестве свободы польского и других народов, Герцен связывал его с именем и деятельностью своего адресата. Имея в виду происшедшие недавно события, он писал: «В Украине, в Польше, в Сербии народ ждал Гарибальди»[67].

История этого документа, важного для налаживания взаимопонимания между демократами Италии, России и Польши, заслуживает более подробного рассказа в связи с неизвестными до сих пор обстоятельствами его появления. «Письмо», обозначенное авторской пометкой «21 ноября 1863, Флоренция», Герцен предварил замечанием о том, что хотел лично посетить Гарибальди, «но обстоятельства устроились иначе, я покидаю Италию раньше, чем думал, и хочу воспользоваться поездкой к вам общего друга нашего, чтоб посетить вас письменно»[68].

Кто был этот «общий друг», на которого возлагалась миссия почтальона к Гарибальди, историография долгое время не могла дать ответа. Лишь обнаружение неизвестной записки Герцена от 19 ноября 1863 г. к Дольфи приоткрыло завесу: в ней автор выражал

просьбу переслать «longuelettre à Garibaldi» [69] после того, как оно будет закончено[70]. А в письме от 25 ноября, отправленном уже из Ливорно в Лондон, Герцен сообщал, что послание к Гарибальди готово лишь «начерно» [71]. Следовательно, в Ливорно Герцен продолжал работать над «Письмом», пока 27 ноября не выехал в Геную и далее в Турин и Швейцарию. Поэтому в герценоведении считается, что издатель «Колокола» отправил его Дольфи для передачи адресату между 25 и 27 ноября[72].

Новые факты, выявленные нами в документах полицейских служб Ливорно и Флоренции, позволяют внести коррективы в историю послания. 23 ноября Комиссия по общественному надзору (Commisione di pubblica vigilanza) информировала Королевскую Префектуру провинции Флоренции (Real prefettura della provincia di Firenze), что «издатель в Лондоне журнала “Колокол”, органа молодой России[73], оставил сей город, где пребывал в течении 20 дней [...] и направился в Ливорно вместе со своей семьей». Далее составитель рапорта о Герцене утверждал: «Ме-

ня уверили, что он всю неделю пробудет в сем городе Ливорно и что в следующую субботу отправиться пароходом компании “Messagerie Imperiali” в Рим»[74].

Из переписки Герцена известно, что в Ливорно он проживал в Hotel Grande Bretagne, а его окружение в этом городе составляли члены семьи. Однако секретным наблюдением ливорнской полиции было установлено еще одно лицо, находившееся здесь в сношениях с Герценом. 2 декабря префект провинции Ливорно сообщал префекту Флоренции, что А. Герцен «имел ряд бесед с гарибальдийским офицером поляком Мечниковым [Meczikof], который вечером 27-го вернется во Флоренцию»[75]. Таким образом, завершение и отправка письма к Гарибальди совпали во времени со встречами Герцена с Мечниковым и отъездом последнего во Флоренцию. Это и дает ключ к объяснению, каким образом оно попало в руки Дольфи для передачи адресату – Гарибальди.

Контакты между Герценом и Мечниковым в Ливорно касались также организации нелегальной транспортировки через Италию лон-

донских изданий в Российскую империю. Глухое упоминание об этом Герцен позволил себе лишь в письме к своим близким в Лондон от 1 декабря 1863 г. по приезде в Женеву: «Мечников поехал в Ливурну (sic) искать сбыта, и всё расшевелилось»[76]. Это подтверждает ставшее известным царским властям письмо самого Мечникова к Ножину, в котором сообщалось о его поездке в Геную и Ливорно для «устройства сообщений с Констан[инополем]»[77]. Дела, которые вел Лев Мечников в Ливорно, завершились успешно, вероятно, благодаря его давним связям с местными итальянскими демократами, вызвав одобрение со стороны М. Бакунина, страстно жаждавшего активных действий против самодержавия. «Тебе, Герцен, – писал он 4 марта 1864 г. из Флоренции, – давно известно, что удалось сделать Мечникову: верная и даже безденежная доставка всего из Ливорно в Константинополь и даже в самую Одессу. Требуют только адреса в Одессе. Но где его взять? <...> придется вам требовать верного человека в Одессе от З[емли] и В[оли], если З. и В. действительность, а не призрак»[78].

В 1864 г. Мечников оказался причастным к морской экспедиции, задуманной польским Национальным правительством[79]. Предусматривалось, по примеру гарибальдийской «Тысячи», провести высадку волонтеров вблизи Одессы для оказания помощи польским отрядам в западных губерниях Российской империи и одновременно поднять на восстание крестьян черноморского и соседних регионов[80].

Предприятие, для которого много усилий приложили эмигранты и итальянцы-гарибальдийцы, прервалось в самый разгар его организации. Пароход, вышедший из Лондона, «за неимением бумаг», задержали в Гибралтаре британские же власти, а найденный взамен участниками экспедиции другой пароход оказался по своим мореходным качествам не пригодным для столь опасного рейса к одесским берегам[81].

В 1864 г. Мечников переезжает на жительство в Геную, потом в Милан, а в декабре – в Швейцарию. Он поселяется в Женеве, где продолжает политическую и публицистическую деятельность в составе «молодой эмиграции»

из России[82]. Жизнь в другой стране с ее новыми заботами не могла, однако, вытеснить из его сознания образы «делающей себя» Италии. Он неизменно обращается к опыту лет, овеянных именем «героя двух миров», под чьим руководством служил Италии и своей родине. В 1871–1872 гг. Мечников пишет серию историко-литературных статей, в которых анализирует творчество итальянских писателей, начиная с Данте, в контексте освободительной борьбы на Апеннинском полуострове. Характерны и названия, которые он дает им, напоминаящие об эпохе Рисорджименто: «Политическая литература в Италии», «Литература итальянского объединения», «Гверрацци». Все они увидели свет на страницах петербургского журнала «Дело» под псевдонимом *Эмиль Денегри*, взятым литератором по имени владельца шхуны, на которой в южноамериканский период своей жизни некоторое время капитаном был Дж. Гарибальди.

Проживая в Швейцарии, Лев Мечников продолжал пользоваться репутацией последователя дела Гарибальди. Имя гарибальдий-

ца открывало ему возможности для сотрудничества с демократами разных стран. Сохранилось свидетельство, выданное ему в октябре 1868 г. в Женеве союзом «Польский республиканский очаг» («Ognisko republikanske polskie») для поездки на Пиренейский полуостров: «Мы, – говорилось в нем, – рекомендуем гражданина Мечникова, капитана при штабе корпуса под командованием генерала Гарибальди, всем патриотам в Испании как храброго солдата и защитника свободы и независимости народов»[83].

Школа гарибальдийского служения идеалам свободы стала путеводной нитью всей его деятельности.

Лев Ильич Мечников ушел из жизни 30 июня 1888 г., в Кларане (Швейцария), где и был похоронен[84]. Друзья, коллеги и ценители его работ в разных странах восприняли эту смерть как тяжелую утрату для дела науки и прогресса человечества. Память его почтили и в Италии, не забывшей своего отважного гарибальдийца, – на собраниях и в откликах периодической печати. Характерное для современников мнение выразил некро-

лог, помещенный в женевском сборнике «Социал-демократ»:

Постоянный, неусыпный труд составлял всё содержание его жизни. Но трудолюбие Льва Мечникова отличалось той особенностью, что оно, как мы видели, нисколько не заглушало в нем живого интереса ко всем жгучим вопросам его времени. Лев Ильич был не только ученым; он был творцом, который умел с оружием в руках отстаивать дело свободы [...] Забывать таких людей, как Л. И. Мечников, было бы совсем непростительно[85].

И сегодня о нем напоминают нам его многочисленные труды, почетное место среди которых занимают работы, посвященные Италии времен великой эпохи Рисорджименто.

Н. Н. Варварцев, Национальная Академия наук Украины, Институт истории Украины, Киев, ноябрь-декабрь 2017 г.

Неаполь и Тоскана Физиономии итальянских земель

Часть 1

Неаполь и Тоскана

Наступил ли для Тосканы реакционный период давно желанного отдыха и спокойствия, как необходимое последствие лихорадочной деятельности, или просто невыносимая летняя жара причина того застоя, которая ясно чувствуется теперь во всем?

Вопрос этот решит осень. Но невольно спрашиваешь себя, куда скрывалась эта жизнь, это почти болезненное раздражение, которое проникало повсюду, придавало интерес самым ничтожным фактам.

Периодические издания Тосканы носят на себе весьма сильный отпечаток этой метаморфозы. Не говоря уже об отделе политических известий – они обуславливаются независимыми от редакций обстоятельствами; но и самые *articles de fonds*[86] и корреспонденции,

еще недавно дышавшие отчаянною борьбою партий, теперь уже не показывают ни желчности, ни увлечения.

Многие из партий, так недавно еще процветавших во второй силе, стусевались и сгладились, и теперь во Флоренции собственно партий нет.

Есть здесь огромное большинство, – большинство, выполнившее трудный подвиг, может быть не удовлетворившееся сделанными, но предоставляющее времени и дипломатии окончить дело, так блистательно начатое.

Большинство это составилось из двух партий: унитариев и умеренных. Со смертью Капура умеренные взяли верх над унитариями; это свершилось мирно, без борьбы. Большинство устало. Оно готово на жертвы и на тяжелые лишения, но ему нужно залечить недавно полученные раны, и оно равно враждебно смотрит и на старых врагов своих кодинов [87], и на недавних союзников своих красных.

Газеты, называющие себя представителями умеренного образа мыслей, унижаются однако же до того, что уверяют, будто либеральные комитеты *comitati di provvedimento* [88],

учрежденные Гарибальди и состоящие под его председательством, состоят на иждивении венского кабинета (Гарибальди – кондотьером у австрийского императора! Вот до каких нелепостей доходит слепое пристрастие), им, конечно, не верят читатели, как не верят им сами редакторы, но нелепые слухи здесь, как и везде, более всего имеют ход. Впрочем, как ни мелочны эти выходки, мне они не кажутся смешными: понятно, что нация, посредством сильных трудов и пожертвований выработавшая себе сколько-нибудь удовлетворяющий ее порядок, дорожит им и отстаивает его особенною горячностью и с пристрастием, ревнивым и мнительным.

В число новых учреждений, введенных здесь вслед за уничтожение автономии и вместе с пьемонтским статутом, особенно привлекает внимание публики учреждение суда присяжных, для разбора литературных преступлений.

В парламенте был уже возбужден вопрос о распространении этого суда на дела всякого рода во всем Итальянском королевстве, но разрешение этого вопроса отложено до засе-

даний будущего года.

Общественное мнение им очень занято, и брошюра г. Габелли, под заглавием: «Присяжные и Итальянское королевство» («I giurati e il Regno d'Italia»[89]), возбудила сочувствие публике, хотя впрочем немного высказано в ней нового по этому предмету.

Учреждением суда присяжных для преступлений по печати, правительство выказало доверие к общественному мнению и сознание своей популярности; можно надеяться, что оно не замедлит придать этому учреждению то более обширное значение, которого требуют обстоятельства.

Несколько дней тому назад, а именно 22 текущего месяца, собралась многочисленная толпа в зале заседания Королевского Суда, *Corte Reggia*, где в этот день назначено было обсуждение процесса против журнала «Новая Европа»[90], обвиненного в оскорблении особы короля. Издание это – орган тех комитетов и братств, о которых я сейчас упоминал. Ответственный его редактор-распространитель – профессор и адвокат Монтанелли[91], экс-министр 1848 г., друг Мадзини и горячий

приверженец идей его, признаваемый, даже врагами, за одного из даровитейших людей Италии и за одного из лучших операторов Тосканы. На этот раз Монтанелли принял на себя защиту «Новой Европы», что придало этому делу еще большую занимательность. Прибавьте к этому наследованную итальянцами от римских плебеев страсть к зрелищам вообще и к даровым в особенности, наконец самую новизну зрелищ подобного рода, и вы легко поверите, что к 10-ти часами утра (заседание открылось в 11) нельзя было протолкнуться в огромный зал *Palazzo Vecchio*[92], где помещается высший суд, *Corte Reggia*, соответствующий французским *Cours d'Assise*. Судьи заседали в своих средневековых костюмах. Косой графье[93] в черной мантии, из-под которой проглядывали изношенные панталоны табачного цвета, разносил присяжный лист. Я не стану подробно описывать ход всего заседания; упомяну главные факты, относящиеся прямо к разбираемому процессу.

Секретарь прочел акт обвинения; всё дело было не что иное, как придирка, основанная на двусмысленной фразе. *Pubblico ministero*, то

есть королевский адвокат, довольно изысканною речью успел возбудить в публике раздражение против подсудимого и его защитника, но придать большой важности самому обвинению не мог. Адвокат подсудимого был между тем в довольно затруднительном положении. Очевидно, не одно желание оправдать г. Марубини, ответственного редактора «Новой Европы», заставило его вновь надеть адвокатскую мантию. Каждый из присутствующих ясно понимал, что на этот раз присяжные судили не отдельное преступление, не частный, случайный факт, но всё направление журнала. Монтанелли в самом начале своей защитительной речи высказал это, но президент тот час же прервал его, заметив, что он здесь имеет право слова только как защитник г. Андреа Марубини, что всякое отступление, как замедляющее ход дела и сбивающее присяжных, законами запрещено, и что вследствие этого он, президент, вынужден будет лишить адвоката этого права, если тот прямо не обратиться к защите подсудимого. Монтанелли возразил, что статья статута, определяющая меру наказания за оскорбление высочайшей

особы короля, не характеризует вместе с тем этого вида преступлений, и что поэтому его, как адвоката подсудимого, прямая обязанность сделать эту характеристику, без которой невозможно доказать, существует ли именно в настоящем случае это преступление. Я не приведу вам здесь всей речи профессора Монтанелли, но расскажу в нескольких словах ее содержание. Я в первый раз слышал этого адвоката, и должен сознаться, что г. Монтанелли представляет блестящее исключение из среды своих итальянских собратьев. Он долго жил во Франции и Испании, где был знаком со всеми судебными знаменитостями тех времен, и где совершенно оставил привычку, сильно вредящую итальянским ораторам на кафедре и на театре, — привычку вычурной декламации, напыщенных фраз и бешеной жестикуляции. Монтанелли говорил просто и спокойно. Период его понятен для каждого, обыкновенный итальянский период, ясный и незапутанный латинско-германскими ухищрениями писателей распространенной здесь школы, поставившей задачей говорить и писать так, как никто не говорит

по-итальянски. Лучшие здешние писатели не чужды этой странной натянутости. Опираясь на авторитет Филанджиери[94], оратор определил то юридическое воззрение, с которого должно смотреть на вышеозначенный вид преступлений; затем, цитируя Одилона Барро [95] и Альбертиновский кодекс[96], приводя множество примеров из истории французского и английского законодательств (оратор хорошо знает склонность здешней публики к аргументам этого рода), он дошел до того заключения, что в преступлениях печати – где единственное орудие слово, то есть где материальная сторона совершенно сливается с стороной нравственною – более чем во всяком случае играет роль намерение, с которым сказаны слово или фраза, подавшая повод к обвинению. Переходя от общего к частному, он свел вопрос к тому, можно ли с очевидною ясностью доказать, что в приведенных в обвинительном акте нескольких строчках из парижской корреспонденции журнала «Новая Европа» заключается намерение возбудить общественное мнение против особы короля, унижить его личность в глазах народа.

«Если да, – говорил он, – если для присяжных присутствие этого намерения в вышеприведенных словах ясно, как день, то, хотя бы и можно им придать другой грамматический смысл, преступление существует и должно быть преследуемо законом. Но если доказательства этого намерения нет, то нет и самого преступления». Потом он подробно разобрал эти строки и привел слушателей к тому заключению, что в настоящем случае преступления не существует.

«Да неужели, – сказал он в заключении своей защитительной речи, – неужели можно было бы предположить намерение оскорбить народ в лице его избранника в журнале, постоянно стоящий за голос народный, за общую подачу голосов, *suffragio universale*? Неужели его можно было ожидать от органа той самой партии, которая первая внесла знамя освобождения в Ломбардию, поработленную иноземным врагом, с криком: «Единство Италии и Виктор-Эммануил!», которая не изменила своему девизу, как не изменила своему вождю и теперь еще во время похода в южную провинцию, которая, наконец, когда

иноземное его тяжелым ярмом гнело родную сторону, сказала королю: «будьте за народ, и мы за вас?». Это говорил главный редактор журнала, подвергнувшегося обвинению. Стало очевидно, что намерения оскорбить особу короля не было, и что обвинение было преувеличено. Присяжные оправдали подсудимого, и присутствовавшие, так враждебно смотревшие и на журнал, и на его защитника, встретили решение присяжных выражением живого сочувствия и одобрения.

Процесс «Новой Европы» есть одно из доказательств того, что так называемая партия действия остается верною королю Виктору-Эммануилу и воодушевлена лишь стремлением к единству Италии. Успехи, которые сделала идея единства в народном сознании, очень замечательны. Помня, как недавно еще было то время, когда жизнь южных провинций полуострова интересовала тосканцев столько же, сколько подвиги французов в Китае, и видя с каким участием теперь принимаются здесь же известия о событиях в Неаполе, невольно чувствуешь, на сколько образовалось уже единство. *Iam proximus ardet*

Ucalegon[97].

Неаполитанские события имеют весьма неблагоприятный для новорожденного королевства характер. Разбои и грабежи в Калабриях и Капитанате, в Терра-ди-Лаворо и самом Неаполе выходят за пределы вероятия. Целые города, как, например, Козенца, еще так недавно приветствовавшие Гарибальди и его сподвижников именем избавителей, выказавшие такое горячее сочувствие народному делу, теперь дают у себя приют шайкам Кьявоне и подобных ему «генералов и полковников Франческо II[98]» и учреждают временные правительства от его имени. Окрестности Неаполя наводнены теми же шайками. И, что всего замечательнее, преданность тамошних жителей одному имени Гарибальди нисколько не изменились, и Кьявоне вынужден с особенным уважением говорить о народном герое в своих возмутительных прокламациях.

В самом Неаполе среди белого дня убивают одного отличившегося преданностью новому правительству советника полиции, в собственном его доме, и полиция не может отыс-

кать преступника. Граф Понца-ди-Сан-Мартино[99], бывший наместником Неаполитанской области, для избавления управляемых им провинции от этих злодейств, требовал сначала присылки большого количества войск, затем объявления Неаполя на военном положении. Депутаты и за ними адрес, подписанный более чем 1. 000 неаполитанских жителей, ходатайствовали об исполнении этого требования. Носятся слухи, что подписавшие этот адрес – отъявленные реакционеры, но я сообщаю это просто как слух, которых здесь очень много, неизвестно ни на чем основанных, ни кем распущенных. Что же касается вотировавших за осадное положение депутатов, – и это факт положительный, – то по возвращении на родину они были встречены торжественными свитками и кошачьею серенадой. Министерство не решилось объявить осадное положение, но и приняло отставку Сан-Мартино и на его место назначило генерала Чальдини[100] – назначение, по мнению многих, стоящее осадного положения.

Позвольте по этому поводу привести вы-

писку из туринской корреспонденции одного флорентийского журнала, показывающую, каким нападкам подвергается назначение генерала Чальдини. «Думаете ли вы, что приобрести любовь и уважение народонаселения целой провинции так же легко, как переловить и расстрелять шайку бунтовщиков и разбойников?» – спрашивает корреспондент у генерала Чальдини и у тех, кто его послал. «Но если б это было так, то кто более австрийцев имеет право на преданность и благорасположение итальянцев? Они несравненно опытные и искуснее нас в этом деле. Может быть вы скажете, что австрийцы в Италии всегда были и останутся иноземными пришельцами, ну так возьмите неаполитанских Бурбонов. Кажется, они уже совершенно успели сродниться со страной. Они говорили ее наречием, этим хвастается Франческо в своей прокламации; а те, которые от их имени грабили и утесняли народ, были уже безо всякого сомнения однокровными соотечественниками угнетаемых. Однако же ни огнем, ни мечом не сумели они удержать в порабощении народ, как только проснулась в нем потреб-

ность иметь правительство более честное и справедливое. И то, чего мы не могли сделать Бурбоны, казалось, прочно укрепившееся в стране, в которой с давних лет они сняли семена раздора и порока, в которой щедрыми подачками они успели привлечь на свою сторону не одну алчную и честолюбивую натуру, – то, на что у них не хватило силы, говоря, думаете успеть сделать вы, вы, вчера сюда явившиеся, явившиеся может быть, без приглашения жителей, в которых до сих пор кроме неудовольствия и недоверия вы ничего возбудить не сумели. Вы хотите штыками водворить порядок! Неужели вы считаете южных итальянцев способными делать революции с единственной целью променять штыки из арсеналов Кастель-Нуово[101] и Пьетрарсы[102] на штыки, отточенные против их груди в Турине? Мы не сомневаемся, что вы истребите разбойников и реакционеров, пресечете зло (не вами ли же порожденное?); но мы не думаем, чтобы во имя достижения этой цели позволено было, вопреки закону, поставить генерала Чальдини выше общественно-го мнения, выше самого закона. И отчего

именно Чальдини? Мы вовсе не отвергаем блестящих достоинств завоевателя Гаэты; ни мало не подвергаем сомнению его горячую преданность благу отечества, его благоразумие, умеренность; мы готовы видеть в нем идеал человека. Но как вы не хотите понять, что в политике главную трудность составляет выбор людей, что не только личные достоинства, но и самое имя в этом случае имеет значение? Менее всего в Неаполь можно было бы послать наместником Чальдини, автора несчастного письма к Гарибальди[103], которого Неаполь боготворит. Может быть примирение (Гарибальди с Чальдини) и погасило несколько гнев и раздражение неаполитанцев, оскорбленных в лице своего героя, но есть вещи, которые нелегко забываются народом, а в особенности пылким народом южной Италии. Я от души желаю, чтобы новому наместнику удалось привлечь к себе народный и либеральный элемент края (как он выражается в своем воззвании к VI корпусу), но вместе с тем я сильно сомневаюсь, что он мог успеть в этом. Представители этих начал в южной Италии всеми силами души обраще-

ны к тому, кто одинокий теперь на скалах Капреры[104] держит в своих руках судьбы Италии, и кого оскорбления выскочек и врагов не более могут возмутить, как легкий ветерок – каменные утесы Альпов».

Этими и подобными этому приветствиями был встречен Чальдини при новом своем назначении. Общее неудовольствие усилилось тем, что по приезде своем в Неаполь он обратился прямо к войску с прокламацией, в которой едва вскользь упомянул о том, что он намерен искать содействия и расположения жителей. С другой стороны, он получил угрожающее, но не без такта написанное письмо от предводителей разбойничьих шаек, которые, я думаю, скоро раскаются в своей дерзкой выходке. Мне кажется, однако ж, что люди, относящиеся так враждебно к новому наместнику, несколько увлекаются и слишком поддаются чувству предубеждения против этого генерала, так недавно еще оказавшего важные услуги отечеству. Об административных его способностях до сих пор мало известно, и мы не имеем права предполагать, что он без разбора будет давать ход той суровости, кото-

рой требовали от него тогдашние обстоятельства. Впрочем, слухи о предоставлении ему особенной власти, подавшие повод к приведенной мною корреспонденции, оказались несправедливыми, а при настоящих событиях необходимы меры решительные.

Что же касается совершенного водворения порядка в Неаполитанской области, то дело это крайне трудное, и одна личность, называется ли она Чальдини, или иначе, сделать ничего не в состоянии. Зло слишком глубоко пустило корни, и освящено многими годами терпимости. Болезнь хроническая, и против нее нужно упорное радикальное лечение.

В Неаполе многое было говорено и писано со всевозможных точек зрения; но, несмотря на всё это, можно еще много сказать о нем, чтоб иностранная публика могла сколько-нибудь точно судить о значении и характере теперешних кровавых событий. Впрочем, успокойтесь, благосклонный, да заодно и не благосклонный читатель: я не буду распространяться ни о величественном виде Везувия, ни о красоте Санта-Лучии. всё это уже очень давно описано; теперь вулкан другого рода при-

влекает мое внимание. Волкан этот – огромная масса неаполитанского народонаселения, оставшаяся за цензом, живущая вне покровительства законов, не несущая за то никаких тягостей гражданского устройства, это, одним словом, – ладзароны[105].

С поэтической точки зрения жизнь этого класса, исключительно свойственного Неаполю, разобрана давно. Но так как всё сказанное до сих пор о ладзаронах без особенных изменений и без натяжки может быть применено к жизни константинопольских собак, то я не лишним считаю сказать несколько слов и о положении ладзаронов и вообще о бывшем гражданском и административном устройстве Неаполя. Нисколько не отвергаю, что эта первобытная свободная жизнь под небом южной Италии имеет свою поэтическую сторону, которой однако сами ладзароны не признают и не могут признавать, по той очень простой причине, что они вообще не дошли еще до человеческого сознания о себе и окружающей их жизни, не дошли, конечно, не по своей вине, а благодаря тем препятствиям, которые постоянно подставляли им на пути их

развития поэтические администраторы Неаполя, со времен принца Филиберта Оранского [106], или даже и прежде, и до самого г. Либрио Романо[107] включительно. «Но, скажут мне, ладзарон счастлив, потребности его очень ограничены и потому легко удовлетворяются. Он вполне доволен своим положением и не променяет его на самое блестящее положение в свете». Нет, смело отвечаю я. Может и была такова жизнь ладзарона в золотом веке его существования, во время правления короля Назоне[108], когда Неаполь не более был стеснен полицейскими положениями, чем например степь Сахары, когда за 1 грань (1 коп. сер.) можно было наесться вдоволь арбуза и пиццы; когда англичане толпились на Кьяйе и, заглядевшись на Везувий, оставляли без прикрытия батистовые платки и табакерки в задних карманах своих фраков; когда сбирьы[109] и полициотти[110] давали полный ход промышленности ладзаронов, и мирились на незначительном проценте с барышей. Счастливое это время и теперь еще сохранилось в предании, но в сущности оно давно уже миновало. Пицца вздорожала, а

главный источник доходов ладзарона, англичане, становится менее прибыльным с каждым днем. Бурбонское правительство давно уже всеми силами старалось привязать к себе бульдога. По табельным дням, по годовым праздникам им раздавались от имени короля съестные припасы и несколько копеек денег. Часто король сам присутствовал при этом, а иногда королева собственноручно наделяла толпу щедрыми ломтями жирной пиццы. Ладзарон брал с добродушной улыбкой, кричал неистовые *viva!*, кидая вверх свой фригийский колпак, а отойдя, снова скалил зубы. Пульчинелла[111] не так глуп, как кажется...

Я не думаю, чтобы в каком-либо городе было столько человеколюбивых учреждений, как в Неаполе; там есть братство Милосердия (*la Misericordia*) и множество других с целью помогать бедным, недостаточным больным давать средства лечиться, хоронить неимущих мертвых. Там есть Братство бедных св. Януария, где устаревшие слуги находят уют и спокойствие. Но ладзарон, как прокаженный, чужд благотворного действия этих филантропических учреждений. Здоровый,

он промышляет; состарившийся, больной, он лежит под портиком какой-либо церкви, благо в них нет недостатка в Неаполе, и довольствуется тем, что добровольно дают ему сердобольные прихожане.

Благодаря этой промышленной жизни, требующей постоянного напряжения умственных способностей, благодаря природной наблюдательности и добродушно саркастическому здравому смыслу, ладзарон далеко не так туп и неразвит, как этого можно бы ожидать. Неаполитанцы вообще охотники до гимнастических упражнений; во всей Европе они славятся искусными фехтовальщиками и ловкими наездниками. Ладзароны довели до высшей степени совершенства искусство владеть стилетами и камнями; это единственное их оружие; оно у них всегда под рукой, и регулярные батальоны швейцарских наемников не раз отступали перед толпой, вооруженной столь первобытным образом. Но чем сильнее становились ладзароны, тем более энергичную оппозицию представляла им администрация. Приглядевшись поближе к их жизни, невольно удивляешься тому, сколько уси-

лий нужно было им, чтобы удержаться хоть на той жалкой степени, на которой они стоят теперь; удивляешься тем разнообразным способностям, которые тратились бесплодно на эту алчную борьбу с толпой кровожадных грабителей и воров в мундирах сборов и полицейских чиновников. Дайте ладзарону другую обстановку, другого, более достойного врага, из него выйдет Мазаньелло[112]; при теперешних условиях он ловкий карманный плут, или страшный гаморрист[113].

В первое время моего пребывания в Неаполе, меня поражали страшные мрачные фигуры, в живописных лохмотьях, с выразительными, большей частью злыми козлиными физиономиями, которые постоянно замечал я везде, где только собиралась толпа народа. Они неподвижно стояли среди всеобщего движения, ни с кем не говорили и только внимательно посматривали из-под нахлобученных на глаза своих *sombbrero*, многозначительно заложив за пазуху руку. В них было столько таинственного, театрально-эффектного, что они невольно бросались в глаза. Идете ли вы по базарной площади, торгуетесь

ли с веттурином[114] на извощичьей бирже, они тут как тут, словно столбы с напечатанною на них таксой, составляющие необходимую принадлежность, подобных собраний в городах более цивилизованных. Я не один раз спрашивал у людей, более знакомых с Неаполем, что означают эти фантастические фигуры. «Гаморристы, *sono della gamorra*»[115], отвечали мне, почти всегда шепотом и с суеверным страхом оглядываясь во все стороны. Я ничего не понимал и думал, что гаморра, подобно *iettatura*[116], сглазу, создание пылкой неаполитанской фантазии. Оказалось однако иначе. От гаморриста, не то что от иеттатора, не спасут вас коралловые рожки, носимые неаполитанцами на часовой цепочке для предохранения от сглаза. Тут пожалуй и рожки и цепочка вместе с часами исчезнут разом, если вы немножко зазеваетесь по сторонам. Но гаморристы и не просто воры. Я собирал повсюду о них сведения, и, так как это учреждение играет очень важную роль в неаполитанской жизни и занимает теперь всех без исключения, я сообщу вам результаты моих розысков[117].

Гаморра не шайка, не тайное общество, и Дюма в новом своем сочинении о Неаполе [118], говорит о ней очень неудачно. Гаморра – правительство ладзаронов, не подошедших, как я выше сказал, под законы, изданные правительством Бурбонов для и против других классов королевства; правительство независимое от официального неаполитанского правительства, равносильное ему, ведущее с ним переговоры от равного к равному и только что не посылающее своих агентов и посланников за границу. Виноват, впрочем: в настоящее время гаморра в правильных дипломатических отношениях с Римом. Ладзароны вынуждены были подчиниться гаморре, сначала вследствие сильно развившейся в них потребности противопоставить своим врагам какую-нибудь компактную, сколько-нибудь организованную массу. Гаморристы должны были защищать их от нападений полициоттов и сбиров, а ладзарон обязывался платить им посильную подать. Каждый квартал, каждое отдельное ремесленное общество имеет своих гаморристов. Чтобы таким способом найти в этом учреждении ограду против

гонений и притеснений полиции, ладзароны должны были стараться придать своим гаморристам особенную силу. Кто хочет сделаться гаморристом, от того требуются особенные качества: физическая сила, умение владеть оружием, пронырливость и холодная жестокость. Большая часть гаморристов, пользующихся особенной репутацией, были по несколько раз приговариваемы к галерам [119], многие бежали из тюрьмы, и один раз попав в темный лабиринт переулков Неаполя и поместившись под покровительство какого-нибудь из могущественнейших гаморристов, спокойно смеялись над усилиями полиции и ожидали удобного случая собрать себе достаточное число клиентов и сподвижников, чтобы начать самостоятельную деятельность. Гаморра тяжело лежит на плечах массы народа, живет за ее счет и кровь. Хотя обыкновенно гаморристы ограничиваются податью, не превышающей половины барыша ладзарона, но для сбора податей отправляются клиенты, которые в свою пользу берут по крайней мере половину остального, и таким образом настоящему владельцу остается

только четверть его имущества, а иногда и просто всё у него отбирается, если гаморрист очень силен и не боится народного гнева. Ладзароны, живущие дружно с гаморрой, не стесняются ничем. Они могут красть, совершать всевозможные преступления – полиция их не коснется. Если у вас украли что-либо, ни за что не обращайтесь в полицию, а ищите протекции гаморристов. Многие из них, беглые каторжники, живут теперь очень роскошно – *fanno figura*[120], как говорят в Неаполе, ездят в свет и принимают у себя. Все хорошо знают прошедшее такого господина, но никто не осмеливается ни словом, ни движением подать повод к подозрению. Мести гаморристов неаполитанцы, без различия класса и состояния, боятся пуще грома небесного. Между гаморристами есть также женщины.

Нужно, впрочем, заметить, что хотя общее правило таково, каким я его представил, но попадаются порой блистательные исключения, и о некоторых из них я скажу после. Тем не менее, гаморра остается учреждением вредным в высшей степени. Настоящее правительство, кажется, сознает это, но до сих

пор ему еще не удалось ничего сделать в этом отношении, и оно даже, чтоб ослабить одну партию гаморристов, обращалось к другой. Может быть, оно вынуждено было к тому необходимостью, но во всяком случае это подает дурные надежды на будущее. Уничтожить гаморру разом нет никакой возможности. Крутые и строгие меры ни к чему не приведут. Если бы даже перестрелять и перевешать всех гаморристов, пока правительство не приобретет полного доверия к себе народа, пока оно не заменит существующей безурядицы благоразумными и правительством исполняемыми полицейскими постановлениями, пока ладзарон не почувствует себя гражданином, и ему не представится честная деятельность, сколько не разгоняйте разбойничьих шаек, какие хотите употребляйте жестокие меры, вы не дойдете до благополучных результатов.

Замечателен следующий факт. Большинство гаморристов, так дружелюбно уживавшихся с прежним правительством, во время последней революции оказались против него, и многие из них обнаружили необыкновен-

ную, и непонятную, горячую, бескорыстную преданность итальянскому движению. Позвольте познакомить вас с двумя личностями подобного рода, — Гамбарделлой, рыбаком с Санта-Лучии, и Санджованнарой, целовательницей[121] из Старого Неаполя.

Лично я мало знал Гамбарделлу; видел его два раза или три в *Palazzo d'Angri*, где жил Гарибальди. Один раз я был представлен ему его приятелем, поручиком национальной гвардии. С неаполитанцем очень трудно познакомиться, в особенности если вы говорите с ним чистым итальянским языком. Гамбарделла стеснялся перед новым лицом; он только что вышел от диктатора и был, как говорится, не в своей тарелке. У него одна из тех резких и выразительных физиономий, которые в Неаполе встречаешь на каждом шагу и на которые, по привычке, перестаешь обращать внимание. Между тем человек этот очень замечательный. Родившийся и выросший среди разврата, который успел, конечно, несколько пристать к нему, он настолько выказал привязанности к национальному движению, что не воспользовался днями смут,

чтобы набить карман, как многие другие, но напротив употребил всю свою власть гаморриста для поддержания порядка в эти трудные минуты. Еще при прежнем правительстве он выказывался ревностным патриотом, потерпел за то много гонений и насиделся в тюрьме. При вступлении Гарибальди в Неаполь, он встретил его от лица народа и сказал при этом длинную речь на неаполитанском диалекте. Не знаю, понял ли ее Гарибальди, я же со своей стороны видел только отчаянную мимику. Оратор не мог кончить своей речи. Он с неподдельным волнением бросился на колени и поцеловал руку народного героя. После это Гарибальди имел с ним много свиданий, и между ними бывали продолжительные разговоры. Из этих-то и тому подобных разговоров Гарибальди в несколько дней успел коротко ознакомиться со страной, которую видел первый раз, но которой понял и угадал все нужды и спешил по возможности удовлетворить их административными распоряжениями.

Несколько дней после того как я познакомился с Гамбарделлой, я встретил предста-

вившего меня ему поручика национальной гвардии. Личность эта сама по себе очень замечательна. Принадлежа к мелкой буржуазии, он не получил никакого образования. Замечу мимоходом, что в Неаполе очень мало людей с этим обыкновенным образованием, которое встречаешь всюду во всех городах Европы. Там вы найдете очень хороших ученых, но конторщика для магазина найти трудно. Это происходит от того, что во всем Неаполе нет ни одной порядочной школы, ни одного из тех легких и дешевых средств образоваться, которыми мог бы воспользоваться каждый, и потому только тот, кто положил себе специальною целью образоваться, может достигнуть этого, и то если не лишен материальных средств.

Но перейдем к моему поручику. Простой и добродушный на вид, он был хитер и пронырлив, вместе с тем готов душой и телом привязаться к первому встречному. Не раз скомпрометированный перед бурбонским правительством, он почти весь промежуток времени от 1848 г. и до нового объявления конституции провел в тюрьме, откуда через посредство га-

морристов вел деятельный заговор. Едва выпущенный на волю, он вошел в сношение с рыбаками и окрестными жителями и приготавлиал их к новым событиям. При этом он сошелся с Гамбарделлой и в короткое время сблизился и подружился с ним. Одна была несчастная слабость у бедного патриота, а именно – говорить вычурно и изысканно, что ему не всегда удавалось, и иногда придавало его речам странный характер.

В этот день мой приятель был как-то особенно нахмурен: оливковое лицо его было длиннее обыкновенного, и на левой руке навязан черный креп. «Печальные вести», сказал он мне. – А что? Разве... «Да неужто вы не слышали о неприятном событии, случившемся сегодня утром с Гамбарделлой?»

Я ничего ровно не знал. Собеседник мой вытер кулаком глаза, голос его дрожал, а он не хотел выказать свое волнение. Несколько минут он не мог сказать ни слова. «*Voi conoscete la prepotenza di quest'uomo* (вы ведь знали своенравие этого человека), – сказал он с досадою, – вот оно-то его до добра не довело». Гамбарделла утром того дня поссорился с

рыбаком на Санта-Лучии. От слов дело дошло до драки; но сын рыбака, с которым ссорился Гамбарделла, мальчик лет пятнадцати, подбежал к нему сзади и всунул ему по самую рукоятку свой нож между ребер. Толпа бросилась на убийцу и на отца его, и насилу потом подошедшая национальная гвардия отбила их обоих полуживых. Гамбарделла был мертв. На следующий день многочисленная толпа проводила тело своего трибуна на кладбище. Гарибальди шел за гробом...

Другое мое знакомство, это – Марьянна (не помню настоящей ее фамилии), известная всему Неаполю под именем Санджованнары. Кто дал ей это прозвище, и что оно означает, не знает ни она сама и никто в целом Неаполе. Санджованнара – содержательница кабака, как я уже сказал выше, в одном из тесных переулков Старого Неаполя, самой запущенной и мрачной части всего города. В этом кабаке собирались гаморристы и представители различных народных корпораций. Ее посещали и неаполитанские солдаты бурбонской армии; но немцы и всякие наемники не смели и носа показать в ее заведении. Там Сан-

джованнара держала торжественные речи, возбуждала энтузиазм своих слушателей, собирала подписки, распорядилась собранными суммами, подкупала. Полиция долго терпела опасную гаморристку, наконец послан был патруль из четырех человек арестовать ее в ее же собственном жилище. И до сих пор неизвестно, куда исчез этот патруль. Положено было принять решительные меры. Был послан целый отряд, чтобы схватить кабачницу и наиболее подозрительных из ее посетителей. На этот раз исчезла Санджованнара и пропала без вести, пока не произошла революция и не переменялось правительство.

В первый раз познакомился я с этою женщиной у Д.[122], останавливавшихся в гостинице Виттория пресловутого г. Мартина Цира. Сандживаннара хотела достойно себя представить иностранному *principe*[123] и разрядилась в пух и прах. Невысокий полный стан был донельзя стянуть темным шелковым платьем. Черные волосы гладко прилизаны и покрыты громадным трехцветным платком, концы которого падали на смуглую грудь и плечи. Она уже не молода, в лице ее

много грубого, вульгарного, но оно так правильно и вместе с тем так оживлено, густые, почти синие брови шевелятся, как усики у осы, крылья носа подвижны и ни на минуту не остаются в покое, – всё это вместе представляет чрезвычайно гармоничный ансамбль, и понятно, что в молодости женщина эта находила достаточно поклонников. В защите или покровительстве другого Санджованна не нуждается. Она носит всегда при себе свой калабрийский стилет и владеет им лучше любого гаморриста. Ей сопутствовал широкоплечий, дюжий юноша без усов и бороды, гордо посматривавший на всех и каждого и самодовольно улыбающийся, замечая то впечатление, которое производила на других его покровительница.

Я набрасывал в альбом княгини Д. портрет Марьянны и всеми силами старался занять ее и воодушевить каким-нибудь разговором. Она конфузилась и подавалась очень неохотно. Это было тотчас по приезде в Неаполь короля Виктора-Эммануила. Вечером было назначено какое-то празднество, и я, истощив весь запас своей изобретательности, не на-

шел ничего лучше как спросить, пойдет ли она на этот праздник. В ответ, Санджованна-ра провела четыремя пальцами правой руки у себя под подбородком и щелкнула языком, что на немом неаполитанском наречии значить нет, или вообще отрицание.

Продолжая разговор на эту же тему, я всевозможными иезуитскими уловками довел наконец почтенную гаморристку до того, что она несколько высказала свой образ мыслей о последних событиях. Она сильно склонялась на сторону неаннексионистов[124].

– Однако же вы вотировали *да*, – сказал я ей.

– Конечно, потому что этого хотел *babbo* [125].

Я удивился такой дочерней покорности Санджованна-ры, которой вовсе не ожидал в ней встретить. Но оказалось, что *babbo*, не кто иной как – Гарибальди.

– Но если *babbo* желал немедленного присоединения, вероятно он признавал его необходимым для благополучия Неаполя.

– Разумеется, *babbo* не сделал бы дурного; да ведь мы и рады, и ни слова не говорим

против этого. Того же мы все и добивались, чтоб Италия была одна, и король бы один в ней был. А теперь вот носятся слухи, что король нам все новых своих посадит, а Галубарда[126] уехать должен отсюда. А согласитесь, ведь: как же Неаполю теперь без Галубарда быть? Впрочем, ведь вы, эччеленца[127], это лучше знаете, прибавила она, как будто раскаиваясь в том, что увлеклась на несколько времени. А мы люди темные, говорим, что слышим.

В другой раз я видел Санджованнару в ее кабаке: там это была другая женщина. Костюм ее был гораздо менее изыскан, но за то несравненно лучше шел к ней; он состоял из гарибальдийской красной рубахи с засученными рукавами, и из какой-то неопределенного цвета юбки; на голове был шелковый же трехцветный платок, а из-за пояса торчал стилет в деревянных некрашеных ножнах. Впрочем, о втором моем с ней свидании я намерен подробнее рассказать в другом месте [128].

Я привел вам эти два примера для того, чтобы показать, как иногда среди того раз-

врата, в который погружены низшие классы неаполитанского народонаселения, попадают всё же личности с искренним желанием действовать на пользу тех же своих сограждан, которых, в силу давно установившейся привычки, они не считают позорным грабить.

Кончу тем, с чего бы мне следовало начать. Под рубрикою «Тоскана и Неаполь», я намерен по временам знакомить публику с жизнью этих двух провинций Италии. Я выбрал именно эти две области, потому что, во-первых, я их знаю лучше остальных частей Италии, а во-вторых, потому что они представляют две совершенно противоположные фазы развития. Тоскана, с ее блестящим прошедшим, с ее кроткими и трудолюбивыми жителями, страна промышленности, и Неаполь, с его буйными ладзаронами, готовыми на всё, даже поработать полчаса, чтобы продолжить сладкое *farniente*[129], долго еще будут жить своеобытною отдельною внутреннею жизнью, какое ни затевайте административное единство. Лишь когда сгладятся эти особенности, тогда единство Италии будет вполне совер-

шенным, тогда только начнет существовать итальянская нация; а до того, может быть только итальянское правительство, итальянское войско (и его много нужно будет для достижения предполагаемых результатов), да еще разве итальянская всемирная выставка, предполагающаяся во Флоренции к сентябрю [130].

С этою целью уже начаты большие работы. Вокзал железной дороги переделывается в галереи для выставки; мастерские художников наполняются произведениями, предназначенными украшать эти галереи. Содержательницы *appartements garnie*[131] и табльдотов видят во сне несчетные толпы рыжебородых англичан, наперерыв бросающихся на каждую дверь, на которой виднеется заветный ярлык. Щедрость и сплин на их британских лицах; гинеи и франческоны[132] в отдутых карманах.

Даже моя старая хозяйка, синьора Роза, начинает забывать блаженные времена Леопольда[133], и несколько ласковее выбивает пыль из фланелевой красной рубашки: кум ее обещал ей к сентябрю доставить отборную

пару длинных англичан, или по крайней мере русских простаков, приехавших лечить от мороженные ими в Сибири носы и за одно уже посмотреть *battistero S. Giovanni*[134], Кашины[135], и что еще попадет под руку.

Гарибальдиец[136]

Из Италии

Сиена, 4 февраля

Сиена, в древности называвшаяся *Siena Julia*[137], в настоящее время между жителями всей остальной Италии пользуется более характеристическим прозвищем – воровская Сиена (*Siena di birbanti*[138]). Если бы о ней пришлось делать повальный обыск, то я не думаю, чтобы многие из соседей ее отозвались благоприятно о нравственности ее жителей, об удобстве жизни в ней, о красоте и великолепии улиц и зданий. «Кто хочет делать всё, что ему вздумается, тот должен отправляться в Сиену», – говорят жители Средней Италии, из которых бóльшая часть никогда не бывала в этом городе; несмотря на это, я не поручусь, чтобы каждый из них стеснялся в своих поступках какими бы то ни было

великодушными соображениями.

Сенезы, с своей стороны, очень добросовестно отплачивают своим недоброжелателям за клеветы, распространяемые ими на счет их отечества по всему земному шару.

С точки зрения великолепия и внешней роскоши город этот представляет очень немного замечательного. В Сиене нет ни одной сколько-нибудь прямой и длинной улицы, ни одной большой и хорошо обстроенной площади, которую можно было бы принять за центр. Конечно, гористое положение много способствовало неправильности ее плана. Как большую редкость, в Сиене показывают путешественникам дом, или «*palazzo*», как его великолепно называют здешние чичероне, принадлежащий какому-то богатому купцу; единственное право, которое может иметь это здание на внимание публики, составляет его молодость в сравнении со всеми другими, украшающими или уродующими этот невинный город. Дом этот гордо стоит, сверкая чистотою своих недавно еще выкрашенных стен; но на его причудливый вид и на сомнительный стиль его архитектуры как-

то презрительно смотрят почерневшие, рас-
треснувшиеся и покосившиеся набок окружа-
ющие его здания, гордые многочисленными
победами, одержанными ими в разные вре-
мена над общим врагом всего земного – над
разрушением. Большая часть из них и в са-
мую цветущую эпоху своей молодости не по-
ражали ни гармонией форм, ни изяществом и
роскошью деталей, но все они давали приют
великим мужам, геройским защитникам сла-
вы и величия отечества, отживших теперь,
как отжили и эти бородатые мудрецы и ши-
рокоплечие воины.

Но Сиена город итальянский, а потому и в
ней найдутся чудеса архитектуры и других
искусств, которыми гордится город этот, как
лучшими перлами своего неблестящего вен-
ца. И в ней есть собор, о котором много томов
написано учеными археологами, отличавши-
мися громадной ученостью, еще большим
терпением, а паче всего ничем непоколеби-
мой любовью к родине, – не к той великой ро-
дине, которая так недавно еще успела стать
самостоятельной личностью в Европе, после
многих тяжелых страданий, геройских подви-

гов и невозможных успехов; а к тому крошечному уголку, в котором они родились, к той кофейне, где они выпили несколько тысяч пуншей в течение своей долголетней жизни.

Но я напрасно искал в этих художественных произведениях проявления характера жителей, мысли, которую хотел выразить художник этими громадными и часто роскошными формами.

Но везде, во всем видно только одно преобладающее чувство: затмить хотя бы художественную славу ненавистных своих соседей флорентийцев. Для этого одного Сиенская городская община издерживала последние свои средства на покупку каких-нибудь мраморных украшений для собора, или на постройку новой галереи или лоджии. К сожалению, не говоря уже о том, что средства, которыми обладала эта маленькая республика в самые лучшие годы существования, не могли соперничать с флорентийской общиной, обогащенной торговыми оборотами, – самая почва Сиены не была щедра на гениальные натуры: сколько ни изведено в ней камня, кирпича и разноцветного мрамора, Брунеллески и Мике-

ланджело не нашлось.

По части живописи и скульптуры участь Сиены была малым счастливее; музеи ее – бедны и пусты: Пинтуриккио и Беккафуми [139] – два из лучших Сиенских живописцев, выбивались из сил, расписывая плафоны и портики ее церквей, но произведения их обладают слишком относительными достоинствами. Содома [140], считаемый лучшим местным мастером, превзошел всех их правильностью рисунка и колоритом, но всего больше самостоятельностью своей художественной деятельности. И он не был чужд повальной болезни века – ненависти к флорентийцам, но он оставлял палитру и кисти на время ее припадков и отправлялся в лагерь, где наподобие древних богатырей затевал единоборства, предводительствовал смелыми выходками и снова принимался за работу, утолив свою воинственную жажду, забывая флорентийцев и проч. Содома – любимый герой Сиенских преданий: он писал стихи, строил укрепления, и о нем рассказывается очень много анекдотов, не всегда правдоподобных, но выказывающих в самой высшей степени

их проявления мужество и великодушие сенезов. Вазари отзывается без особенного уважения об этом художнике, который однако должен занимать одно из первых мест между знаменитостями своего века. Я вовсе не намерен вдаваться в оценку его произведений. Эта археологическая, мертвая Италия много веков стоит уже, нисколько не изменяясь, и давно слишком хорошо эксплуатирована для того, чтобы о ней можно было сказать десять слов, не вдаваясь в очень скучные повторения.

Я охотно заключил бы свои художественные сообщения какой-нибудь многозначительной выпиской из Вазари, или из какого-нибудь другого, столько же почтенного автора, но не делаю этого по совершенно независимым от меня причинам. Так или иначе, но я намерен оставить в покое все эти художественные чудеса, о которых начал говорить только для того, чтобы указать на очень характерную особенность Сиены в этом отношении: во всем городе нет ни одного произведения иностранных, а в особенности флорентийских художников, тогда как по

близости этих двух городов, можно было бы ожидать встретить в ней эти крошки флорентийского величия, такой щедрой рукой рассыпанные в других городах, далее отстоящих от Флоренции, но не бывших с нею в таких отношениях вражды и соперничества, как Сиена. Оригинальность города, конечно, много выигрывает от этого, но зато она так бедна всякого рода памятниками, а в особенности художественными произведениями, что мало привлекает к себе любопытных.

В Сиене несколько не чувствуется близость Флоренции. Несмотря на общее им этрусское происхождение, на одинаковый тип жителей и на большое сходство в говоре, города эти, из всех городов Италии, всего менее похожи друг на друга. Кроме исторической причины, тут очень важную роль играет и то, что Флоренция, в течение последнего времени, жила почти исключительно иностранцами и для иностранцев, что она много переработала свою жизнь сообразно их требованиям и наклонностям, тогда как Сиена и до сих пор живет исключительно для себя, так как она в себе самой вынуждена искать ре-

сурсь. В ней и в подобных ей городах открывается совершенно новая Италия, итальянская Италия, как следовало бы ее назвать в отличие от Италии *форестьеров*[141], так хорошо уже известной и русской, и всем другим иностранным публикам. Во всякое другое время очень трудно было бы что-нибудь сказать об этом городе, но теперь в Италии то блаженное время, когда всякий отдаленный уголок ее представляет очень живой и существенный интерес, и представляет его тем больше, может быть, чем он отдаленней от общеевропейского сглаживающего влияния. С этой стороны Сиена представляет очень богатый источник, несмотря на бедность и на политическую незначительность своего положения.

Впрочем, назвать ее бедной можно только очень осмотрительно, так как в сохранной кассе этого города *Monte dei Paschi*[142] лежат, говорят, капиталы, на которые, по словам Сиенских же жителей, можно купить несколько таких городов, как Сиена. Капиталы эти так же мертвы, как и их владельцы, потомки очень аристократических и очень знамени-

тых когда-то фамилий, похороненные теперь в своих загородных виллах или в городских домах, чуждающиеся всего живого, равнодушные ко всему, делающемуся вокруг них, так что их также смело можно не считать в общей цифре городского народонаселения, как и праотцев их, мирно сгнивших под тяжелыми мавзолеями *Campo Santo*[143]. В обращении же тут так мало капиталов, торговая и промышленная деятельность так ничтожна, что купец, имеющей лавку бакалейных товаров в одном из менее кривых переулков, играющих роль главных улиц, считается здесь богачом.

Живое народонаселение Сиены делится на два класса, которых численность я не могу определить даже приблизительно. Первый из них люди работающие, второй – живущие за счет первых. Городские работники, поденщики, пролетарии составляют первый; второй: попы, монахи, отставные адвокаты и прокураторы, известные под общим названием *кодинов*[144], за свою вовсе небескорыстную преданность старому порядку.

Сиена мало пользовалась выгодами вели-

ко-герцогского правления; до нее не доходили отблески величия и роскоши двора, составившего вовсе не ничтожный источник дохода для Флоренции. Жители, правда, не были угнетены обременительными налогами, монахи и духовенство законно пользовались трудами других, но труд был стеснен, работник отдан в руки собственника. Монахи и попы горько оплакивают теперь свою потерю; собственники, вотировавшие большей частью за присоединение, теперь косятся на новый порядок и ворчат против него; но, благодаря старой своей привычке стоять только за выигранное уже дело, они не высказывают открыто своего неудовольствия; выставляют трехцветные флаги из окон при всяких торжественных случаях, но только никак не решаются называть новым именем *Piazza Vittorio Emanuele* свою старую площадь *del Campo*[145].

Всего же неблагоприятнее они смотрят на поднявшего голову пролетария. Эти последние более всех благосклонно относятся к настоящему. Стены домов все обклеены бумажками с портретами Виктора-Эммануила и

с надписью: «*Viva Vittorio Emanuele, primo Re d'Italia*»[146], но вовсе не стараниями владельцев этих домов, или жильцов из лучших этажей. Часто, в день какой-нибудь годовщины пять этажей большого здания остаются совершенно спокойными и хладнокровными зрителями уличного торжества, но в окнах чердака пышно развеваются трехцветные лоскутки, часто бумажные платки с портретами короля и Гарибальди; мальчишки и взрослые целую ночь ходят по улицам, громко распевая народные гимны и всякие вновь сложенные патриотические песенки своими звучными, мужественными голосами. (В виде примечания: Сиена славится певцами и большая часть итальянских теноров и баритонов отсюда родом.)

Между тем налоги нисколько не уменьшены новым правительством, за исключением очень немногих. Водворение его стоило много жертв, которые главным образом вынесли на своих плечах эти трудолюбивые герои. Они даже и ждут новых денежных пожертвований, более всего для них тяжелых, а жизнью, конечно, каждый из них готов пожерт-

зовать родине и святому делу.

Мелкая буржуазия поставлена счастливее их на этот раз, и ее преданность национальным идеям находит больше очевидных объяснений. Торгуя по преимуществу туземными произведениями, содержатели мелочных лавок ничего не потеряли от введения пьемонтского таможенного тарифа; а между тем они избавились от полиции, притеснявшей их по преимуществу и жившей на их счет, точно также, как от многих, очень стеснительных для них благочестивых постановлений и от отеческой власти епископов и их викариев. Они несут, правда, теперь более сильные государственные повинности, но слишком вознаграждены за это уже одним введением общей для всей Италии французской монетной системы, взамен прежней, тосканской, очень запутанной и представляющей смешение римской и какой-то неведомой остальному миру. Кроме всего этого, лавочник уже достаточно вознаграждается, если подать, платимая им, простирается до суммы 40 франков в год, правом избирательства представителей в парламент. Гордость его очень сильно по-

льщена этим, с непривычки считать себя вполне гражданином, зависящим только от закона и от избранного им самим правительства. Правительство не оскорбляет его своим постоянно высказываемым к нему недоверием; напротив, оно дает ему в руки оружие, твердо убежденное в том, что он употребит это оружие на его же собственную защиту. И, конечно, оно не ошибается на этот раз. В Италии национальная гвардия несравненно лучший оплот существующего порядка, нежели даже регулярное войско, которому она однако же очень стремится подражать.

Сиена один из городов, мало привыкших к хорошей и добросовестной полиции; здесь и теперь еще в большой моде стилеты и всякие подобные ужасы. Самоуправство, сильно развитое в южных провинциях полуострова, в Средней Италии почти также глубоко пустило корни. Не говоря о дурных его сторонах, которые до известной степени могут повредить водворению здесь *самоуправления* (*self-government*), я замечу только, что оно способствовало водворению здесь какой-то особенной склонности к военным и гимнастиче-

ским упражнениям в самом мирном классе народонаселения, а потому это войско, составленное из сапожников и булочников, аптекарей и пр., не представляло здесь столько карикатурного, как в более спокойных странах Европы. Итальянская военная дисциплина, очень строгая и не во всем разумная, сколок с французской и с австрийской – двух слишком противоположных одна другой – применяется к национальной гвардии с большей осмотрительностью. Некоторые статьи военного устава, предоставляющие слишком широкое поле деятельности личному произволу обер и унтер-офицеров и служащие в регулярном войске поводом к злоупотреблениям с одной, и к неудовольствиям с другой стороны, на национальную гвардию производят совершенно противоположное действие, так как здесь офицеры избираются рядовыми и пользуются вполне их доверием. Не выводите только, пожалуйста, чтобы из этого общего правила не было исключений, иначе вам многое в моих письмах может показаться противоречием мною же сказанному.

Национальная гвардия имеет еще и ту,

очень значительную выгоду, что не приносит ущерба государственному бюджету, и что повинность эта несравненно охотнее переносится гражданами, нежели все другие.

Проект Гарибальди – уменьшения постоянного войска и увеличения национальной гвардии батальонами волонтеров, которые должны быть мобилизуемы, для того, чтобы лучше привыкнуть к исполнению своих обязанностей, *pour s'aguerrir*[147], был очень хорошо принят всей Италией. Министерство однако же привело его в действие только в Южной Италии, и то вынужденное необходимостью; а какая была эта необходимость, вы, конечно, знаете по газетам. Министерство слишком придерживается регулярного войска – это его характеристическая черта, о которой мне вероятно не раз еще придется говорить и при более удобном случае. Однако же и оно признало очень полезным мобилизацию существующих уже батальонов, хотя может быть и не без задней мысли. Так ли или иначе, мера эта была принята с радостью. Мобилизируют обыкновенно только батальоны, составленные из лиц, принадлежащих к со-

лидарным батальонам, но изъявивших желание быть мобилизуемыми. Таким способом молодым людям доставляется возможность с очень небольшими средствами ознакомиться с одноплеменными, но мало известными им провинциями. Многие из них, отправляясь в город, отстоящий на несколько сот миль от их родного города, словно предпринимают путешествие в неведомые страны, и также встречаются там. Явившийся прошлой зимой во Флоренцию неаполитанский батальон произвел там сильнейшее впечатление, нежели сиамское посольство в Париже. Они действительно казались иностранцами в этом итальянском же городе; говор их понимали с трудом и особенно дивились их энергической жестикуляции; самые лица их, правильные, напоминающие античные типы Великой Греции, странно отличались от этрусских физиономий их амфитрионов[148].

Национальная гвардия во всех провинциях Италии, за исключением разве Флоренции и ее окрестностей, где не представилось на это возможности, успела уже оказать очень важные услуги Италии, несмотря на очень

недавнее свое существование во вновь присоединенных провинциях.

Однако самые низшие классы итальянского, а следовательно и Сиенского народонаселения, не входят в состав национальной гвардии, а еще большее число не пользуются даже правом голоса при избирании депутатов в парламент. Мне бы едва поверили, если бы я сказал, что привязанность их, так недвусмысленно ими высказанная, к новому порядку и к новому правительству совершенно бескорыстна.

Масса едва ли знает бескорыстные привязанности. Несмотря на то, что статут короля Карла-Альберта не предоставляет никаких прямых выгод низшим классам, не платящим податей 40 франков в год, каждый работник, каждый поденщик чувствует на себе его благое действие. Статут этот дозволяет всем без различия гражданам государства полное право составлять какие бы то ни было ассоциации или общества на благо общее столько же, сколько и для устройства быта отдельных классов и корпораций, конечно, только не на счет выгод и интересов ближнего. Таким об-

разом, ограждая и защищая собственность, итальянское правительство дает полную возможность работничьим корпорациям выйти из их тяжелого состояния, угнетения и рабства, и стать вполне гражданами и свободными производителями. Это единственное здесь учреждение в пользу пролетария; но оно стоит многих, и одно привязывает на долгие времена самую беспокойную часть народонаселения края к правительству. В конце прошлого декабря в парламент представлена была просьба с очень большим количеством подписей, для предоставления не платящим 40 франков податей права избирательного голоса. Исполнение этой просьбы впоследствии может привести к очень хорошим результатам, но при настоящем положении рабочих классов оно не представляет особенной важности.

Тоскана по преимуществу страна трудолюбивая; Сиена по преимуществу город пролетариев, а потому провинция эта первая воспользовалась предоставлением возможности учредить рабочие братства и другие подобные ассоциации, и жизнь этого города очень

много выиграла от их учреждения. Учредившееся здесь общество взаимного вспомоществования между ремесленниками в развитии своем пока еще отстало от подобных же учреждений в других городах Италии, но оно вероятно не замедлит опередить многие из них, потому что нигде оно не имеет столько важного для жизни целого города значения.

Главам и основная цель этих братств – освободить жизнь работника из-под постоянно давящей его возможности нищеты и из-под зависимости от покупателя его произведений, от случайности. Они следят за нравственным развитием рабочих, заботятся о просвещении их; учреждают бесплатные школы; раздают денежные вспомоществования на случай крайности, но с большим разбором и в таких только случаях, если крайность эта не вызвана дурным поведением работника.

Сумма, вносимая членами братства, очень незначительна – 20 сантимов в неделю, около 40 копеек серебром в месяц, но при большом количестве членов, она составляет значительный капитал для братства. Члены с своей

стороны, уделяя очень незначительную часть своих заработков, обеспечивают себя против всякого рода неожиданностей и неблагоприятных случайностей.

Нечего и говорить, что прямым результатом действий этих братств будет развитие народной промышленности и очень тесное сближение между народонаселениями различных провинций Италии. К сожалению, средства, которыми пока обладают они, очень еще незначительны, и в Сиене меньше, чем где-либо. До тех пор, пока не учреждены будут магазины или склады, куда каждый будет иметь право приносить продукты своей деятельности, получая за них тотчас же, по оценке их присяжными, надлежащую плату, — жизнь городского работника далеко не будет представлять той солидарности, которую имеет жизнь земледельца. Но *chi va ripiano, va sano*[149] могут сказать себе в утешение Сиенские рабочие.

Так недавно еще жизнь их представляла самую жалкую и печальную картину; только недобросовестностью могли они выбиться, хотя сколько-нибудь, из своего безвыходного

положения. 99/100 всего числа были даже безграмотны. А теперь во Флоренции читаются уже для них публичные лекции политической экономики, и, что всего удивительнее, читаются так, что их может понимать даже безграмотный: так сумел упростить эту запутанную и полную софизмов науку скромный профессор, укрывающийся громким псевдонимом *Niccolo Savio* (Николай Мудрый).

А между тем одна из главных причин бывшего жалкого состояния ремесленных классов еще не устранена.

Не только дурное административное состояние было причиной дурного положения ремесленных классов в Тоскане, а в особенности их грубого невежества. Другая, и столь же важная, – это то великое, но вместе с тем тяжелое и подавляющее прошедшее, которое лежит на этой стране. Тосканцы, бывшие в разные века передовым народом Италии, а иногда и Европы, очень гордятся этим, и на основании этого одного считают себя и теперь еще самым просвещенным племенем в мире. Но они забыли, чем тогда им далось просвещение, забыли, что их счастливые вре-

мена прошли, что если преданием и сохранилась в них их прежняя цивилизация, то самая эта цивилизация отжила уже слишком давно, что если Данте и создал жизнь целых веков, то только двух, следовавших им веков и, наконец, что Данте был великий человек не потому, что происходил от этрусков. Перевод Крылова басни о гусях мог бы быть здесь очень полезен[150]; но пока басня эта еще не переведена, ремесленные братства встретят очень много препятствий к достижению своей цели. Однако же они смело принялись за дело. В течение этого января во Флоренции открыты ими вечерние школы, постоянно полные учениками всяких возрастов. Торжественное открытие их было 12 января, причем президент, булочник Дольфи[151], говорил очень длинную речь, встреченную громогласными рукоплесканиями.

Ремесленные братства всех городов Италии тесно связаны между собою и представляют одну народную ассоциацию, почетным президентом которой Гарибальди. В Генуе находится центральный комитет, называемый *Comitato del provvedimento*, управляющий об-

щими делами всей этой ассоциации. Братства каждого города имеют своих отдельных президентов и управляются заседаниями, на которых все члены имеют равное право голоса. Заседания эти бывают каждое воскресенье, — день, когда ремесленники совершенно свободны от своих ежедневных занятий. На них избираются, общей подачей голосов, кассиры, по одному на каждую букву азбуки, иногда по два, если какой-либо одной буквой начинаются имена слишком большого количества членов. Общество имеет одного секретаря и несколько ценсоров и визитаторов, которых число не определено, и которых обязанности состоят в том, чтобы, в сообществе доктора, свидетельствовать членов, оказывающихся больными и требующих вспомоществования. Ценсора определяют меру этого вспомоществования, простирающегося до VA франка для взрослых и 75 сантимов для не достигших 15-ти лет и платящих в неделю 10 сантимов, вместо 20. Каждый член братства получает от кассира книжку, в которой отмечается получение от него еженедельной платы, точно так же, как и выдаваемое ему вспомоществова-

ние. Не платящий в течение 4-х недель лишается права на вспомоществование, а не платящий 8 недель исключается из братства, если не внесет сразу половину должной им суммы.

В братствах этих участвуют не только поденщики и ремесленники, но и художники, адвокаты, университетские профессора – «работники мысли» – доктора и медики, – все принимаются очень охотно и пользуются даже особенным почетом. В Сиене, в настоящее время, место президента занимает проф. Аквероне, особенно отличившийся своими унитарными наклонностями во время предшествовавшей последней революции, тогда как большая часть его сотоварищей сильно подавалась на сторону *status quo*.

Сиенское ремесленное братство, вынужденное нетерпящими отлагательства обстоятельствами, взяло инициативу в деле учреждения комитетов снабжения или *предусмотрительности* (*comitati di provvedimento* >); братства других итальянских городов пока еще не последовали его примеру, может быть потому, что другие города не так нуждаются в подобных учреждениях. В Сиене, благодаря ее

отдаленному от какого бы то ни было коммерческого центра, и изолированному положению и плохому состоянию дорог, цены на самые необходимые для ремесленников предметы подвержены очень сильным изменениям, в ущерб этим умеренным потребностям. Предметы, продающиеся оптом, закупаются, обыкновенно, немногим числом людей с капиталами, которые, при назначении им цены, при мелочной продаже, соображаются всего более с мерой необходимости их товара для покупателя, что совершенно в правилах политической экономии, но очень стеснительно для покупателей, тем более, что при ограниченности находящихся в обращении капиталов, здесь нет места для конкуренции. Цены на произведения окрестных деревень еще более подвержены случайностям. Чтобы оградить своих членов от подобных неудобств, здешнее ремесленное братство сочло нужным завести склад всех этих продуктов, из которого члены его могут иметь их по однажды установленной, очень умеренной цене. Деньги, необходимые на это предприятие, должны были быть набраны из продажи

нескольких тысяч акций, по 1 франку каждая. Пока еще сумма эта не собрана, и предприятие существует в виде проекта. На одном из последних заседаний какой-то из членов, очень почетной наружности и одетый не как простой ремесленник, предложил просить вспомоществования у правительства, что тотчас же было отвергнуто всеми другими.

Кроме всех этих ассоциаций, в Италии очень распространены патриотические комитеты (*Comitati dell'Unità Italiana*). Цель этих ассоциаций – в очень неопределенной форме внутреннее единство королевства; напечатанные ими программы очень красноречивы, но туманны, и из них немного можно заключить о направлении этих комитетов. Они, впрочем, и не имеют одного, общего направления. Начались они с давних пор, в то время еще, когда мысль о единстве Италии была преступлением на большей части полуострова; тогда, конечно, существовали они в виде тайных обществ, были в тесной связи с Пьемонтом и с главными деятелями народного движения, которое они сами подготовляли всеми зависящими от них средствами. Тогда

состояли они из очень небольшого числа людей, горячо преданных унитарным идеям, не имели никакого правильного устройства, но действовали с большим единодушием на общую пользу, не жалея ни усилий, ни издержек. Во Флоренции булочник Дольфи, о котором я говорил уже, был главным центром, вокруг которого собирались все, желавшие сколько-нибудь содействовать приближавшемуся перевороту. Он и теперь остался президентом всех тосканских комитетов, имеющих, как и ремесленные братства, своих президентов в каждом городе.

За тем комитеты эти в освободившейся уже чести Италии увеличились, так как уменьшилась опасность, висевшая прежде над каждым, бывшем с ними в каких бы то ни было отношениях. Все сколько-нибудь зажиточные люди считали своей обязанностью принадлежать к резидирующему[152] в их городе комитету, хотя участие большего числа их членов ограничивалось аккуратным внесением в кассу ежемесячной платы (по 1 франку) и частными экстренными денежными пожертвованиями. Трудями некоторых,

особенно деятельных, и на суммы, пожертвованные остальными, в Тоскане была организована бригада волонтеров, которой печальная участь во время командования ею полковника Джованни Никотера[153] вам, вероятно, известна. В Генуе, бывшей главным центром комитетов, образовано было две бригады, потом раскассированные по приказанию правительства, и отправленные отдельными партиями и обезоруженные в Сицилии, в непосредственное распоряжение ее тогдашнего директора.

Но едва прошли эти тревожные времена, деятельность комитетов итальянского единства потеряла свою прежнюю энергию и определительность, и их единодушие и согласие прошли также, на время может быть, пока снова обстоятельства не представят им более широкую и ровную дорогу. Во многих городах Италии они стали главным оплотом и рассадником оппозиции. Эти вошли в открытые сношения с Мадзини, и ходатайствовали в особенности о дозволении ему возвратиться на родину и о снятии с него смертного приговора. Министерство и вся приверженная ему

партия вследствие этого возненавидела их всей силой своих душ и помыслов; журналы, получающие *вспомоществование* от кабинета Рикасоли[154], наполнялись статьями против этих утопистов, мадзинистов, доктринеров, красных и пр. Некоторые из них, в слепом своем рвении, дошли до того, что объявили эти комитеты проданными Австрии, забывая, что имя их почетного президента Гарибальди должно бы было достаточно оградить их от подобного рода нападков: *Blinde Eifer schadet nur*[155]. Нечего и говорить, что ни сами обвинители, ни их приверженцы вовсе не верят в истину своих слов.

О деятельности этих комитетов можно бы было сказать очень многое, но только не здесь, так как Сиенский не принадлежит к их числу.

О направлении собственно Сиенского комитета говорить трудно, так как он состоит из небольшого числа тех, которые не имеют никакого направления. Как и следовало ожидать от города, в котором так мало развита умственная жизнь, комитет этот существует больше для формы, нежели для чего-либо дру-

того. Нельзя же в самом деле итальянскому городу оставаться без комитета. Напечатав в начале настоящего года очень запутанную программу, из которой меньше всего можно заключить что-либо о предстоящей их деятельности, члены его занялись очень интересными вероятно для них домашними распрями и взаимным обменом любезностей и комплиментов со стороны членов и распорядителей.

В первом заседании настоящего года я был представлен туда одним из членов. Заседание это было в очень невеликолепной зале дворца *dei Rozzi*[156], единственного здания в Сиене, гостеприимно растворяющего свои двери всякого рода публичным собраниям, не разбирая ни цели их, ни содержания. Оно заслужило особенное уважение всех сколько-либо благосмыслящих жителей Сиены, так как в его стенах сосредоточиваются все разнообразные увеселительные и торжественные учреждения этого города; в нижнем этаже театральная зала, где народный герой Стентерелло[157] поражает публику огненным потоком своего остроумия; в верхнем этаже бильярд,

игорные комнаты, и наконец всего более знаменитая зала *dei Stuchi*[158], где каждое воскресенье по утрам собираются Сиенские *patres conscripti*[159], а по вечерам веселые толпы студентов, магазинных приказчиков, пользующихся случаем посидеть на одной софе со своими хозяевами, и вообще лица всех сословий, с единственным условием, чтобы они были прилично одеты, а в Италии вообще и в Сиене в особенности подобная оговорка вовсе нестеснительна. Предмет этих разнообразных вечерних собраний игра в *lotto tombola*[160], совершаемая с приличной случаю официальной торжественностью. Зала эта не поражает красотой и роскошью убранства и может вместить себе до 1000 человек, если 500 из них решаться уставить или усесться на плечи остальных.

В одиннадцать часов утра, в первое воскресенье текущего января, я вошел в эту залу, где отдельными группами стояли и сидели человек около шести отборных граждан города; в дверях не было и подобия швейцара или сторожа, хотя в сенях красовалась маленькая будка с большими окнами и с надписью

очень четкими буквами: *Custode*[161].

«Скажите, пожалуйста», обратился я к одному из членов, которого физиономия показалась мне всех больше сообщительною, и мучимый тем, что меня никто не спрашивает, по какому праву я сюда забрался: «кому я должен представить этот билет?»

Член поговорил со своими сотоварищами.

– Никому, – отвечал он мне очень учтиво, делая вид, будто приподнимает на голове свою шляпу.

«Таким образом я не рискую по крайней мере ошибиться», подумал я про себя.

Между тем еще человек 5–6 вошли в залу и разместились на расставленных вдоль стен диванах и стульях. На одном из концов залы, за столом, покрытым зеленым сукном, под гипсовым бюстом короля, украшенным двумя итальянскими флагами, уселся президент и по обеим его сторонам по два старика, очень седых и очень хилых. Из них один только живописец Муссини[162], директор здешней академии художеств, был мне знаком. Президент снял шляпу и заседание открылось. Комитет имеет двух секретарей, но из них ни

одного не оказалось на лицо, а потому президент попросил одного из членов исправлять на время этого заседания секретарскую должность. Какой-то господин, во цвете лет и в очень хорошеньком пиджаке, торопливо вскочил со стула и сняв шляпу, уселся налево от старичков, сидевших налево от президента. Минут пять продолжалась довольно упорная борьба любезностей: президент упрашивал импровизированного секретаря надеть шляпу, тот великодушно отказывался от этого вежливого предложения и наконец победил противника, то есть оставшись без шляпы, принялся читать *processo verbale*[163] предыдущего заседания, бывшего гораздо интереснее того, на котором я присутствовал, и даже многих других, на которых мне присутствовать не случилось. Это предыдущее заседание было одно из самых замечательных заседаний Сиенского унитарного комитета: на нем было решено учреждение на счет комитета вечерних классов для ремесленников, так как ремесленное братство не имело возможности само этим заняться.

Классы эти разделены на два разряда: один

для ничего незнающих, другой для знающих очень мало; но в состав их обоих входят только предметы самой строгой необходимости, как, например, грамота, арифметика и пр. Об учреждении этих классов было объявлено еще прежде через посредство маленького воскресного листка, издаваемого комитетом для простого народа. Издание это стоит быть упомянутым: статьи в нем написаны очень удобопонятно и с большим толком, так что из них самый необразованный ремесленник может приобрести совершенно удовлетворяющие его сведения о внешней и внутренней политике дня. Продается он по всем доступной цене – по 1 сантим (1/4 копейки серебром) за лист.

Кроме политического обозрения, газета эта печатает разные нравственные статейки, за которые впрочем нельзя особенно похвалить ее редакцию. Мне кажется, что цель была бы лучше достигнута, если бы вместо их читателям доставлялись научные сведения, часто очень для них необходимые. Я говорил об этом с одним из членов комитета – дирижующего, как я сказал уже, это издание; он объ-

явил мне, что они так боятся теснее познакомиться народ с отечественной историей, что решились вовсе не помещать статей научного содержания, так как в таком случае читатели живо почувствовали бы недостаток именно этой их отрасли и могли бы обвинить за это редакцию.

Страх этот очень понятен в Италии, где гордый поденщик слишком хорошо знаком с историей своего города, понимаемой им по-своему; а из этого выходят очень неутешительные последствия, о которых я говорил выше. Комитету, имеющему целью слитие в одно политическое тело всех провинций полуострова, конечно не кстати бы было напоминать те времена, когда все они были заклятыми врагами друг другу. Но с другой стороны, знакомя народ с историей всей Италии, а не только их отечественного города, выставляя ему постоянно на вид то зло, которое было порождено этими мелочными ссорами, разъясняя ему великие мысли героев итальянской народности и показывая ему тут же насколько они выше пресловутых квасных патриотов, не видящих ничего за пределами

того маленького уголка, в котором они родились, – мне кажется, можно бы было добиться совершенно противоположных результатов.

Но как ни неполны и несовершенны эти попытки народного образования, нельзя не пожелать им самого полного успеха, тем более, что это лучшая часть деятельности Сиенского патриотического комитета, проводящего остальное время в ссорах и занятиях в роде тех, которых мне пришлось быть свидетелем.

Скажу мимоходом, что их самое рутинное дело – вспомоществование римским и венецианским эмигрантам и инвалидам гарибальдийского войска, которые до сих пор не получили еще ничего от установленного ими правительства, кроме самых блестящих надежд на будущее.

Я несколько не отрицаю пользы, приносимой Италии вообще и этим несчастным в особенности щедротами комитетов; но с трудом понимаю, как могут итальянцы двух неосвобожденных еще провинций считаться эмигрантами в других, счастливее поставленных частях своего отечества. Итальянское правительство, вынужденное конечно необходимо-

стью, поступает довольно круто со своими *неприсоединенными еще* подданными. В начале нынешней войны, им издан был декрет, лишающий права на вспомоществование тех из них, которые способны к военной службе и не записываются в волонтеры. Способ, как видите, несколько насильственный, к увеличению рядов войска.

Отчет об этих действиях комитета прочтен был несколько дребезжащим голосом господином в коротеньком пиджаке; но так как его слушали очень немногие, то этот недостаток вокализации остался незамечен.

Я хотел было представить вам в полной картине первое заседание Сиенского комитета в настоящем году, но оно было так неинтересно и скучно, продолжалось так долго, что я раскаиваюсь в своем намерении: *Seggio*[164], состоящий из президента и 4-х старичков, сидевших по обеим сторонам, и управляющий делами комитета, вздумал обидеться тем, что управление его было строго контролируемо собранием и изъявил желание выйти в отставку. Члены со своей стороны вовсе не желали новых хлопот по поводу избрания ему

преемников, и энергически протестовали против отставки. Какой-то из университетских профессоров выступил оратором со стороны собрания и объявил, что не считает ни президента, ни товарищей его вправе оставить управление делами комитета до истечения положенного на это срока. Президент опровергал это положение с большим жаром; спорили, горячились, прибегали несколько раз к подаче голосов и разошлись на том, что президент и его товарищи требуют отставку, а члены не дают им ее. Вопросы о школах и об эмигрантах были отложены до следующего раза, то есть до 2 февраля.

Обидчивый президент Сиенского комитета – вместе с тем и профессор здешнего университета – Феррари; но я не знаю, какую кафедру он занимает. Единственная черта из его жизни, отличающая его очень резко от остальных его собратий та, что со времени падения велико-герцогского правительства в Тоскане он не написал еще ни одной патристической брошюры во славу министерства Рикасоли и доблести своих соотечественников. До того же времени, он слишком много

дней проводил в тюрьме и в крепости, и потому ему некогда было заниматься литературой.

Председательство его пока еще слишком кратковременно; сказать о нем можно очень немного, кроме того, что он ознаменовал свое вступление в должность циркуляром к Сиенским гражданам, в котором он приглашает всех их принять участие в комитете без различия партий и оттенков *purché vogliano l'Unità d'Italia* («лишь бы только они стремились к единству Италии»). До него министерская партия преобладала и всякого рода гонения обрушивались на головы оппозиционистов.

Несмотря однако же на это, министерство вовсе неблагоклонно смотрело на Сиенский комитет, может быть не зная его исключительного направления и смешивая его с комитетами других городов Италии. Впрочем настоящий кабинет с очень определенными централизационными наклонностями не может благоклонно относиться ни к какому комитету, хотя большая часть их не представляют ничего противозаконного и враждебного

правительству и существующему порядку. Комитеты эти, и даже самые оппозиционные из них, главная опора правительства, желающего единства Италии и прежде всего внутреннего единства, так как политическое и административное вытекают из этого, как прямое последствие.

Не знаю, сознает ли это министерство, но во всяком случае оно видит врагов себе во всяком подобном учреждении, потому что оно не хочет допустить, чтобы благо Италия проистекало из какого бы то ни было другого источника, кроме как из министерского управления.

В Италии много существует других ассоциаций, о которых я надеюсь поговорить *en temps et lieu*[165]: все они в довольно тесной связи между собой и общий всем им президент Гарибальди. Но в Сиене их нет, а я исключительно намерен был говорить о Сиене.

Из нескольких слов, сказанных мною о ремесленных братствах и о комитетах этого города, можно заметить, мне кажется, существенную разницу в их образе действий и в направлении. На всякий случай укажу ее без

обиняков; первые отличаются исключительно практическим направлением; заседания их не так красноречивы, но почти всегда приводят к каким-либо положительным результатам; их администрация по необходимости многочисленнее, но вовсе не так сложна, как очень малочисленная администрация последних. Комитеты более падки на рассуждения, на теории, на общие вопросы. Дело в том, что братства состоят по преимуществу из ремесленников, хотя ученый народ и допускается в них с охотой, тогда как комитет по преимуществу дело профессоров и адвокатов.

Те времена, когда Сиена была ученым городом, прошли давно и осталось от них только несколько громких имен да собрания научных предметов, расхищенных в разные времена. Самый университет едва не был закрыт по проекту г. Де Санктис[166], теперешнего министра народного просвещения. Сиенская городская община спасла его от конечной гибели внесением в его кассу нескольких десятков тысяч франков, не достававших на его содержание; но и это великодушное приношение не помогло ему выбраться из то-

го униженного состояния, в котором он теперь находится. Я обещал не говорить о покойниках, но это покойник такого знаменитого рода, что о нем, право, можно сказать несколько слов, да к тому же он и не совсем еще умер.

Во всей Европе, и даже в самой Италии, очень распространено мнение, будто все без исключения итальянские университеты происхождением своим обязаны германским императорам. Некоторые очень положительные исторические данные, касающиеся учреждения и первых веков существования Сиенского университета – свидетельствуют вовсе не двусмысленно, что если положение это и справедливо для других университетов, то Сиенский составляет на этот раз блестящее исключение, как порождение вполне свободной городской общины.

Говорить об Италии и не говорить о городской общине – *municipio comune* – дело почти невозможное, так как все административные и политические учреждения этой страны или прямо, или косвенно относятся к общине, и в слишком многих случаях ее непосредствен-

ный продукт; призрак этой общины постоянно пред глазами барона Рикасоли и его централизованного кабинета, он сдерживает все их порывы и представляет может быть непреодолимое препятствие к достижению их цели. Даже самые позднейшие итальянские учреждения, ремесленные братства, например, во многом схожие с подобными же ассоциациями других стран Европы, во многом другом представляют очень резкие особенности, в которых живо чувствуется влияние уже отживших корпораций и общин. Я зашел бы может быть слишком далеко, если бы стал продолжать об этом очень интересном предмете, а потому и перехожу прямо к тому из учреждений этой общины, которое и до сих пор сохранило еще хотя очень слабые признаки жизни, – и да простят мне читатели, если я вдамся в некоторые исторические отступления.

Словом университет – *Università* – с очень давних пор назывались в Италии ремесленные, художнические и ученые корпорации, в состав которых входили все лица, занимавшиеся одним каким-либо ремеслом, и живу-

щие в пределах одной какой-нибудь республики или города; таким образом, там были университеты столяров, сапожников, плотников, граверов и проч. Школы же, с самого начала владычества варваров в Италии, существовали при монастырях, при епископских дворах, но не имели никаких почти сообщений между собой, не составляли корпорации. Так было, пока епископы управляли страной, нося имя завоевателей, и потом, когда аристократические общины стали в главе правления. Произвол администраторов был в полной силе, а потому не было необходимости ни в каких законах.

Но с началом XIII века в городах средней Италии появился совершенно новый класс народонаселения, приобретающий всё более и более силы и наконец одолевший и варваров и аристократическую общину; класс этот составляли купцы, обогащенные торговыми сношениями с Венецией и Грецией, а впоследствии с Францией и с Востоком. Едва община эта – *del popolo magro*[167] – овладела управлением страны, отрывочные постановления варварских императоров, которым в

виде связи или основной мысли служил произвол администраторов, – потеряли всякое значение и живо стал чувствоваться недостаток рационального законодательства. Остатки римского права, сохраненные духовенством, были слишком искажены им и не представляли к тому же ничего целого, могущего послужить основанием для новой юриспруденции. Тогда городская община решилась на собственные средства завести школы для специального изучения римского права, уже не в виде ряда отрывочных постановлений. Для этого нужно было преобразовать существовавшие уже элементарные школы, установить правильную последовательность в предметах в них преподаваемых, и следовательно подчинить их одну другой, соединить их в одно целое ученое тело. Это соединение всех школ, с специальной целью возрождения римского законодательства, названо было: *Università delle Scole*, или *Università degli Studj*.

Первый, появившийся таким образом университет – был в Болонье; затем образовался подобный в Сиене, имевшей в то время боль-

ше возможности, чем Флоренция, заняться своим внутренним устройством, и стоявшей во главе тосканских республик.

Уже много позже, когда вся Тоскана была в руках великих герцогов Лотарингского дома, Сиенский университет начал много терпеть от Пизанского, обладавшего гораздо большими средствами и посему поставленного в несравненно выгоднейшее положение. Из Сиены мало-помалу стали переходить в Пизу лучшие профессора и большое число студентов; затем были перенесены туда же целые факультеты: философский и юридический, потом и математический, так что в Сиене остался в полном составе только медицинский и богословский; остальные же существовали (да и теперь существуют) в виде сукурсалий[168] Пизанского, так что в них читается только низший лицейский курс, и на получение докторского диплома сиенские студенты должны прослушать в Пизе три года университетский курс и там же держать экзамен. Вследствие этого Сиенский университет стал пустеть мало-помалу, и теперь в нем едва восемьдесят человек студентов по всем факуль-

тетам и разрядам.

Тосканские великие герцоги оставляли без внимания этот университет и доходы его значительно поуменьшились, так что в настоящее время, несмотря на значительно уменьшившиеся расходы, доходов, получаемых Сиенским университетом с подаренных ему в разные времена сиенскими патриотами имений, не хватало уже на его содержание. Министр Де Санктис, подавший проект совершенного преобразования итальянских университетов, предложил Сиенскому или быть раскассированным, или содержаться без вспомоществования со стороны правительства. Городская община решила этот вопрос, приняв на себя пополнение ежегодного дефицита.

Благодаря этому великодушию Сиенского муниципалио, умственная жизнь города не совсем еще умерла, хотя и находится в очень жалком состоянии. В течение очень короткого промежутка времени в Сиене закрылось несколько типографий, и остальные вряд ли бы удержались, если бы не то, что последний политический переворот вызвал здесь

несметное количество брошюр, которые хотя мало находят читателей, но заслуживают самой искренней благодарности со стороны содержателей типографий.

Периодическое издание, кроме еженедельного листка для народа, о котором я уже говорил, здесь только одно, Бог весть почему называемое «La Venezia», скромно перепечатавшее вчерашние новости из флорентийских газет и существующее почти исключительно доходами с объявлений, печатаемых на ее четвертой странице. Нечего и говорить, что газета эта и тени не имеет какого бы то ни было направления, хотя и подкуривает порою услужливый фимиам кабинету, в надежде попасть на его содержание. И дай ей успеха все святые покровители города Сиены и журналистики вообще!

Среди мелкой работничьей жизни города, сиенским студентам очень трудно было бы отстоять себя, как корпорацию, и они поддались вполне влиянию окружающей их среды, вместо того, чтобы оказывать на нее свое влияние. Профессора нашли себе довольно обширное поле деятельности в ремесленных

братствах и в комитетах, которых они составляют как бы зерно. Студенты же, не принадлежащие ни к одной из этих ассоциаций, должны были устроить почти подобное братство между собой, что они и сделали в начале настоящего года. Подобные же ассоциации студентов учреждаются и в других итальянских городах, и от их развития можно ждать очень многого; но пока всё это еще существует в виде предприятия.

В Италии подобные ассоциации не новость; они существовали там много лет тому назад, под названием академий. Вам, конечно, известно, что под этим словом в Италии понимаются всякого рода собрания, если не ученых, то по крайней мере благовоспитанных людей. В Сиене было несколько таких академий; все они прошли, и две самые замечательные из них: *de' Ravivati* и *de' Rossi*, оставили следы своего присутствия.

Трудами последних был учрежден здесь публичный кабинет для чтения – единственное заведение в этом роде целой Сиены. В нем находится очень порядочный выбор итальянских и французских газет и несколько

отдельных сочинений и брошюр по преимуществу Сиенских авторов.

Этим же академикам *Rozzi* Сиена обязана существованием в ней народного театра, где Стентерелло, комический представитель тосканцев, потешает публику своими импровизированными остротами.

Вам, конечно, известно, что каждая из итальянских провинций имеет свою народную маску, в которой когда-то выражалась в карикатуре характеристическая особенность ее народонаселения. Так, например, Ломбардия имеет арлекина, грубого и плутоватого буламасского мужика, Венеция – Панталона и Факканацца, болтунов и трусов, скупых на всё, только не на слова, и постоянно мешающихся не в свои дела; Неаполь – Пульчинелла – тип слишком хорошо известный повсюду, акклиматизировавшийся во Франции под исковерканным прозвищем Полишинеля, в России – под именем Петрушки. Теперь все эти разнохарактерные типы слились в сущности в один, хотя и сохраняют свои различные названия. Каждая труппа актеров имеет непременно одного или двух актеров на эти

роли; они и вне сцены постоянно сохраняют название роли, которую играют каждый вечер. Без них не обходится ни одна пьеса, какого бы содержания она ни была; в переводные непременно вносится лишняя роль для них; в известной французской драме «Серафима Лафайль» [169], где героиня встает из могилы, Стентерелло играет роль могильщика, а иногда вора, пришедшего обкрадывать трупы. В мольеровских комедиях, очень часто даваемых на итальянской сцене, первая комическая роль Мамарсель или Станарель, тоже переделывается на Стентерелло или на Арлекина, смотря по городу. Переделки эти обыкновенно мало стоят трудов переводчикам, так как они только означают главные положения, в которых находится комический герой по отношению к остальным персонажам; вся же роль исключительно остается на ответственности актера, который в большей части случаев импровизирует ее. Бо льшая же часть оригинальных итальянских комедий вертятся на главной комической роли и успехом своим бывают обязаны главному комику, а вовсе не автору. Между этими актерами попа-

даются первоклассные дарования: Лаблаш [170] начал свою артистическую карьеру на сцене дешевого неаполитанского театра Сан Карлино, откуда его вывел импресарио королевского театра Сан Карло.

Участь этих несчастных комиков самая жалкая; жалованье получают они очень незначительное и должны каждый вечер потешать публику, которая к ним в особенности строга. Во времена велико-герцогского правления, эти Стентерелло проводили по крайней мере половину своего времени в тюрьме; им достаточно было простой двусмысленности или какого-нибудь неосторожного намека, чтобы попасть наконец на казенные хлеба. С этой стороны положение их очень много улучшилось; правда, и теперешние кодины представляют очень ловкую цель их остроумам.

В их игре очень важную роль играет жестикауляция, и у некоторых она переходит в простое и бессмысленное кривлянье; очень немногие умеют удерживаться в надлежащих пределах и создать действительно комический и чисто итальянский характер.

Народный театр в Италии посещается только чернью и самыми низшими классами буржуазии. Люди «порядочные» считают посещение его для себя неприличным и предпочитают очень плохую обыкновенно оперу. В Сиене для музыки есть другой театр, называемый «Большой», вероятно сравнительно с театром марионеток, так как зала его одна из меньших зал в Италии, где, как известно, мало больших театров.

Опера в Сиене идет только во время рождественских святок и карнавала, но и в этих случаях она не отличается хорошим и полным составом. Флорентийские театры летом иногда ошастливливаются появлением европейских знаменитостей; всё же остальное время года театры всей Тосканы угощают свою публику новыми музыкальными произведениями непризнанных гениев, гостеприимно принимают несчастных артистов и артисток, которым не посчастливилось в других городах Италии. Зато они отличаются баснословно дешевой платой за вход. Ложи не имеют определенной цены и продажей их редко заведуют театральные кассы. Аристократиче-

ские семейства имеют свои абонированные ложи в лучших театрах; ложи незанятые таким образом или остаются пусты всё время театрального сезона, или продаются лакеями гостиниц иностранцам. Итальянцы же обыкновенно входят в партер, и то не покупают кресла, а ограничиваются платой за вход.

В Сиене опера посещается мало; это объясняется жалким составом тамошней труппы. Я говорил уже, что Сиена славится мужескими голосами, но в этом городе очень мало средств к развитию музыкального дарования, а потому юноши, подающие надежды, с ранних пор отправляются в филармонические заведения во Флоренцию или в Неаполь, и потом уже не возвращаются в родной город, придерживаясь вероятно изречения: «не славен пророк в отечестве своем». Лучшая из итальянских примадонн сопрано, маркиза Пикколомини[171], родом из Сиены; но она только один раз в жизни пела на сцене здешнего Большого театра, и то по поводу очень торжественного случая – приезда короля Италии во вновь присоединенный к его владениям город. Пикколомини пела несколько на-

родных гимнов, и, говорят, совершенно очаровала война итальянской независимости. Впрочем, в настоящее время певица эта не принадлежит уже к театральному миру, так как она оставила сцену, выйдя замуж за какого-то очень аристократического и очень католического барона.

Как ни бедны театры эти, – это единственные публичные увеселительные заведения в Сиене, где нет ни одного воксала, или даже публичного сада, где бы собирался народ и играла музыка. Большой загородный луг, обсаженный тощими деревьями, единственное здесь общественное гулянье, но его по преимуществу посещают няньки с детьми, да уличные мальчишки, играющие в орлянку на протоптанной траве. Достигнув совершеннолетия, сиенские жители теряют всякую любовь к загородным увеселениям и проводят в кофейных всё свое свободное время, где, заплатив 15 сантимов за стакан пуншу, они сидят по целым часам, наслаждаясь приятной беседой и чтением по преимуществу миниатюрных журналов.

В Сиене кофейные однако же вовсе не иг-

рают такой роли, как в жизни других итальянских городов. Правда, что они с утра до ночи полны народом, и что очень многие проводят в них всё свое время. Множество молодых людей, более или менее щегольски одетых и с очень строгими профилями, посвящают всю свою жизнь тому, чтобы из-за стеклянных дверей или из-под навесов *Caffè Greco* лорнировать проходящую мимо публику. Чем живут они, чем заплатили за свои кофейного цвета сюртуки и за красивые галстуки? Это такая загадка, что никакой Эдип не разрешит ее в настоящее время. Гордо и презрительно смотрят они на все и на всех, только в географии обладают самыми поверхностными знаниями. Эта «молодая Италия» – продукт чисто неаполитанский, хотя очень распространенный по всему полуострову. Во всех других итальянских городах они занимаются по крайней мере деланием долгов, беганьем по балам и по театрам и там они составляют существенную часть городского народонаселения. Но что делают они в Сиене, где условия кредита понимаются совершенно по-своему, где только во время карнавала бывают два-

три маскарада, и то битком набитые ремесленниками *endimanchés*[172] и их женами – публика, с которой очень неохотно мешаются эти доблестные потомки Брутов, Кассиев и пр. Очень нетрудно представить себе ту степень уважения, которой пользуются они со стороны мелких тружеников, составляющих главную часть сиенского народонаселения; эта возможность ничего не делать уважается бедными тружениками превыше всяких добродетелей и доблестей. В самом деле, из-за чего бьется какой-нибудь несчастный факин [173], или чиновник префектуры, как не из-за того, чтобы достать себе средства жить без особенно тяжелых лишений. И чего только не переносит он для достижения этой цели. А тут перед его глазами человек, бедняк такой же, как и он, живет себе насвистывая и припеваючи и ни в чем не терпит недостатка. Будь эти господа наследники богатых семейств, издерживай они то, что с большим трудом накопили их деятельные отцы и праотцы – тогда другое дело: каждый кучер, везущий их в своей дребезжащей колясчонке, каждый мальчишка, плетущий из тонкой ко-

жи ботинки, завидовали бы им и льстили бы пожалуй в глаза, но в душе они презирали бы их, нравственно ставили бы себе несравненно выше этих беззаботных щеголей; весь бы город знал цифру каждого счета, назначенного им портному. Но юноши, о которых говорю я, кроме более или менее звучных имен, не получили никакого наследства; с детства они не учились ничему и всякого рода знания считают совершенно излишним бременем для своих аристократических голов. Они такие же пролетарии, такие же промышленники, как и вся эта суемящаяся вокруг них чернь.

Только чем промышленяют они в Сиене, сидя целый день в кофейных и в бильярдных? Игра в итальянских городах очень плохой источник дохода, а в особенности в Тоскане: здесь слишком дорого достается каждая копейка, и мало находится охотников рисковать, менять птицу в руках на журавля в небе. Бильярды здесь только по вечерам собирают вокруг себя довольно многочисленную публику, но это все молодые ремесленники, играющие из чести, или редко на чашку кофе

или стакан пуншу. Игорные дома запрещены, т. е. правительство сохраняет для себя монополию азартных игр. В карты играют иногда в залах казино или в академии Росси, но играют почтенные старцы, не рискующие более как полуфранком в вечер. Законы против шулеров строги, да и не нужны вовсе, так как единственный способ вытащить деньги из кармана у сенеза – это остановить его ночью с ножом на большой дороге, на что находится очень много охотников, но надеюсь, что щегольские «заседатели» кофейных не принадлежат к этим почтенным корпорациям. Чем же живут эти господа? Не знаете ли вы, – но я ей-богу не берусь решить этот трудный вопрос. Да не знаю, стоит ли он труда быть решенным. Это то гнилое поколение, которое черным пятном лежит на всех европейских обществах. Я не думаю, чтобы для поддержания своего, никому ненужного существования, они решались на преступление; но самое существование их в Италии в настоящее время само по себе уже преступление, хотя – основываясь на Данте, – можно предположить, что они с давних пор водятся в этой благосло-

венной стране.

В аду своем Данте очень удачно поместил их души: они не стоят даже наказания и спуют по берегам Коцита[174] так же, как при жизни, вместе со своими земными оболочками, бродили по набережным Арно во Флоренции, по площадям близ *Caffè Greco* в Сиене. Не упомянуть о существовании их я не мог; но надеюсь, что впредь говорить мне о них не придется. Может быть и они имеют свой смысл и значение среди разнообразных слоев итальянского общества, может быть и их существование не совсем бесполезно и пусто, – но я не настолько тонкий наблюдатель и не настолько глубокий философ, чтобы понять эти сокровенные тайны мироздания[175].

Из Сиены

Письмо первое

Ноябрь и декабрь, 1861 г.

Сиена – один из тех уголков, живя в котором плохо знаешь, что делается на белом свете. В стороне от пути, обыкновенно пробегаемого иностранцами в Италии, она вполне сохранила свою самобытность и мирно живет себе, погруженная в свои муниципальные

интересы, никого не занимая своим существованием и сама мало занимаясь тем, что делается вокруг нее.

Из больших городов Италии, которые живут почти исключительно иностранцами, один только Рим сохранил еще свою оригинальность, и эта общая черта придает Сиене некоторое сходство с Римом, так что многие путешественники, посетившие ее на пути из Рима во Флоренцию, утверждают, что Сиена по характеру чисто римский город и только по географическому положению принадлежит Тоскане. О Тоскане же судят они или по Флоренции, которая совершенно преобразовалась сообразно вкусам наводняющих ее англичан, или по Ливорно, потерявшему всякий отпечаток народности среди своей космополитической кипучей деятельности портового города.

Помирить эти два противоречащие мнения можно бы, сказав что Сиена город *итальянский*; но это была бы фраза. Много еще нужно лет политического и административного единства Италии, чтобы все разнохарактерные ее муниципальности слились в одно

целое.

Сиена, и по географическому своему положению в середине почти провинции, и по говору, и по характеру, и по физиономии жителей – город чисто тосканский и настолько же имеет право гордиться своим этрусским происхождением, как и самый Фьезоле; римского в ней только волчица на площади *dei Tolomei* [176], да множество всякого рода и вида попов; да пожалуй еще гористые узкие и кривые улицы: только в итальянских городах это не может служить характеристическим признаком.

Как всякий итальянский городишко (а часто и деревня) Сиена имеет свои археологические и художественные достопримечательности. Собор ее пользуется большой репутацией, и почтенный г. Рипетта о нем одном написал очень длинное сочинение. Не знаю, много ли находится охотников читать описание этого чуда архитектуры, но смотреть на него приезжают немногие и то не дальше как за сорок миль окружности.

В те отдаленные времена, когда Сиена составляла отдельную республику, она горячо

отстаивала свою независимость против гораздо сильнейших ее соседей; пользуясь внутренними раздорами Флоренции, она даже открыто соперничала с нею во многих отношениях, гордо отвергала содействие флорентийских художников при сооружении своих дворцов и церквей, но туземного по части живописи произвела она одного Содома (XVI века), художника далеко не первоклассного, но отличавшегося кровавой ненавистью к пизанцам и флорентийцам. Сиенский университет в течение многих столетий, вместе с Пизанским и Болонским, первенствовал в Италии; теперь в нем едва 150 человек студентов, и от тех гораздо больше выигрывают содержатели кофеен и бильярдных, нежели нравственное развитие страны.

Сиена по преимуществу город работников, но и в промышленном отношении не производит ничего замечательного. Узкие и кривые ее переулки с утра до ночи кипят ремесленниками; стук молотков, крики разносчиков, всё сливается в один несвязный гул. Праздные толпы попов составляют контраст с этой кипучей деятельностью.

Грубые кожевенные изделия, глиняная посуда, резные работы из дерева, – вот продукты ее промышленности; ими она снабжает половину Тосканы, Маркий и Умбрию. Окрестности ее производят лучших почти в целой Италии быков, и для сбыта их в Сиене учреждаются ежегодно две ярмарки: одна весною, другая осенью, но не в определенные сроки. Маремма присылает туда своих пресловутых клепперов[177] и ломовых лошадей.

Сиенская глина пользуется также большой известностью, но в выделке из нее посуды Прадо и Пистойя сильно соперничают с Сиеной.

Во время последнего переворота в Италии, Сиена мало выказала энтузиазма. Многие из ее работников оставили свои семейства и мастерские, и отправились в ряды волонтеров; но всё это они сделали как-то молча, без торжественных спичей и демонстраций. Когда первый король Италии проездом из Флоренции посетил Сиену, сиенцы зажгли бедную иллюминацию, национальная гвардия в парадных мундирах встретила его у дебаркадера и проводила плохой музыкой до *Palazzo del*

governo[178]. Вечером толпы возвратившихся из посада ремесленников ходили вокруг дворца, громко распевая своими мужественными голосами итальянский перевод *марсельезы* и другие гимны свободы. А наутро снова молоток застучал в наковальню, и всё пошло так как будто не случилось никакой особенной перемены, как будто *Babbo*[179] по-прежнему заседал в своих великолепных апартаментах двора Питти во Флоренции.

Сиена была впрочем в исключительном положении: она всё выигрывала с переменой правительства, а существенного не терял в ней при этом никто. Роскошь великогерцогского двора не имела никакого влияния на благосуществование ее жителей; в ней не было ни привилегированных придворных рабов, ни аристократических семейств, ни придворных лакеев. Между тем немецкая администрация стесняла до известной степени развитие ее вольных ремесленных братств; большие налоги и подати тяжелым гнетом лежали на плечах контадина[180] и пролетария. Высшее общество здесь состоит преимущественно из поземельных владельцев Кор-

тоны, Валь-ди-Кьяны и других прилежащих мест.

Эти *gentilshommes campagnards*[181] мало выказывали приверженности к роскоши и великолепию двора, от которого им было ни тепло ни холодно; интересы их тесно связаны с участью контадинов и только духовные остались горячими партизанами падшего порядка.

Едва освободилась Сиена из-под отеческой власти Леопольда, которого народ в шутку называл *Babbo* (батюшка), намекая на его семейные склонности, которые он постоянно выказывал публично при всяком удобном и неудобном случае, существенная часть ее народонаселения, работники, почувствовали себя гораздо лучше. Прежние благочестивые монашеские ордена исчезли со сцены окончательно; из *благотворительных* учреждений уцелело только братство милосердия, *Misericordia*, с давних пор очень распространившееся во всей Тоскане, и умевшее сохранить свой истинный евангельский характер тем удобнее, что оно мало подвергалось влиянию клерикалов. Но главная польза, извле-

ченная итальянскими городами вообще из последнего переворота, есть появление Ремесленных Братств (*Fratellanze artigiane*) и Обществ взаимного вспомоществования между рабочими (*Società del mutuo soccorso fra gli artigiani*).

Главное обвинение, тяготеющее над этими многострадальными братствами, заключается в предполагаемой приверженности к Мадзини. Главным председателем всех братств и комитетов значится Гарибальди; но имя его плохо защищает заочно председаемые им собрания. Горячие приверженцы министерства могли бы понять без больших усилий, что существующий порядок слишком дорог Италии, что он куплен кровавой ценой, и что наконец он удовлетворяет потребностям страны, если и не вполне – при каком порядке не бывает недовольных? – то по крайней мере большей частью. Сиенские рабочие понимают это лучше кабинетных мыслителей. Кроме того, пророк и триумвир 48 года далеко не пользуется той популярностью в Италии, как в те дни, когда на него были возложены все надежды на независимость, на благосостоя-

ние края. В политических делах удача – главное; а ее-то и не было на стороне Мадзини. В 1849 г. он не спас Италии, он обманул возложенные на него надежды. Противники Мадзини ценят его выше нежели самые его приверженцы: эти давно поняли, что Мадзини теоретик, догматик, но далеко не практический деятель.

В настоящее время у Мадзини нет собственно партии в Италии; у него есть друзья. Так называемые мадзинисты теперь не что иное, как оппозиция, более разумная и энергическая нежели оппозиция кодинов, а разумная оппозиция не лишняя ни при каком порядке вещей. Как бы ни было популярно правительство, всегда найдутся люди, которые будут спрашивать у таинственной феи Беранже, куда запрятала она свою волшебную палочку?

Нечего и говорить, что между рабочими мало найдется приверженцев Мадзини. Им нет дела до доктрин. Если между членами ремесленных братств и находится много имен, когда-то стоявших в списках «Молодой Италии», то это легко объясняется тем, что очень

недалеко еще то время, когда всякий благомыслящий итальянец, не продававшийся утеснителям, был мадзинистом.

Цель ремесленных братств вовсе не благотворительствовать, давать приюты нищим и убогим. Их задача – развивать итальянскую промышленность; в этих видах они выдают денежные вспомоществования работникам, которые обременены семейством и принуждены часто, перебиваясь со дня на день, производить не столько, сколько они произвести могут. Братства эти назначают премии, противодействуют монополиям и привилегиям, дают молодым работникам средства посещать особенно замечательные по части их специальности заводы и фабрики, назначают пенсии старикам, дают больным средства лечиться, но с очень строгим разбором в двух последних случаях. Они же устраивают библиотеки, маленькие музеи для рабочих. Средства их еще очень ограничены, а принесенная ими польза вовсе не пропорциональна их ограниченности.

Эти братства и комитеты составлены большей частью из рабочих, трудом и умом до-

шедших до обладания порой значительными капиталами. В Италии ремесленнику разбогачить дело не легкое, и если кому удастся, то это уже прямая награда труду, уму и изобретательности. Многие богатеют правда и там, как везде, – спекуляциями, но эти не употребляют добытых ими богатств на поощрение труда и промышленности. В Италии мало богачей, имеющих возможность горами золота платить за угождение их капризам и фантазиям, а потому жизнь рабочего лишена там (конечно до известной степени только) влияния случайности, то благоприятной, то враждебной, которая делает из нее игру. Главная задача ремесленных братств – парализовать действие этих случайностей, сделать жизнь рабочего пролетария более схожей с жизнью землевладельца. Нельзя не согласиться, что тут великое общественное дело.

Я не буду распространяться особенно об этих ассоциациях, так как они до известной степени уже известны читателям «Русского Вестника»; скажу только, что эти учреждения, хотя во многом схожие с бельгийскими ремесленными обществами, – явление впол-

не самостоятельное и чисто итальянское; и нигде их основная мысль не развита с такой полнотой и не приведена так основательно в исполнение.

Сиена – город ремесленных братств по преимуществу, и со времени их появления жизнь этого города выиграла очень много. Сиенский комитет брал инициативу во многих очень важных случаях. В последнее время его стараниями была доставлена тосканским рабочим возможность посетить флорентийскую выставку. Управление железных дорог помогло комитету в исполнении его благого намерения, и почти все города Италии последовали этому примеру.

Я слишком может быть распространился о рабочих, но признаюсь, мне несравненно приятнее говорить о них, нежели о другом господствующем классе сиенского народонаселения – о клерикалах.

Во времена павшего правительства духовенство имело здесь громадное влияние. Единственное, сколько-нибудь значительное учебное заведение этого города, училище *dei Tolomei*, было в их руках. Оно и осталось еще

пока в прежнем положении, но владычество клерикалов исчезло безвозвратно. Духовенство однако же нелегко бросает оружие и не просит пощады. Пользуясь тем, что новое правительство щадит его, оно употребляет всё случающиеся под рукой средства, чтобы смутить господствующий порядок, хотя на возвращение к прежнему оно не питает уже сладостной надежды. Класс этот в Сиене так многочислен, что если бы в нем было хотя сколько-нибудь мужества и энергии, он мог бы составить весьма уважительную партию; но эти люди ограничиваются интригами и проделками, при которых их личность всегда ограждена против раздражения народа. Порой изредка, пользуясь каким-либо крестным ходом или священной процессией, они отваживаются на демонстрацию, защищаясь своими священными атрибутами, которые удерживают народ в почтительном отдалении.

Не следует забывать притом, что с переменой правительства эта каста, ненавидимая теперь всеми без исключения, не потеряла ничего существенного. Личные интересы их ограждены чуть ли не лучше, чем во времена

австрийского дома, который покровительствовал им как твердой опоре своей власти, но в трудные минуты (а таких у него было немало) щадил их не больше, чем и всех остальных своих подданных. Итальянский статут хотя не сыплет на головы духовенства всевозможных привилегий и благодеяний, однако свято охраняет их права и даже многие из их злоупотреблений, давностью возведенных в права.

Оставим в стороне всех епископов, викариев, каноников и проч. Всему миру известно, каким тяжелым путем католический аббат доходит до этих возвышенных ступеней иерархической лестницы, и как трудно донести с собой туда хотя бы самый слабый остаток человеческих чувств. Молодые приходские священники, которые не успели еще забыть, что и они граждане родного края, постоянно находятся между двумя огнями. С одной стороны грозный Рим, готовый ежеминутно пресечь им всякий путь к повышению, к достижению безбедного существования, угрожающий ежеминутно своим страшным «*suspensus a divinis*»[182], за которым для бед-

ного аббата остается только просить милостыню; – с другой презрение и ярость народная, ежеминутное осадное положение, вечное одиночество и отвержение всего, что дорого человеку.

В последнее время итальянские епископы неоднократно ввергали в нищенское положение подчиненных им священников, за то что они показывались публично в обыкновенных круглых шляпах, а не в классических треугольниках, которых один вид возбуждает свистки и насмешки уличных мальчишек. Правительство ничего не могло сделать для этих несчастных.

В Милане появился было религиозный журнал с целью примирить клерикальную партию с народом. Журнал этот («La Civiltà Cattolica») лопнул очень скоро. Редактор его отец Пассалья[183] употребил свой ум и способности на лучшее дело. Он попробовал учредить общество взаимного вспомоществования между духовными, с целью противодействовать неограниченному произволу курии. Римский двор тотчас же запретил это общество и запретил впредь всякие ассоциации

между духовными под опасением вечного «*suspensus a divinis*». Пассалья затеял тогда новую реформатскую секту, которая до сих пор еще не имела большого успеха.

Итальянское правительство подверглось многим нареканиям за то, что оно не протянуло руки помощи бедным священникам, отставленным от должности и претерпевшим преследования из преданности к нему: точно также как и за то, что оно позволило духовным клерикальной партии безнаказанно смущать народ в его празднествах и торжествах и оскорблять его в самых искренних его привязанностях. Но могло ли правительство открыто противодействовать папе, официально признавая его духовную власть? Наконец, что может оно сделать для этих несчастных? Не устроить же в самом деле инвалидный дом для отставленных от должности священников?

Духовенство само наложило на себя ярмо папской власти и только оно само может спасти себя от этого ярма. В этом ничья посторонняя помощь не будет действительна.

Очень немногие из итальянских духовных

поняли это, но хорошо и то, что нашлись хотя немногие. Экс-иезуит Пассалья, монсиньор Ливерани[184] и несколько других имен менее замечательных составляют зародыш партии либерального духовенства, которая со временем может развиться в больших размерах, а пока большинство духовенства в Италии и в особенности в Тоскане играет ту же роль, как разбойники в южных провинциях, то есть роль горячих агентов и эмиссаров папского правительства и Бурбонов.

Недавно в Болонье, на одном ремесленном собрании, один из членов братства произнес торжественную речь, в которой он называет клерикалов ренегатами отечества, яркими красками рисует тот вред, который причиняют они новому королевству, и приглашает своих собратий противодействовать по мере сил и возможности этим внутренним врагам. Впрочем итальянские работники не дожидались этого приглашения, и их стараниями в Сиене открыт заговор между духовными лицами этого города, следствием чего было то, что четырех главных заговорщиков задержали в Радикофани[185], уже на самой границе

Папских владений, куда они пробирались с очень верными документами и значительными суммами денег. Пока еще неизвестны подробности этого дела.

Хотя – как я сказал выше – правительство не может прямо противодействовать клерикальному влиянию, тем не менее, в последнее время оно обратило особенное внимание на учебные, а частью и ученые заведения.

Составлен новый проект насчет университетов, которых предполагается оставить только три на всё королевство. Сиенский университет должен быть раскассирован, а Пизанский увеличен остатками Сиенского и Болонского и будет единственным на всю среднюю Италию. В городах, лишенных таким образом своих университетов, будет дано особенное развитие средним учебным заведениям.

Министерство должно очень поторопиться исполнением своих проектов насчет распространения средств просвещения и более правильного их размещения, так как желание образоваться с каждым днем растет в итальянском народе. Флорентийский сапожник Франческо Пиччини печатает в журнале

«Nuova Europa» ряд писем с целью побудить своих собратий заняться политико-экономическими науками, и комитеты давно уже помышляют о доставлении рабочим возможности слушать курс их.

Я слишком распространился о двух господствующих классах сиенского народонаселения, потому что за исключением их город этот представляет очень мало достопримечательного.

Чиновники, лавочники – вот остальная безличная часть жителей Сиены. Несколько более или менее разорившихся аристократических семейств спокойно доживают свой век в старинных домах и виллах и по воскресным и праздничным дням появляются на публичных гуляньях в допотопных экипажах с шутовски одетыми лакеями на запятках и козлах. Их присутствия здесь никто и не замечает.

Жизнь в Сиене простая и бедная, но и дешевая до крайности, кажется, приспособлена для удовлетворения несложным потребностям работника. Во всем городе нет ни одной широкой и прямой улицы, чему много спо-

собствовало ее гористое положение. Большая часть названий площадей и улиц недавно перекрещены громкими итальянскими именами, и путешественник, который явился бы в Сиену с планом или путевой книжкой, изданной в 1859 г., стал бы в тупик, не находя ни одного знакомого названия.

Здесь много уцелело еще старых зданий, из которых многие считаются чудом архитектуры, но я не считаю долгом занимать целые страницы описанием их. Эта археологическая Италия много веков стоит уже без всякого изменения и было время изучить и описать ее вдоль и поперек. А теперь другое новое у нас перед глазами, живое, идущее вперед: его нужно ловить на лету.

Сиена долгое время была одним из центров итальянской учености, и теперь еще пользуется между знающими ее из прошедшего репутацией ученого города. Но – увы! – в Сиене не осталось никаких следов ее минувшего научного величия. Еще в прошлом году число студентов было около 500, а теперь их всего 150. Старый *Palazzo delle Scuole* или *degli Studj* стоит мрачно и почти пустынно, а содер-

жатели мебелированных квартир очень красноречиво плачут об упадке отечественного просвещения.

Лучшие здешние профессора перебрались в Пизу, или Болонью, и большая часть студентов последовала туда за ними. Станки типографии глухонемых, где прежде почти ежедневно печатались интересные полемические брошюры ученых людей, стоят праздно или печатают объявления о парижской ваксе и афишки проезжей труппы вольтижеров. Сиенская ученость умирает, но я не дождусь ее последнего издыхания, чтобы сказать ей прощальное слово; во всяком случае это не будет в настоящем письме; его я по возможности хочу посвятить настоящему.

Упадок университета необходимо повел за собою и упадок журналистики. В Сиене нет даже и официального листка. Издается здесь еженедельная газета под названием «La Venezia» – дело незамысловатой спекуляции. Комитет ремесленников издает еженедельный листок для народного чтения, выходящий по утрам в воскресенье и продающийся по *одному сантиму* ($\frac{1}{4}$ коп. сер.). Листок этот

далеко не удовлетворяет всем требованиям касательно подобного рода изданий, однако же приносит очень большую пользу. Нет работника (большая часть их грамотные), который бы не приобретал его, хотя бы для того чтобы не отстать от других. Окрестные контадины, являющиеся по воскресеньям продавать сельские продукты (большой частью безграмотные), тоже покупают его, неизвестно для какого употребления. Журнал этот излагает понятным каждому языком главные политические события и, конечно, не упускает из виду состояния рабочих классов. Это одна из первых попыток в совершенно новом для Италии роде, и нельзя не пожелать ей от души самого полного успеха.

Кстати о страсти итальянцев к журналам. В одной из тосканских деревень близ Флоренции, случившись на рассвете летнего дня в кофейной, я увидел очень оригинальную сцену. Замечу мимоходом, что каждая самая незначительная итальянская деревушка имеет одну, или несколько кофеен, где завтракают земледельцы и виноградари перед отправлением на работу. Едва допив свой стакан ко-

фе с молоком, каждый спешил в отдельную маленькую комнатку в стороне от буфета, и пробегая второпях бросал сантим буфетчику. В этой комнате на столе стоял маленький очень пожилой уже аббатик в очках и с торжественным видом читал официальный «Monitore Toscano», комментируя темные и запутанные места, которых случилось немало в этом номере газеты.

Позвольте мне заключить эту корреспонденцию очень оригинальным подвигом одного из флорентийских почтовых чиновников. При редакции журнала «La Nuova Europa» устроено маленькое депо фотографических портретов Мадзини, снятых с него одним из лучших лондонских фотографов. Редакция рассылает их *franco*[186] адресующимся к ней, за ту же цену, за которую их продают без пересылки в эстампных магазинах. Большая часть иногородных жителей, желающих иметь портрет триумвира, обращаются к ней с этой целью. И что же? Все они получили выписанные ими экземпляры с почтовой маркой, наклеенной на самое лицо.

Не правда ли, оригинальное выражение

чиновничьего гнева на бывшего трибуна народного? Жаль только, что дело не обошлось без нарушения права собственности.

Ноябрь и декабрь 1861 г.

Сиена окружена чрезвычайно живописными холмами, которые усеяны небольшими красивыми виллами: стены высоких кипарисов, серая зелень олив, ярко-зеленые зонтики южных сосен (*pinus italica*) на легком голубом фоне неба, глинистые пашни, рисующиеся мутными красными пятнами среди роскошных красок итальянского пейзажа, – а главное, горный свежий воздух, легкий, прозрачный, освежающий грудь и голову, всё это давно соблазняло меня. Привычка к деревне, к раздолью, давно забытая среди жизни итальянских городов, снова проснулась во мне, и как бес манила меня подальше от этих каменных громад с гербами и портиками, от шумных узких улиц, от этих башен и дворцов – привидений прошедшего, имеющих правда свою неизъяснимую прелесть, но сковывающих ум и воображение. Не в них сложиться вольной, широкой жизни; не в этих надгроб-

ных склепах отжившей славы возродиться новой Италии. Эпоха их, эпоха муниципальных корпораций, прошла.

Для новой жизни Италия не найдет достаточно элементов в своих тысячелетних городах; ей нужны будут свежие, непочатые силы, кроющиеся в горах Калабрии и Базиликаты, деревушках *Terra di Lavoro*[187] и южной Тосканы – именно в тех классах народонаселения, которые оставил за цензом слишком разборчивый статут Карла-Альберта, представляющий – как я и писал уже, помнится, – право избирательства только тем, кто платит податей не менее 40 франков в год. Сельские жители без исключения платят податей не больше 7 франков средним числом.

В неаполитанских провинциях, или по крайней мере в большей части их, плодородие почвы и «благорастворение воздушных» делают из хлебопашества и скотоводства главное богатство страны. Городская жизнь к тому же далеко не так развита в южных провинциях Италии, как в остальных частях королевства. А потому жизнь деревень несравненно самобытнее и лучше там, нежели в

Тоскане например, где поземельная собственность почти исключительно в руках людей достаточных.

В южных провинциях Италии жизнь земледельческой касты организовалась с давних пор, и успела приобрести достаточно самостоятельности. Нельзя сказать, чтоб она развилась значительно со времен первых завоевателей Италии. Нелепое апулийское постановление *del Tavoliere*[188], успевшее приобрести силу закона во время управления испанских вице-королей, уничтоженное было во время Партенопейской республики, снова восстановлено с возвращением Бурбонов и существует до сих пор, в ожидании пока наконец центральное правительство Италии не уничтожит его вновь вместе со многими другими постановлениями, несообразными с интересами страны.

Предполагая, что некоторые из моих читателей могут не знать, в чем именно заключается это постановление, постараюсь рассказать смысл или правильнее бессмыслицу его в нескольких строчках.

Tavoliere называется в Капитанате и смеж-

ной с ней части провинции Бари большая равнина в 70 миль длины и в 30 ширины. Летом она вся изожжена солнцем, но зимой, освежаемая частыми дождями, она покрывается густой и сочной травой. С самой глубокой древности самнийские пастухи пригоняли туда на зимовье свои стада. Во времена Варрона[189] римское правительство взимало с них довольно значительную плату, от которой не подумали отказаться позднейшие владельцы этих стран, ломбарды, греки, норманны и неаполитанские Бурбоны. Альфонс I Арагонский[190] присоединил окончательно эту *Tavoliere* к государственным имуществам, и сделал обязательной зимовку стад на ней для пастухов окрестных провинций, перенеся таким образом в Италию со Сьерры-Невады испанскую *mesta* со всеми ее политическими, экономическими и всякими другими неудобствами.

Эта новая система возбуждает с давних пор всеобщее неудовольствие жителей, причащает горных пастухов к кочующей жизни наподобие их древних праотцев, а от этих первобытных привычек уже очень недалеко

переход к героическим подвигам иного рода, на которые жалуются все путешествовавшие по горам южных провинций.

На этот раз нужно отдать полную справедливость неаполитанским депутатам. Благодаря особенному развитию в бывшем королевстве Обеих Сицилий братства карбонариев, которому само правительство покровительствовало одно время, мы встречаем там примерное сближение почти между всеми классами народонаселения, и многие из депутатов, хотя вовсе не обязанные своим избранием земледельческому классу, деятельно защищают его интересы с полным сознанием того, что для прочного единства Италии необходимо прежде всего тесное сближение различных частей ее народонаселения. Никотера и Криспи[191] заслужили на этот раз полную благодарность своих соотечественников, и могут быть уверены, что по возвращении своем будут встречены не свистками и кошачьим концертом, как случилось с представителями южных провинций в последнем заседании камеры депутатов.

Не вдаваясь в отдаленный разбор устрой-

ства земледельческих общин южной Италии, замечу, что они менее других еще нуждаются в улучшении своего положения, и что правительству – если оно и решится взять инициативу в этом деле – труд будет невелик – уничтожить некоторые стеснительные старинные постановления, по большей части нелепые и несообразные ни с духом, ни с характером нового статута. Постановления эти чудом каким-то удержались со времен римских императоров и испанских вице-королей, и тяжелым гнетом лежат на плечах народа, не принося дохода казне: от них выигрывали лишь хищные орды продажных чиновников, служивших исключительно к угнетению народа, и доведших своими безнаказанными злоупотреблениями до пагубы правительство Бурбонов.

Общинное устройство земледельцев в некоторых из неаполитанских провинций дико. Социальный быт калабрийцев и жителей Апулии помогает им удержать свою самобытность, дух гражданства и независимости. Их отчасти враждебные отношения ко всему окружающему приучили их с давних пор по-

лагаться на самих себя; не ждать от кого бы то ни было улучшений и облегчений своей участи. Притом они не легко становятся в положение жертв и умеют вовремя обратить на себя внимание.

Тосканские контадины, то есть крестьяне – другое дело.

Тоскана – далеко не самая плодородная из итальянских провинций, но в ней более чем где-либо ценится поземельная собственность. Сиенские холмы, Маремма и Валь-ди-Кьяна считаются самыми выгодными и лучшими местностями. Почва здесь сухая и глинистая, а между тем производит почти лучшие в Италии урожаи; здесь производятся лучшие вина, находящие сбыт во всех частях королевства. Вообще производительность этих мест далеко не пропорциональна незначительности их протяжения.

Дело в том, что здесь труд человеческих рук пополняет недостатки почвы и количества земли. Но зато какой должен быть этот труд!

В Тоскане нет крестьян собственников, точно также как нет больших поземельных

владений, сосредоточенных в одних руках. Земля разделена на маленькие участки, принадлежащие по большей части городским жителям, купцам, разбогатевшим факторам, адвокатам. Есть владельцы, имеющие по нескольку таких участков, редко смежных между собой.

Под Сиеной и в Валь-ди-Кьяна образовался в последнее время класс *gentilshommes campagnards*, недовольных современным ходом дел, или разорившихся до того, что не в состоянии уже поддерживать себя с должным приличием в городе. Но вообще редко кто из владельцев живет постоянно в своем поместье. Многие проводят в нем лето, или время особенно горячих полевых работ, требующих деятельного надзора.

В большей части случаев помещики эти стараются на землях своих разводить только то, что им необходимо для их домашней жизни; поэтому Тоскана не вывозит сельских произведений. Зато на полях встречается самое пестрое разнообразие.

В поместье, состоящем из нескольких десятин, сеется и пшеница, и конопля, овес, куку-

руза и особенный вид риса; заводятся шелко-
вичные черви, масличные деревья; виноград
составляет главные статьи дохода. При вся-
кой вилле непременно заводится ферма, и
владельцы их продают в городах сыр и масло,
молоко и пр., если ферма производит их в ко-
личестве излишнем для их собственного про-
дольствия.

При этой дробности владений, понятно,
что в Тоскане земледелие находится в весьма
жалком состоянии, и что в ней и речи нет о
тех нововведениях, которыми увеличивается
доход собственников и уменьшается труд ра-
ботников. Владельцы вилл, издержав на по-
купку их 3000 или 4000 скуд (меньше 6000 р.
сер.), остерегаются ото всякой лишней из-
держки; они всегда находят более выгодное
помещение для своих капиталов, а с позе-
мельной собственности ограничиваются тем
доходом, который доставляют им простые и
бесхитростные труды контадинов.

В Тоскане господствует система фермер-
ства. Контадин со своим семейством помеща-
ется на землях владельца безо всякого фор-
менного уговора, или контракта. Он пользуется

ся половиной урожая и платит пополам с помещиком поземельную подать, хотя перед финансовым управлением ответственность за исправность платежа лежит исключительно на землевладельце. Подушная подать, *testatico*, лежит исключительно на ответственности контадина и простирается до 7 фр. в год с семейства, состоящего из двух работников.

Впрочем, подать эту платят только контадины, живущие на землях помещиков; следовательно, это скорее налог на труд – капитал пролетария, нежели поголовная подать.

За контадином остается право оставить своего землевладельца, точно так же как землевладельцу предоставлено право отослать своего контадина ежегодно в августе и в феврале каждого года; помещики несравненно чаще земледельцев пользуются этим правом.

Если семейство контадинов, поселившееся на землях помещика, не успевает само исполнить все необходимые работы, ему приходится нанимать поденщиков, *pigionali*, – род деревенских пролетариев, не имеющих часто даже и тени оседлости. Издержки по найму их

землевладелец только в очень редких случаях принимает в половину, – обыкновенно же все падают на счет крестьян. Чтоб избегнуть этого расхода, крестьяне насилуют себя, заставляют работать, и часто не по силам, жен своих и детей; не говоря уже о том, что у них не остается времени для какого-нибудь умственного занятия – большая часть их безграмотные, – даже физические силы их тратятся с ущербом для здоровья в этом усиленном труде.

Среди цветущей Тосканы, считающей себя центром просвещения чуть ли не всей Европы, это поколение сельских жителей, худых, истощенных, придавленных, с болезненным, кротким взглядом, представляет тяжело действующий контраст. Все эти отъевшиеся городские филантропы смотрят на них с каким-то презрением. «Контадин» – ругательное слово у клерков разных контор и у магазинных сидельцев Флоренции и Сиены.

Мне случилось как-то говорить о жалком положении этого класса с одним весьма почтенным сиенским гражданином, членом разных патриотических комитетов и филан-

тропических братств. Я сказал ему, что в настоящее время, по моему мнению, менее нежели когда-либо следовало бы оставлять без внимания эту весьма существенную часть народонаселения, которая более других нуждается в братской помощи и сочувствии соотечественников.

«Она как пятно лежит на нас», отвечал мне этот сердобольный блюститель блага народного. «Животные, в которых и признака нет никаких человеческих чувств».

Над тосканским контадином, в виде Дамоклова меча, висит постоянная опасность быть прогнанным в случае болезни, старости, ослабления. За тем ему предстоит записаться в ряды *pigionali*; искать работы за кусок хлеба, брать то, что дадут, делать то, что потребуют.

Красная цена поденщикам в самое горячее время сельских работ по 84 сантимов (21 коп. сер.) в день. Это время для них сущий праздник, так как остальную часть года они проводят в самой страшной нищете. Изредка разве наймут нескольких из них для того, чтобы проложить какую-нибудь новую проселочную дорогу от однойвиллы до другой, или по-

правлять старую.

Сельские жители впрочем не только по недостатку времени остаются в грубом невежестве. Совершенное отсутствие школ отнимает у желающих всякую возможность приобрести хотя бы самые простые и необходимые сведения. Число желающих учиться значительно увеличивается с каждым годом; но для этого им нужно бы было идти в город, на что очень не многие имеют возможность.

Жена одного из сторожей железной дороги возле Сиены сумела воспользоваться этим благородным стремлением к просвещению: в будке своего мужа, при входе в какой-то тоннель, она завела род школы. С полдесятка крестьянских детей разных возрастов и полов обучаются у нее грамоте с платой по несколько копеек серебром в месяц.

Жизнь тосканских контадинов, даже самых достаточных из них, бедна и проста до крайности. Рис, кукуруза и бобы – их постоянная пища. Из этих мучнистых веществ, поглощаемых в большом количестве, вырабатывается много лимфы и мало крови.

Пьянство и разврат не в ходу между этими

смирненными золотушными тружениками. На юге вообще мало пьют, и во всей Италии, за исключением калабрийского *centerbe*[192], нет ни одного крепкого напитка, который бы служил для народного употребления. Тосканские земледельцы запивают легким кислым вином свою жирно приправленную оливковым маслом пищу. Вино, даже самое простое, стоит слишком дорого, а в особенности оно подорожало в последние пять лет, когда страшно распространилась здесь болезнь виноградных лоз. Один из здешних агрономов изобрел средство против этой болезни, — именно присыпать мелко растертой серой только что зародившиеся кисти. Нынешней весной многие воспользовались этим средством. Но так как болезнь прошла сама собой, то и нельзя судить о его действительности. Только вино из подвергнутых этой операции лоз приобрело отвратительный серный запах.

Несмотря на умеренность образа жизни, тосканские земледельцы — как и все итальянские бедняки — имеют одну, весьма разорительную слабость, а именно страсть к игре,

развиваемую и поддерживаемую в них самим правительством. Об итальянской лотерее, или королевском лото, как ее называют здесь, было уже много говорено и писано; но я тем не менее предоставляю себе право прибавить впоследствии несколько своих слов к этому многому.

Замечу еще, что в Тоскане нет хотя сколько-нибудь значительных деревень и сел, нет следовательно и земледельческих центров. Крестьяне живут поодиночке на землях помещиков, видаясь очень редко с двумя или тремя из соседей. Поэтому в них нет и тени того корпоративного духа братства и общности интересов, которыми отличаются городские ремесленники. Ремесленники могли воспользоваться возможностью, которую предоставила им последняя правительственная перемена, — соединяться, составлять общества и братства. Крестьяне и этого не могут сделать. Они чувствуют очень много существенных недостатков, но исправить их, облегчить участь земледельцев могли бы только разумные ассоциации на манер ремесленных братств взаимного вспомоществования. А за-

вести эти братства, при разъединенности интересов и образа жизни, это трудная задача, и сами крестьяне конечно не сумеют разрешить ее. Правительство не берет инициативы в этом деле; тем более оно не может открыто принять сторону работников против собственников в этой упорной борьбе. Строгие блюстители статута не признают даже права за министерством входить в эти частные вопросы, касающиеся быта отдельных сословий, а не целой нации. Министерство однако же в других случаях не боится высказывать свои централизационные стремления, не останавливаясь за криками и толками этих пуритан нового рода.

Число приверженцев централизации возрастает в Италии с каждым днем. В течение последнего месяца вышла в свет небольшая брошюра некоего г. Джорджини, выказывающая в авторе весьма основательные административные познания и еще более склонность его к централизационному направлению настоящего кабинета. Брошюра эта имела несомненный успех в публике, хотя достоинства ее и были неумеренно преувеличены

министерияльными газетами. Изо всего этого можно легко вывести, что никак не излишний пуританизм и не страх перед общественным мнением заставили г. Рикасоли и его кабинет оставить безо всякого внимания участь контадинов, тем более что этот же самый кабинет делал весьма многие и не вполне законные уступки в пользу городских работников, да и теперь каждый день делает их в пользу крикливых тунеядцев Неаполя и Эмлии. Правда, что они не так терпеливо как тосканские контадины ждали его вмешательства в их интересы.

Впрочем, обо всем этом мне хотелось бы сказать многое и многое, что здесь может быть было бы не совсем у места, а потому я считаю лучшим совсем кончить на этот раз об этом щекотливом предмете. В заключение скажу еще несколько слов, чтобы показать, как мало земледельческие классы Средней Италии возбуждают в себе сочувствия даже между итальянскими прогрессистами – и это конечно говорит не в пользу гг. прогрессистов.

В каждом из городов Италии – в Тоскане

больше чем где-либо – существуют так называемые комитеты итальянского единства. Лица, составляющие эти комитеты, доказали в очень тяжелые для Италии времена свою горячую преданность народному делу, благу и самостоятельности Италии. Трудями их был подготовлен последний переворот в Тоскане, Романье и в неаполитанских провинциях. Многие из них принесли в жертву не только свои имущества, но даже лично потерпели весьма многие гонения. Теперь комитеты эти продолжают очень аккуратно свои заседания почти каждое воскресенье. Настоящее положение дел однако же несколько охладило их ревностное стремление, или по другим может быть причинам они ограничились кругом своих действий. Теперь почти исключительной целью их осталось покровительствовать римской и венецианской эмиграциям, раздавать им денежные вспомоществования. На всё это уходит много денег, тогда как польза, приносимая их трудами, далеко не соответствует издержкам. Мне случилось говорить с одним из членов Сиенского комитета о быте тосканских контадинов. Ответ, данный мне этим по-

чтенным гражданином, я привел уже выше.

Письмо второе

22 (10) января [1862 г.]

В настоящее время Турин, становящийся с каждым днем всё более и более столицей Итальянского королевства, представляет живую картину. Здания парламента и обязательное присутствие представителей всех провинций делают шумной и интересной жизнь этого города. Виктор-Эммануил, тоже не чуждый может быть общей всем итальянцам муниципальной гордости, делает с своей стороны всё от него зависящее чтобы показать своим новым подданным их временную столицу по возможности в лучшем свете. Я называю ее временной только потому, что, по мнению всех итальянцев, один Рим способен быть истинной столицей королевства; определить же срок, на который Турин исправляет эту должность я решительно не берусь, тем более что и сам г. Рикасоли, который должен был бы гораздо лучше меня уметь отвечать на этот трудный вопрос, сильно смутился, когда ему предложили его без особенных околичностей.

Кого интересуют подробные описания великолепных балов и всяких другого рода торжеств, которые непрерывно следуют в Турине одно за другим, благодаря щедрости короля, тех попрошу я адресоваться к официальным журналам этого города: там со всей подробностью поименованы все лица, почтившие эти собрания своим присутствием, описаны блестящие туалеты дам и чуть ли даже не исчислено, сколько мороженого и прохладительных напитков подавалось разгоряченной публике. В этих же изданиях можно найти самые полные сведения о серенадах и иллюминациях в честь принца Оскара Шведского, встреченного чрезвычайно радушно в субальпийской столице. Я же оставляю все эти веселые зрелища для очень печальной картины.

Выходя с одного из последних балов, данных итальянским королем в честь шведского принца, в 6-м часу утра, когда туман очень плотно улегся на вершины гор, а с середины неба стал падать холодный, серый полусвет, позволявший определенно видеть окружающие предметы, – гости могли заметить очень простую тележку, в одну лошадь, медленно

ехавшую по направлению к городским воротам. В тележке ехал еще очень молодой человек в назидательном сообществе священника. Полвзвода солдат угрюмо шли по сторонам этого незатейливого экипажа. По этим вовсе недвусмысленным признакам очень не трудно было угадать цель путешествия, не совсем добровольно может быть предпринятого бедным юношей. Не берусь передать вам чувства и мысли героя этой печальной катастрофы в то время, когда гнедая кляча подвозила его к тому месту, где ожидал его новый отряд солдат и королевский чиновник гражданского ведомства... Юноша этот был мясник, и о существовании его мало кто знал в Турине, почти до той самой минуты, как он перестал существовать.

Пьемонтское уголовное законодательство допускает смертную казнь, и даже не в очень редких случаях; но приложения ее к практике старожилы туринские почти не запомнят. Не знаю, мягкость ли тамошних судей этому причиной, но только с 1849 года ни в Турине, ни в других провинциях королевства, не случилось ни разу подобных трагических пред-

ставлений. Последний из приговоренных к лишению жизни сардинским уголовным судом был Джузеппе Мадзини, который, как вы знаете, очень благополучно живет в Лондоне и недавно оправился от тяжелой болезни. А потому казнь мясника возбудила не одно сожаление к нему в свидетелях этой кровавой сцены.

Вопрос о смертной казни занимает многих весьма почтенных криминалистов; уважая специальность, я не стану приводить здесь свои личные, очень неглубокомысленные в сравнении с их учеными трудами, мысли об этом предмете; но каюсь, что в моих глазах подобные кары правосудия имеют в себе слишком много варварства. Нельзя не сознаться в том, что со стороны государственной экономии этот способ расправы представляет свои выгоды: гильотина стоит несравненно дешевле пенитенциарной (да и всякого другого рода) тюрьмы, к тому же и не требует очень сложной администрации. Экономные правительства поэтому очень любят этот дешевый, но и действительный, способ восстановления однажды нарушенного порядка.

Двор Св. Петра, по бедности, вынужден очень часто обращаться к нему. По римским законам всякое убийство, совершенное не в пользу церкви и *не во время широко*, наказывается смертью: последняя оговорка делает большую честь человечности и предусмотрительности новых римских законодателей. В летние месяцы в Риме и в окрестной Кампанье дует очень часто и сильно сухой, южный ветер из африканских степей, раздражающий нервы и доводящий до болезненного исступления жителей Вечного Города. Но и без этой климатической случайности палач там может, положив руку на сердце, сказать, что не даром берет свое жалованье от священного двора. В настоящее время в особенности должность его стала до такой степени трудной, и требует такой неусыпной деятельности, что, говорят, даже железное здоровье *Padrone Checco*[193] не устояло. Некоторые приписывают его нездоровье угрызениям совести, возбужденным в нем смертью Цезаре Лукателли[194], в которой он не мог считать себя невинным.

Вам конечно известно, что Цезаре Лукател-

ли казнен в Риме несколько месяцев тому назад; его обвинили в убийстве одного из папских жандармов во время небольшой стычки между этими ревностными блюстителями порядка и гуляющими. Очень скоро после смерти Лукателли открылся настоящий виновник преступления, бежавший в итальянские владения тотчас после катастрофы. Лукателли принимал очень пассивное участие в случившемся смятении, но остался израненный на месте, и так как он один из всей толпы попался в руки полиции, то и должен был, для поддержания чести римской Фемиды, исправлять должность преступника. В виде посмертного утешения бедному страдальцу итальянские журналы все без исключения разгласили его бесчестный процесс со всеми его возмутительными подробностями. Но как приняли римские граждане эту казнь? По обыкновению, свирепо сверкая своими огненными глазами, угрюмо теснились они вокруг эшафота с глухим ропотом, и бросали от времени до времени вовсе недружелюбные взгляды на окружавших его швейцарцев в их шутовском наряде. В толпе слышались порой

возгласы сочувствия страдальцу, тысячи рук протягивались с медными байоками[195] к чаше, в которой собирались деньги на панихиду по усопшем – одним словом, как это всегда бывает в подобных случаях, как это было и нынешней весной, когда место Чезаре Лукателли занимал молодой трастеверинец[196], душегубец, успевший известить столько своих собратий, сколько ему было годов от роду. Вы можете быть выведены из этого очень невыгодные для римского народа заключения. Но дело в том, что они во всяком, входящем на ступеньки эшафота, видят такого же Чезаре Лукателли, и если бы римский двор присудил кардинала Антонелли или де Мерода[197] к подобной экзекуции, – они готовы были бы с любовью и сожалением смотреть на этих двух ненавистных своих врагов. Если падре Пассалья, экс-иезуит, пользуется некоторой популярностью в Италии, то этим он обязан исключительно негодованию против него наместника св. Петра, которое высказалось, между прочим, очень оригинальным образом. На дверях одной из церквей Иисусова братства в Риме, в большой картине *al fresco*,

между многими столпами ордена изображен и Пассалья, бывший в то время ревностным защитником Ватикана. Недавно святой отец отдал приказание, чтобы голова этого портрета была отрезана, в ожидании пока удастся повторить эту самую операцию над оригиналом.

Бывшее неаполитанское законодательство тоже было довольно щедро на такую энергическую меру уголовного наказания. Я не думаю, чтоб оно было побуждаемо к этому чрезмерной экономией, или было вынуждено дурным состоянием финансов. Известно, что королевство Обеих Сицилий было одно из самых счастливых в Европе в денежном отношении, и если б отнять хотя десятую долю тех капиталов, которые ежегодно тратились на всякого рода празднества, на украшения дворцов и церквей, то можно было бы устроить очень хорошие тюрьмы и содержать многочисленную и благоустроенную администрацию. Более снисходительное, нежели правительство св. Петра к человеческим слабостям, неаполитанское уголовное законодательство не придерживалось ветхозаветного правила:

жизнь за жизнь. Убийцы щеголяли в красных куртках с выбритыми затылками и с очень легкими цепями на ногах и содержались порядочно в многочисленных тюрьмах. Между низшими классами красные куртки пользовались даже несравненно большим почетом, нежели желтые – мундир пойманных воров – и серые, служившие отличием других преступников гнусного разряда. Многие из них даже сожалели о том, что заслужить эту почетную одежду на всю жизнь было слишком трудно, пожалуй и совсем невозможно. Зато попасть на эшафот было слишком легко, и желающие могли добиться этой чести, даже не угнетая свою совесть грехом против восьмой заповеди. Не говоря уже о Пизакане[198], Бандьера[199], Милано[200] и других, за смерть которых дикие калабрийцы жестоко отплатили полициотам и сбиррам, много крови пролито было этими варварскими чиновниками, в руки которых бурбонское правительство отдавало подвластные ему страны. Бедная Сицилия особенно пострадала от их наглого самовластья. На этом острове вся низшая полиция была составлена из передав-

шихся в руки правосудия разбойников. Я забыл теперь имя одного из них, занимавшего очень важный пост по этой отрасли администрации, и особенно отличившегося грубым цинизмом своих кровавых оргий. Этим почтенным юристом пытка была введена как очень обыкновенное дело при всякого рода уголовных следствиях, хотя собственное признание виновного вовсе не было необходимо для его осуждения. Всё это делалось с таким возмущающим цинизмом, что совершенно понятной становится та глубокая ненависть, которую питают к павшему правительству неаполитанцы.

Между исчезнувшими итальянскими правительствами, которые правили отдельными клочками Полуострова во имя Бога и Австрии, одно заслуживает особенно благосклонное внимание, по человечности своих законов. Я говорю о бывшем великом герцогстве Тосканском. Кодекс, имевший силу в этом маленьком государстве, мог бы служить образцом для многих других, выгоднее во всех отношениях поставленных правительств, и в этом сознаются даже враги ех

officio[201], следовательно, самые свирепые враги Леопольда и Австрийского дома. Тосканцы самый положительный народ во всей Италии; но и они способны увлекаться, как все другие и даже лучше, чем все другие, потому что они увлекаются хладнокровно. И теперь еще не совсем прошла та политическая лихорадка, которая овладела ими при первых известиях о победе при Сольферино[202], и они еще не приобрели способности беспристрастно смотреть на свое прошлое, как это и естественно, если это прошлое не совсем прошло, или прошло очень недавно. Леопольд-*Babbo*, как они называют его иронически, и теперь еще для них предмет очень сильной ненависти, во многом несправедливой. Бывшее правительство, конечно, не удовлетворяло всем потребностям страны, и революция готовилась с давних пор; за это тосканцев обвинять нечего. Но личная ненависть к великому герцогу, извиняемая до известной степени лихорадочным состоянием народа, является в глазах всякого беспристрастного человека пятном на разумных, всегда обдуманно действующих тосканцах.

С тех пор как я в Италии, я встретил только одного, очень почтенного гражданина Этрурии, который спокойно и добросовестно обсуживал недавно прошедшее. Ему было шестьдесят два года; он успел уже, как говорят, перебеситься; он играл очень деятельную роль в 1833 и 1848 гг., – и вот теперь, познав тщету всего земного, смотрит на совершающееся перед его глазами не как гладиатор на борьбу, в которой сам уже не может принять участия, но как опытный и развитой человек, успевший во всем отделиться от собственной личности. Обед, изготовленный собственными руками его дражайшей половины, чашка кофе в кофейной, грошовая сигара и ревматизм в ногах, вот для него существенная сторона жизни. Остальное заменяет ему театр, в который он перестал уже ходить, зная наизусть все представляемые пьесы, все остроумные выходки и шутки сиенского Стентерелло, вступившего на сцену Сиенского театра молодым человеком в том самом году, когда мой приятель, экс-адвокат доктор Дезидерио срезался в первый раз на университетском экзамене из римского права.

Как и все, не выжившие еще из ума старцы, д-р Дезидерио отличается превосходной памятью на мелочные происшествия, случившиеся на его глазах, хотя сильно путается в их хронологии. В его сообществе провел я много очень назидательных часов, и слова его помогли мне правильнее понять всё случившееся и теперь еще случающееся в вековых городах древней Этрурии, в чем прежде многое казалось мне загадкой.

По словам ученого адвоката, одна из главных причин ненависти соотечественников его к Леопольду, не бывшему ни тираном, ни даже очень плохим администратором, есть очень свойственная всем им черта, отдавать свою симпатию победителю, герою дня, – отдавать в такой степени, что для побежденного в душах их ничего уже не остается, кроме ненависти. Я должен был удовольствоваться объяснением доктора Дезидерио на этот раз, потому что не нашел никакого лучшего. Предупреждаю, впрочем, вас, что приятель мой – скептик, и что он вовсе не доверяет возвышенным побуждениям ни в других, ни в себе, и собственные его подвиги в иные эпохи ка-

жуются ему теперь плодом юношеской кичливости и беспокойного духа. Он и на весь последний политический переворот, совершившийся в Тоскане таким особенным и величественным образом, смотрит с той же самой точки зрения, и объяснил он мне его какой-то итальянской поговоркой, напомнившей мне мою отечественную *хоть горше да иньше*. На этот раз я стал очень энергически возражать старому скептику. Мой противник не поддался на мои доводы, хотя и не нашелся возражать на них последовательно, и, уходя, как за каменную стену, в свой скептицизм, постыдно бежал от меня, прихрамывая и опираясь на палку.

Оставшись один, я, как это часто случается, увидел вдруг недостаточность своих данных, которыми надеялся окончательно сбить с позиции упрямого адвоката.

Мне самому показалось неправдоподобным, чтобы из-за нескольких, вовсе несущественных злоупотреблений и промахов бывшей администрации, имевшей свои неоспоримые достоинства, народ решился на такую радикальную перемену, и чтобы, несмотря на

потерю многих выгод, он решился на это с таким единодушием, что всё дело обошлось без ружейного выстрела.

Последний из тосканских великих герцогов в очень малом был схож с сотоварищами своими в падении, маленькими и скупыми тиранами, преданными Австрии с головы до ног, не знавшими пределов своему буйному произволу. Не будучи вовсе идеалом монарха, Леопольд обладал некоторыми личными достоинствами и в 1848 году показал, что он во все не чужд народного духа и способен отстаивать его даже против своих патронов австрийцев. Положим, он не простирал этого благородного порыва до самопожертвования; но этим он бы, казалось, мог только больше выиграть в глазах своих расчетливых подданных, очень уважающих положительность и расчет как в себе, так и в других. При наступлении грозы, великий герцог решился на очень многие уступки; он бы не отказался даже может быть выпроводить за пределы своих владений иезуитов и всех им подобных, совершенно преобразовать полицию и дать ей новый устав, в котором он строго наказал

бы ей уважать несравненно больше прежнего существующие законы и постановления.

Преобразованное таким образом великогерцогское управление несравненно больше сообразовалось бы с мелочными, но и очень существенными выгодами Тосканы, нежели совершенно новое, мало знакомое с ее особенностями правительство, первым условием которого было уничтожение всякого рода политической, а затем и административной автономии. Рыцарский барон Рикасоли был посредником между герцогом и его подданными, и в этом случае выказал так много энергии и даже героизма, что популярность его значительно возросла от этого подвига, который впрочем не совсем соответствовал тогдашним желаниям народа. Тосканцы не хотели никаких уступок; они ни на чем не помирились бы, пока старый герцог, со всем семейством своим, не отправился бы по дороге к Вене. Барон Рикасоли, выбранный на тот раз представителем народной воли, оказался уступчивее своих доверителей, за что мог бы дорого поплатиться. Толпа ждала его на площади перед дворцом и встретила его при по-

явлении его на лестнице вовсе не дружелюбно. Неустрашимый дипломат высказал им откровенно свое сочувствие к личности великого герцога, всё, что он думал о *неделикатном* относительно его поведении черни. Не смущаясь ни дерзкими криками, ни свистками, он *моральным влиянием* двух вынужденных им из кармана револьверов, пробрался через толпу на площадь; и оставался там, пока личная безопасность Леопольда и всего его семейства не была обеспечена.

Как бы то ни было, это событие из жизни нынешнего первого министра свидетельствует о непоколебимой честности его и твердости в своих убеждениях.

Чтоб объяснить то, что могло показаться загадочным в его позднейшей жизни, чтоб объяснить увлечение, с каким тосканцы предались идее итальянского единства почти в ущерб своим частным выгодам, мне кажется необходимым маленькое отступление в давно прошедшие века. Несмотря на всё мое желание не вдаваться в археологию, я вынужден сделать это, потому что многое в теперешней итальянской жизни является пря-

мым результатом прошедшего, и чтобы вполне понять эти отдельные случаи, нужно прежде добраться до других, которыми они порождены.

Между муниципальными республиками Италии, Тоскана или, правильнее, Флорентийская республика, первенствовала во все времена. Я не говорю здесь ни о венецианской, ни о геновской, — та жизнь давно прошла и уже не воскреснет: мраморные дворцы и церкви полувосточной архитектуры, вот всё, что осталось от нее. Но жизнь Флоренции была иного рода. Община народная — *del popolo magro*, как ее называли в отличие от общины олигархической, *del popolo grasso*, прежде всего выработалась во Флоренции. Чтоб устоять, во что бы то ни было, или лучше, чтобы не уступить заклятым врагам своим, флорентийское купечество решилось установить в своем родном городе герцогскую власть. Флорентийские герцоги не имели ничего общего с тиранами северной Италии, и однако же вскоре они стали очень не популярны. Во Флоренции образовалось много партий. Парии эти со всевозможными от-

тенками были большей частью против великих герцогов, или по крайней мере против семейства Медичей, стоявшего тогда во главе. Одни боролись из честолюбивых видов, другие из привязанности более или менее бескорыстной к павшему величию городской общины; но соединенные усилия всех их часто одерживали верх, и Медичи неоднократно должны были оставлять Флоренцию, пока наконец соединенные войска папы и императора не утвердили раз навсегда этот образ правительства в лице незаконного сына папы Климента, Александра Медичи. Новый герцог, опираясь на иностранную помощь, уничтожил одно за другим преимущества народа. Этим собственно и кончается история Флорентийской республики.

Кратковременная эпоха ее падения – лучшее время изо всей ее жизни и особенно плодотворное на великих людей всякого рода, которых геройские подвиги не спасли однако же независимости этой страны. Макиавелли начинает собою этот блестящий период, ознаменованный жизнью Микеланджело и Андреа дель Сарто, Лудовика Мартелли, Данте Орвие-

то и Франческо Ферруччи, умершего со знаменем в руках, и тем давшего сюжет для множества исторических картин, украшающих итальянские выставки. Это было то время лихорадочного напряжения, когда всё то даже, что есть отвратительного в человеческой натуре, проявлялось в величественной форме Джованни Бальдини и Малатеста Бальйоне.

Со стороны союзников было менее великих людей и героизма, но за них была численная сила и они одержали верх.

Франческо Ферруччи более других показал стойкости и героизма. После занятия Прато союзниками, когда всё казалось потерянным для Флоренции, в голове полководца мелькнула великолепная мысль, соединить разрозненные деспотизмом мелких владетелей племена Италии. План его не исполнился вследствие очень неблагоприятных случайностей; затем и сам Ферруччи был убит в Гавинанской долине, месте очень живописном, которое я советую непременно посетить всем, бывающим в этой части Полуострова.

Как ни дерзким может показаться предприятие, затеянное великим полководцем, в

то самое время когда в войске его едва доставало солдат для защиты самых важных пунктов его лагеря, оно вовсе не было не исполнимым в эту эпоху геройских подвигов и неожиданных успехов. В Италии никогда не умирала в народе память о бывшем величии страны. Даже в настоящее время всякий *popolano* считает себя прямым потомком древних властителей мира. Классы, счастливее их поставленные, в их глазах – потомки варварских завоевателей Италии. Я вовсе не намерен разбирать, насколько основательно это их мнение, но довольно того, что из их умов ничем нельзя искоренить его. Во времена Ферруччи во Флоренции, класс этот был, сравнительно с другими провинциями Италии, в самом блестящем положении; на целом же Полуострове он был совершенно задавлен или толпами наемных телохранителей местных тиранов, или деспотизмом торговой и рыцарской олигархии. Только Флоренция могла взять инициативу в деле соединения Италии; но народонаселение всех остальных провинций, вопреки всем муниципальным ссорам, отозвалось бы на ее призыв полной готовностью

жертвовать всем этой, может быть, утопической идее.

Мысль Ферруччи пустила глубокие корни в головах соотечественников, и передавалась ими от поколения в поколение, как драгоценное наследство. Герцоги, водворенные непоколебимо в Флоренции, стали действовать несравненно сильнее, нежели их предшественники, против страшной для них общины *del popolo magro*. Александр и Козьма особенно отличились в этом отношении. Большая часть приверженцев флорентийской независимости были казнены ими или изгнаны. В чужих краях, не имея и тени надежды снова стать деятельно полезными родному краю, они принялись за теоретическую сторону дела. Предсмертное намерение Ферруччи развилось скоро в целую политическую доктрину, и было с жаром проповедываемо во всех провинциях Полуострова. И чем хуже было положение Италии, тем всё более и более имело в ней успех это учение.

Правление Александра и Козьмы Медичи было тяжелым временем для флорентийского народа. Микеланджело, вынужденный пере-

селиться в Рим, написал о нем на пьедестале своей известной «Ночи» следующие стихи, которые чуть ли не лучше самой статуи:

*Grato m'e il sonno e piu Tesser di
sasso
Finche la patria vergogna e miseria
dura.
Deh parli piano, non mi svegliar...
[203]*

Но эти тяжелые времена прошли. Усилия герцогов не убили жизни этого края. Преемники Медичей вынуждены были переменить их систему правления. Только однажды утвердившиеся отношения между то сканцами и их владельцами не изменились вместе с этим. Как бы ни было благодетельно их владычество для страны, они не могли забыть того, что их водворила иностранная помощь; несмотря на свое совершенно этрусское происхождение, они навсегда остались иностранцами во Флоренции, и тем самым были вынуждены искать себе содействия вне против своих же подданных, а это в глазах тосканцев усугубило их вину.

Между тем доктрина Ферруччи, исправ-

ленная и дополненная, с каждым днем всё более и более приобретала силы: это было всё, что оставалось от минувшей славы и величия тосканского *popolo magro*.

Г. Рикасоли вовсе не *popolano*, но убежденный что из своего прежнего политического положения Тоскана могла извлечь очень много полезного, он настойчиво требовал некоторых необходимых уступок и улучшений. Впрочем, он не отказался занять место в великогерцогской администрации, и тем самым принимал на себя обязанность защищать великого герцога.

Но потом барон Рикасоли увидел, что единство Италии перестало быть утопией, из-за которой могло быть пролито много крови без всяких существенных результатов. И исполнив честно и добросовестно свой долг по отношению к прежде принятым обязательствам, — он стал служить этому новому делу также бескорыстно и честно, имея всегда в виду, прежде всего, положительные и практические пользы своей родины.

Гарибальдиец

Письмо третье

12 февраля [1862 г.]

Я очень давно не говорил уже ни слова о Неаполе, играющем, однако же, вовсе не последнюю роль в теперешнем положении Италии.

Но согласитесь, что вина не моя. Дело в том, что всем известны кровавые подвиги так называемых защитников римской церкви, то есть прав ее главы не на души только, но и на тела нескольких сот тысяч итальянцев, готовых скорее загубить свои души, чем душой и телом принадлежать наместнику св. Петра. Между тем, кроме перечня разбойничьих проделок этих рыцарей, мало что можно было сказать о неаполитанских провинциях... Народонаселение их в течение всего этого беспокойного периода времени очень удобно можно было разделить на три класса: 1) подкупающие разбойников, 2) разбойничающие и 3) боящиеся разбойников, – третьей самый многочисленный. К нему следует отнести и национальную гвардию и регулярные войска, расположенные в этих провинциях, уже с давних пор и вероятно на долгое время впе-

ред, так что их по справедливости можно считать на некоторое время оседлыми жителями бывшего королевства Обеих Сицилий.

Относя их к третьему классу, я вовсе не думаю оскорбить этим их мужество или гражданские доблести, которые иные из них уже выказали, а другие, конечно, не замедлят выказать при первом удобном случае. Но как бы неустрашимы они ни были, они уже по одному тому относятся к третьему классу, что их ни почему нельзя причислить к двум первым. К тому же, вспомните теорию храбрости Жан-Поля Рихтера[204], право больше справедливую, чем кажется с первого взгляда. Да возьмите и жизнь войска в окружающих Неаполь провинциях: Терра ди Лаворо, Капитанате, Базиликате и других, граничащих с Римской Областью. Несколько дней тому назад я получил подробные сведения о небольшом отряде, расположенном в Санта-Марии близ Капуи. Их доставил мне офицер, очень молодой, но успевший выказать много стойкой и обдуманной храбрости, живой образец современного итальянского офицера, исполненный предрассудков вперемешку с очень

блестящими качествами, готовый по системе Кифы Мокиевича[205] пожертвовать всем, для того чтобы скрыть от посторонних глаз всё, могущее бросить хотя слабую тень на близких его, на его сослуживцев. И юноша этот сам говорит, что войско *боится* разбойников. Здесь вовсе не место рассуждать, насколько похвальное чувство в человеке храбрость, и насколько унижительно противоположное ей чувство, но объяснить, что этот страх перед разбойниками свидетельствует в пользу солдат, не робевших в других более опасных случаях, я считаю бесполезным. Ларчик открывается просто. Входя в призывавшую их страну, они говорили слова мира и спокойствия, а пришлось им поддерживать какое-то осадное положение, и они вынуждены жить как в завоеванном крае. Этим они конечно заслужили далеко не дружеское расположение обитателей, которых ненависть могла повести к неблагоприятным результатам. Разбои не позволяют войску выйти из этого неловкого положения, заставляя круто обращаться с теми, кого собственно следовало бы и хотелось бы считать братьями. Все

эти решительные меры не приводят, конечно, к цели, не водворяют спокойствия и порядка: это уж вина не войск, но опять им же приходится за нее расплачиваться. Как успех военных действий в Маркиях и Умбрии и гарибальдийцев в Южной Италии был приписан главным образом туринским дипломатам, так теперь промахи *нового Кавура* приписываются войску. Я уж не говорю о том, что эта мелочная охота на хорошо знакомых с местностью и умеющих ею пользоваться разбойников быть может очень забавляет в первое время молодых гусарских корнетов, но *à la longue* надоедает всем и каждому, и стоит трудных походов, хотя и не представляет больших опасностей. Всё это не мешает тому, что действия войск против разбойников относительно успешны, несмотря даже на отсутствие кавалерии. Но для страны вообще, а следовательно и для самого войска, мало от того толку. Рассеянные шайки поодиночке перебираются в Римские Владения, где снова организуются под кровом римского двора и французских штыков, где добровольно сдавшиеся, убитые и расстрелянные легко заменя-

ются новыми, благо не оскудела еще касса св. Петра, пополняемая тощими подаяниями, вымогаемыми у всех верных сынов (и по преимуществу дочерей) римской церкви. Формирование новых скопищ тем легче, что большая часть Неаполитанского королевства никогда не представляла путешественникам полной безопасности; если пограничные с Папскими Владениями провинции не пользовались в романах и операх такой же известностью, в этом отношении, как знаменитая Калабрия и Абруццы, то лишь потому, что тамошние бандиты представляют меньше *живописного*. Во время последней революции им открылось более чем когда-либо широкое поле деятельности, которым они пользовались безо всяких политических замыслов. Пока подвиги Гарибальди и потом Чальдини обращали на себя всеобщее внимание, о разбойниках не говорили; но когда Франческо II проиграл окончательно, когда хоть внешний порядок понемногу начал водворяться в этих странах, смелые разбойничьи выходки стали одной из самых существенных частей итальянского вопроса. Чьи личные выгоды совпадали

с особенностями этого тревожного состояния, тот воспользовался существованием бандитов, которые с своей стороны, обрадованные тем, что могут придать своим проделкам более возвышенный характер, поддались и охотно пошли за врагов итальянского единства. Франческо II раздал им оружие, оставшееся без употребления по упразднении его войска; на случай неудачи нашлось верное убежище в Римской Области, куда не могут следовать итальянские войска; при успехе, порядочная добыча с разграбленных сел и городов легко была укрываема в учрежденных близ Террачины складах. Разбои закипели. Наместничество Чальдини положило было конец этому ходу дела. Тогда, если бы римский двор, первоначально скупой на жалованье своим агентам, не решился на денежные жертвования, порядок и спокойствие могли бы очень скоро водвориться. Но экономный Рим решился и стал организовывать на свой счет и на счет Франческо II правильные партизанские партии. Желаящим записаться в ряды защитников церкви, кроме ежедневной платы по паоло в день (около 15 коп.

сер.), стали выдавать по несколько скудо единовременно. Всё, что было в Риме воров и разбойников, каторжников, бежавших из тюрем и спасшихся каким-либо чудом от эшафота, множество французских дезертиров и отставных солдат – всё это поспешило принять выгодные условия. Между последними не мало и таких, что в прошлом году дрались под знаменами Гарибальди. Особый комитет французских легитимистов прислал десятки отборных бретонцев. Испанцы целыми ротами в правильном составе присоединились к распущенным бурбонским полкам, и всё это собралось под начальством старинных офицеров бывшей армии Франческо II. В монастырях учреждены склады оружия и пороху. Центральный бурбонский комитет, резидирующий на Мальте и имеющий агентов во всех главных городах католической Европы, завел целый арсенал, в котором есть и пушки, и всё, что нужно для вооружения судов. Почему именно Мальту, а не Рим избрали центром действий – не знаю, но конечно не из боязни французских войск. Генерал Гойон не может не видеть проделок своих протеже, а ведь не

мешает же он однако вербовке в бандиты, которая в Риме делается открыто на главных площадях и под главным начальством генерала Боско[206].

Энтузиазм – как можете заключить из сказанного – вовсе не преобладающая черта в этом импровизованном войске; но между наемниками и каторжниками в нем попадаются иногда люди совершенно бескорыстные и преданные. В одной из недавних стычек между пьемонтскими драгунами и папскими бандитами был взят в плен в числе прочих очень молодой еще и весь израненный доктор неаполитанец, который возбудил участие в командовавшем пьемонтским отрядом полковнике Пианелли. Пианелли задумал его спасти. На допросе доктор выказал себя заклятым врагом итальянского движения. Пианелли напрасно старался убедить его и представить ему дело в настоящем свете.

– Если бы вам возвращена была свобода, на что употребили бы вы ее? – спросил он наконец, надеясь может быть, что поставленный таким образом в необходимость решать сам свою участь, юноша ответит так, что от-

кроет возможность спасти по крайней мере его жизнь.

– Я употребил бы эту свободу на защиту священных прав церкви и верного ее сына, моего короля Франческо II, – отвечал доктор с стоическим мужеством, и был расстрелян.

В числе сподвижников Борхеса и Алессандри, попадались еще весьма интересные личности другого рода, как например француз Ланглуа, который был взят в плен и расстрелян пьемонтцами. О нем очень много уже было говорено в журналах. Ланглуа при допросе не выказал такой непоколебимой привязанности к своим убеждениям, как неаполитанский доктор, тем не менее личность его типична и очень пригодна в какой-нибудь французский роман. Он объявил, что ни сколько не был намерен защищать папу, или Бурбонов, еще меньше питал какие-либо враждебные замыслы против итальянского правительства, а дрался – так, из любви к искусству... «*Je faisais la guerre en amateur!*»[207]

Такого же рода господа, чуждые корыстных видов, но и вовсе не преданные делу, за которое они дрались, были и в гарибальдий-

ском войске, во французской роте. Это продукт парижской почвы.

Но пора мне бросить эти лагерные истории и обратиться собственно к Неаполю.

Неаполь ньемонтизируется! – так все кричат в один голос, и на это приводится тьма доказательств.

Вот один из случаев, для примера. Другья покойного Пизакане, – он жил еще в то время, когда все, желавшие единства и независимости Италии, были друзьями каждого, отдававшего себя этому святому делу, и потому у него много друзей, – так друзья покойного Пизакане задумали поставить ему памятник в Неаполе. Пизакане родом неаполитанец, в Неаполе он казнен, там же сожжено его тело: понятно, что именно в этом городе задумали поставить ему памятник. На сколько он заслужил такую честь – это другой вопрос. Предприятие его не имело успеха, оно лишь повлекло за собою смерть предприимчивого предводителя высадки и многих из его товарищей; пожалуй даже вызвало новые гонения на Неаполь. Кроме того, его вовсе нельзя поставить на ряду с первоклассными деятеля-

ми итальянского освобождения, он вовсе не был гениальной натурой. Но неаполитанцы должны были бы относиться к нему снисходительно: он любил Неаполь, он с безрассудной отвагой отдался весь делу, которое считал полезным своему отечеству. Все знают, как он с 20-ю товарищами *украл* пароход среди моря и отправился смело проповедовать новые доктрины на калабрийском берегу. За эту смелость он поплатился жизнью, но и на эшафоте он сказал собравшемуся на зрелище народу, что не жалеет о своей судьбе, что с давних пор он не желал лучшей участи, как умереть за свое отечество, в сражении ли, или на эшафоте – для него всё равно. Нельзя лишать его прав на признательность неаполитанцев, которые действительно боготворили его имя. Туринское министерство, со своей стороны, имело полное право не разделять этих чувств, даже больше: по своему положению, быть может, даже было обязано выказывать чувства прямо противоположные. Неаполитанский народ мог с изъятиями самой живой радости принять декрет Гарибальди, назначавший пожизненную пенсию се-

мейству Аджезилао Милано, но итальянское правительство не могло признать этот декрет, не могло оправдать преступления, хотя и совершенного в его пользу. То же с немногими изменениями можно отнести и к Пизакане. В этом смысле высказался и кабинет покойного Кавура и барон Рикасоли, бывший тогда еще тосканским губернатором: теперь и сами неаполитанцы, так недавно еще вовсе не разделявшие образа мыслей министерства, к нему примкнули. Когда в общинное правление (муничипио) этого города была представлена просьба об отводе под памятник нескольких квадратных саженьей земли, муничипио отказало положительно, безо всяких оговорок, и вовсе не в двусмысленных выражениях. Памятник однако же будет воздвигнут, только не в Неаполе уже, а в Салерно, где городская община изъявила полную готовность уступить под него столько земли, сколько потребуется. В Италии теперь вообще время на памятники; в Турине, на площади *del Merito* поставили гипсовый бюст Кавура, в ожидании пока готов будет мраморный; в английском саду в Палермо воздвигли монумент

мент Гарибальди, а в Сорренто открыта подписка на сооружение памятника Торквату Тассу. Это впрочем в виде примечания. Перехожу к главному, – к пьемонтизации Неаполя.

Неаполитанское наместничество уничтожено, это как я уже говорил вам, еще не произвело особенного впечатления на жителей, и нисколько не изменило положения дел. Но заодно с наместничеством уничтожены и все существовавшие в бывшем королевстве Обейх Сицилий административные учреждения, которых упразднение оставило без средств к жизни множество чиновников, и вот явилось если не всеобщее, то очень сильное неудовольствие. Уцелевшие и вновь учрежденные административные места по-прежнему наполнялись пьемонтскими графами и кавалерами, находящими, что жизнь в Неаполе очень дорога, и требующими у своих дядюшек министров прибавки жалованья или экстраординарных выдач.

А между тем *гаммора* процветает в Неаполе по-прежнему, реакция копошится, полиция плоха и продажна. Впрочем, насколько

тут виновата пьемонтизация, я судить не берусь. Положение действительно незавидное, но по моему убеждению, главная причина неудовольствий в Неаполе, и разрозненности его интересов с остальным полуостровом та, что Неаполь еще слишком *молодой человек*, несмотря на свое древнее существование. Он еще горячо предан доктринам, принципам и утопиям, и помирится с настоящим тогда, когда настоящее это будет удовлетворять его многосложным и часто идеальным потребностям, чего вероятно никогда не случится, или когда он устанет от борьбы. Много лет он сидел сиднем, скованный по рукам и по ногам, как русские богатыри; теперь он только что очнулся от этого томительного состояния и хочет идти вперед во что бы то ни стало, бла-го дорога перед ним широкая и открытая.

Гарибальдиец

Письмо четвертое [Из Лукки]

25-го февраля [1862]

Хотя и поздно, но все-таки расскажу вам со слов очевидцев о шумной, энергической протестации, бывшей 9-го февраля в Неаполе

против папы. День этот пришелся в воскресенье. Накануне еще были начаты приготовления, и на всех перекрестках наклеены были воззвания бесчисленных неаполитанских братств и ассоциаций к своим членам, и вообще к благомыслящим гражданам, приглашавшие их явиться в 11 часов утра следующего дня на площадь *del Castello*. Наутро окна и стены всех домов, углы всех улиц и переулков были увешаны трехцветными флагами с надписью: *Viva Roma Capitale d'Italia*[208].

Несмотря на проливной дождь, всё народонаселение высыпало на улицу. В 10 ч., Юношеское Унитарное Общество (*Assoiazione Giovanile Unitaria*), студенты медицинской школы, консерватории и университета шли со знаменами по *Largo del Castello* навстречу Ремесленному Братству и Гарибальдийскому Духовному Обществу (*Società Ecclesiastica*), ожидавшим их в полном своем составе. Толпа народа сопровождала их восторженными *Viva*, и другими проявлениями своего сочувствия. Несколько сот ладзаронов с музыкой и с народным знаменем, на котором стояло двустеишие:

*E uno, e duo, e tre
Il papa non è re[209],*

заклучали шествие. Дождь не переставал лить как из ведра, но не мог охладить патристический жар публики. Толпа росла с каждым шагом; трехцветные флаги и знамена гордо развевались по воздуху. Балконы были полны разодетых дам, которые ради торжественного случая решились отдать свои туалеты на жертву дождю и тоже не оставались немymi свидетельницами манифестации: они аплодировали и кричали, говорят, не хуже самых рьяных антипапистов. Дойдя до дворца, процессия разделилась на две половины: одна пошла на [виа] Кьятамоне, где дом французского консула, другая отправилась назад по [виа] Толедо. У консульского палаццо слышались новые взрывы народных чувств. Консул показался на балконе, и благодарил народ от имени своего правительства. «Да здравствует Франция», – закричали ему, он любезно раскланялся. Потом раздались иного рода клики: «Да здравствует Рим, столица Итальянского королевства! Хотим идти в Рим!...»

Слово *Рим* магически подействовало на дипломата; *in spe*[210] он тотчас возвратился в свои покои, и запер окна. Тогда процессия отправилась к английскому консулу, которого приветствовала подобными же криками. Он тоже показался народу с высоты балкона, и благодарил его выразительными жестами. Покончив с церемонной, официальной частью манифестации, обе половины, вновь соединившись на Толедо, принялись более откровенно высказывать свои задушевные чувства. Какой-то голос прокричал *pereat*[211] кардиналу Антонелли. Слова его подхватили на лету, и раздались отчаянные вопли. В таком настроении духа, вся толпа отправилась ко дворцу бывшего папского нунция, и дала перед его окнами такой блистательный концерт, что уши духовного дипломата наверное не были бы в состоянии его вынести; к счастью, *palazzo* был пуст, в нем оставался только привратник, неаполитанец родом; он, к тому же, для большей безопасности заранее убрал весь дом трехцветными флагами. Прокричав грозные *pereat*, и закончив громким *Viva la vera religione di Cristo*[212], толпа разо-

шлась по домам.

Неаполитанцы – известные любители всякого рода уличных торжеств, и большие мастера по части их устройства. Но последняя демонстрация тем в особенности отличается от всех, когда-либо бывших в городе св. Януария, что общественное спокойствие не было нарушено, так что жандармы и пьемонтские карабинеры могли оставаться покойными зрителями. Ремесленное Братство и Юношеское Унитарное Общество более других выказали политического энтузиазма и увлечения. Их стараниями напечатан и распространен по городу протест против кардинала Антонелли. Вечером, в зале Ремесленного Братства, был дан большой бал для низших классов народонаселения. Гости разошлись только утром следующего дня...

Вы знаете, что бывший редактор газеты «Новая Европа», профессор и адвокат Джузеппе Монтанелли, выбран депутатом от одного маленького тосканского городка. В течение долгого времени выбор не был утвержден, за отсутствием каких-то очень важных, говорят, документов. Наконец документы отыска-

лись, и Монтанелли отправился в Турин. За отсутствием г. Монтанелли, главными распорядителями по изданию газеты остались его друзья: г. Риччи и булочник Дольфи, президент флорентийских ремесленных братств и комитетов. Тотчас же по отъезде Монтанелли флорентийское Ремесленное Братство написало ему приветственное письмо, показывающее, как важно его избрание в глазах известной части итальянского народонаселения, письмо особенно знаменательное тем, что подписал его Дольфи, пользующийся такой громадной популярностью.

Вообще можно заметить, что журналы партии движения, так недавно еще встречавшие очень мало сочувствия в публике, теперь расплодились и находят и читателей, и подписчиков. Лучшие неаполитанские кофейни, из опасения лишиться посетителей, получают тамошний «Popolo d'Italia», флорентийскую «Новую Европу» и миланскую «Il Veneto». Список депутатов добавляется именами этого цвета и теперь уже представляет коллекцию, которая может кое-кого тревожить: достаточно упомянуть Гверрацци, Мон-

танелли, Фабрици, Никотеру, Саффи, Петручелли, сопровождаемых приличной свитой.

Едва начинает открываться для этой партии возможность успеха, как расположение к ней большинства изменяется. Теперь уже нет и следа прежней ненависти и раздражения. Так например, флорентийская «Gazetta del Popolo» встретила выбор Монтанелли в парламент почти с такой же радостью, с какой несколько месяцев тому назад она объявляла о неудачном для него результате баллотировки. Чтобы быть, или по крайней мере казаться сколько-нибудь последовательной, она объявила, что Монтанелли изменил свою программу. Упомянутое мною письмо Ремесленного Братства к новому депутату – самый лучший ответ на это.

Даже умеренные из умеренных разделяют главные стремления и цели оппозиции – единство Италии, и нападают лишь на употребляемые ею второстепенные средства. «К чему все эти журнальные статьи? – говорят они, – К чему эти крикливые демонстрации? На что они нужны? Где их польза?..» Нельзя не согласиться с тем, что демонстрации эти

вовсе не необходимы, но и мешать им тоже надобности не представляется уже потому, что они приучают народ к политической жизни. В настоящее время несколько десятков жандармов могут оставаться спокойными свидетелями того, как беснуются тысячи самых отчаянных *popolani*, и ничем ни на минуту не нарушается общественный порядок, не раздаётся ни один звук, враждебный правительству, а между тем, вот хоть бы в Неаполе, три года тому назад, сотни солдат не могли помешать самым варварским и незаконным поступкам, каждый раз, когда несколько десятков человек сходились вместе с какой бы то ни было целью.

Это письмо я пишу из Лукки, куда я приехал посмотреть на учреждение Ремесленного братства. Изо всех сколько-нибудь известных итальянских городов одна Лукка опоздала в этом отношении, но теперь она, кажется, готова поправить свою ошибку. Подписка едва открыта, а уже нашлось около тысячи членов. Со времени присоединения этого маленького герцогства к герцогству Тосканскому в нем исчезла всякая тень общественной

жизни. Луккские воды, *Vagni di Lucca*, бывшие когда-то любимым местопребыванием английской знати, посещаются правда и теперь англичанами, но большинство едва на несколько часов останавливается в городе, как раз на столько времени, сколько необходимо для того, чтоб осмотреть его немногочисленные достопримечательности и плохо пообедать в грязной локанде с громким именем *Hôtel d'Angleterre*. Зато новая политическая жизнь проникает даже в такую глушь, как например Лукка или Чезена. Каждую неделю «*Opinione*» или «*Perseveranza*» вынуждены с сердечным прискорбием объявлять о появлении на свет какой-либо новой не совсем дружелюбной им ассоциации. В утешение себе услужливые газеты называют их возмутителями общественного порядка, революционерными клубами. Напрасно! Нет никакой возможности этому верить! Напротив, Сиенский Унитарный комитет, например, является, как вы знаете от вашего покорного слуги, до такой степени любителем ничем невозмущаемого спокойствия, что хочет помешать народу сделать мирную демонстрацию,

на что закон предоставляет всем и каждому полное право. Генуэзский центральный комитет постоянно приглашает народонаселение пуще всего не нарушать общественного порядка и воздерживаться от самоуправства, как бы оно ни казалось сообразным с видами оппозиции. Этот Генуэзский комитет учреждение еще новое, и нелишним будет сказать о нем несколько слов.

Унитарные общества существуют во всех городах Италии совершенно независимо одно от другого; Гарибальди только номинальный всех их президент, и все они имеют еще местных президентов, управляющих делами комитета вместе с несколькими ассессорами и секретарями. Самое направление этих комитетов различно, смотря по преобладанию в городе той или другой партии. Эта разрозненность много мешает исправности их действия, но слитие их в одно без внимания к местным направлениям было бы может быть еще вреднее. Впрочем, Генуэзский комитет успел войти в тесные сношения с некоторыми из комитетов других городов. Располагая сравнительно большими средствами и имея

возможность раньше других узнавать все административные и политические вести, Генуэзский комитет играет главную роль. По его предложению, в Генуе же образована комиссия для приготовления общей программы комитетов с целью ввести единство в их действия. Кроме мирной стороны в их деятельности, о которой я уже говорил: заведения школ, пособия эмигрантам и т. д., есть и сторона воинственная, и заведывание ею принадлежит отдельной отрасли политических ассоциаций, комитетам по делам Рима и Венеции (*Comitato di Provvedimento per Roma e per Venezia*). Вот эти-то комитеты обращают на себя в настоящее время всеобщее внимание, и 9 марта собираются устроить съезд в Генуе. Правительство, говорят, не намерено препятствовать этому съезду, несмотря на гнев французской партии.

Одна из итальянских газет напечатала, будто бы Гарибальди отказался от председательства в двух вновь учрежденных в Генуе комитетах. Министерские газеты подхватили это на лету и вывели из этого не совсем лестные для комитетов и оппозиции заключения.

Пошел гул по всей Италии. Забарабанили иностранные газеты. Гарибальди, как и следовало ожидать, не возражал прямо на эти выходки, но следующая его записка, – ответ студентам, предлагавшим ему президентство их корпорации, – служит ответом и на все толки и рассуждения. Вот эта записка:

Капрера 18 февраля.

*Вас было тысяча со мною в 1860 году,
пусть вас будет миллион в 1862.*

*Готовьтесь, это главное, и потом уже
мы поболтаем с вами о многом.*

Джузеппе Гарибальди.

Записка, кажется, не оставляет сомнений насчет Гарибальди в ближайшем будущем; однако же и в ней нашли оружие против комитетов: Гарибальди, говорят, не считает их вовсе серьезным делом; в его глазах это пустая болтовня!

Денежные средства комитетов довольно ограничены, а для закупки значительного запаса ружей и всяких других принадлежностей нужны капиталы. Открыта подписка, и собрана довольно значительная сумма, находящаяся в безотчетном распоряжении Гари-

бальди, но ее далеко недостаточно. Выйти из этого затруднительного положения можно было едва ли не одним лишь способом, которым и воспользовались. Учреждено на акциях Общество оружейников, получающее поддержку от комитета; оно должно исключительно заниматься выделкой штуцеров по системе Минье[213] и револьверов, продавая их по однажды установленной очень умеренной цене, так, чтобы всякому открывалась возможность купить их; комитетам остается озаботиться лишь о тех, кто не располагает даже самыми ограниченными средствами. Мастерские этого Общества будут заведены в Генуе, Милане и Турине; по остальным городам учредят склады. Чтобы ознакомить низшие классы народонаселения с употреблением огнестрельного оружия, учреждают стрельбу в цель.

Зачем оружие? – спросят может быть ваши читатели: разве гарибальдийцы затевают войну помимо регулярной армии Виктора-Эммануила? Ничуть не бывало. Оружие нужно только для того, чтобы привыкать к действию им. По примеру Англии, ита-

льянцы заводят у себя волонтеров, которые, в случае нужды, будут к услугам отечества и Виктора-Эммануила. Вот некоторые статьи устава итальянских волонтеров:

§ 1. Учреждается Общество Вольных Карабинеров (*Carabinieri Mobili Volontarii*) под исключительным начальством генерала Гарибальди, который будет передавать ему свои распоряжения или прямо, или через посредство центрального комитета, заседающего в Генуе.

§ 2. Цель общества собирать в одно все силы народа, направлять их к одной цели, давать им правильное устройство и знакомить их с употреблением оружия и с фронтовой службой, насколько это окажется необходимым. Оно поставляет своей главной задачей блюсти, чтобы все эти силы были готовы в данное время служить единству Италии и Виктору-Эммануилу.

§ 4. Членами могут быть все итальянские граждане, пользующиеся добрым именем.

§ 5. Члены разделяются на три отдела: почетные (*Onorarii*), соревнователи (*Contribuenti*) и действительные (*Effettivi*).

§ 9. Действительные члены избирают из своей среды комиссию из 3-х членов, управляющую делами Общества и представляющую его в некоторых случаях.

§ 10. Общество разделяется на взводы из 25 человек; каждый взвод избирает себе взводного командира. 4 взвода составят роту; ротный командир и ефрейтор назначаются по выбору общего собрания действительных членов Общества, которые одни пользуются правом выбирать и быть избираемыми. Члены комиссии ни в каком случае в строй избираемы быть не могут.

§ 12. Члены Общества имеют фуражку по особому образцу, которую обязаны носить в известных случаях. Других знаков отличия Общество не имеет.

Капитал Общества составляют деньги, ежемесячно вносимые в кассу его членами. (Действительные члены платят по 1 франку, а соровнователи по 2 франка в месяц.) Кроме того каждый член обязан вносить по средствам всякий раз, когда этого потребует комиссия, которая в свою очередь обязана объяснить на что именно эти деньги нужны. О

действии и о значении этих новых обществ пока не могу сказать ничего: они только еще появляются на свет Божий. Дело еще впереди. Но уже одно внезапное появление их показывает, что итальянцы приготавливаются, и *чего-то* ждут.

Гарибальдиец

Письмо пятое

12 марта [1862]

Неопределенное положение, в которое была поставлена Италия падением министерства Рикасоли в ту самую минуту, когда все более чем когда-либо верили в его прочность, начинает понемногу разъясняться.

Все газеты, итальянские и иностранные, так много говорили об обстоятельствах, сопровождавших это падение и о тех непарламентских путях, которыми Ратацци дошел до министерства, что я считаю позволенным не распространяться больше об этих предметах, на счет которых ходят здесь самые разнообразные толки. Читатели захотели бы истины, а как доберешься до нее через весь туман, которым покрыто дело?

Бедный Ратацци, друг спокойствия и согласия, враг Винченцо Джоберти[214] и народного движения, выходящего из-за пределов мотона для пищеварения, герой демократического министерства 48 года, рыцарь союза с Францией, Урбан Ратацци, которого французский «Constitutionnel» назвал по ошибке императорским комиссаром, а флорентийская «Nazione» – воплощенным пьемонтизмом, Урбан Ратацци, председатель камеры депутатов, стал теперь президентом итальянского кабинета помимо воли председательствуемой им камеры. Одна «Monarchia Nazionale», орган командора [Ратацци] и его бывшей партии, известной здесь под названием *итальянских французов*, радуется вступлению в новую должность своего знаменитого друга; но рады ему сам знаменитый друг, честность политических убеждений которого впрочем не подвергают сомнению даже самые заклятые враги его, тосканские журналы? Приводить все толки, клеветы, опасения и неудовольствия, которые возбудило здесь назначение Ратацци, я не считаю нужным за исключением разве очень немногих, о которых вынуж-

ден буду говорить впоследствии. Новый президент однако же был поставлен ими в такое затруднительное положение, что в своей программе объявил, что не может дать ни одного положительного обещания. Волнение умов продолжается и до сих пор, но Ратацци не придает ему кажется особенной важности, по крайней мере он вовсе не расположен пожертвовать общественному мнению другом своим Кордовой, единственным из старого министерства, пережившим кризис.

Самую эту стойкость нового президента, в особенности здесь в Тоскане, толкуют очень невыгодным образом для командора; и для самого Кордовы, который, чтобы избавить друга своего от хлопот, тосканцев от новых волнений, а себя от недвусмысленных оскорблений, намерен, судя по журнальным известиям, оставить и министерство, и Турин, и кажется последовать за Рикасоли в Швейцарию.

Одно из последних заседаний палаты депутатов несколько разъясняет дело.

Заседание началось с выбора новых чиновников для нового министерства. Выборы шли до такой степени неудовлетворительно,

что Ратацци, прежде упорно отказывавшийся от всяких разъяснений, говоривший, что по действиям его будет судить гораздо лучше, чем по словам, вынужден был сделать уступку. Глубокое молчание во всем собрании и на скамьях словно вызывало его на откровенность. Рассказав в нескольких словах историю падения прежнего кабинета и своего вступления в должность, и как бы в оправдание своей программы, Ратацци сказал, что он только потому воздержался от всяких *эластических* обещаний, которыми очень легко привлечь на свою сторону общественное мнение, что знает, какие трудности он встретит на новой дороге, и что его чувство собственного достоинства возмущается всем, хотя сколько-нибудь похожим на обман, на шарлатанство. «Соединить в одно разрозненные части Италии, освободить провинции, еще страдающие под иностранным игом, обеспечить внутреннее благосостояние и независимость родины – вот как все, и я в том числе, понимаю мою обязанность», – говорил президент, и собрание единодушно одобряло его слова, хотя конечно этим общим местом оратор вовсе

не рассеял еще сомнений. Ратацци еще с 48 г. пользуется репутацией человека, умеющего говорить, и в настоящем случае он подтвердил свою репутацию. Шутники говорят, что он сделал даже большую ошибку, прося не судить его по словам.

Зная с давних пор своих соотечественников, Ратацци понял, что именно в его избрании больше всего не понравилось, и с большим искусством отстранил если не все, то очень многие из этих причин, едва намекая на всё то, что могло возбудить неприятное чувство. Он торжественно клялся, что ни одно его распоряжение не будет представлено королю, прежде чем камера сама признает это нужным. Это было главное, что всего более лежало на сердце у присутствовавших, и слова президента были покрыты рукоплесканиями. Вслед за этим Ратацци очень удачно перешел к вопросу о *союзнчестве*, и решил его ко всеобщему удовольствию.

Покончив таким образом с большинством, он обратился к крайней левой и ей нашел сказать много приятного (вообще командор самый обходительный человек). Он заметил,

что главное зло в Италии происходит от несогласия партий, еще более чем от враждующих муниципальностей, поэтому он считает своей обязанностью пригласить к участию в великом деле каждого благонамеренного гражданина: потом с большим одушевлением говорил против покровительства в раздаче административных должностей, обещал отказаться от централизационной политики своего предшественника и т. д. Одобрительные восклицания слева и со скамей посетителей прерывали его порою, но он не прибегал к колокольчику и не напоминал, что в парламенте посетителям запрещены всякого рода изъявления одобрения или неудовольствия.

Затем он коснулся вопросов более частных, заметив предварительно, что устройство внутренней администрации будет уже большой шаг вперед для решения вопроса о Риме и Венеции, но что он не упустит из виду и других средств к достижению этой цели, и что одним из главных он считает заявление католическому миру, что светская власть также мало необходима для религиозного значения папы, как пятая подкова для его бе-

лого мула. «Пуще всего, – заключил он, – мы должны показать, что мы ни словами, ни делом не хотим смутить общее спокойствие и мир всей Европы, и тогда те из иностранных держав, которые еще не признали Итальянского королевства, не замедлят это сделать».

Оратор кончил, и все готовы были разойтись, совершенно довольные друг другом. Но депутат Ланца, не желая оставить даже и тени сомнения в столь важном случае, обратился к самому Рикасоли, сидевшему среди депутатов бывшего большинства, с требованием дополнительных разъяснений. Он заметил, что старое министерство пало во время заседаний парламента, но без выражения с его стороны какого бы то ни было недоверия к особе президента, что новое установлено точно также без участия камеры, что Кордова, занимавший в прежнем кабинете очень важное место, сохраняет его и в новом. «Все это, – говорил оратор, – совершилось так быстро и таким не парламентским путем, что не могло не вызвать самых разнообразных толков, которые повторяются и в газетах. Объяснений со стороны нового министерства не достаточ-

но, слова барона Рикасоли могут иметь в этом случае более значения и силы». Рикасоли отвечал на этот вызов следующей горделивой речью:

Я не предполагал, чтобы причины внезапной министерской перемены были так мало известны. Я напомню собранию вотирование 11 декабря прошлого года вслед за рассмотрением вопросов о Риме и неаполитанских провинциях. После того министерство имело право думать, что вполне обладает доверием палаты. Между тем скоро оно убедилось, что сомнения продолжают существовать. Обстоятельства требовали выиграть время, министерство осталось. Вотирование 25 февраля было тоже удовлетворительно для министерства. Однако нельзя было не заметить, что оно вовсе не было выражением истинных чувств палаты. Трудности, встреченные при пополнении личного его состава, поставили кабинет в ненормальное, натянутое положение. В двусмысленном положении я не привык находиться. (Bravo! Bene! – в центре и слева.) Я не мог сделать ни-

чего другого, как требовать отставки для себя и для своих товарищей, что и исполнил. Предоставляю камере судить добросовестность моих поступков и намерений.

Эта прямая, благородная речь вызвала одобрение даже в тех, которые далеко не были приверженцами бывшего министерства.

На днях было частное собрание депутатов прежнего парламентского большинства под председательством Ланцы, с целью определить свои отношения.

Заседание было шумное, и окончилось решительным разделением. Первая и большая часть, во главе которой стоит Ланца, становится в открытую оппозицию Ратацци. Тосканские бывшие умеренные журналы остаются органами этой подпартии, которая вообще очень распространяется в Тоскане. Остальные – туринское большинство, как следует его назвать в отличие от первого, тосканского большинства – примиряются и с Ратацци, и с его кабинетом, в надежде может быть получить от него в знак благодарности портфель иностранных дел, остающийся по-прежнему

вакантным, так как генерал Дурандо[215], на которого в особенности рассчитывал командор, отказался положительно от предлагаемой ему чести. Органы этой партии – «Opinione», «Espero», и миланская «Perseveranza», кажется, тоже готова пристать к ней.

Война между двумя подпартиями уже началась и будет казаться еще упорнее, чем между прежней оппозицией и ими. Теперь яблоко раздора – сенатор Поджи. Есть надежда, что скоро откроются интересные подробности насчет прежних умеренных журналов и их патронов. А между тем ратациевского полку прибыло.

В парламенте же всё снова вошло в обычную колею, словно и не случилось никаких особенных перемен. 3-й день продолжают довольно скучные рассуждения о флоте: все речи имеют конечно очень существенный, но чересчур специальный интерес, за исключением спича генерала Бизио, в котором он энергически рисует жалкое положение итальянского флота.

В воскресенье было назначено в Генуе за-

седание тамошнего центрального комитета под председательством Гарибальди. Все итальянские политические общества должны были послать туда своих представителей. Цель заседания, по словам Гарибальди, была «правильное устройство и соединение в одно политическое тело всех итальянских унитарных обществ». Отсутствие определенной программы много вредило им в глазах правительства; самое назначение большей их части оставалось для него неизвестным: одно лишь имя Гарибальди служило ручательством, что комитеты эти не враждебны Виктору-Эммануилу.

В первое заседание выбрана комиссия из существующих здесь оттенков оппозиционной партии: Дольфи, Монтанелли, Броферио, Кунео, Кампанелла, Мордини, Карбонелли и Криспи. Президентом Гарибальди, который и остается в Генуе на всё время заседаний. Он произнес речь, которую приведу по возможности без выпусков.

Я думаю все вы, гг., радуетесь со мной, находясь среди представителей того великого народа, который так недавно

еще возбуждал удивление целого мира и так заслужил его своим вполне человеческим поведением в трудную для себя эпоху.

Я счастлив вполне за собравшихся здесь представителей нашей славной Италии, не исключая и тех ее провинций, которые пока еще под гнетом иностранного деспотизма. Я думаю, что от лица всех нас я могу дать клятву в том, что все мы готовы выкупить их нашей кровью. (Всеобщие аплодисменты.)

Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы дать правильное назначение и соединить в одно целое все итальянские общества и ассоциации, имеющие одну святую цель.

Главная причина всех наших бедствий был внутренний раздор. Теперь мы должны обратить все наши силы на то, чтоб устранить эту причину.

Составим же дикторский пучок (*fascia*) [216], перед которым склонится всякое насилие, всякий грубый произвол. (Всеобщее одобрение.)

Вы знаете мой образ мыслей, касательно дальнейшей судьбы нашей ро-

дины. Я был бы рад, если бы наше дело не в одной Италии только нашло последователей, если б оно проникло и по ту сторону Альп.

Не стану рассказывать подробно ход заседания. Главные его пункты были следующие:

Назначение центральной комиссии на место генуэзского комитета, который будет закрыт.

Редакция прошения об уничтожении избирательного ценза и об учреждении всеобщей подачи голосов, и о даровании прав гражданства в Италии всем римским и венецианским эмигрантам.

Составление одной общей всем комитетам программы.

В следующем заседании 10-го марта читалось донесение комиссии по делу о возвращении Мадзини. Комиссия два раза обращалась к Рикасоли и он обещал немедленное исполнение ее просьбы, говорил, что он с большим трудом мог победить дипломатические препятствия, но что в настоящее время декрет уже написан и будет скоро представлен королю, которому одному предоставлено статутом

право прощения. 1-го же марта Рикасоли объявил, что по случаю своей отставки, не может более вести это дело. Ратацци обещался рассмотреть дело не с политической стороны, а со стороны законности вместе с министром юстиции. Гарибальди берет на себя исходатайствовать снятие с Мадзини смертного приговора и дозволение ему возвратиться в Италию.

В этом заседании принимал участие, между прочим, немецкий генерал Аух, товарищ Гарибальди по 48 г., привезший ему шпагу в подарок от голштейнских дам. Аух принят в Генуе с особенным восторгом.

Здесь кодины, бедные, в особенности озадачены настоящим движением, они даже попримолкли что-то в последнее время, и посылают *ex-voto*[217] в церковь св. Петра, чтобы враги их поскорее сломили себе шею в своей неистовой скачке. Но на этот раз они могут оставаться совершенно спокойны: застоявшаяся итальянская жизнь могла дойти до размеров лихорадочного волнения в первые минуты, когда почувствовала себя освобожденной из-под ненавистного ига иезуи-

тов, доминиканцев и всех цветов католического духовенства. Но эта лихорадка не погубит ее молодых сил; да она и не протянется долго: скоро наступит время осмотрительности, если только с наступившей весной Австрия снова не вызовет энтузиазма и волнения. Этого здесь ждут не без нетерпения...

В заключение приведу следующее письмо сиенских вольных карабинеров, о которых я уже говорил вам, к Гарибальди:

Генерал!

Война, конечно, зло, но к сожалению, без нее мало надежды обойтись народу, только что вставшему после долгого усыпления; без нее не кончатся бедствия Италии. Нам необходимо быть сильными. Мы уже устроили Общество Карабинеров по образцу, одобренному вами для Генуэзского батальона, и скоро будем готовы идти туда, куда вы призовете нас на славные победы, на защиту отечества.

Но чтобы не поступить в чем бы то ни было не согласно с вашими видами, мы просим вас стать действительным председателем нашего общества, которому этим вы придадите новую

силу и значение.

Не откажите в исполнении нашей просьбы и, когда наступит решительное время, не забывайте сиенских карабинеров.

Гарибальди отвечал следующее:

*Я радуюсь вашему делу, потому что в нем вижу залог успехов Италии в предстоящих сражениях. Охотно исполняю ваше желание. Теперь я буду вашим председателем, но скоро надеюсь вместе с вами выгнать из Италии последние остатки лжи и гнусности, которые пока еще в ней держатся крепко.
Ваш Гарибальди.*

Гарибальдиец[218]

Письма об итальянских ремесленных братствах

ingegnati, se puoi, d'esser palese
Dante[219]

Письмо первое

Ты помнишь ли, товарищ неизменный, то светлое и хорошее время, как после долгой ночи зашли наконец на европейском гори-

зонте лучи итальянского *Risorgimento*... Как всё хорошее на белом свете, время это прошло весьма скоро. Такие восторженные, художественно полные моменты, каков был в Италии 1860-й год – праздники в жизни народов; а народам долго праздновать нельзя и некогда... Так или иначе, время это прошло, и об этом нечего долго распространяться.

Вы все, следившие за итальянскими событиями с тем дилетантским сочувствием, с которым взрослые люди следят за хорошей драмой или смотрят на исторические судьбы чуждых им народов – вы, говорю я, отвернулись от Италии, только что наступил для нее иной период, довольно однообразный и скучный, без порохового дыма и торжественных демонстраций. Успокойся: я вовсе не думаю журить тебя.

Конечно, люди неохотно расстаются с тем, что хотя на минуту вдохновило их, увлекло. Следы пиршества и последние его остатки обыкновенно переживают праздничное настроение гостей... Так и в Италии. Воодушевление 1860 года прошло... Остались воодушевляющие надписи на заборах, знамена и флаги

в остериях, подвалах, кофейных. Когда-то полные силы и значения, комитеты продолжали собираться, горячо спорить о чем-то. В парламенте поднимались полные современного значения вопросы...

Немного надо было времени, чтобы убедиться в пустоте, в ненужности всей этой игры, где призраки подставлялись на место живых людей и событий. Да и сами игроки не могли долго выдержать... На глазах же у меня был непогрешимый барометр: я видел равнодушие, с которым встречали и провожали всё это те, которые так недавно еще забывали собственную нищету во имя одной, общей всем им, живой народной идеи.

Не везде однако же жажда деятельности прошла вместе с вдохновением. Ассоциация – был любимый мотив всего этого брожения. Оно и понятно в Италии, где ассоциации сделали всё, что было славного в истории Италии.

Ассоциации были везде и всюду. О них писались статьи в журналах и читались всеми; переводили Прудона и раскупали нарасхват. Составлялись ассоциации для постройки же-

лезных дорог и для игры в рулетку; для упражнения в риторике и для деланья долгов с патриотической целью; для издания общепользных журналов и для сооружения памятника Кавуру... Гарибальди предложил ассоциацию для освобождения Венеции и Рима; другие предложили свою для избиения сельского народонаселения Калабрий и Базиликат... Не удивительно, что мало кто обратил внимание на несколько сот городских пролетариев, составивших свою ассоциацию для обеспечения друг другу куска хлеба насущного, на случай болезни или недостатка в работе... Журналы всех партий похвалили их как-то вскользь, и вскользь же обругала их клерикальная «Armonia».

А между тем тут надо искать разрешения великой исторической задачи не только для одной Италии, но и для всей Европы. Итальянские ремесленные братства появились в виде ассоциации для взаимного вспомоществования. Я ничего не имею против принципа взаимного вспомоществования и не понимаю, что можно разумно возразить против него. Избавить людей от опасности голодной

смерти и от филантропии, о которой особенно заботился покойный Кавур, дело хорошее во всех отношениях. Теряла при этом только королевская лотерея, потому что из большинства работников, покупавших себе еженедельно в нее билет, мало нашлось таких, которые не решились бы внести в кассу нового братства требуемые ею двадцать сантимов (т. е. около 5 коп. сер.) в неделю, так как за эту незначительную плату они приобретали наверное то, чего могли ожидать от игры только под большим сомнением. А для работника обеспечение ему 1 франка и 40 сантимов ежедневно, на всё время могущей постигнуть его болезни, едва ли не больше значат, чем капитал в несколько сот франков, который всё же не дает ему возможности подняться на серьезно обеспечивающее его предприятие... Может быть от того, что братство взаимного вспомоществования вступало как бы в конкуренцию с королевской лотереей – в официальных кружках его приняли не благоприятно.

Была, правда, и другая причина. Итальянские теоретические демократы не могли

обойти своей милостью подобного рода ассоциацию и в некоторых городах, как например в Сиене, их влияние на развитие ремесленных братств оказалось самое вредное. Заседания ассоциаций обратились в какие-то учено-отвлеченные демагогические диспуты о предметах, по большей части лишенных всякого интереса для работников. Эти последние, не видевшие большой выгоды для себя от подобных упражнений в красноречии, остыли мало-помалу и к самому предприятию. Управляющий делами ассоциации, комитет получил от этого возможность распорядиться самовластно и повел дела таким образом, что касса скоро опустела, несмотря на то, что при устроенном с самого начала контроле не было никакой возможности, кому бы то ни было, употребить в свою пользу общественные деньги. Дефицит произошел не от бесчестности комитета, а только от плохого понимания ими рабочих нужд. Тоже, или почти тоже, повторилось во многих других городах...

В таком своем простейшем виде, т. е., имея исключительно в виду взаимное вспомоществование, итальянские ремесленные брат-

ства могли бы существовать очень долго, развиваться в известных пределах, не внося собой ничего нового в народную жизнь, а следовательно и не представляя особенного интереса для физиологии общества... Я говорю: могли; но на деле оказалось, что они вышли на более широкую и видную дорогу...

Имея в виду цель исключительно общественную, они должны были чуждаться политических вопросов, насколько это было возможно, под опасением пристать к какой-либо из существовавших здесь партий и стать, как они, исключительными. К какой бы партии не пристали они – это бы наверное послужило помехой к дальнейшему их развитию, потому что рабочничье сословие вовсе не представляет здесь политической партии, а, как везде, делится в этом отношении на разряды, сочувствующие то одному, то другому из политических корифеев. Общество же должно было стать общим для всех делом.

Задача довольно трудная – оставалась одна скользкая и узкая дорожка между двух пропастей. Впасть ли в политиканство, или же в непростительный индифферентизм,

полное равнодушие к судьбам Италии – и то, и другое было одинаково скверно... Недоброжелатели работничьих братств понимали это очень хорошо, и подталкивали его довольно усердно то в ту, то в другую сторону; то требовали они, чтобы правительство запретило совсем обществу заниматься на своих заседаниях политическими вопросами; то, совершенно напротив, они требовали от представителей этих ассоциаций, собравшихся в Париже на общем конгрессе, чтобы они высказали свой политический символ... Вот почему только те из ремесленных ассоциаций и всплыли наверх, которые прямо имели постоянно в виду перед собой чисто практическую сторону своего существования. И это обстоятельство помогло им окрепнуть. Что было плохо понято в теории, на то указала ясно самая жизнь.

Я забыл тебе сказать, что, благодаря федеративному духу итальянцев, пережившему в них унитарный переворот, ремесленное братство явилось с самого начала вовсе не централизованным. Каждый город имел свое общество и притом совершенно независимое от

каждого другого. Каждое управляется своим особенным комитетом, выбираемым по большинству голосов между его членами, и каждое посылает от себя депутатов на конгресс, собирающийся два раза в год в одном из итальянских городов, для того, чтобы составить устав для всех подобного рода братств. В этом и всё их единство. Прибавь впрочем еще другое, чисто внешнее по-видимому: имя Гарибальди, которого каждое общество совершенно свободно выбрало своим почетным председателем или патроном...

Я не стану распространяться дальше о их внутреннем устройстве, потому что оно дело вовсе не конченное и изменяется по мере расширения самой программы братств. Теперь уже оно не то, чем было при самом начале своем.

В то время, как появились в Италии ремесленные братства, политические вопросы носились в воздухе. Два человека не могли поговорить между собой полчаса, не затронув их весьма серьезно и страстно. Каким образом ремесленные братства не обратились тотчас же в политические, — а между тем удержи-

лись на чисто экономической стороне вопроса, – это можно объяснить величайшей способностью итальянцев к общественной жизни и той «человечностью», с которой они не по-французски, не бочком подошли к своему делу, а прямо, искренно и честно. Одно это заставляет твердо верить в будущность этого народа.

Не малая доля тут принадлежит чисто личному участию одного человека, которого имя – одно из самых популярных в Италии – ты едва слышал, может быть, в своей северной Пальмире, «которой подобной, судырь ты мой, нет на свете»: так, кажется, отзывается о ней капитан Копейкин...

Я говорю о Джузеппе, или как его тут называют Пеппе Дольфи; это флорентийский булочник, вполне достойный стать наряду с лучшими современными людьми Италии. Как вообще современные итальянские герои, Дольфи личность до крайности оригинальная и самобытная. Он не похож ни на братьев Бандиера, ни на Гарибальди, ни на кого другого – он сам по себе.

Дольфи для флорентийского плебса то, чем

был для римского – Чичероваккио[220], и даже больше. Трудно рассказать, каким образом приобрел он это колоссальное влияние, потому что приобреталось оно не громкими подвигами, а тем, что всего труднее, – той постоянной верностью самому себе, под которую нельзя подделаться. Всё в этом человеке привлекает к нему, внушает самое полное и безграничное доверие, начиная с самой наружности... Я узнал его уже пятидесятилетним стариком... Впрочем слово старик вовсе не идет к этой геркулесовской фигуре, сохранившей и до сих пор такую железную силу мышц, которой многие могут позавидовать... Волосы его и борода совсем седые, но глаза смотрят светло и горят, как у юноши. Рассказать гармонию черт лица нельзя, а потому скажу только, что иностранные скульпторы и живописцы, которыми, как тебе известно, полна Флоренция, *останавливаются* на улице, встречая Дольфи, как те любители лошадей, о которых рассказывает Гоголь в своем «Невском проспекте».

Дольфи играл значительную роль во всех тосканских переворотах от 48 года и до сих

пор. Рассказывать его историю не стану. Довольно того, что он был барометром, по которому измерялось политическое настроение массы флорентийского народонаселения. Постоянно и упорно отказываясь от какой бы то ни было официальной власти или вообще от слишком важных ролей, он тем не менее представлял собой во всякое время флорентийский народ, потому что он нравственно заключал в себе всё, чем живет народ этот и никогда не мог бы, даже если б захотел, порвать этого нравственного единства с ним... По общественному положению и по образу жизни, он скорее буржуа – мелкий *possidente* – как здесь говорят. Но в Италии, за исключением немногих мест, буржуазия еще не сословие, по крайней мере ни в одежде, ни в образе жизни нет еще резко определенной границы между самым бедным работником и достаточным фабрикантом... Коротенький сюртук без талии и серая поярковая шляпа тем только и разнятся от одежды *facchino*[221], таскающего мешки с мукой из его лавки, что они чище и не изорваны...

Тридцать лет тому назад, сидя приказчи-

ком в булочной своего отца, он, не зная грамоте, слыл за отчаянную голову, сидел в тюрьме по болонским делам и прельщал своей живой античной красотой красавиц рабочего квартала города... Потом он, в свою очередь, стал *padrone*[222] и, не пользуясь еще никаким политическим влиянием, судил и рядил домашние ссоры между собой ремесленников, питающих и здесь, как везде, слишком сильное благоговение к преторам и трибуналам...

В 1859 и 1860-м гг. Дальфи был не только председателем, но и живым центром – действительной душой тех ассоциаций, которыми освобождена южная Италия...

Когда в августе 1860 г. Рикасоли, по распоряжению кавуровской и лафариньянской [223] партии, объявил военнопленными бригаду тосканских волонтеров, думавшую под предводительством Никотеры сделать вылазку в Римских владениях, и когда, вследствие этого, Никотера, умевший в весьма короткое время привязать к себе своих граждан-солдат, объявил, что он оставляет начальство над ними, не видя другого средства избавить их са-

мих от преследований – сильное волнение распространилось между волонтерами. Они хотели вернуться по домам, на что временное правительство Тосканы предоставляло им не только право, но и средства... Минута была критическая: на вооружение этой бригады были истрачены все деньги, собранные патриотическими комитетами. Возвращение волонтеров, которых, несмотря на всё их страстное желание, не допустили даже до врага, имело бы неизбежным последствием своим упадок воодушевления во всей Тоскане, недоверие всех к комитетам, понапрасну истратившим народные деньги, недоверие к тем наконец, которые продались бомбардировать нагроможденную на дрянном пароходе лучшую итальянскую молодежь, за то только, что ей казалось недостаточно доблестным идти в Сицилию, где Мелаццо было уже взято гарибальдийцами...

В это время явился Дольфи. Неизвестно, почему все ожидали от него разрешения всей этой путаницы. И он разрешил ее. Он говорил, как будто прямо от него всё зависело... Глаза его искрились, он был раздражен в обе

стороны... Он обещал... И не только все поверили его обещаниям, но всё обещанное им было сдержано до последней подробности, хотя исполнение, повторяю, ни на волос не зависело от него...

Ремесленные братства застали его уже в полном блеске его политического значения.

Само собой разумеется, что он стал как бы естественным средоточием этого нового рода ассоциаций. До сих пор дело это еще не успело развиться во всю свою ширь, но мое твердое убеждение, что Дольфи только теперь и стал на настоящую свою дорогу. Может быть, ему на ней не суждено добиться лично для себя и для своей репутации тех блестящих результатов, каких достиг он на политическом поприще. Он сам едва ли много думает об этом. Но во всяком случае теперь у него под ногами твердая почва, и то, что посеет он на ней, принесет обильную жатву, которую пожнет если не сам он, то маленький его *Dolphino* которому он дал имя Вильгельм-Телль, и который с любимым своим котом на руках заседает уже на высоком стуле при демократических пирушках в доме свое-

го отца...

Письмо второе

У Дольфи, как и у большинства современных итальянских деятелей, нет законченной теории, определенной доктрины. Точно также нет ее и у итальянских ремесленных братств. И тут вовсе не идет речь о приведении в исполнение чего-нибудь, в чем бы все были более или менее согласны заранее... Понятно, что у всех есть точки соприкосновения, без этого бы никакого дела нельзя было бы им делать вместе. Но главное, что есть у них и чего не достает многим ассоциациям в той же самой Италии, – это живая общность интересов и сознание этой общности.

Развитию этого сознания много помогли последние политические события в Италии, как они ни были призрачны в существе своем. Они возбудили народные силы, так долго дремавшие, и тем оказали великую услугу ремесленным братствам. Я уже сказал, что эти последние не имеют органической связи с политическим движением, но, благодаря ему, они устроились и приобрели прочное общественное положение. Чтобы лучше выяснить

этот факт, я должен буду коснуться политической стороны итальянской жизни.

Из всех жгучих вопросов, волновавших Италию в последние годы, единство ее было главным стремлением всего полуострова.

Что такое это единство и какой исторический, т. е. общечеловеческий смысл имеет только что исполнившийся переворот, имевший это единство и знаменем, и лозунгом, и конечной своей целью...

Нельзя не сознаться, что это национальное единство только теперь, т. е. с 1848 года стало так дорого итальянцам. Оно идет прямо против самых блестящих из итальянских традиций и даже несколько противоречит, по-видимому, последним данным общественной науки.

Я не стану распространяться о том, что каждый из деятелей итальянского возрождения – от Кавура и кончая последним из гарибальдийских стрелков, геройски умиравших на баррикадах Санта-Марии Капуанской с криком: *viva l'Italia una!*, что каждый из них, говорю я, понимал, по всей вероятности, что-нибудь свое под этими звучными словами:

Единство Италии. Нам интересен не этот смысл, изменявшийся до бесконечности, а именно та сторона дела, которая всего меньше зависит от каких бы то ни было личностей, благодаря которой унитарная мысль стала сама по себе силой, и такой силой, что заставила, склониться перед собой все другие, по-видимому, несравненно более ее современные, разумные и практические политические теории и доктрины...

Признаюсь, я довольно долго был склонен видеть во всем этом не больше, как предлог, как знамя, преднамеренно принятое Италией в угоду дипломатии, а под которым в сущности скрывались иные стремления...

«Неужели вы думаете», говорили мне практические люди, не итальянцы: «что мысль итальянского единства могла бы иметь такой успех в самом народе, если бы Австрия не упорствовала смотреть на Италию, как на колонию, заботясь исключительно о том, чтобы извлечь из нее по возможности более выгод для самой метрополии, т. е. Вены...»

И мне казалось, что большая доля правды

была в этом взгляде. А между тем смотреть на человеческие дела исключительно с точки зрения выгоды, – значило бы предполагать в людях гораздо больше последовательности, чем в них действительно есть ее... Я видел совершенно бескорыстные подвиги людей и народов, да и вы видели их не дальше, как на Невском проспекте. Так, например, весьма расчетливый господин несется на лихом рысаке. Ему ничего не стоит ехать тише, а он несется во весь опор под опасением раздавить какого-нибудь бедняка с явным ущербом для своего кармана... Вся Франция с восторгом и энтузиазмом отправляет войска в Сирию спасать ненавистных ей тамошних христиан, в Рим поддерживать папу, в которого сама не верит, в Мексику – бить мексиканцев, до которых ей нет никакого дела... Какая же во всем этом корысть? Какой расчет или выгода во всем этом... Я понимаю, т. е. признаю за факт существующий международной ненависти, в особенности в Италии, где народ страстный, по преимуществу без рефлексии... Так уж не смотреть ли на итальянское *Risorgimento*, как на дело чисто междуна-

родной вражды между итальянцами и немцами? Наверное и в этом взгляде есть своя, и весьма значительная, доля правды...

Но всё это вовсе еще не характеризует итальянское дело. Основанием всякого народного дела, всякой государственной или общественной системы было конечно другое непосредственное, нерефлектированное чувство. Мы всё еще не знаем: жертвует ли Италия всеми сторонами органического, общечеловеческого своего быта исключительному положению угнетенной народности, в котором она находится?

Если так, то что можем дать мы ей, кроме того дилетантского отчасти сочувствия, которое возбуждает в нас каждое страдание чужого нам, совершенно постороннего лица, или народа. Ведь мы сами, благодаря Господу Богу, не находимся в подобных ей обстоятельствах...

Или самая народная жизнь, благодаря именно этим исключительным обстоятельствам, не жертвуя в сущности ничем, – выработала себе иную самобытную дорогу и продолжает идти вперед к общечеловеческим це-

лям, но не тем рутинным путем, который выработала история других европейских народов, не терпевших того усложненного гнета, который суждено было вынести ей? Если справедливо это последнее положение (в чем я совершенно убежден в настоящую минуту), то итальянское *Risorgimento* – неоцененный факт для физиолога, представляя ему совершенно новую сторону общественной жизни, в которой не могли не определиться весьма ярко и резко, с новой совершенно точки зрения, тысячи коренных условий общечеловеческого быта и условий, которые не выяснились, не заявили себя в жизни других народов, шедших совершенно иным и односторонним путем исторического развития.

Но убедиться в том, что оно именно так, я не могу без некоторого отступления от главного предмета моего письма. Однако же я решаюсь на это, так как этим отступлением только и выяснится мой взгляд на итальянские ремесленные братства, и тогда будет понятно, почему я придаю им такое широкое и общее значение...

Но прежде всего надо, как можно резче и

определеннее, поставить самый вопрос. Он сводится весь к *праву национальностей*, выработанному в летописях Италии до общечеловеческого права.

На сколько искренно провозглашено было это национальное право, нам до этого нет дела. Гораздо интереснее знать, представляет ли оно не больше, как дипломатическую фикцию, случайный принцип, временное отступление от теории европейского равновесия, или что иное?

Известно, что всякое радикальное изменение в мире международной юриспруденции не только не остается без весьма существенных последствий в мире государственном или гражданском, но что, напротив того, оно само является только, как следствие нового шага вперед, сделанного народами на поприще внутреннего устройства своего быта, т. е. на поприще чисто государственном или гражданском.

Признание принципа национальности не в теории, а в самой жизни, должно необходимо предполагать новый шаг вперед, или по крайней мере новое видоизменение в самом

внутреннем устройстве быта, если не всех народов, то по крайней мере тех, в пользу которых он будет признан... Но дело в том, что самый принцип национальностей является до крайности туманным, неразработанным и неопределенным. Ни одна национальность не представляет в настоящее время тесно единой и компактной массы – переход от итальянцев, например, к французам, или к немцам даже вовсе не так крут и обрывист, чтобы сразу можно было решить: кому – Германии или Франции, Италии или кому бы то ни было другому, должна принадлежать такая-то провинция. В опровержение этого же принципа приводят еще и Швейцарию, которая только и может существовать во имя принципа равновесия, и которая между тем так довольна своей судьбой, что не переменил добровольно свое устройство ни на какое другое... всё это трудности, над которыми конечно следует призадуматься и которые даже положительно неразрешимы с точки зрения прежних понятий о равновесии...

А признание европейского равновесия считают громадным движением вперед, сде-

ланным на поприще развития общественности. Оно таким и было в действительности, но потому, что в нем принцип, плод человеческой мысли, был признан всеми и противопоставлен материальной силе. Государства общим согласием клали предел честолюбию и жадности завоевателей; гарантировали политическую личность противу другой, сильнейшей ее, открывая таким образом возможность каждому государству отказаться от исключительной централизации, необходимой для развития в нем возможно большей военной силы, но препятствовавшей развитию всех других сторон общественности. Но это желание так и осталось одним желанием. Политические же личности – отдельные государства, которым таким образом гарантировалась их независимость в составе своем, всё еще представляли слишком много случайного. Теория стратегических границ является как необходимый вывод принципа равновесия. Признавая существование Швейцарии, например, необходимым для европейского равновесия, державы должны гарантировать ей обладание тесинским кантоном, который

наверное вздумал бы отпасть от нее, если бы Швейцария задумала завести у себя французское гражданское устройство. Система европейского равновесия не имеет в себе ровного ничего, что бы гарантировало ее самое против подобных случайностей, при которых необходимо будет прибегнуть всё к той же материальной силе.

Самая Италия до сих пор вовсе не представляла стройного органического целого. Она стремится стать такой. История ее за последнее время (т. е. с начала тридцатых годов) становится похожей на историю Франции, но взятую на выворот. Едва Франция, упорно централизованная при всех Людовиках, начиная с XI, и даже в самое время революции, начинает поговаривать, хоть и стороною, о федерализме, – федеральная искони Италия начинает стремиться к единству. Чиро Менотти[224] первый произнес это слово после Наполеона I, и все насторожили уши. Но Менотти не успел выясниться.

Затем преемники его являются вполне фанатиками централизации, больше всех французских султанов – от Карла Великого и до

Наполеона последнего включительно. Если единство Италии в глазах итальянцев меньшее зло, которое они готовы принять на место большего – т. е. австрийского ига, то почему же унитарные речи Наполеона и самая субальпийская республика были здесь так мало популярны? В устах Наполеона слово это действительно звучало поражением всяких тедесков[225]... А меньше чем через двадцать лет идея эта находит себе защитников во всех концах Италии.

Еще одно обстоятельство, которого не следует упускать из виду, – самая ненависть к австрийцам далеко не была в Италии таким универсальным и осязательным фактом до появления «Молодой Италии». Карбонары мирились с Австрией или интриговали в пользу конституционной Франции, т. е. они сами не ясно сознавали, к чему стремились. Только с появлением «Молодой Италии» эти стремления переходят в ясное и живое понимание как внутренних, так и внешних врагов Италии. «Перейдите за Альпы, и мы снова братья»: эти прекрасные слова встретили обший отголосок как в Неаполе, так и во Фло-

ренции, и теперь сделалось ясно, кого надо ненавидеть и кого любить. В этом великая заслуга «Молодой Италии». С глубокой верой в свой народ, она показала ту светлую блестящую роль, которую могла играть Италия в современном мире. Она указала тот идеал, к которому упорно стремились федеральные республики времен Возрождения и осуществить который помешала им враждебная сила северных варваров.

Идеал гражданской Италии никогда не жил и ничем не заявил себя в конкретной действительности. Он несвоевременно явился на свет во время реакции древнему миру, которого он был законный сын и наследник. Возмутившиеся варвары, в руках которых на этот раз была сила, задушили было младенца... Молодая Италия сумела восстановить его по тем следам, которые он оставил по себе во множестве художественных произведений. Она угадала его в прерванном ряде полуразрушенных памятников прошедшего. В разрешении этой мудреной загадки ее колоссальный успех.

Итальянец – федералист по природе, по

развитию. Его личность, как и каждый клочок его земли, имеет свою резкую физиономию, которая не хочет, не может стереться, ни во имя ничего на свете. Пока феодально-католическая и нео-протестантская безличность давали свой строй обществу, итальянцы считали себя неспособными к ней, не видя за пределами выработанных вне Италии форм ничего возможного. Одни впадали в полный индифферентизм, признавая чем-то неизбежным, фатальным, самой историей оправданным, паразитизм своего существования. Другие мстили обществу за то, что считали себя не для него созданным. И это было и в частной, и в политической жизни их. Свято хранимая многими память о давно перенесенных ими обидах, давала им силы на злобу, на месть. Но единства и в ненависти этой не было...

Единство явилось тогда, когда «Молодая Италия» указала им, что народ имеет свое призвание, свой идеал обществу, задавленный, отстраненный на время варварами, покончившими римский мир, но способный возродиться. И этого было довольно. Во

имя лучшего будущего, во имя стремления каждого клочка своей земли, каждой своей отдельной личности, не утрачивая собственную физиономию, жить в обществе – Италия почувствовала свое единство...

«Централизация во имя личности и федерализма!» – Это покажется пожалуй вопиющей нелепостью, набором противоречащих одно другому слов...

Но во-первых – мы еще и не говорили о централизации, а только о единстве стремлений, настроения всеобщей мысли, которое необходимо должно заявить себя фактом, но может обойтись при некоторых условиях и без централизации... Во-вторых – и да будет это сказано раз навсегда – жизнь идет сцеплением всевозможного рода противоречий...

Нет сомнения, что при некоторых условиях, внутреннее единство может заявить себя и без централизации. Но в Италии именно этих-то некоторых условий и не было...

То, что человек способен вполне понять и вместить в себя – того нет надобности говорить ему – он сам найдет его, отроет из бездны подробностей, мелочей и побочных,

которыми всё существенное бывает обыкновенно опутано в будничной действительности. А вся громадная заслуга «Молодой Италии» заключается именно в том, что она из осколков итальянской жизни возродила, так сказать, идеал народный. Другие поняли и приняли этот идеал, насколько он был нужен им, доступен, по плечу им... Большинство, увлеченное святой верой великого слова, только почувствовало свое призвание, но у него не хватило духу заглянуть ему, так сказать, в лицо – узнать, в чем оно и что оно? Но и этого было совершенно достаточно для того, чтобы раздуть в грозное пламя истинно народной вражды ту злобу, которая давно кипела в сердцах, не обессилевших окончательно под развращающим гнетом общественного замирания. Говоря другими словами: хватило сил на борьбу со старым, но на постройку нового их не оказывалось...

Если бы Италия, как Илья Муромец, просидела бы сиднем триста лет, то, может быть, она и встала бы, как богатырь, сильная и могучая – враг побежал бы от одного ее взгляда, и новая жизнь – эта Дантовская *vita nuova* –

явилась бы, как Минерва во всех регалиях и зацвела бы на славу. Но такие превращения возможны только в сказках. В действительности же, кто заснет на 300 лет, тот не сохранится, а проснется изнеможенный и полусгнивший от застоя... Италия в это время замирала, но не коченела, не спала. Народились в ней поколения более или менее паразитные. Они не видели даже средств бороться против врага иными средствами, как те, которые сам он давал им.

Вот при какой обстановке появляются здесь ремесленные братства...

Письмо третье

Теперь я могу поближе подойти к самому предмету, а потому я прямо приступаю к главному вопросу: что действительно нового вносят с собой эти братства в истории развития итальянской общественности?

На это можно ответить одним из пунктов самой их программы, тем именно, в котором говорится, что работники составили между собой ассоциации для того, чтобы достигнуть своего нравственного и физического благосостояния, и что ассоциация решается вступить

в состязание с капиталом. Но состязание это ей самой является не в смысле уличной драки, не насилием она будет действовать для достижения своей цели, а чисто внутренним путем, путем, который бы можно было назвать экономическим, если бы рутина политической экономии не извратила это слово в общем сознании нашего поколения.

Удастся, или нет? – Это вопрос посторонний, который здесь необходимо обойти по весьма простым и понятным причинам. Но не в этом одном весь интерес самого дела...

Теперь всё это еще только в будущем. Как факт, существуют только подобные ассоциации и именно в указанном мною смысле. А это не шутка...

Но вникнем прежде в самый вопрос, так резко поставленный здесь, отчасти, может быть, и без их собственного ведома, итальянскими ремесленными братствами, вопрос между трудом и капиталом. Политическая экономия, пользовавшаяся до сих пор монополией в разрешении подобных вопросов, только запутала их своей неудачной *quasi*-научной, и более мифической терминологией...

Под словом капитал она понимает то благодарное и неопределенное вместе с тем божество, которому поклоняется вместе с ней вся буржуазная плутократия. В ней капитал всё, и всё капитал, она труд смешивает с ним до известной степени.

Итальянские работники смотрят иначе. Для них капитал нечто весьма определенное.

Объясняется этот практический взгляд таким образом.

Производительностью вообще называют тот многосложный процесс, посредством которого лицо или общество обращает в годный для своего потребления продукт вещество или материал, составляющий природное богатство его. Активная роль в этом процессе принадлежит труду. Вещество является, как материал его. Прибавьте к этому орудие, посредством которого труд обращает свой материал в продукт общественной (или личной) производительности. Вот три главные элемента производительности, вне которых не может быть никакой другой. Если бы вся общественная жизнь ограничивалась одним этим процессом, то самое понятие о капитале

никогда не могло бы зародиться...

Но при специальном раздроблении труда (т. е. когда каждый производит не все нужные ему продукты, а только один разряд их) является другой процесс: обмен, или торговля — непроизводительный сам по себе, т. е. не увеличивавший массу общественных богатств, а только перемещающий их сообразно требованиям данного момента. Назначение торговли состоит в отстранении тех условий пространства и времени, которые в действительности служат препятствием сближению между собой, предназначенных для обмена, продуктов.

При обмене разнородность продуктов является необходимостью в отвлеченной и абсолютной единице стоимости, которая бы служила мерной всех возможных стоимостей. И, как вещественная формула для этого отвлечения, являются деньги.

С одной стороны, деньги, следовательно, имеют только чисто условную стоимость. С другой, они являются, как новый продукт, имеющий то преимущество перед всеми остальными продуктами, что стоимость его

утверждена и признана целым обществом, и что относительно ее теряются все другие стоимости...

Теперь возьмем следующий простой случай. Два работника А и Б заработали каждый по 50 руб. сер. Отложив себе, сколько нужно на жизнь в течение, положим, одного месяца, А на оставшиеся у него деньги покупает себе материал, из которого, протрудившись над ним целый месяц, он извлекает известный продукт, продажей которого выручит себе средства на дальнейшее существование...

Б поступает иначе. Он купил на свои деньги материал не собственного своего ремесла, а какого-нибудь другого, из которого сам он не сумеет сделать никакого полезного продукта. Стоимость этого продукта определяется, как известно, при современных условиях, с одной стороны, запросом на него (*demande*), с другой – предложением его (*offre*) на существующих рынках. Б, являясь на него ненормальным запросчиком, разрушает те отношения, в которых были между собой запрос и предложение в тот момент, когда он покупал известный материал. Число запросчиков уве-

личилось – поднялась, следовательно, и цена на этот продукт. Б, воспользовавшись этим ее повышением, перепродает его нормальным потребителям. Повторив в течение месяца несколько раз подобную спекуляцию, к концу его он оказывается богаче, чем А.

Конечно, со стороны отдельных лиц для подобного рода спекуляций требуется очень часто больше, может быть, всяких умственных качеств, чем на производство определенной работы; но вовсе не в этом дело. Богатство общества, которому принадлежит взятый мною здесь спекулятор, не увеличилось ни на волос. Кто же заплатил ему то, что он приобрел таким образом?

Очевидно, прежде всего работник, перекупивший у него материал.

Дальше: цена на продукт, выделяемый из этого материала, необходимо тоже повысилась. Следовательно, Б взял отчасти дань и со всех потребителей на этот продукт. Ясно, что, взятая в больших размерах, подобная спекуляция должна дать весьма вредные результаты для целого общества.

Но пока нас еще может интересовать дру-

гая сторона всего этого... Деньги в описанном выше случае представляют для самого Б какой-то суррогат труда, т. е. дают ему возможность богатеть, не производя для общества ничего, или даже действуя в ущерб ему. Остановимся несколько минут над этим. Политико-экономы признают и благословляют подобного рода сделки, определяют их в своих доктринах под рубрикой «производительности капиталов». Оно бы и хорошо; но только эта производительность, которой я представил здесь один из простейших видов, едва ли не главная причина нищеты, пауперизма и всяких общественных зол.

Что дало возможность Б извлечь для себя выгоду из подобного оборота? Очевидно, деньги. Если бы у него в руках был натурой продукт его производительности, то он не мог бы сделать этого. Покупая материал труда другого производителя, он бы отнимал тем самым у него возможность приобрести впредь его собственный продукт, так что именно та часть его, которую он обменивает на этот материал, потеряла бы всякую цену, за неимением на себя потребителя. С деньга-

ми этого случиться не может, потому что они – продукт привилегированный, цена на который менее всех других стоимостей зависит от равновесия между запросом и предложением. Поколебать ее гораздо труднее, чем всякую другую стоимость... Способность приносить доход, не требуя труда, принадлежит только деньгам. В этом слишком легко убедиться из самой действительности...

Всякий продукт – материал труда, или орудие его, могут продаваться, отдаваться в наем или на подержание, только деньги даются в рост, на %... И это вовсе не пустая разница слов... Тот, кто отдал мне в наем свою землю, берет с меня плату не за право пользоваться ею, а берет стоимость материала, из которого я делаю годный для общественного потребления продукт. Предполагая, что подобный наем совершен нормальным порядком, мы должны смотреть на него, как на дань, которую общество платит землевладельцам, а вопрос о том, законна или незаконна подобная дань – подлежит ведению юриспруденции. С точки зрения общественной физиологии против этого ничего нельзя возразить, потому

что плата за наем (нормальная) соответствует действительной стоимости нанимаемой земли, участвующей в производстве общественного богатства, как пассивное начало – как материал труда. Но что дает мне существенного тот, кто дает мне за известные проценты, какую бы то ни было, сумму денег? И что выражают собой эти проценты, эта дань, которую я ему плачу за это?

Он дал мне «возможность» приобрести материал для моего труда. Очень хорошо, но посмотрим дальше. Я приобрел на эту сумму данный материал и сделал из него требуемый продукт. Но тогда стоимость этого продукта (которая во внешности только формулируется равновесием между запросом и предложением, и в сущности состоит из стоимости материала с прибавкой стоимости приложенного к нему труда) для самого производителя представляет не только сумму стоимостей труда и материала, а еще те проценты, которые он должен заплатить за взятые взаймы деньги. Вот эту-то прибавку стоимости он должен вычесть из вырученной от продажи своего продукта суммы. Это новая дань, кото-

рую работник платит уже не за материал труда (потому что за него он заплатил само по себе), а за возможность, за право работать. В большей части случаев, конечно, производитель заставит потребителей заплатить эту надбавку стоимостей. Но положение и этим вовсе не улучшается. Дань, взимаемая заимодавцем, всё же выплатится на счет труда и во всяком случае в ущерб общественной производительности, потому что продукт таким образом ценится дороже, чем он стоит. Давший займы деньги не прибавил *ничего* к стоимости продукта, но за это ничего он берет барыш.

Но давая возможность производить тому, кто не имел ее, он увеличивает массу общественных богатств: это сутяжническая уловка, которой экономисты давно уже отводят глаза и внимание всех от этого интересного предмета.

Посмотрим поближе.

Что выражают собой те деньги, которые даются в рост?

Капитал, ответит мне каждый смышленный человек. Тут-то мы и разберем этого но-

вого Юпитера экономического Олимпа, посмотрим, что в самом деле за божественный нектар течет в его доктринерских жилах...

Отдавая другому свои деньги, обладатель их лишает себя прежде всего возможности производить. Производить только труд – следовательно он лишает себя возможности трудиться. Не трудясь, он может жить, только поглощая продукт чужой производительности. Так за это он заставляет себе платить? Очевидно, что-нибудь не так...

Вернемся на минуту к моим алгебраическим героям, авось от них узнаем что-нибудь об этом интересном деле...

Мой работник Б, очевидно, не охотник до труда, иначе он не пустился бы на спекуляцию, которую хоть и одобряют экономисты, но за которую всё же косятся сильно на него его прежние собратья. Он не заставит себе платить за то, чтобы жить сложа руки... Да, но отдавая другому деньги, он отнимет у себя возможность продолжать впредь подобные спекуляции, оказавшиеся очень выгодными для него. А отказаться от них он не намерен даром. Ими он разжился – он стал *капита-*

лист...

Что означает это слово?

Б не на все те 50 руб. сер., с которыми я его пустил в свет, может получать доход, а только на ту их часть, которая остается у него свободной, т. е. которую он не обязан обменять на известный ряд продуктов, под опасением участи, постигшей семейство Уголино в Пизанской башне[226]. Говоря другими словами: только избыток его производительности над тем, что он поглощает, составляет его *капитал*. Это уже объясняет нам отчасти, почему он имеет возможность жить, не трудясь в течение известного времени. «Вовсе не деньги дают ему эту возможность, скажет по этому случаю экономист: очень естественно, что он не отдаст даром никому этот избыток».

Да. Но вообразите себе, что Б – сапожник и в один год он наделал столько сапог, что может обменяться на другие нужные ему продукты в количестве, превышающем в десять раз сумму поглощаемого им ежегодно капитала. Деньги, говорите вы, ничего не значат: они продукт, как и всякий другой. Он поверил вам и не обменял свой капитал на день-

ги. Все случайности, положим, сложились в его пользу. Сапоги не дешеветь ни мало (что уже очень трудно предположить при таком изобилии на них производства). Он прожил десять лет, обменивая свой запас на необходимые для него продукты. Но по окончании этих десяти лет у него не осталось ничего. Он съел свой капитал. Тогда Боже его сохрани пуститься с своими сапогами на спекуляцию, подобную рассказанной выше. Если ему удастся поднять цену на какой-либо другой продукт, то он ровно столько же потеряет на своем собственном товаре. А если он кому-либо дал займы пару своих сапог, тот наверное не возвратит две пары по истечении какого угодно срока. Никакой избыток продуктов не дает процента. Это ясно, как день, и может казаться сбивчивым потому только, что как деньги представляют всё, так и всё с своей стороны представляет деньги.

Итальянские работники, по поводу которых я вступаю в эти длинные рассуждения и исследования, обошли вопрос чисто юридический: каким образом избыток производительности концентрируется всё больше в одних и

тех же руках. Или правильнее – они не подошли к нему еще, как я уже сказал выше. А потому я и не коснусь его здесь. Главное было показать, что капиталу, в том значении, которое они ему придают, представляет нечто не только враждебное труду и рабочему сословию, но и целому обществу.

Сказанного, может быть, было бы довольно для того, чтобы снова возвратиться к деятельности ремесленных братств – деятельности пока еще ребяческой, робко подходящей ко всем этим томительным вопросам. Но я коснулся условий слишком существенных, слишком основных для всякого общественно-го быта и не считаю себя вправе оставить их не объяснившись.

Я не думаю проповедовать крестового похода против денежной системы – необходимость ее доказывается достаточно исконным ее существованием повсюду. Я также не думаю говорить о частных злоупотреблениях – они неисчислимы. Но указать те противоречия, которые присущи ей, без которых она немислима при современном экономическом порядке, я считаю необходимым.

Деньги, рассматриваемые, как продукт, не удовлетворяют своему назначению, они нелепы, губительны, несправедливы... Они опора и основание экономической рутины и общественной бедности.

«Но чем же виноваты деньги? – Разве при простом обмене продукта на продукты же»... говорит мой противник, воображающий, что лучше и могущественнее денег нет ничего на свете.

Что было бы при отсутствии денег – это нам очень трудно вообразить себе, но едва ли бы было что-нибудь хуже. Беда в том, что деньги представляют, вместо отвлеченной меры стоимостей, самобытный продукт, имеющий над всяким другим то преимущество, что он по преимуществу удобообменяем на все возможные продукты, что он стоит совершенно изолированно ото всех других продуктов, что ценность его определена и обусловлена общественным признанием, что она относительно постоянна; главное же, что они производительны в руках того, у кого они свободны, т. е. у кого их столько, что за покупкой необходимого у него остаются еще деньги;

а между тем они непроеизводительны, даже не продукт, а чистое отвлечение в руках того, кто обязался купить на всю обладаемую им сумму известный ряд продуктов...

Вот против этого-то зла вступают в борьбу итальянские ремесленные братства. А как они берутся за дело? Об этом я поговорю в четвертом письме.

Письмо четвертое

Не особенно трудно догадаться, что итальянские работники в понимании экономического вопроса – борьбы между трудом и капиталом – руководствуются не глубоким и основательным изучением вопроса, а тем, что обыкновенно называют инстинктом массы, тем синтетическим пониманием предмета, верности которого очень много удивлялись все идеологи, ниспускавшиеся до изучения народа... Это синтетическое понимание, в самом деле, многих может поражать своей верностью действительности, но тем не менее оно все-таки далеко от научного понимания... В самом деле откуда низошло на народы это вдохновение, в силу которого они схватывают истину помимо весьма тяжелого, но един-

ственно известного к ней пути – науки, анализа?

Народ гораздо больше всяких идеологов бывает верен действительности, потому что он слишком неразрывными узами связан с ней и ему нелегко оторваться от нее. Но именно благодаря этому-то он всегда видит только одну, самую близкую ему сторону ее. Для того, чтобы схватить ее всю, во всей ее целости, необходимо до известной степени отдалиться от нее...

Вся обыденная жизнь работника убеждает его (если только он обладает способностью выработать себе хоть какое-нибудь убеждение из тысячи фактов и случайностей, сказывающихся ему весьма ощутительно и шероховато), что над ним стоит сильный и могучий враг в лице каждого, кто, по-видимому, благодетельствует его, поощряет его производительность.

В Италии это всего более ощутительно. Здесь нет денежной аристократии, которая бы сорила деньгами и патронировала бы работников. Здесь нет англичан, как солидных антрепренеров фабричной промышленности,

нет даже французской буржуазии, мелкой, расчетливой, но имеющей в своих руках средства выплачивать работнику хоть бы только то, чего оттягать у него невозможно. В Италии нет ничего подобного. Буржуазия здесь явление до крайности паразитное, оторванное от всякой почвы, и это я говорю без метафоры: поземельная собственность здесь вовсе не в руках буржуазии, у нее нет никакого основания, никакого фонда. Она пробавляется фикциями, и торговля – вся внутренняя торговля без малейшего исключения – дошла здесь до самого современного развития: она обратилась в азартную игру, в ажиотаж, маклерство, куртажничество.

Товар забирается в долг у работника и все не потому, чтобы негоциант внушал ему хоть малейшее доверие, а потому только, что работник сам не имеет ни средства, ни возможности открыть большой магазин для сбыта своих продуктов в лучшей части города. В маленькую же его лавчонку не заглянет ни один форестьер – единственный потребитель в Италии, для которого существуете здесь торговля... Если вы сомневаетесь в истине из-

вестного выражения Наполеона I: «торговля – организованный дневной разбой», то загляните в любую итальянскую лавку хотя бы устроенную на самый цивилизованный лад с *прификсом* и *инглиш-спокеном*[227]. Я не говорю уже, что с тобой поступают здесь, как с попавшимся военнопленным. Но весь товар, расставленный по лакированным полкам и за зеркальными стеклами, самые полки и стекла – всё забрано у работников без копейки денег; в уплату пошли векселя, которые никто не разменяет на бирже за полцены. Что делать работнику – представить ко взысканию? Но тогда лавка негоцианта распродана с аукционного торгу – долги его заплачены по пяти копеек за рубль.

Достаточно было, чтобы подвоз форестьеров прекратился на один только час (что действительно случилось в 1860 году), и девять десятых из тузов здешней торговли – банкроты, нищие; за каждым из них, по меньшей мере, сотни работников пошли по миру...

Но что же делать, скажете вы: иностранцы единственные потребители здесь. Их нет, – понятно, что производительность падает. Оно

так, но не совсем.

Негоциант, забирающий товар за бумажку, которой нет никакого хода, успел убедиться из политической экономии, что он лицо необходимое для благосостояния общественного, что он двигает вперед цивилизации всей Европы, не только родного края... За это он сам себе присуждает весьма порядочное годовое жалованье... Продукт, который сам он приобрел за рубль от работника, он стремится продать его за пять, а если продаст его за три, он в убытке, потому что сам издержался на поддержку наружными средствами своего кредита. Работник неохотно продаст частному лицу свой продукт за ту же цену, за которую отдает его негоцианту, хотя бы частный покупатель платил за него наличными деньгами. Это очень понятно: негоциант забирает гуртом, кроме того, он покровительствует работнику и за свое покровительство требует некоторой подчиненности. Работник тогда только убеждается, что этому брюхатому господину, с толстой золотой цепочкой и громким голосом, не из чего было покровительствовать ему, когда уже он получал пять копеек вместо обещан-

ного рубля. Негоциант объясняет ему эту неприятную случайность громкими фразами, политическими событиями, финансовым и торговым кризисом... всё это справедливо. Но отчего самый торговый кризис?

Работнику ясно одно – нет денег, деньги вздорожали. Деньги такой же продукт, как и другие: много их – они дешевы, мало – они дороги.

Работнику в голову не приходит, что для него нужен вовсе не новый продукт и что, как продукт, деньги для него вовсе не существуют; для него они отвлечение, представляющее ему данный ряд нужных ему продуктов. Он не подумает о том, что если бы антрепренер забрал в свои руки всякий другой из существующих продуктов, то сам антрепренер разорился бы прежде всех, если бы деньги представляли такой же продукт, как другие, и ничего больше; что банкир или ростовщик спекулирует на деньги вовсе не как на продукт, а что он спекулирует на их изолированность от всех других продуктов.

Работник понимает одно: ему нужны деньги. Ломбард с каждым месяцем почти умень-

шает ссудную сумму. Ростовщик, к которому он необходимо должен обратиться, разоряет его тяжестью процентов. Как пособить горю?

Общество взаимного вспомоществования обеспечивает его от голодной смерти тогда только, когда ему грозит опасность умереть, другим образом – когда он болен. Но он здоров, а ему не на что приобрести себе здоровой пищи. Он устраивает своего рода *provvidenza* [228], которая действительно для него благодетельное провидение: он уже не будет платить своей дани капиталисту с каждого фунта рису, муки, которую он потребляет. Благодаря этому, он с меньшими издержками может быть сыт. Но и это благое дело оказывается каплей меду, почти незаметно пропадающей в бочке дегтю, с которой можно сравнить его жизнь. Ему мало быть сытым, ему нужно работать: без этого никакая *provvidenza* не спасет его от голоду; но заработанных им денег не хватает на покупку орудия, материалов.

И вот одной народной инициативой прибавляется к программе братств еще третий пункт: «Общество при первой возможности устроит при себе заведение кредита для своих

членов».

Пока эта возможность еще не открылась. Разумеется, работники и не идут дальше в обсуждении этого пункта. Будет время обсудить его тогда уже, когда будут деньги на новое учреждение. За тем остается постоянная возможность улучшать его по мере того, как практически обнаружатся недостатки, которые необходимо вкрадутся в его организацию...

Пророчествовать в этом деле нельзя. Предвидеть все многообразные случайности, которые будут иметь влияние на дальнейшее развитие заведения кредита при итальянских ремесленных братствах, невозможно. Но стоит ли оно на верной дороге к успеху? Т. е. предполагая, что это новое или предполагаемое учреждение разовьется нормальными путями, то будет ли достигнута цель, которую братства эти имеют в виду?

Как паллиативная мера, такое учреждение будет, очевидно, полезно вдвойне. С одной стороны работнику представится возможность иметь деньги за меньше проценты, чем в настоящее время. На сколько облегчится

этим его судьба? Судить трудно теперь; пока еще неизвестно, какого рода будет самое кредитное учреждение: примет ли оно за норму устав существующих коммерческих банков или ломбардов, или же наконец примет оно себе за основание чисто личный кредит, доверие, внушаемое той или другой личностью? Этого не знаем пока еще не только мы с тобою, но и никто его не знает. Так и оставим его на время в стороне, тем более, что есть другая сторона во всем этом, несравненно меньше зависящая от случайностей, вытекающая из самой сущности дела и о которой считаю не лишним поговорить здесь, потому что она объяснит нам отчасти: куда идут итальянские ремесленные братства.

Из всего числа членов общества в настоящее время весьма значительное большинство имеет постоянную надобность в кредите. А программа будущего кредитного заведения должна быть одобрена этим большинством. Даже больше, она будет составлена этим большинством, так как комиссия, которой специально будет поручено ее составление, выберется по большинству голосов из самих

же членов общества... Очень вероятно, что на первое время большинство это взглянет на вопрос весьма узко, что оно увидит в новом заведении кредита только одну его чисто паллиативную сторону; т. е. даваемую посредством его возможность брать займы деньги за меньшие проценты против прежнего. Не нуждающееся в займах меньшинство не упустит, конечно, поставить ему на вид, что часть платимых процентов, как входящая в состав общественного капитала, возвращается самому должнику.

Я обещал не останавливаться над теми случайностями, которые могут отклонить временно предполагаемое кредитное учреждение от его нормального, т. е. неизбежного развития. Но это раздвоение интересов самого общества в деле кредитного учреждения вовсе не случайное и отстранить его не так легко, как может показаться с первого взгляда, а между тем существовать долго с подобным дуализмом в самом себе общество не может.

Пользование кредитом от общества должно составлять преимущество, привилегию са-

мих членов братства над не принадлежащими к нему работниками. Следовательно, общество должно выдавать деньги за меньшие проценты, чем любое из кредитных учреждений, существующее для всех. Отчуждая таким образом часть своего капитала, в пользу хотя бы своих же собственных членов, но за возможно меньшие проценты, из которых кроме того нужно вычесть еще издержки на поддержание самого кредитного заведения, общество теряет уже часть тех выгод, которые бы оно могло другими путями извлечь из своего капитала – т. е. каждый член общества теряет на столько, на сколько он солидарен с самим обществом. Кроме того проценты, вносимые каждым работником за взятую им в кредит из общества сумму, необходимо должны быть меньше, чем то, что работник этот выигрывает, обратив взятый капитал в материал своей производительности. А так как выигрыш этот весьма различный, смотря по цеху или мастерству (чему в итальянских ремесленных братствах соответствует коммуна), то или процент с капитала должен быть рассчитан сообразно доходам с самого невыгодного ре-

месла, либо же он тоже должен быть различный для каждой коммуны, либо наконец он будет рассчитан сообразно среднему заработку, который примется обществом как бы за норму заработков.

Это последнее – самое вероятное, но с тем вместе и самое худшее, из трех возможных решений, из которых впрочем ни одно не удовлетворительно.

В самом деле, как бы ни распорядилось общество в этом случае; но и само оно, и все те из его членов, которые воспользовались в меньшей степени или вовсе не воспользовались лично для себя кредитным учреждением, потеряют при этом больше, нежели могут выиграть воспользовавшиеся им, и мало-помалу дойдут до того, что каждый из членов ремесленного братства будет либо вынужден, либо добровольно (т. е. без крайней необходимости) станет занимать деньги из общественной кассы. Это не только возможно, но необходимо должно случиться, потому что только при этом одном условии, при котором каждый будет в одной и той же степени заемцем и должником, может установиться

равновесие, без которого ремесленное братство обратится либо в эксплуатацию беднейших из своих членов богатейшими, либо обратно, либо наконец и в то, и в другое вместе. А оно не может сделать этого, не изменив одному из коренных своих принципов, не может кроме того и по чисто материальным еще причинам...

Сколько времени понадобится на то, чтобы общество вернулось к этому единственно возможному для него состоянию внутреннего равновесия? Это загадка. Какими путями дойдет оно до него? В этом весь драматизм современной истории. Но что при этом равновесии само кредитное учреждение станет ненужной нелепостью – это очевидно. Каждый, на сколько он заимодавец, выигрывает то, что проигрывает, как должник. А заимодавец и должник платят за существование кредитного учреждения, не приносящего им никакой пользы, и кроме того теряют, отклоняя часть общественного капитала на ненужную игру. Кредитное учреждение либо упадет совершенно, убедив работников, что им нужно искать других выходов из своего положения,

либо же преобразуется само и очень радикально. Деньги, которые оно могло бы выдавать работникам без залога или под залог, за какие бы то ни было проценты, оно может выдавать им в виде ссуды за их же собственные продукты, из которых таким образом устроятся при обществе складочные магазины по всем отраслям работничьего производства, и такие магазины могут очень легко представлять все удобства существующих теперь частных лавок и купеческих домов. По продаже продуктов работникам будут доданы следующие им деньги за вычетом из вырученной продажей суммы процентов, необходимых на поддержание подобного учреждения. Таким образом только могут быть достигнуты все те выгоды, которых можно ожидать в настоящее время от какого бы то ни было кредитного заведения и без малейших из тех существенных неудобств, о которых только что говорено. Даже самые проценты, следуемые на поддержание этих складочных магазинов, в сущности выплачивались не работниками, а монополистами... Чем более разовьется подобное предприятие, тем всё

меньше и меньше представится возможность существовать паразитным классам общества, тем более и более производительность будет входить в свои нормальные условия, и цена каждого продукта, устанавливаемая в действительности равновесием между спросом и предложением на существующих рынках, будет более и более выражением действительной стоимости продуктов; всё это вместе приведет к тому, что действительное значение труда возвысится на столько, на сколько должна упасть эксплуатация паразитными классами рабочих сил. Из суммы этих трех стоимостей, которые составляют цену продукта, состоит, как известно, действительная стоимость каждого предмета. Конечно, она не абсолютно, а только относительно поставлена, как стоимость денег в настоящее время.. Так должно быть и так будет в Италии, благодаря деятельности здешних ремесленных братств. Какая бы судьба ни ожидала их в будущем, но развитие их не подлежит ни малейшему сомнению. И действительно, они развиваются быстро, даже тогда, когда идут к своей цели ощупью. А что было бы, если б

они действовали сознательно, освещаемые с одной стороны наукой, а с другой – подкрепляемые материальной силой. Но и теперь, с голыми руками и во мраке, они устраивают свое положение гораздо лучше, чем можно было ожидать. Голодная смерть не стучится в двери тех, кто работает общими силами с братством; даже является избыток там, где бедность была как будто врожденным наказанием, и таким образом экономическая реформа делается господствующим направлением итальянской жизни. Пред этой реформой бледнеют все воинственные крики, парламентские комедии, политическая суета суетствий и дипломатическая болтовня. Я в одном глубоко убежден, что тот народ, который разрешит вопрос труда на самых рациональных основаниях, – будет ли то Италия, или Россия – поворотит цивилизацию в другую сторону и пойдет впереди образованного мира. Недаром из-за этого вопроса Америка проливает реки крови и ставит уничтожение привилегии, монополии и рабства выше самой жизни. Рано или поздно, а придется всем окончить тем же. Такова неотразимая логика

фактов.

Л. Бранда[229]

Часть 2

Этрурия

Под этим именем я имею в виду поме-
стить несколько заметок о внутренней
Тоскане, стране слишком мало известной не
только за границей, но даже и в остальной
Италии, а между тем весьма интересной во
многих отношениях... Вся она между прочим
наполнена остатками этрусских древностей
и давно, в те времена, когда в Италию ездили
из-за древностей, некоторые смелые туристы
заглядывали и сюда. Теперь всё переменялось
и тут только по преданию знают туристов,
и слова форестьер и англичанин на языке
здешних горцев считаются однозначными.
Предоставленная таким образом самой себе,
страна очень много выиграла во многих от-
ношениях, но потеряла со стороны гостиниц.

К сожалению, я слишком плохой археолог,
и потому мне придется много молчать об
этрусских древностях. Зато я надеюсь многое

сказать об итальянских помещиках – предмете особенной редкости, и который попадает зато в очень хороших экземплярах именно здесь, в долинах Чэчины и Эльсы.

Вольтерра (дорожные заметки)

Среди пустынных, диких гор вулканического происхождения, на которых ни куста не видно свежего и зеленого, на высокой скале построили, много лет тому назад, город, весь из прочного, серого камня. Он и теперь еще стоит на своем месте, и теперь еще живут в нем люди. Стоит он, потому что еще не развалился, живут в нем, потому что нельзя же городу стоять пустому. Других законных причин существования Вольтерры в настоящее время нет, да их и не нужно. Жители Вольтерры – те из них, которые умеют читать и писать – проводят большую часть своей жизни в утомительных и ученых розысканиях по трудному вопросу: кто и когда построил их город. Прадеды их делали то же, а вопрос все-таки остается нерешенным. Не желая отбивать хлеб у вольтеррских жителей, которым и без того не много остается делать на земном шаре, я считаю священною своей обязанностью

не мешаться в это запутанное дело. Пеласги [230] или этруски, или кто другой строил Вольтерру, нам от этого чести не прибудет – мы выскочки в истории человеческого рода – наши предки Рима не спасали. Только быстрее ли, вследствие этого мы идем вперед?..

Относительно Вольтерры очевидно одно – строили ее тогда, когда города строились для того, чтобы не иметь сообщений с остальным миром. Определенно этому не достает хронологической точности, так как подобные времена повторялись в истории нередко. Каждый раз, когда рушился старый порядок вещей, а новый не успевал стать рутинной, воровство и грабеж не успевали стать законными за давностью лет. Тогда приходилось отнимать открытой силой то, что потом требовалось на основании святого права. Золотая откровенность тогда царствовала повсюду, а слабые – неуверенные еще может быть сами в своей слабости – не раз подымали голову. Это им, впрочем, никогда не обходилось даром; потому что когда у сильных не хватало силы на насилие, у них были неприступные замки, в которые они уходили, всегда унося с

собой добычу, пережидали грозу, и окрепнув, отправлялись на новые подвиги... В те времена Вольтерра первенствовала в Средней Италии, и в ней, на досуге, германское кулачное право – врожденное до такой степени всем официальным немцам, что они не могут забыть его, как ни потеют над «пандектами» [231] и «юстиниановским кодексом» [232], но в Италии вовсе не туземный продукт – переродилось в итальянское феодальное, которое тоже плохо принялось на этом блаженном полуострове, и даже в Тоскане первенствовало не долго. Во Флоренции утвердилась олигархическая республика, и дух времени изменился. Рыцарские добродетели, наравне с банкротством, стали худшими пороками, а старые пороки в свою очередь стали добродетелями. Только старые добродетели вовсе не думали склониться перед этими новыми, «как перед новою царицей порфиноносная вдова» [233]. Разбойничьи шайки укрепились в Вольтерре и в окрестных замках, и наносили громадный вред флорентийской торговле, грабя караваны и затрудняя им путь в море. Вражда между флорентийской и вольтерран-

ской республиками, может быть, единственная муниципальная вражда, имеющая логическое основание... Однако мирные негодяи не могли и помышлять об открытой войне с дикими, горными баронами. Они ограничились тем, что дали другое направление своим караванам. Это был самый чувствительный удар, который можно было нанести тамошним шайкам: таким образом они должны были ограничиться одними местными ресурсами. Большинство отправились искать счастья в чужих землях, так как местные ресурсы были очень и очень не богаты. В вольтерранских горах никогда не было никакой торговли, благодаря географическому положению: о минералогических богатствах тамошней почвы тогда и не думали: весь край населен был бедными хлебопашцами, задавленными и тяжестью собственного ремесла, и баронами с их челядью. У земледельца – кроме его труда – украсть нечего; феодальному праву здесь дали чудовищные размеры...

Едва во Флоренции взяла верх свободная городская община, положение вольтерранских баронов ухудшилось, так как новая рес-

публика, не могшая терпеть подобного опасного соседства, со смелостью, свойственной господствовавшим в ней классам народонаселения, начала открытую, упорную войну против Вольтерры. Доблестные рыцари сразу поняли, что с подобным врагом справиться не легко, а потому отказались от своей пресловутой честности и стали искать спасения во всякого рода изменах и иностранных союзах.

Борьба эта тянулась долго, и вовсе не к славе феодальных баронов; наконец Франческо Ферруччи – этот Гарибальди XVI века – закончил ее блистательным финалом.

Это было во время гвельфо-гибеллинского союза против флорентийской демократической общины, которая отстаивала не свои только интересы: это была борьба права против насилия, возродившейся Италии против оживленного германским кулачным правом и клерикальным деспотизмом чужеземного владычества... Вольтерра, конечно, приняла сторону последнего. Положение Флоренции было слишком затруднительно. Друзья и союзники ее оставили, а неприятель теснил со

всех сторон. Приверженцы Медичей и умеренные работали внутри ее, а дряхлый сенат ждал минуты, чтобы сдать на приличную капитуляцию. Франческо Ферруччи с несколькими сотнями *arrabiati*[234] и наемников не думал о сдаче. В подобные критические минуты только отчаянные попытки могут удалиться...

Ферруччи собрал всё свое маленькое войско и держал ему следующую речь:

Я веду вас на тяжелые подвиги. Вы, флорентийцы, должны идти за мною. Вы же, наемники, прежде подумайте. Жалованья я вам обещать не могу, мне может быть нечем будет даже кормить вас; смерть, труд и слава – вот что ждет вас со мною. Вы говорите одним с нами языком, но слова *родина, свобода* вам непонятны – вы торгуете всем, даже жизнью вашей. Родины и свободы продать нельзя, и вы забыли их, как не имеющие в ваших глазах никакой ценности. Пусть только те из вас, кто, хотя в эту минуту, способен их вспомнить, идут за мною. Кто попросит отставку теперь, тому я дам ее, и дам, кроме должных ему денег, какую только могу денежную на-

граду. Но, едва мы выйдем из-за стен, первый, кто хоть на шаг от меня отстанет, будет убит, как собака, как изменник отечеству.

Все пошли с ним вместе под Вольтерру; под стенами ее в первый раз прокричали *Viva l'Italia* и взяли неприступную крепость. Это был не стратегический расчет; Ферруччи шел не на завоевания: он мстил и мстил жестоко...

Высокие черные стены крепости, словно кровью залитые, торчали высоко передо мной, пока я взбирался в неудобном барочино[235] на крутую гору. Целый час кряду я видел по сторонам те же дикие, голые скалы и между ними красный конический холм Монте-Россо. Были сумерки. В крепости, где теперь пенитенциарная тюрьма, перекликались часовые. Мой извозчик, которого дядя – *cavalier presidente della Corte Regia di Lucca*[236], с наслаждением вслушивался в их протяжное *all'erta sto*[237]. «Восемьсот их сидит там», – говорил он мне с самодовольствием, показывая бичом на каменную громаду, – «и еще столько же поместится. Славное заведение».

Наконец колеса глухо застучали под аркой тюрьмы и мы въехали в город, весь очень похожий на подобное же славное заведение...

* * *

Пришел чичероне в остроконечной карбонарской шляпе на затылок, на очень коротеньких кривых ножках, но зато с очень длинной бородой клином и с превысоким плешивым лбом. Зовут его *signor Giuseppe Calai*, и я тем смелее рекомендую его всем и каждому за первого вольтерранского чичероне, что во всем городе нет второго. Во всей фигуре его, в манерах, в движениях замечательно дружеское сочетание официальной торжественности дворецкого и угрюмого равнодушия факельщика, показывающее, что 5-й Калан жил в хорошем обществе. Первое действительно он приобрел на службе какого-то польского графа, посылавшего его, между прочим, в Лондон за кровной кобылой, и какого-то русского барина, посылавшего его в Лондон за настоящим бульдогом с кличкой Джек и с приличным аттестатом. Аккуратно ли исполнил 5-й Джузеппе эти поручения — Бог весть. Он уверяет очень искренним то-

ном, что у кобылы глаз был очень широк и что Джек, несмотря на свои молодые годы, обладал «крепостью черных мясов, уму непостижимою», и я готов во всякое время поручиться за истину его слов, но пари не подержу.

В 1848 году мой чичероне случился в Венгрии и выполнял там поручения совершенно иного рода. Вообще он много путешествовал и приобрел очень разнообразные сведения насчет характера разных европейских национальностей, сомнительную репутацию, чухотку, порядочный ревматизм и маленький капитал. Утилизировал он только первое и последнее, заведя в Вольтерре лавчонку антиквария. Вот уже девятый год, как он мирно доживает свой бурный век в родном своем городе, показывая его достопримечательности иностранцам и продавая им же всякую дрянь по очень умеренным, или кажущимся ему умеренными, ценам.

В его сообществе отправился я осматривать всякие местные знаменитости, и увидел их действительно множество.

На площади, возле подслеповатого, закоп-

ченного собора, стоит вольтерранский музей, один из самых замечательных в Европе по части этрусских древностей. Успокойтесь – я не скажу ни слова о всех грязных и уродливых драгоценностях, собранных в нем в большом количестве, – они могут иметь громадный интерес для науки; но ведь музей патологической анатомии имеет его вероятно еще больше, однако же вы не выберете его местом своей прогулки. Кроме того, я составил уже проект закона, которым под смертной казнью запрещается говорить во всей Тоскане об этрусских древностях, и жду только, чтобы меня выбрали депутатом в парламент, да чтобы пьемонтское... виноват, итальянское министерство позволило не только *de jure*, но и *de facto* депутатам предлагать на рассмотрение камеры свои законы. Это будет очень неудобно для камеры, но что же делать: нужно жертвовать в известных случаях собою благу отечества...

Посещение вольтерранского музея во многих отношениях очень полезно; нигде древнее, отжилое не является в такой отвратительной форме, как там. Обломок торса Герку-

леса Фарнезского поражает приятно, потому что в нем проявляется мысль, чувство красоты, что-то живое. Но все эти придавленные своды, безобразно взваленные один на один колоссальные камни циклопских построек свидетельствуют о совершенно другом, и вся Вольтерра с ее достопримечательностями – мертвец, которого еще не похоронили. Детям показывают глиста, который может у них зародиться, если они будут есть сладкое, и говорят, многие из них в рот не берут сахару после этого; отчего же в тосканцах вид Вольтерры не возбуждает такого же отвращения к их прошедшему?.. Пока здешние ученые спорят о трех головах ворот *dell'Èrcole*[238], львиные ли они или человеческие, жизнь уходит из рук. Во время всеобщего движения в Италии, когда решалась судьба полуострова, когда затронуты были все те вопросы, которые необходимо близки каждому, кто живет на свете, – в Вольтерре очень серьезно спорили о том, что означает двухголовый Янус, эмблема города? Может быть древние обладатели Вольтерры предугадывали, что некоторым из их потомков не будет доставать этой части те-

ла и потому выбрали подобного бога своим патроном.

Едва вышел я из ворот *dell'Èrcole*, передо мною открылся чудный вид на окрестную кампанию[239]. Странно, что среди этой мрачно величавой природы выродился всего один энергически деятельный человек, живописец Даниил Ричьярелли, известный под именем *Вольтеррано*[240]. В Вольтерре есть только одна его картина «Илья пророк в пустыне», и та в доме, принадлежавшем прежде ему самому, а теперь какому-то кавалеру Ричьярелли, посылавшему свой портрет экс-герцогу Леопольду в Вену. Я отправился смотреть на нее.

Висит она в гостиной почтенного кавалера, уставленной всякого рода алебастровыми вазами и изваяниями. Общий эффект напоминает несколько наши меццанские домики в провинциальных городах.

Пока я смотрел на эту картину и понимал, почему Вольтеррано не любят в Вольтерре, две черномазые горничные смотрели на меня, отодвинув портьеру, и вероятно не понимали, как можно полчаса стоять перед рас-

крашенным полотном. А картина эта разъяснила мне многое и многое. Рассказать впечатление подобного рода произведений невозможно, а между тем во всяком взмахе кисти маэстро живо чувствуется самый энергичный, гордый протест против всего условного, всего неподвижного, всего сковывающего, давящего человека. Живопись считают искусством вполне объективным – напрасно. Этот «Илья пророк» заставил меня полюбить смелую, мощную личность своего автора, который не плакал над людскими слабостями, не улетал в неземные сферы, который был другом Микеланджело, когда тот бежал из Флоренции, но не хотел быть его учеником, считая недостойным человека подчиняться даже тотальности другого...

Положение путешественника, которого чичероне водит по совершенно незнакомому ему городу, иногда бывает чрезвычайно приятно, в особенности в теплый весенний день и для того, кто имел честь родиться под счастливым небом Малороссии. Тут вполне изведешь все прелести беззаботной лени, не той лени, которая заставляет целый день лежать

на боку; напротив: ходишь много, физически утомляешься, а мысль отдыхает; собственно-му произволу нет места. Ведут туда-сюда, и туда или сюда всё равно идешь лениво, беспечно, всё равно исполняешь священную обязанность путешественника, смотришь на то, или на другое, что покажут. А в Вольтерре-то благодать: нет ни дилижансов, ни железных дорог – заботиться не о чем: всюду поспеешь вовремя; в гостинице служанка без кринолина не ждет ведь с нетерпением и не считает минуты, а поесть везде и во всякое время найдешь!.. Г. Калан водил меня по всем уголкам и я повсюду шел за ним с покорностью ребенка, и мы наконец очутились у самых дверей кабинета одного из самых важных вольтерранских сановников: директора тамошнего пенитенциарного заведения. Величественная фигура, в форменном платье и с шеvronами на рукавах, несколько вывела меня из сладостного усыпления.

«Это что такое»? – спросил я чичероне. – «А нужно разрешение директора – вы разве не хотите осмотреть первую пенитенциарную тюрьму всей Италии». – «Хочу, хочу – ведь я

за тем сюда приехал, чтобы посмотреть; так показывайте заодно уж и тюрьму, и директора»... Чем ближе подходили мы к заповедной двери, тем более низенькая фигурка моего спутника вся проникалась выражением глубочайшего уважения и преданности: шаги его мало-помалу теряли всякую звучность, шагах в пяти от двери он снял свою карбонарскую шляпу, обнажил череп, за который Галль и Лафатер[241] дали бы полцарства – и тем охотнее, что у них его никогда не было...

Нет худа без добра и в худе без добра есть добро – как же бы не было его в табачном откупе... И оно есть. Итальянское правительство радо бы во всех своих поданных пробудить склонности сослуживца Манинова, который, как известно, курит даже в... Лица, занимающие здесь важные административные посты – желая конечно подать хороший пример кому следует, – принимают всех и каждого с сигарой в зубах и это дает посетителям полное право делать то же... Но директор вольтерранского пенитенциарного заведения – не такого рода сановник. Корыстные соображения недостойны его возвышенного

ума, занятого исключительно высшими государственными расчетами, и он не даром берет свой подбородок, как наши дипломатические чиновники за границей. В манерах своих пьемонтский сановник корчит петербургских начальников департамента, чем производит сильное впечатление на подчиненных, и на непосвященных...

Подобные тузы в Италии редкость; в Пьемонте я никогда не бывал, а от Петербурга успел уже отвыкнуть: я спроста вошел в кабинет директора, как в Италии все входят в кабинет директора и всякого рода присутственные места, магазины и кофейные...

Величавый взгляд божества этого храма дал мне сразу понять, что я промахнулся; но что нужно было мне снять: шапку ли, как при входе в Исаакиевский собор, или сапоги, как в Смирне при посещении мечети вертящихся дервишей – я решительно не мог догадаться в моем смущении. По счастью, величие всегда сопровождается снисходительностью к слабостям простых смертных, и величавый директор – снисходя к моему горестному положению – снял сам свою шляпу и этим подал мне

спасительный пример, которому я поторопился... не последовать... Несмотря на это, директор принял меня с гостеприимством, достойным управляемого им заведения, и дал позволение осмотреть всё, что мне вздумает показать усатый сторож с шевронами... И я отправился за окованные двери с тяжелыми замками, благодаря Всевышнего за то, что на выход оттуда мне ни у кого еще не нужно было спрашивать позволения. Живется в пенитенциарной тюрьме впрочем недурно – это я слышал прежде от некоторых из моих приятелей, знавших по опыту то, о чем говорили; теперь же я мог заключить об этом по веселому виду заключенных, прогуливавшихся в красных костюмах по коридорам, так как день был праздничный... Решительно нет худя без добра – и в квакерстве, и в пьетизме есть добро...

Мысль посылать в Вольтерру – в эту незасыпанную еще могилу, приговоренных на гражданскую смерть – совершенно достойна и этой квакерской системы, и артистического духа итальянцев, умеющих всему прибрать соответствующую форму... В той же самой

крепости сохранили одну из башен в первоначальном ее виде, для большего контраста. Башня эта, высокая, круглая, называется башней Мужчины – *Torre del Maschio*[242]; на противоположном ей конце стоит другая и ее называют Женщина – *Femmina*. Эти живописные имена я в первый раз услышал от чичероне, так как боясь затеряться в незнакомом городе, я не вынимал из под мышки мой guide, а будучи близорук, не мог читать его в этом положении, и они заставили меня ожидать какой-нибудь чудесной легенды средних веков. Чичероне откашлялся и начал:

«Все форестьеры, делающие мне честь смотреть эти башни, предполагают, что насчет их существуешь какая-нибудь легенда... Я же положительно могу уверить вас, что легенды нет никакой, а названия: *Maschio* и *Femmina* производят оттого, что – как сами вы можете заметить (и он указал мне на «Женщину») – она несколько ниже первой». Я очень недовольный оглянулся и увидел, что чичероне прав: она приземистой и форма ее мягче и круглее, чем *Maschio*. Легенды не было!

По коридорам и на двориках гуляли заключенные в красных куртках, таких же панталонах и шапочках. «У нас есть еще и желтые», – говорил мне усатый тюремщик с одной стороны, пока с другой истинный чичероне очень обстоятельно сообщал мне историю каждого камня, со всеми возможными подробностями. Сообщения унтер-офицера были гораздо интереснее; он познакомил меня с некоторыми из красных, которые все вообще были очень приветливы и любезны. Пенитенциарная система в Тоскане, – в остальной Италии она еще не заведена, – значительно переменилась. Квакерского в ней осталось только то, что заключенным бреют усы и бороду, и это делает их очень похожими на здешних попов, так как благодаря хорошему содержанию, у всех их довольно круглые физиономии. Красные живут здесь только на время, желтые на всю жизнь. Красные обыкновенно работают по несколько человек вместе, а только спят по одному, в маленьких кельях, вдоль длинных коридоров. Они разделены по ремеслам, и плотникам, кузнецам и столярам всех лучше житье; работают они всегда в

большом обществе, в нарочно устроенных для этого мастерских. Желтых держат поодиночке и по большей части они не имеют между собою никаких сообщений. При их кельях маленький дворик, шагов пять квадратных, отгороженный со всех сторон каменной оградой: они видят только часовых, бродящих на высокой площадке крепости... В Вольтерре нет регулярного войска, все военные посты заняты национальной гвардией. Меня поразило сперва то, что почтенные здешние воины-буржуа не имеют свойственного им в других местах воинственного вида. Усатый вахмистр, истинный профессор во многих науках, объяснил мне и это.

Оказалось, что они вовсе не были буржуа, а контадины из окрестных деревень, которых отправляют в Вольтерру для обучения военному ремеслу. Во всё время пребывания их в городе, им выдают по 1 фр. 4 сайт, в день, чем они вовсе недовольны, так как за эти деньги работника в рабочую пору нанять нельзя, а между тем у них отнимается право жаловаться на свою горькую участь... Усатый вахмистр весь начинен самыми разнообразными по-

знаниями; он делал кампанию 48 года, то есть отправился из Вольтерры в Ливорно, а оттуда во Флоренцию, где спокойно дождался прибытия немцев. Он недоволен всем в настоящее время, а всего более пьемонтцем-директором.

«Это деспотическая душа, уверяю вас», – говорил он мне таинственным шепотом, – «сам префект перед ним ходит по струнке. А уж с нами что он делает, и... Вот скажу я вам, например, о себе. Ну, да что о себе. А вот о заключенных!.. Прежде всем им выдавалось вино пять раз в неделю; приказал выдавать каждый день, но только тем из них, которые хорошо работают!.. Из этого что вышло? Раздаем вино уж не мы, а *capimaestri*[243]. Да ведь это незаконно, а главное – равенства нет. А ему подите, скажите. “Здесь, говорит, распоряжаюсь я!” Да так еще кулаком по столу хлопнет, что окна задрожат. Разве делаются такие дела в конституционном государстве!»

– Отсюда, изволите видеть, – толковал мне между тем чичероне, – через этот подъемный мост войдем мы в башню, где тюрьма Лоренцо Лоренцини, в которую запирали еще поли-

тических преступников!..

– Во времена последнего великого герцога, – перебивал унтер-офицер.

– Когда, наконец, Леопольд... – продолжал с неудовольствием чичероне.

– Вход в нее прежде был с третьего этажа, – продолжал унтер-офицер.

– По узенькой и крутой лестнице... Эффект был потрясающий...

– Страшно было ходить...

И таким образом, в запуски, как Добчинский и Бобчинский, рассказывали они мне всевозможные подробности о тюрьме, о великих герцогах, о Лоренцо Лоренцини[244], которого Франческо Медичи запер в эту тюрьму за то, что он переносил любовные записочки от своего брата к его жене. Лоренцо Лоренцини просидел в этой тюрьме, прикованный на цепь, как собака, с лишком 11 лет, протер своими ногами дорожку на каменном полу, и с горя сочинил трактат о конических сечениях, которого рукопись и теперь еще хранится во Флоренции, в Мальябекьянской библиотеке [245]. Тюрьма Лоренцини, маленькая, круглая и совершенно темная, занимает самый центр

башни. По обеим ее сторонам два низенькие, узкие, сырые коридоры, извивающиеся дугами по обеим ее сторонам; коридоры, которые называют тюрьмами двух сестер. А, так вот она наконец, желаемая:

Легенда о двух сестрах

Легенду эту рассказал мне не чичероне... Он даже уверял меня, что и тут легенды никакой нет, что тюрьмы называются вовсе не *двух сестер*, а *две сестры*, и что называются они так, потому что совершенно похожи одна на другую... Это был сущий вздор, и я прямо из крепости пошел в кофейную... После нескольких стаканов крепкого пунша, я рассказал сам синьору Калан легенду о Вельтриции и Патриции. «Ведь это легенда о двух сестрах?» – спросил я его в заключение. Молчание – знак согласия. А синьор Калан отвечал молчанием: он спал глубоким сном, склоня на собственное свое плечо свою лысую голову...

Недалеко за городом находится городок смерти – *la Necropoli*, место, в котором рыскают обыкновенно англичане и разрывают на нем всю землю, в надежде докопаться до че-

го-нибудь очень хорошего. До сих пор еще это им не удалось, но тем более остается надежды на будущее...

Имя Некрополя обещало... Мы шли около получасу по каменистой дороге. Солнце палило отчаянно и не было ни одного деревца, которое могло бы догадаться бросить на нас спасительную тень... Остановились мы наконец у свиного хлева; чичероне пробормотал что—то и вдруг исчез, словно сквозь землю провалился. Замечу, что это последнее в Вольтерре вовсе не так трудно, как может показаться на первый взгляд, и есть надежда, что скоро весь город наконец исчезнет под землей – но об этом впоследствии, потому что в ту минуту я вовсе не думал об этом и ни о чем другом... Солнце палило так, что было вовсе не до думанья... Гармоническое хрюканье свиньи раздавалось из хлева. В стороне стоял высокий деревянный крест, со всеми принадлежностями, то есть с петухом на верху, с прислоненным копьём и пр. Под крестом сидела какая-то фигура, которую я с первого раза не принял за человеческую, но со второго принял...

– Зачем стоит тут этот крест? – спросил я ее, желая начать интересный разговор.

– Поставили...

Я остался совершенно озадачен таким рациональным и логическим ответом!..

– Да кто же поставил? – спросил я.

– Кто? Бальдассаро – добрый человек (*Baldassarro il Buon uomo*).

– Да кто же был этот Бальдассаро – добрый человек?

– Бальдассаро – добрый человек.

Чичероне появился в сообществе какой-то пожилой женщины. Я ошибся не многим: он действительно вылезал из-под земли...

– Я ходил за ключами, – объяснил он мне свое отсутствие.

Благословись, мы отправились в путь. Впереди шла толстая крестьянка с зажженной лампой. Она – единственная хранительница единственной, уцелевшей в настоящем виде над Вольтеррой римской гробницы, наполненной всякого рода интересными древностями. «Будь это в другой стране», – подумал я, – «тут бы приставили по крайней мере двух штатских или военных хранителей, с при-

личной канцелярией и главным штабом. Лучше ли бы от этого сохранились древности? Пусть ответят те, которые по 15 целковых покупали картины Рембрандта и др.».

Гробница эта очень интересна, но так как по милости свойственной всем человеческим глазам слабости, мои вовсе не были в состоянии различать окружающие предметы при тусклой лампе, после яркого солнечного света, – то я могу сообщить только то, что наткнулся на какую-то *должно быть* урну, *должно быть* когда-то содержавшую в себе пепел какого-нибудь *должно быть* очень почтенного римского гражданина с двойным именем, кончавшимся два раза на *us*. Одним словом, я не могу выйти из гипотез; гипотезы же составлять можно очень удобно – и я думаю в настоящее время даже с большим удобством в России, чем в Вольтерре.

Из этой римской гробницы мы отправились в *царство Лжи*, то есть в ту часть Некрополя, где покоятся пеплы вольтерранских граждан, умерших после того, как умер город...

На свете – или правильнее в свете – есть

одна очень важная наука, которой до сих пор не воздали должного, даже не признали ее с подобающей откровенностью за науку, тогда как она имеет на это столь же неотъемлемые права, как например, френология и чистая философия. Наука эта – ложь, к которой всех нас хорошо приучают с детства, стараясь отучить даже лгать с откровенностью. Во всяком случае, чтобы усовершенствоваться в ней, приобрести артистическую оконченность, необходимо побывать в новой вольтерранской Некрополии...

Но пора же выбраться наконец из этих гробниц, в которых давно нет даже и пеплу человеческого, хотя бы для того, чтобы попасть в другую, где вы найдете очень благовоспитанных живых мертвецов. Иначе те, которые по воле злых судеб читают меня, могли бы спросить: да куда же девались те 5000 жителей, которые при землетрясении 1846 года устроили целый лагерь в нескольких милях от Вольтерры. Это единственное событие, которым вольтерранцы (не вольтерьянцы – Боже сохрани) дали знать о своем существовании... Да, и в Вольтерре есть жители...

Есть в ней г. Америго Витти, а у него в жилах течет не кровь – иначе она застыла бы от одного взгляда на настоящее положение города – а ртуть, – так по крайней мере уверяет меня г. Калан... Результатом этой физиологической странности выходит то, что синьор Америго не может посидеть полчаса на месте – но мечется и бросается во все стороны, поэтому некоторые либеральные флорентийские журналы подумали было, что он живет... Ошибка простибельна в людях, хотя бы они были даже редакторы журналов, а в этом случае тем более, что флорентийские либералы смотрели на дело издалека. Что делает Америго Витти? Нет, в этой форме на вопрос решительно нельзя ответить. Чего не делает г. Витти?

Ответ простой: дела. Он скульптор, член всевозможных и невозможных обществ, какого бы ни было направления; он представитель вольтерранской демократии и кавалер св. Маврикия и Лазаря...

Во время последнего итальянского переворота, Вольтерра поторопилась... подождать, что сделают другие. Не то, чтобы тенденции

ее не были определены; напротив, она и душой и телом хочет доживать спокойно. Но согласитесь, смешно же бы было, ради квиетизма, поднять тревогу, тем более что оставалось много несравненно более удобных способов высказать свои патриотические стремления. Она конечно остановилась на этих последних. Синьор *Conte A, Marchese B, Barone C* (в Вольтерре нет нетитулованных особ) отрастили себе усы и бородки *all'Italiana*, предварительно сняв с себя портреты, которые послали в Вену – кому следовало. Говорят, будто получив драгоценный альбом, Леопольд забыл, что он в Вене, где запрещены цензурой сонеты Филикайи[246], и воскликнул с порывом истинно-итальянского увлечения: *Forse voi ancor più bruti, ma più forti!*[247]

Но речь не о Филикайе – его в Вольтерре не читают. Достаточно того, что *signor cavaliere* Америго Витти не потерпел позора своего родного города, и едва пьемонтские войска вошли в город, он поднял трехцветное знамя на своем великолепном дворце. Он даже не ограничился и этим, а предложил муниципальному правлению назвать именем

Виктора-Эммануила театр, носящий теперь имя Персия Флакка[248] и в котором с самого времени его существования не было дано ни одного представления. Муниципия на это не согласилась, находя, что вид Вольтерры и так слишком много изменился, с тех пор, как жители отрастили себе либеральные бородки.

Между тем г. Америго Витти не ограничился этим, а тотчас же открыл в Вольтерре комитет итальянского единства, которого сам он президент и вместе с тем единственный член до сих пор.

Общество взаимного вспомоществования между работниками не привилось в Вольтерре. Г. Витти никогда хорошенько им не занялся, потому что во всей Италии еще ни один из предводителей подобного общества не получил креста св. Маврикия и Лазаря. Да впрочем подобное общество едва ли необходимо в Вольтерре; собственно работников там нет.

Единственная промышленность этого города – выделка алебастровых ваз и подделка из алебаstra же этрусских древностей. Основание хрупкое – да оно и подломилось сразу, едва прекратился в Италию наплыв праздно-

шатающихся с набитыми карманами. Таким образом большинство вольтерранских рабочих перешли либо в пенитенциарное заведение, либо в богадельню.

Зато г. Витти учредил здесь батальон Надежды. Это-то и есть его капитальное дело, и оно-то и доставило ему святое право напечатать на своих визитных карточках «*Cavaliere dei ss. Maurizio e Lazzaro*»[249].

Кстати, о батальонах Надежды вообще. Батальоны эти состоят из мальчиков, которых даром учат военным хитростям. Они очень распространены в Италии, но в Вольтерре они, вероятно, не были бы надеждой г. Витти. Странно, что Италия так скоро успела забыть, что батальоны, сражавшиеся при Милаццо и при Вольтурно[250], не умели ходить в ногу. Военная лихорадка – болезнь, как видно, заразительная, и немудрено, что бонапартовские агенты завезли ее и в Италию. Впрочем, тут все эти батальоны – лафариньянская пародия проекта Гарибальди всенародного вооружения.

В Вольтерре вечный антагонист Витти, Ингирами, хотел было, по образцу батальона На-

дежды, учредить *батальон Софии*, с тем, чтобы послать его на помощь разбойникам в северные неаполитанские провинции. Проект этот было однако не легко исполнить и вовсе не безопасно, а потому вольтерранский аристократ счел за лучшее на деньги, предназначенные для этого, построить баню, наподобие древних римских терм – что исполнил с большим успехом.

Витти и Ингирами – два противоположные полюса в Вольтерре, и если бы только была хоть какая-нибудь внутренняя, общественная жизнь, она, конечно, состояла бы из упорной борьбы между ними. Борьба эта есть и теперь, но в весьма карикатурной и смешной форме; оба они считают себя предводителями партий, тогда как партии нет ни у того, ни у другого. Да что и делать в Вольтерре партиям; жить можно очень удобно и без них.

В Вольтерре нет не только партий, но даже того, что есть в большей части наших уездных городов – клубов, собраний, театров. Нет журнала, а иногородные получают очень плохо, а читаются еще плоше.

Осмотрев синьора Витти, который такая

же официальная достопримечательность Вольтерры, как и собор, и этрусские гробницы, я возвращался в свою гостиницу, чтобы отдохнуть на лаврах. На улице у домов, с обеих сторон, без шляп и на коленях стояла толпа. Пришлось остановиться. Проходила какая-то процессия с крестами и хоругвями. Попы в очках и в ермолках на голове шли, распевая в нос по тетрадке какие-то гимны. За ними лакеи здешних синьоринов, увешанные галунами и разноцветными (но не трехцветными) лентами. А позади всех – хор музыки контадинской национальной гвардии, играя какой-то торжественный марш. Процессия ушла далеко вперед, народ повставал с колен; вдруг из-за угла вышла толпа работников в рубашках, с засученными рукавами. Это были мареммские горцы, приходящие в Вольтерру на время отдыха от полевых работ: они раскапывают здесь землю для археологов, всё еще надеющихся докопаться наконец до чего-нибудь хорошего. Едва услышали музыку, они подхватили дружным хором гимн Гарибальди. Музыканты не утерпели и подхватили вслед за ними. Эта новая процессия пово-

ротила в другую сторону; попы поспешили спрятаться в ближайшей церкви; публика, робко оглядываясь, стала расходиться. «Что за черти эти мареммане», – бормотали некоторые себе под нос. А синьор Калаи с наслаждением вслушивался в удалявшиеся звуки: «*Elettrizza*»[251], – говорил он мне; но несколько стаканов пуншу успели уже наэлектризовать его достаточно.

Было совершенно темно, на всей улице всего два-три фонаря. Мы шли очень скоро. Вдруг проводник мой уткнулся носом в повпавшую нам навстречу стройную женщину. Карбонарская шляпа слетела с его головы, раздался гармонический звонкий смех. Он однако же скоро оправился и попробовал было вступить в любезный разговор.

«Пустите, пустите», – сказала красавица. И она быстро удалилась плавным шагом.

Синьор Калан посмотрел ей вслед, целуя пальцы. «Что прикажете делать», – заметил он, – «женщины – это слабость, Бог знает, скольких уже поколений рода Калан».

Оставалось осмотреть самую замечательную из вольтерранских замечательностей,

единственную прогрессирующую с каждым днем и грозящую заставить наконец молчать о Вольтерре и много говорить о себе.

Это так называемое *balze*, земляные обвалы под самым городом. Их много во всех почти концах города. Самые лучшие экземпляры – на северо-восточном угле Вольтерры, близ монастыря Санта Кьяры. Мы отправились туда.

По дороге пришлось проходить через площадь св. Августина – место, где Ферруччи с флорентийцами вломился в город.

– Сколько здесь ни разрывали землю, – говорил мой чичероне, – не в состоянии были найти ни одного целого копья или меча, а обломков да скелетов нашли столько, что если бы сложить в одну кучу – набралось бы выше может быть соборной колокольни.

– Куда же их дели, эти обломки и скелеты?

– Бросают куда попало. Не возиться же с такой дрянью; за них ни один англичанин шиллинга не даст.

– Может быть; но мне кажется было бы не бесполезно собрать их во дворце здешнего муничипио...

Долго шли мы вокруг городских стен по каменной, неровной дороге. По сторонам показалось множество горных ключей, очень живописного вида и с прекрасной, чистой, как расплавленный хрусталь, горной водой.

– Отчего же это в городе вода такая скверная? – спросил я чичероне.

– Дождевая – сюда за нею не ходят.

– Да ведь фонтан, при таком изобилии источников, не трудно устроить.

– Не трудно, конечно; но уж если г. Витти не сделает, так никто не сделает.

– Разве муниципальное правление так бедно, что даже фонтана устроить не может?

– Бедно оно, бедно, но уж не так... Только фонтана не сделает. Нужно, чтоб г. Витти, или хоть правительство, например...

Всем этим господам очень хочется, чтобы правительство, по отношению к ним, разыгрывало роль няньки.

Наконец мы пришли в огромный монастырь постройки XVI века, но с пристройками всевозможных веков. Это и была Санта Кьяра.

Мы прошли через пустую галерею и очутились у наружной двери. Я хотел было продол-

жать путешествие, но мой чичероне кричал неистово и наконец наивно дернул меня за фалды. Я остановился. У самой лестницы шел крутой обвал глубоко, глубоко вниз, сажень на триста.

– Это новое, – заметил мне чичероне, – несколько дней тому назад я был здесь и еще два человека в ряд могли бы прогуливаться свободно.

Обвал действительно был свежего, ярко-красного цвета. Итак земля осыпается мало-помалу с каждым днем. Теперь уже провалилось холма два-три порядочных размеров. Что это за странный геологический феномен – не объяснено еще до сих пор, но так как этрусские умы не считают достойными себя не иметь на всякий случай готовой уже теории, то и приписывают вольтерранские *balze* действию подземных вод. Так ли или иначе, где прошлого года еще была большая дорога, по которой ездили шестеркой запряженные тяжелые дилижансы, теперь – дикие скалы, успевшие уже порости мохом, и по ним с трудом пробираются горные козы, которые часто и пропадают там, врасплох застигнутые обва-

лом. Монахи Санта Кьяры, месяца полтора тому назад, вынуждены были оставить свой монастырь, стоивший порядочных денег вольтерранским набожным старухам... Теперь там нет ни души и даже прогулка в этих местах вовсе не безопасна. Теперь торопятся разломать этот монастырь, чтобы спасти по крайней мере материалы. Калан закупил уже у игумена все барельефы, медальоны и другие скульптурные украшения, в надежде богатых барышей.

А невидимый враг втихомолку подкапывается под самое основание города. Рано или поздно провалится наконец под землю эта душная столица покойников, засыпется наконец землей эта бог весть зачем отрытая и еще отрываемая могила, вместе со своим двуголовым Янусом, безголовыми археологами, сеньором Витти и его батальоном Надежды.

21 апреля 1862 года

Вольтерранские горы

Только выехав из Вольтерры, начинаешь дышать свежим, суровым горным воздухом. Дорога убийственная; полумертвая кля-

ча, едва перебирая ногами, тащила маленький экипаж с пригорка на пригорок. По сторонам горы не теряют нимало своего дикого характера; жилища бедны, жители бледны и худы; все они какие-то надорванные, придавленные на вид; – немудрено: столько лет над ними почти на воздухе висит Вольтерра со своей высокой башней *del Maschio*...

Под Вольтеррой замечается совершенно в обратном порядке то, что видим около всех других городов: чем дальше от нее отодвигаешься, тем больше встречаешь признаков жизни... Правда, очень бедной жизни.

Все мы знаем только городскую Италию с ее классическими достопримечательностями, с ее голодными пролетариями. Над участью этих последних сильно сокрушаются европейские филантропы. Она незавидна, конечно, но не она – последнее слово отжившего феодализма. В горах под Вольтеррой есть еще деревенский пролетариат – продукт совершенно местный. Да он, кажется, здесь только и мог породиться, благодаря особенно благоприятным ему условиям гражданской жизни и самой почвы. Страна эта самой природой

устроена для всякого рода угнетений. Едва наконец феодализм стал в Италии крайней нелепостью, то есть потерял возможность существовать, – тут появилось другое, новое, усовершенствованное и привилегированное... Новое впрочем оказалось в сущности старым: продолжали по-прежнему красть у труженика его последний ресурс – труд, всё то, что у него только можно было украсть. Мать-природа с своей стороны помогла конечно не слабейшему.

Мы до того привыкли встречать повсюду в сельском народонаселении какую-то хотя слабую тень самостоятельности, что мне поневоле дышалось как-то легче, едва исчезли из вида все эти пенитенциарные заведения, музеи и пр. Я открыто не хотел видеть предметы такими, какими, мне казалось, они бы должны были быть в действительности. Всё шло прекрасно, пока приходилось иметь дело с мертвой природой – она стояла себе молча и предоставляла мне полное право думать о себе всё, что мне было угодно. Но скоро, увы! я приехал в маленький городок Монте-Катини. Я называю его городком, потому что его

все так называют – в сущности это даже не деревня. Здесь живут несколько семейств работников, занимающихся раскапыванием медной руды, отстоящей мили полторы от городка, или как хотите его назовите. На этих заводах работают слишком 300 человек, но большая часть из них бобыли и квартируют под открытым небом, находя это несравненно более соответствующим со своими средствами.

Едва пришлось иметь дело с людьми, золотые мои мечты разлетелись как дым. Люди не умеют обманывать там, где это им невыгодно. Для того, чтобы мучиться голодом и сохранять при этом приличную важность лица, нужно быть испанцами, то есть добровольно наложить на себя это бремя. Нищета, отчаяние кладут на все человеческие лица совершенно особенный отпечаток, странно действующий на всех без исключения добродетельных буржуа. Какой-нибудь Мирес смело будет смотреть в глаза государственному прокурору, но он отвернется, едва увидит на дороге пролетария. А если нечаянно глаза его встретят этот неприятный предмет, он очень

дурно переварит свой обед или завтрак.

При первом взгляде на двух-трех рудокопов, спокойно стоявших у дверей единственной кофейни Монте-Катини, я понял, что не умер еще феодализм в горах под Вольтеррой. Зато он так замаскировался, что его узнать нельзя было.

Вместо феодального замка, на холме Капорчио стоит великолепное здание, крытое железом – большая редкость в Италии. Дымят колоссальные трубы, прогуливаются барыни в кринолинах и с ними любезничают воинственного вида сторожа, одетые в мундиры, похожие на немецких стрелков. И обладатели всего этого гг. Слен[252], Колль и комп. – все чистые британцы родом, чистые кодины по убеждению... Не судите, да не судимы будете. Они кодины на самом законном из законных оснований. В Леопольде оплакивают они утраченную с переворотом 59 года привилегии. Уехал он из дворца Питти и грозные тучи заходили на горизонте гг. Колля, Слена и комп. Начинают учреждаться ремесленные братства, начинает приближаться время *освобождения крепостных* и в западной Европе.

А у гг. Коля, Слена и комп, их много, и им есть о чем горевать. Понятно, что слово *крепостные* имеет в этом случае вовсе не славянофильское значение...

Меня повели прямо в контору, где встретил меня какой-то немец управляющий, с демократической бородкой, но очень аристократически приглаженный и расчесанный. Вероятно член какого-нибудь *K. K. privilegierte demokratische Bruderschaft*... Он прикомандировал ко мне какого-то толстенького старого приказчика-итальянца и этот пустился показывать мне все прелести фабрики.

Отлично вычищенные машины шумели и ворочались во все стороны; толпы запачканных работников всевозможных возрастов, бледные, худые, возились подле. Впоследствии я узнал, что самая большая плата им по 1 фр. 40 сайт, в сутки. А работают они 12 часов кряду – половина днем, половина ночью, и во всё это время им не дается даже и одного часу на обед и на отдых. А ведь руду копать, хотя и при помощи всевозможных машин английского изобретения и фабрик, дело не легкое. Зачем же идут они на эту тяжелую работу и

за такую умеренную плату? Ответ простой и ясный. Завод этот имеет привилегию от правительства. Страна слишком бедна всем, кроме минеральных произведений. На хлебопашество довольно и одной десятой доли всех здешних рабочих рук. Что же прикажете делать остальным? Они, как милостыни, просят быть принятыми на фабрику.

– Скажите пожалуйста, а где же льют медь, которую вы здесь добываете? – спросил я у немца, удостоившего меня своим сообществом на некоторую часть моей прогулки.

– У нас литейный завод есть подле Прато, – отвечал он величаво.

– Да ведь тут река (Чечина) под боком, а перевозка должна стоить вам очень дорого. Или воды здесь мало?

– Нет, воды довольно; но это фантазия владельцев копей. Возле Прато местность гораздо красивее здешней, так у них там свой дворец.

Признаюсь, сначала я сам не поверил этому, но потом, ознакомившись поближе с делом, я увидел очень хорошо, что, благодаря привилегии, гг. Слеи, Колль и комп, могут очень удобно бросать на такую фантазию

несколько сот тысяч франков в год. Жаль только, что местные жители вовсе не пользуются этой фантазией. Для того, чтобы перевозить руду на литейные заводы, нужны лошади, а лошадей нужно купить; на покупку же нужны деньги, а для того, чтобы иметь деньги, здесь нужны привилегии, или уже полное уничтожение их...

Я совершенно незнаком со способами добывания меди и не знаю, так ли добывают ее здесь, как и на наших екатеринбургских рудокопнях. А потому расскажу всё, что я видел в Монте-Катини, тем более, что оно, мне кажется, не лишено некоторого интереса.

Сначала о том, что над землею. Во-первых большой, крытый сарай, в нем паровая машина в 25 лошадиных сил, которая приводит в движение два громадных ящика, устроенные так, что когда один опускается, другой поднимается. Опускаются они в колоссальный колодезь метров 300 глубиною. Там работники насыпают в них руду и пр. Вытащенная таким образом медная руда толчется другой паровой машиной, потом перемывается и в таком виде отправляется на литейный завод.

Самая трудная работа – выкапывание руды, она достается живым работникам...

В горе устроен вход в подземелье. При входе великолепные сени. В окнах бюсты тосканских великих герцогов с приличными надписями, выражающими благодарность обладателей рудокопни к своим благодетелям. В темном уголке тоже мраморный бюст господина с высоким лбом и громадными губами.

– Это кто? – спросил я своего жирного провожатого.

– Это г. Лепорт! – отвечал он мне, – первый, начавший разработку здесь медной руды. Он обанкротился и наши скупили ее у него.

Это постоянная история: все, начинавшие разработку медной руды, обанкрочиваются. Ее у него скупают другие – и разживаются. Причина понятна: для того, чтобы добраться до жилы, нужны громадные подземные работы, стоящие больших денег. Притом очень много работы теряется даром, так как жила местами бывает в палец толщиной и очень плохого притом содержания. Определить толщину ее в данном месте можно только, добравшись уже до нее. Идет она везде под уг-

лом 45° к горизонту и лежит между двух пластов известкового шпата, из которых нижний – габбр, красный, а верхний зеленый и называется серпентин. Лучшие куски серпентина составляют малахит, которого в Монте-Катине нет вовсе, то есть и есть, но в очень малом количестве и в мелком виде. Зато тут между габбром нашли камень тоже известкового свойства и очень похожий на малахит, только красный. Камень этот назвали капорчьянит, по имени холма, на котором построена фабрика.

Прежде чем спустаться в подземелье, мы перерядились в черные блузы, такие же панталоны и невероятной ширины пояса из черной же кожи. К поясам прикрепили фонари и отправились по деревянным крутым лестницам. Много ступеней пришлось пересчитать, пока мы очутились в узком коридоре, идущем горизонтально. Слышался шум воды и рабочих ломов. Мы шли по узкой дорожке, по доске, по обеим ее сторонам лежали железные рельсы. Таким образом добрались наконец до довольно просторной подземной залы. Тут было светло. Несколько че-

ловек без рубашек колотили ломами в земляные стены. Посредине был колодезь, о котором я уже говорил. Отсюда идут галереи во все стороны и постоянно делаются новые, следя за жилой руды. Рельсы устроены для того, чтобы по ним катить вагоны, нагруженные рудой. Всю ее бросают в колодезь, а оттуда вытаскивает уже машина. Один человек таким образом тащит около 5000 итальянских фунтов, из которых каждый равняется $\frac{2}{3}$ нашего. Это первый этаж. Таких еще 4, каждый по 50 метров глубиной. Этажи все совершенно похожи один на другой; разница только в температуре – чем дальше вниз, тем она становится всё более возвышенной. В 3-м она доходит до температуры русской бани. Я задыхался и решительно отказался идти дальше, где, говорят, еще душнее. У меня начинала кружиться голова; сверху и со стен с однообразным шумом падали тяжелые густые капли. А несколько сот рабочих проводят 12 часов сряду в этом аду, не зная ни праздников, ни отдыхов. В одном из подземных этажей есть великолепная часовня в честь св. Варвары, покровительницы рудников. После

этого понятно, отчего в Вольтерранской пени-тенциарной тюрьме, несмотря на малочисленность тамошнего населения, такое большое количество заключенных. Для работников Монте-Катини может показаться раем пребывание там[253].

В гарибальдийском войске я знал одного монтекатинского рудокопа, отличавшегося геркулесовской силой и отчаянно мрачным настроением духа. Его знали почти все по имени, и немудрено: он отличался действительно дьявольским долготерпением. Вдвоем с каким-то глухим геркулесом он отстаивал около 20 дней на передовом посту на С. Анджело, тогда как на всех остальных часовые менялись 4 раза в сутки. Утомонила его наконец какая-то шальная пуля 1-го октября. Я заговорил о нем с некоторыми из рабочих и это послужило мне хорошей рекомендацией. Они однако же видимо стеснялись говорить при моем провожатом. По счастью, какой-то худощавый детина лет 22, с необычайно развитыми мускулами, отозвал его под каким-то предлогом.

«*Se non vi dispiace*»[254], – вежливо обратил-

ся ко мне жирный приказчик, обнажая свою лысину, на которую тут же упала капля жидкой грязи. Я со всевозможной искренностью отвечал ему, что мне это будет очень приятно.

– Да что, – спросил я работников, когда он исчез за каким-то поворотом, – разве из ваших только один Беппо был с Гарибальди?

– Нет, были еще двое, только сюда их потом не приняли.

– Отчего же?

– Да кто их знает – видно, хозяева не захотели.

– Куда они потом делись?

– А кто их знает, сперва пошли в город к префекту, тот для них ничего не сделал. Они к синьору Америго. Кавалер Америго – знаете – которому король орден дал – так они к нему отправились. Он им пообещался.

– Ну что же?

– Да ничего. Так они потом и ушли из Вольтерры. Больше ничего не знаем, что с ними сделалось.

– Так значит только трое всех и было?

– Трое и было только. Много хотели уйти,

только те как ушли, так сейчас же объявили всем нам, что кто вздумает идти, так уже и не возвращался бы значит... не хотели.

В это время один тихонько толкнул локтем говорившего:

– Идет! – сказал он ему вполголоса. «*Maledetto*»[255], – пробормотал этот неистово, ударивши ломом по выдававшемуся куску руды. И огромный обломок полетел на землю с глухим гулом.

Приказчик подошел ко мне и стал извиняться.

– Вы представить себе не можете, что это за плут народ. Выдается им порох для того, чтобы взрывать, где понадобится, землю – они и тот в городе продают. Прежде так им и масло выдавалось – можете вообразить себе, как они его отделявали. Я уж настоял на том, что им теперь деньгами выдают, и они покупай его, как знают. И с порохом тоже нужно будет сделать.

Затем он принялся искать образчиков различных качеств руды и посвящать меня в некоторые из тайн выработки.

– Нет, не нужно, – заметил я ему, – мне уже

рассказали всё то, что меня интересовало. Тут же духота такая, что я боюсь задохнуться; пойдёмте-ка подобра-поздорову на свет Божий.

И мы стали мало-помалу взбираться наверх, что было вовсе не так легко, как опустаться. На возвратном пути темные сени показались мне лучезарными и я даже мог прочесть латинскую надпись над самыми дверями подземелья: «Господи! В руки Твоя предаю дух мой». Владетели руды, я думаю, читают ее, отправляясь туда, а не возвращаясь.

Дорога шла почти постоянно опускаясь, за что я должен был быть ей очень благодарен, так как проклятая клячонка останавливалась буквально каждый раз, когда приходилось подыматься на какой-нибудь пригорок.

По сторонам были все те же голые горы, без признаков растительности; только уже приближаясь к казенным соляным заводам, милях в 15-ти от Монте-Катини, стали попадаться деревья и тощие нивы.

Мой проводник уговорился везти меня из Монте-Катини прямо в Помаранче, то есть миль 25 одной упряжкой; но по мере того, как

мы приближались к соляным заводам, он всё неотступно приставал ко мне, чтобы я осмотрел это «великолепное заведение». Я был вовсе не прочь от этого – не то, чтобы ожидал найти там что-нибудь интересное, но торопиться было некуда, и мне порядочно уже надоело колесить в полдневный жар по каменной, неровной дороге. Я однако же показывал вид, что никак не поддамся, собственно для того, чтобы послушать еще красноречивые убеждения вольтерринца.

– Сюда все форестьеры ездят, – говорил он мне, – ей-богу ездят, нарочно из Ливорно затем сюда приезжают. А вы вот мимо едете и не хотите остановиться на полчаса.

– Понимаю – лошадь не повезет дальше – я ведь это еще в Вольтерре говорил.

– Эх вы! Я для вас же говорю. Хочу, просто, чтоб вы не даром проехались. Лошадь не довезет! Вот что еще вздумали. Да она такие что ли прогулки делает. Я на ней еще несколько дней тому назад двух форестьеров-неаполитанцев что ли, или англичан, кажется... не знаю, только мудрено очень говорят... так я их из Лагони в Массу возил. Там, скажу я вам,

дорога – ужас... Ни одного спуска. Гора пре-
крутая... – Вольтерринец заметно воодушев-
лялся, – вот всё равно, что на стену... 28 миль,
и моя лошадь всю дорогу...

Но тут случился маленький бугорок, ло-
шадь стала. Вольтерринец пришел в ярость;
это однако же помогло не много. Пришлось
вылезать, и вольтерринец не закончил своей
восторженной речи.

Волей или неволей пришлось остановиться
на соляных заводах. Что собственно ездят
смотреть туда форестьеры – неизвестно. Вы-
делка соли из соляных источников слишком
проста и неинтересна. Заводы эти принадле-
жат казне: в Италии, как известно, откуп – и
на соль, которого условия впрочем значи-
тельно изменены пьемонтским правитель-
ством. Зато администрация очень сложна, ра-
ботники ходят не без рубашек, как в Мон-
те-Катини, а в мундирах. Жаль, что их очень
мало. Зато, правда, очень много чиновников с
кокардами и без кокард, с шевронами и без
шевронов.

Против фабрики дворец, принадлежащий
какому-то курносому инвалиду. Прежде он

принадлежал официально Леопольду, теперь Виктору-Эммануилу. Но это официальная ложь. Настоящий его владелец курносый инвалид, по имени Кекко Пиччини, который живет в нем один со своими шевронами и с полудюжиной кошек, за что официальные владельцы платят ему очень умеренную сумму ежемесячно.

Но истинное божество здешних мест, которому поклоняются все извозчики, приезжающие сюда забирать соль из всех окрестных городов, живет не во дворце, не в храме, а в грязной остерии, в которой, за дорогую плату, можно получить и грязную постель, с правом предавать в ней на съедение известного рода хищным животным свое тело в течение нескольких ночей сряду, но для этого, кроме денег, необходимо еще благоволение хозяина.

Хозяин этот – мальчишка лет 18, с заплывшим от сна и лени лицом и опухшими глазами. Он величаво, ленивым шагом расхаживает по своим владениям, не ломая ни перед кем своей мягкой фуражки в форме блина. А перед ним спешат снимать свои широкополые шляпы гордые и красивые мареммане,

толпящиеся в большом количестве у его дверей и в грязных залах нижнего этажа. Чем объяснить себе подобное уважение в них к человеку, который ими только и держится – признаюсь, я никак не мог догадаться. Или это уже врожденное каждому пролетарию, стремящемуся стать собственником, уважение к тому, кто опередил его на этой дороге? Может быть и то, что остерия эта, несмотря на большое стечение народу, единственное на расстоянии каких-нибудь 15 кв. миль место, где можно достать вина, колбасы и хлеба.

Я уместился в темной зале за куском жареной баранины. Хозяин уселся против меня и начал со мною разговор, – что сразу поставило меня очень высоко в глазах сидевших подле работников.

– Вы зачем сюда приехали? – спросил меня хозяин таким голосом, каким австрийские комиссары задают подобный же вопрос подзирательным форестьерам.

– Да разве сюда запрещено ездить?

– Запрещено – нет: кто запретит? Только я хотел знать, зачем сюда ездят.

– Ездят в сущности незачем.

– Добро вы были бы англичанин. Да вы может быть англичанин и есть, – заметил он, успокоившись этим предположением. – Я вот только понять не могу, как это только людям охота бывает ездить, – заметил он, зевая во всю пасть...

– Вы, синьор Антонио, я думаю, за 20 лир отсюда в Помаранче бы не поехали, – заметил заискивающим и веселым тоном молодой маремманец извозчик, очевидно, желавший вмешаться в разговор... Только ему и не отвечали...

Вошел мой ветурин.

– Ну, я уж осмотрел здесь все: теперь можно бы и в дорогу.

– Можно, можно... Только уж бы надо подождать полчасика... Знаете, лошадь ведь хуже всего утомляется маленьким отдыхом... Мы вот из Монте-Катини сюда приехали. Это что!.. Она не такие дороги делает... А вот тут мы уже стоим полчаса, я с нее и хомут снял... так она, знаете...

Ветурин не находился дальше, и потому налил себе без церемоний стакан вина...

«*Viva l'Italia*» – провозгласил он, выпивая за

одним духом.

«*Viva! Viva!*» – подхватили мареммане и стаканы застучали...

За соляными заводами местность идет всё понижаясь, пока наконец мы добрались до маленькой речонки Чечины, которую для краткости не означают в географических картах, хотя в сущности это очень замечательная речка. Омываемая ею местность также мало известна в Европе, как, например, степи внутренней Африки, и подобные пробелы в Италии редкость. Место это стоит однако же того, чтоб его знали. Во-первых потому, что это непочатый еще край, настолько же, как наша Восточная Сибирь, и кроме того очень богатый всякого рода минералогическими произведениями... На очень небольшом пространстве земли находится в большом количестве медь, каменный уголь, сера, соль, озера боровой кислоты (окись бора), есть железо, минеральные воды и металлургическое общество для разработки золота и серебра; только золота и серебра до сих пор еще не отыскали. Пока в гористых городах занимались археологией и учеными спорами об этрусских древно-

стях, несколько иностранных рыцарей промышленности, явившихся сюда по большей части с котомками на плечах, воспользовались на досуге богатством их края, легко выхлопотали себе привилегии, с большим успехом стали продолжать деятельность феодалных баронов... Конечно, они не успели исчерпать все ресурсы, на это прежде всего нужно чересчур много денег – но от этого не легче. Народ мер с голоду, вынужденный принимать работу от них на таких условиях, на каких они дают ему... наплыв мареммских горцев грозит поминутно отнять у них и эти средства к существованию... Городские патриоты учреждают батальон Надежды и надеются таким образом подготовить для будущего поколения войско, стоящее французских звуков.

Перебравшись через Чечину, пришлось опять подыматься, т. е. всю дорогу идти пешком. Здешние горы еще диче Вольтерранских, хотя местами покрыты великолепным строевым лесом, который без сожаления рубится на топливо, тогда как на каждом шагу, в каждой кочке видны куски минерального угля.

Вершины гор какой-то острой конической формы, и на каждой из них видны развалины старинных замков, *Lassa Cullarla*, и пропасть всяких других, которых имена я не запомнил...

Потая и спотыкаясь, словно читая Шевырева, взобрался я наконец на довольно высокий холм, где стоит несколько домов, какое-то присутственное место, церковь, табачная лавка и 2–3 кабака; – это Помаранче... Ветурина с лошадью остались далеко позади... В ожидании их я наслаждался видом действительно великолепной местности, а всё народонаселение города – моим видом. Я не знаю, что пробуждало в них это зрелище, но в новом виде этих гор, этих бедных избушек, которых стены даже испещрены патриотическими надписями, – всё вызывало очень тяжелые размышления, которыми я вовсе не намерен делиться с публикой.

Далеко внизу, где вся почва красного, хотя желтого цвета, клубом шел густой, серый дым – это *лагони*[256] Монте-Чербола. Всё вместе составляло адскую трущобу, которой стенами были круглые и дикие своды.

Lagoni

Из Помаранче мне выпала на долю ухарская лошаденка маремской породы. Дорога опять стала спускаться; по краям были то пропасти, то громадные скалы. Признаков жилья никаких. Только деревянные распятыя мелькали перед глазами. Чем ниже мы спускались, тем сильнее в воздухе воняло сернистыми газами. Камни трещали под колесами... голова кружилась от скорой езды. Наконец барочино остановился у какого-то неизвестно откуда взявшегося домика с надписью «*Dispensa*». Какой-то приземистый господин, в фуражке национального гвардейца, очень любезно приглашал меня войти. Я вылез из барочино; оглянулся вокруг, за домом оказалась улица, за улицей целая площадь... одним словом, целый город... А город этот был не что иное, как Лардерелло, столица Лагони... Мне предстояло избрать его своей резиденцией на несколько дней, так как он лежит в самом центре очень интересной местности, с которой мне хотелось ознакомиться...

Гостиницы в Лардерелло нет «ни всякого подобия». *Dispensa* (раздача, буфет), куда меня

высадил ветурин, был род колбасной лавки, где продавались всякого рода съестные припасы рабочим, составляющим всё народонаселение города.

– Можно здесь достать постель ночи на две на три? – спросил я рыжебородого хозяина.

Он зачесал в затылке.

– Я уступлю синьору свою, братец, – мягко заметил чахоточный человек в фуражке национальной гвардии.

– Нет, что вы, братец, выдумали. Зачем это? – важно возразил рыжебородый братец, – я лучше положу его в постель Беппоньи. – И между ними завязался великодушный спор.

– Впрочем, об этом мы поговорим после. Пока не беспокойте ни синьора Беппоньи, ни вашего братца. Мне нужно будет сходить еще сегодня в *Bagni a Morbo* и вы потрудитесь только указать мне туда дорогу и как найти там синьора Джироламо Мартини.

– Синьора Мартини... да его нельзя не найти в *Bagni al Morbo*. Вы прямо как придете туда, то спросите синьора Джироламо Мартини, – заметил мне чахоточный братец. – Впрочем нет... вы не спрашивайте; синьора Жи-

роламо Мартини в *Bagni al Morbo* спрашивать не нужно. Коли кого встретите – это значит он и есть, синьор Джироламо Мартини. Там другого никого нет, как только синьор Джироламо Мартини.

– А сколько отсюда до *Bagni al Morbo*?

– Дав три четверти часа придете, если возьмете короткую дорогу.

Времени еще было довольно, и я отправился осматривать Лардерелло, прежде чем идти к синьору Джироламо Мартини – тоже одной и едва ли не главной достопримечательности этих мест. В 49 году, когда горы эти были наводнены бежавшими из Рима патриотами, Мартини спас для Италии более сотни ее граждан, в том числе и Гарибальди – заслуга не малая. Во всё время реставрации, тосканское правительство сильно косилось на бедного Мартини, но тронуть его не решилось, так как за сэра Джироламо готова была восстать вся горная Маремма. По профессии, он – просто управляющий двумя маленькими заведениями минеральных ванн (*Morbo* и *Perla*), принадлежащими, как и все заведения этой части Италии, – иностранцу, французу Ламот-

ту. Впрочем, прежде чем о Мартини – о Лардерелло.

Во всем этом маленьком городке, каждый камень, каждая вывеска дышат казенным великолепием. Улицы, коротенькие, но широкие, все с приличными кодинскими названиями: *Strada Leopolda*, *Maria Antonietta* и проч.

Городок этот построен стариком французом Лардерелем (теперь граф Монте-Черболи) [257]. В начале двадцатых годов настоящего столетия, он явился сюда с котомкой за плечами, продавая всякого рода мануфактурные изделия своего отечества здешним крестьянам. В то время химик Гверрацци [258] успел уже исследовать свойства лагун Монте-Черболи и совершенно готов был приступить к выработке из них боровой кислоты, на что даже получил привилегию. Он пробовал затеять общество на акциях, но и то не удалось. Лардерель тем временем успел внушить своему соотечественнику, Ламотту, с давних пор поселившемуся в Тоскане и обладавшему порядочным капиталом, соединиться с ним пополам в это предприятие. Таким образом они устроили братский союз, принося каждый

дань, сообразную своим средствам: Ламотт – деньги, Лардерель – труд и свои спекулятивные способности. Гверрацци с охотой продал им свою привилегию. Работа закипела, и через несколько лет – Ламотт остался почти без гроша. Пришлось продать с молотка заведение Монте-Черболи. Покупщики не находились, и Лардерель, желая вероятно одолжить своего товарища, скупил у него все фабрики и заводы, на деньги, посланные ему вероятно с неба на такое великое предприятие. Дела приняли совершенно другой оборот. Лардерель, став единственным обладателем заводов, упростил значительно производство, заменив топливо самую жидкостью, заключающейся в лагунах и поддерживающейся постоянно подземными вулканами в температуре выше кипения воды.

Через несколько лет Лардерель скупил другие лагуны, находящиеся в расстоянии нескольких десятков миль, и скупил их очень дешево, потому что кроме его, благодаря привилегии, никто не мог разрабатывать эту драгоценную и вонючую вместе с тем жидкость. В нескольких милях от Монте-Черболи он по-

строил себе великолепный дворец, ставший скоро центром маленького городка, построенного им же для работников, и называемого по его имени – Лардерелло. За все такие великие заслуги отечеству, Лардереля сделали графом, а прежний товарищ его Ламотт, воспользовавшийся очень незначительным оставшимся у него капиталом, устроил по соседству заведение минеральных вод, с которых получает теперь порядочные доходы.

Заслуга Лардереля впрочем немаловажная: благодаря ему, эти места, бывшие пустыней несколько лет тому назад, теперь начинают оживляться. Добиться этого ему было нелегко. Рабочие руки находились слишком трудно, и ему приходилось переселять туда работников из соседней Мареммы. Заставить переселиться горных жителей – дело нелегкое. К тому же работа на лагунах, сама по себе вовсе не тяжелая, но губящая здоровье людей, была делом совершенно новым – за нее принимались очень неохотно; на *Lagoni* с давних пор привыкли смотреть как на пугало. Лардерель должен был всевозможными способами заискивать у работников, предлагать им все-

возможные льготы и удобства, что конечно стало ему недешево. Кончил он тем, что устроил великолепный городок в казенном стиле, снабдил его всем нужным, устроил в нем театр для любителей [259], мастерские для портных и сапожников с мраморными вывесками. Он льстил их патриотическим наклонностям, и сын его славился за *italianissimo* [260] во всей Тоскане. Некоторые из мареманских бобылей прельстились этими приманками; многие, воспользовавшись обстоятельствами, завелись хозяйюшками. Лардерелло скоро заселился. Этому много еще помогло и то, что в то время, когда холера свирепствовала везде в окрестности, в Лардерелло ее не было, и жители спокойно умирали от грудных болезней.

Старый граф умер и Лардерелло перешло во владение сына *italianissimo*. До 49 года и он продолжал ту же тактику. С новой реставрацией всё изменилось... Работники успели уже осесть в Лардерелло и на новое переселение решились бы нелегко; кроме того, все почти окрестные жители, словно скомпрометированные, были совершенно в руках Ларде-

реля, которому многие из них доверились. Кончилось дело тем, что сынок должен был уехать из своих владений и большую часть своей жизни проводит в Париже, принимая довольно деятельное участие в некоторого рода экспедициях... Имена улиц, перекрещенных после 49 года, остаются и теперь по-прежнему, и бюст Леопольда на высокой колонне красуется на площади против самого дворца *italianissimo*...

Осмотрев все прелести этого городка, я отправился по дороге, которую указал мне чахоточный братец. Серный запах душил меня всё больше и больше. Приходилось проходить возле самых *лагони*. Там, в густом дыму, возились какие-то фигуры, казавшиеся фантастическими, благодаря обстановке. Дорога была узенькая и грязная, несмотря на то, что дождей не было уже давно. Местами приходилось проходить по узенькой доске, положенной на почве, казавшейся мне твердой, так что я совершенно не понимал этой предосторожности. Наскучив наконец осторожно ступать по грязной перекладине, я сошел с нее, но едва сделал несколько шагов, как услышал

отчаянный крик. Оглянулся: вижу, тот же братец в фуражке национальной гвардии бежит за мной, отчаянно крича и ломая руки. Я остановился.

– Это что вы вздумали? – кричал он мне, задыхаясь, – идите по доске и ни шагу с нее не сходите, где нет доски – пробирайтесь по проложенному следу.

– Да ведь тут почва, слава Богу, крепкая, и посмотрите зелень какая славная.

– Ни-и. Это так кажется только.

«Братец» объяснил в чем дело. Лагоны не всё в виде озер или ям. Их множество видов, а главное, что почти каждый день появляются новые там, где их всего менее ждали. Местами почва кажется совершенно гладкой и твердой и из нее идет только густой дым – это называется *fumacchi*. Местами огромные пространства едкой и горячей густой грязи, в которой словно черви огромной формы вечно ворочаются – это *bullicati*. Самое же опасное – совершенно зеленые, и даже особенно ярко зеленые, словно холмики. Над ними нет ни дыму, ничего. Но достаточно ступить на них, чтобы задохнуться, в особенности для ма-

леньких животных, коз и т. п., которых привлекает туда особенно свежий вид зелени на этих местах, называемых в простонародье *putezze*; из них не выделяют боровой кислоты, а только серу в очень большом количестве. Это единственное производство в здешних местах, которое не забрал в свои руки Лардерель.

Все эти подробности сообщил мне чахоточный Пьеро, навязавшийся непременно быть моим проводником.

– Нет, я не пущу вас одного, – говорил он, – как можно. Вы здесь как раз попадетесь куда-нибудь. Это такое место, что здесь нужно ходить умеючи. Как можно!.. Вы рекомендованы синьору Джироламо, а я пущу вас бродить одного по лагунам, да к тому же еще под вечер. Я всё равно ничего не делаю, да мне к тому же нужно повидаться с *синьор Джироламо* по очень важному делу.

С новым проводником пришлось идти очень тихо; я впрочем не жалел об этом, потому что он неумоимо рассказывал мне, хотя и задыхающимся голосом, всевозможные подробности о житье-бытье этих интересных

мест. Между тем нас догнали несколько человек работников, шедших скорым шагом из Лардерелло в *Bagni al Morbo*. Разойтись было дело нелегкое и они пошли несколько тише, гуськом, вслед за нами.

Пьеро рассказал им между тем, будто бы по секрету, кому, кем и как я рекомендован. Работники остались совершенно довольны и дружески прокричали мне сзади свое обычное приветствие: *Viva Lei!*[261] Разговор скоро стал общим. Из него я узнал, что они шли в *Bagni al Morbo* «весело провести вечер», т. е. погулять в саду, поиграть на бильярде, который отдается в полное распоряжение синьора Джироламо на всё то время, когда у него нет купающихся, т. е. на 10 месяцев в году. «В Лардерелло мы мрем со скуки, со всеми их прекрасными заведениями», – говорили они.

Однако они не только для того, чтобы поиграть в бильярд, отправляются в *Bagni al Morbo*. Синьор Джироламо здесь – представитель совершенно особенной власти, которую не поручало ему ни одно из существовавших в Италии правительств, которой сам он не до-

бивался. «Не будь тут синьора Джироламо, да еще кавалера Серафини мы бы лучше с голоду померли, чем оставаться в Лардерелло», – говорят здешние работники, и говорят при том не в глаза им и не тем только, которые могут передать их слова сэру Джироламо. Впрочем, из-за чего бы они стали льстить ему – он их не благодетельствует, потому что сам беднее большей части их.

В виде маленького примечания прибавлю, что тосканская Маремма с давних пор славится своим итальянским духом, что в 49 году почти одни здешние горцы составляли всё войско, дравшееся под Куртатоне[262] и что здесь составлялась довольно сильная колонна из работников, намеревавшаяся идти в Рим на поддержку мацциниевского триумvirата [263]. В окрестности нет почти ни одного контадина, который бы не оказал Гарибальди какой-нибудь важной услуги в то время, когда он провел здесь несколько тяжелых дней, только что потеряв свою жену и преследуемый повсюду австрийцами.

Мы застали синьора Джироламо в его маленьком рабочем кабинете в нижнем этаже

заведения. Это был бодрый старик, лет 70, слишком высокий и коренастый. Густые седые его волосы были острижены под гребенку; в лице какая-то странная, но вовсе не неприятная смесь простодушной доброты и иронии.

Все его обращение напоминает наших старосветских помещиков, только несколько благовоспитаннее. Он принял меня со всевозможным добродушием, работников тоже, но те подходили к нему с некоторым уважением, но безо всякого подобострастия и не снимали шляп с головы.

На ночь я остался у синьора Джироламо – и он отвел мне ту же самую постель, на которой 13 лет тому назад Гарибальди, измученный всевозможными несчастьями и физической усталостью, отдохнул на несколько часов среди людей, очень горячо ему преданных. Это заметил мне сам хозяин, отведя меня в маленькую, но чисто и довольно роскошно убранную спальню. Комната эта впрочем – одна из предназначенных для купальщиков. Сам синьор Джироламо живет в другой, убранной несравненно проще и беднее.

Я пошел спать довольно поздно, несмотря на то, что рано встал и много ходил в этот день. Весь вечер просидел я вдвоем с моим хозяином, который между прочим с приметным удовольствием рассказал мне со всевозможными подробностями свою достопамятную историю 49 года. Бедному старику не часто достается это невинное удовольствие.

Я не помню с точностью всех его выражений, а под простоту подобных рассказчиков нелегко подделаться.

– Это было как раз в ночь с последнего августа на 1-е сентября. Купающихся этот год у нас было немного. Время, знаете, такое, что не о купаньи думали – хе-хе! Там одна комната наверху – я вам ее покажу после, да тут еще одна большая – я ее приготовил теперь для хозяина, мосье Ламотта – он завтра утром должен приехать. Так вот эти две комнаты оставались у меня свободными. Я уже спал. Я, знаете, по старому в 10 часов привык на боковую. Приходят, будят меня, говорят, что два форестьера меня спрашивают. «Где они?» спрашиваю. «Тут, говорят, у подъезда дожидаются». Я поскорее оделся – накинул поскорее,

что попало – и выхожу. Под воротами там знаете... Прямо наткнулся на кого-то. «Вы, спрашивают, г. Мартини?». «Я, говорю, к вашим услугам». «У меня к вам письмо». И подаёт мне письмо. «Извините, говорю, потрудитесь обождать здесь». А сам пошел читать письмо. Пишет мне из Прато старый товарищ. Пишет просто: «Посылаю тебе двух моих знакомых.

Постарайся сделать для них всё, о чем они тебя попросят». Я пошел к ним, не будил никого, сам взял маленький фонарь. Привожу их сюда, в кабинет. Прошу садиться, спрашиваю, чем могу быть им полезен. «Мы к морю хотим пробраться», говорит один. Я тотчас смекнул, в чем дело. «Извините, говорю, господа, не из любопытства. Вы вероятно скомпрометированы?» Тот, что сидел против меня, вот как вы теперь, на этом самом месте, говорит: «Я Гарибальди». Как сказал мне, я... – и добрый старик в лицах выразил самое полное остолбенение.

«*Affare serio*»[264], говорю. Но ничего, попробуем. Прежде всего, говорю, нужно проводить извозчика, который вас привез. «Да по-

пробуйте, говорит мне генерал, уговорить его, не довезет ли он нас до Массы. Я его всю дорогу убеждал – не соглашается». И прекрасно, говорю: как же можно таким людям довериться в вашем положении. Добро бы они мареммане были... А этот, знаете, был из Прато. «Нет», говорю я: «уж вы позвольте мне его отпустить, я как-нибудь лучше устрою». В таком случае, говорит генерал, отдайте ему эти деньги. И достает из кошелька *5 наполеондоров*.

Я в ужас пришел: «Генерал!» говорю: «извините... Если вы так будете платить, вас схватят сейчас же. Откуда привез вас этот ветурин?»

– Из Подробаньи.

– И за это 100 фр.?

– Да он запросил 120 и меньше 100 никак не хотел. Что же прикажете делать!

Я пошел за ворота к извозчику. «Что ты», – говорю – «братец, глупости наделал. Привез ко мне вовсе не купальщиков. Это англичане какие-то, ездят лес покупать, и т. п. ко мне завез. Хочешь везти сейчас в Массу?» Это, знаете, я всё из хитрости, – и старик усмехнулся,

довольный своей изобретательностью. Извозчик, конечно, не согласился. «Ну, говорит, и прекрасно». – Я отправлю их на своей лошади. По крайней мере, мой Кокко заработает что-нибудь. Отдал ему сто франков, выругал и прогнал.

«Возвращаюсь в залу, а генерал выложил на стол большую географическую карту и показывает мне на ней пальцем самый берег моря, недалеко от Серебряной горы:

– Эх, – говорит, – добраться бы мне туда, да найти бы там доску футов в 5 длиною – я бы был счастливейший человек в мире.

Жалко мне его стало:

– Ничего, – говорю, – генерал, как-нибудь устроим... Только знаете – тут не для вас место, позвольте я вас отведу, где вернее будет.

Повел я их наверх. Спрашиваю, не нужно ли чего, поужинать что ли. Генерал ото всего отказался, попросил только воды стакан.

Я оставил их. Отправился хлопотать. Дело было не шутка. У меня, как назло, лошади не было в этот день: хозяин уехал на ней в Вольтерру. Решительно просто не знал, что только и делать.

А нужно вам сказать, что в тот самый вечер был у меня доктор из Лардерелло. Говорили мы, знаете, о тех бедных, что бегут... Мы за несколько дней перед тем Маццони (один из тосканских триумвиров)[265] отправили... Вот он, знаете, с таким воодушевлением говорил: «Жизни бы, говорит, не пожалел, чтобы спасти кого из них». А у него лошадка была славная. Я оделся да впопыхах к нему. Спит – разбудил. Так и так, говорю. Он обомлел. «Нет», – говорит – «я человек семейный, не могу собой рисковать, да и вам, говорит, синьор Джироламо, не советую».

«Эка штука», – думаю – «пойди же угадай, ведь сегодня еще так горячо говорил». Ну, что прикажете делать? Насилу выпросил я у него лошадь, чтобы самому в Сан-Далмаци – 8 миль отсюда – к синьору Камилло Серафини – поехать. Дал он мне ее. Вскочил я на нее и поскакал. Чуть не загнал бедное животное. Прискакал. Ну, синьор Камилло заложил барочино и поскакали мы назад... Не лошадь – ветер. Приезжаем, еще светать не начало. Я к ним в комнату. Генерал мой бедный завалился одетый совсем на кровать. Кое-как его растолкал.

Другого – секретарь его, что ли – труднее было разбудить... Усадил их кое-как в барочино синьора Камилло – они и уехали.

«Лег я спать, да куда – не спится. Наутро рано послал я верного человека в Массу, чтоб дали знать, кому нужно – готово, чтобы всё было. Достал себе барочино. Только что стемнело – выехал. За милю отсюда встречаю синьора Камилло с нашими двумя беглецами. Он, знаете, опередил меня. Тут обыкновенно 5 часов езды, а мы в 3 обделали. Миля за полторы от Массы встретили мы кого было нужно. Вылезли и пошли, а лошадей приказали отвести в город. Пока лесом шли, знаете, отлично было. Ночь темная – ни зги не видно.

Только потом пришлось выходить на полянку. Ну оно, знаете, опасно. Вот мы и послали всех наших – человек пятнадцать, всё лихих маремман с ружьями – вперед, чтобы осмотрели, нет ли чего и чтобы ждали у опушки, перейдя уже полянку, на той стороне; понимаете, тоже лес был. Они пошли, и синьор Камилло с ними, и другой-то, что был с Гарибальди. А мы с генералом вдвоем остались. Подождали немного и тоже пошли. Вы-

шли мы только что на полянку, вдруг генерал остановился, схватил меня за руку и показывает вперед, и стал я вглядываться. Вижу, толпа перед нами. Что делать? Я бросил ружье, махнул генералу рукой, чтобы шел обратно в лес. А сам иду себе вперед, будто, знаете, дорогу ищу. И вижу впереди идет несколько человек, и будто вооруженные. Только что были мы уже на близком расстоянии друг от друга, генерал, откуда ни возьмись, выскочил и уже впереди меня. Я обомлел. Только – хе, хе, хе... оказался напрасный страх. Это были наши. Они, изволите видеть, стояли у опушки, спрятавшись за кусты, как вдруг услышали, что возле по дороге отряд карабинеров проехал. Они, знаете, подумали, чтобы не случилось чего, да и побежали к нам. Лихой народ эти маремманы. Только, знаете, всё это было во все не в порядке и перепугали же они нас не на шутку.

Гарибальди сдали с рук на руки мареммским крестьянам, те провожали его, передавая один другому. К морю пробраться было нелегко, потому что все дороги заняты были жандармами и австрийскими отрядами. Бед-

ному беглецу пришлось пропутешествовать порядочно, и как наконец он спасся, благодаря Гвельфо Гвельфи – я рассказал в другом месте.

Леон Бранди

Сиена, 23 апреля, 1862 г.[266]

Письма о тосканских Мареммах[267]

Слово *Maremma* равно означает и болотное место, и длинную низменную полосу земли на берегу моря. Кроме того, в Тоскане под общим именем *Maremma* известна целая страна, богатая и очень интересная во многих отношениях, идущая вдоль берега Средиземного моря, на юге от устьев Арно или от Ливорно до римской границы и до высших точек западного склона Апеннин с другой стороны. Официально Маремма не признается ни провинцией, ни округом. Тосканцы же делят ее на три части, очень различные одна от другой по характеру местности и по климатическим условиям: маремма Вольтерранская, гористая и богатая минеральными произведениями страна, лежащая по берегам рек Эры (составляющей северную ее границу), Чечи-

ны и Эльсы почти до развалин Популонии и других этрусских городов около Пьомбино; вторая, низменная или Массетанская маремма, совершенно низменная, во многих местах болотная, вмещающая в себе округ города Масса-Мариттима и бывшее Пьомбинское княжество. Южнее ее идет Гроссетанская маремма, богатая пастбищами, славящаяся своими лошадьми и рогатым скотом.

Мареммы эти для Тосканы отчасти то же, что для нас Сибирь, – непочатая страна, богатая всякого рода ресурсами, манящая к себе спекуляторов, представляя им возможность скоро разжиться, и бедных поселян, представляя им столь близкую для них перспективу безбедной жизни. При этом конечно страна эта недолго бы осталась непочатой и дикой, если бы с давних пор не заслужила себе очень нелестной репутации, пугающей всякого, кто бы и готов был польститься на ее приманки.

Дело в том, что воздух маремм считается губительным для здоровья по причине множества болот и других климатических условий, о которых мне придется говорить после;

а потому бедные пролетарии, теснящиеся в тосканских промышленных городах, предпочитают умирать с голоду в Ливорно или в Прато. Городских жителей от переселений в маремму удерживает еще и то, что им пришлось бы там стать земледельцами, контадинами; а известно, что в Италии сословие это не пользуется большим уважением со стороны горожан, *cittadini*, граждан по преимуществу, как они сами себя величают. Но признаюсь, меня постоянно удивляло, почему контадины, теснящиеся в огромном числе в Вальдикьяне, а в особенности близ Сиены, где им из половины скудного дохода и небольшого участка земли приходится надрываться над плугом, помогая чахлым волам своим волочить его по глинистой, сухой почве, – почему они не переселяются в мареммы. Я часто говорил с ними об этом, они мне такими ужасными красками описывали эту страну, что во мне сильно разгорелось желание увидеть ее: мне она представлялась каким-то вулканическим жерлом, чудовищно прекрасным, где каждый шаг сопровождается опасностью, какой-то неопределенной опасностью.

Несколько раз, живя в деревне близ Сиены, мне приходилось узнавать, что какой-нибудь из соседних крестьянских батраков (*rigionali* – род сельских пролетариев), разорившийся в конце и преследуемый кредиторами, решался наконец бежать в маремму; решался он на это, казалось, вовсе не как на крайнее средство спасения, а скорее, как на отчаянное самоубийство. Жена и дети обыкновенно не следуют за несчастным, а провожают его отчаянным ревом и плачем, как у нас рекрута.

В Сиене мне неоднократно случалось видеть маремманов, по преимуществу из лесной Гроссетанской мареммы, приезжавших туда для продажи своих лесков *taschia* – пятно, как их здесь называют, на корню, или срубленными. Фигуры этих торговцев были до крайности интересны и имели свой совершенно особенный характер, нравившийся мне несравненно больше официально-буржуазного итальянского типа, встречающегося сплошь и рядом и без малейших оттенков *couleur locale*[268] во всех городах северной и средней Италии. Не таковы были те редкие

экземпляры маремманов, которых мне удавалось видеть. Сухие донельзя, небольшие, но стройные фигуры их напоминают кавказских горцев: их бронзовые лица с черными волосами и живыми черными глазами очень красивы и дышат отвагой и силой, протестуя против того неблагоприятного мнения, которое составили здесь насчет их отечества. Я замечал об этом своим тосканским приятелям; они отвечали мне, что это дескать мареммане, значит им такой именно климат и нужен, во что, не смотря на это, сами они переезжают на лето (когда климат в мареммах особенно вреден) либо в Ливорно, либо в Сиену.

Маремманские купцы в Сиене разъезжают верхом на небольших, но дюжих и красивых лошадях, похожих очень на тех, которые в Риме известны под именем пьомбинских, но несколько меньше их ростом, с более красивой мордой, с живыми глазами. Лошади эти возбуждают зависть здешних гиппофилов, а наездники – удивление городских красавиц, и вообще мареммане славятся за отличных и лихих наездников, метких стрелков и проч.

При этих своих лихих качествах и, вообще

как народ, не привыкший к общественной жизни, мареммане очень часто не прочь прибегнуть к физической силе в делах тяжёбных и другого рода. Они мстительны и любят иногда пошалить (как говорят у нас в Курской губернии) по большим дорогам, чему очень много способствуют густые лески, покрывающие очень большую часть грассетанской земли. Тем не менее однако же дороги в мареммах, несмотря на безлюдность края, гораздо безопаснее, чем, например, под Болоньей. Случаи нападения на дилижансы здесь гораздо реже...

Незадолго перед моим путешествием в маремму случилось там одно действительно странное событие, наделавшее очень много шума, в Сиене в особенности. Я расскажу его здесь, потому что оно характеризует, с одной стороны, край, о котором я намерен говорить.

Это было в апреле, в самом начале весны, которая в этом году наступила для Италии очень поздно. По обыкновению своему, я зашел вечером в табачную лавку к приятелю своему, старому сиенскому еврею, Саббатино.

Должно заметить здесь, что табачные лав-

ки в маленьких городах Италии служат вроде кофеен или клубов. Мой приятель, Саббатино, пользовался в Сиене довольно громкой репутацией, потому что у него всегда можно найти неизломанную дрянную сигарку за сольдо, что в других лавках не всегда удается, потому что содержатели их в видах экономии покупают бракованные, то есть изломанные сигары из других лавок, и угощают ими свою публику. Кроме того толстяк Саббатино, добродушный остряк и человек очень услужливый, пользуется благорасположением местных тузов. Сам *signor delegato*, выходя из должности, не преминет завернуть в лавочку моего приятеля, посидеть с важным видом на истертом кожаном диване, снисходительно слушая болтовню посетителей, причем конечно и сам иногда сообщит публике какую-нибудь интересную новость. Одним словом, за неимением в Сиене конторы агентства Стефани или Гавас, лавка Саббатино самое верное место, где можно узнать политические и всякого рода новости, которые здешняя газета, *La Provincia*, еще не успела перепечатать из третьегодних флорентийских журна-

ЛОВ...

В этот вечер публика, наполнявшая маленькую лавчонку, имела вся какой-то мрачно-торжественный вид, словно собралась на погребальную процессию. Красное, морщинистое лицо моего приятеля вытянулось особенно, и он поминутно снимал свою шляпу *à la Savour*, чтобы обтереть измятым бумажным платком пот, крупными каплями выступавший на его мясистом лбу, – верный признак сильного нравственного волнения... Синьор *delegato* молчал с видом оракула, пуская густые клубы неблагоприятного дыма из окурка рыжей сигары. Стройный юноша, со сверкающими глазами, в дорожном костюме, с большими шпорами, стоял посреди довольно многочисленного кружка и, казалось, с нетерпением и не без досады ждал решения своей участи от делегата... «*Son Maremmani... si sa...*» (Маремманы, – известное дело), проговорил оракул, стряхивая золу с сигарного окурка.

В несколько минут мне объяснили, в чем дело. Оно было казусное...

Очень почтенный сиенский негодант, имеющий дела с Гроссето и прошедший моло-

дость свою в лесной маремме, где успел разжиться на счет нескольких тамошних семейств, вздумал воспользоваться наступающим весенним временем, чтобы навестить свои владения близ Орбетелло. Он ехал верхом в сопровождении своего племянника и еще какого-то приятеля. На полдороге вдруг из соседнего леса показался человек с ружьем. «Стой и не шевелись!», – закричал он, прицелившись в почтенного негоцианта. Тот побледнел, поспешно остановив лошадь...

«Это Стоппа!» – едва мог прошептать он от испуга.

Приятель, не теряя времени, поворотил назад свою лошадь и всадил ей в бока, на сколько мог глубже, колоссальные шпоры. Несчастный конь, подпрыгнув два, три раза, понес его стремглав по направлению к Гроссето.

Между тем бандит подошел к дяде и племяннику, стоявшим, как вкопанные, не смея даже опустить руки в карман, где у каждого было по револьверу. Послушный, как ребенок, старик слез с лошади по приказанию разбойника. Тот вежливо ему поклонился.

– Наконец-то Бог привел повидаться с ва-

ми, – сказал он ему с иронической улыбкой и положив ему руку на плечо.

– Дядя ваш останется со мной, – сказал он племяннику, – а вы поезжайте домой и привезите мне 2000 наполеондоров. Тогда получите обратно вашего дядюшку. Но не вздумайте привести с собой кого-нибудь. Вы должны быть одни; я вас жду до воскресенья.

Дело было в среду около полудня. Разбойник увел с собой старика в лес. Племянник постоял с минуту на месте, как оглашенный, поворотил, наконец, лошадь и поехал в город.

Тем, которые могли бы подумать, что я сам сочинил эту романическую *a la m-me* Радклифф историю, я рекомендую прочесть апрельские номера флорентийских газет.

Юноша со шпорами, которого я видел в лавке Саббатино, был племянник негоцианта и явился в Сиену, чтобы собрать в конторе и у родственников своего дяди нужную сумму. Это было вечером в тот же самый четверг. Прибыв в Сиену, он тотчас же рассказал о случившемся делегату, который решил послать вместе с молодым человеком отряд карабинеров на место, назначенное для свидания с

разбойником. Племянник восставал отчаянно против этой меры, говоря, что таким образом Стоппа наверное убьет старика. Делегат упирался на том, что его обязанность это сделать. Наконец, оба они вышли из лавки и отправились к префекту. Несколько посетителей ушло вместе с ними. Остальные развязнее начали толковать и спорить о случившемся.

– И как это он очутился здесь? Все говорили, что он в Америке, – кричал один.

– Да зачем Адами (негоциант, взятый в плен) ехал по этой дороге?..

– Да ведь он думал, что Стоппа в Америке...

– Стоппа возьмет с племянника деньги и дядю убьет.

– Нет, он этого не сделает. Он не разбойник. Это он из мести, а он честный человек.

– Хорош честный человек, – вмешался хозяин лавки, – из мести или из другого, но честные люди так не делают. Да Стоппа этот еще ребенком был уже порядочный пострел, я его с пеленок знаю...

– Я с ним был коротко знаком, когда он здесь при таможне служил, – кричал какой-то господин, – он был пречестный человек.

– Да что это за Стоппа такой? – спросил я. – Что у него большая шайка?

– *Stoppa! Il famoso Stoppai* – кричало несколько голосов. – Вы не знаете?!

– Никакой у него шайки нет; он не разрешит, чтобы у него шайка была. Он ведь это из мести, *per vendetta*. У него с Адами старые счёты. Ведь это уже 13-й. Двое бежали.

Я ничего не понимал.

– Да как же двое здоровых мужчин, – допрашивал я, – верхом, вооруженные, поддались одному, или хоть не бежали?

– Да как же им бежать или не поддаваться, когда это был Стоппа?..

Вот, что я узнал из разных достоверных источников об этом страшном человеке.

Отец Стоппы был владетель очень значительного числа лесков и полей между Гроссето и Орбетелло, с которых получал очень порядочные доходы. Но так как сам он был человек разгульный и вовсе не хозяин, то и вынужден был поручить управление делами своими этому же самому Адами, тогда еще очень не богатому гуртовщику. Этот поверенный так хорошо повел дела своего патрона,

что тот на старость лет очутился нищим, да к тому же еще больным и расслабленным. Хотя дела Адами, как говорят, и до сих пор, велись очень нечисто и неосторожно, старику однако же трудно было вести против него дело законным порядком, потому что он уже несколько лет жил, разбитый параличом, совершенно во власти своего поверенного, который допускал к нему только тех, в ком был уверен.

У старика был один только сын, которого воспитанием он занимался не больше, как и хозяйственными своими дедами. Молодой Стоппа вырос на свободе в сообществе табунщиков и гуртовщиков; приобрел от них очень полезные сведения по части эквитации[269] и ружейной охоты, к которой пристрастился с самого раннего возраста. Так как в течение более десяти лет это было единственным его занятием, то он очень скоро достиг замечательной степени совершенства в стрельбе из ружья. Мне очень много рассказывали о его доблестных подвигах по этой части, но так как все они более или менее невероятны, а убедиться в их истине я не мог, то и умалчи-

ваю о них здесь. Вообще, как маремманский охотник, Стоппа – великолепный стрелок, это я могу сказать с достоверностью.

Когда дела отца его пошли плохо, он по совету Адами отправился в Сиену, где нашел место чиновника в таможенной конторе. Канцелярские занятия ему не нравились, и так как Адами, которому необходимо было задержать своего молодого патрона подальше от его владений, никогда не отказывал ему в деньгах, то Стоппа продолжал и в Сиене свою разгульную жизнь, составив себе порядочный кружок из богатых молодых людей этого города, которые кутили вместе с ним, охотились, а пуще всего поклонялись его необычайным способностям.

Скоро, однако же, Адами так блистательно закончил свое дело, что больному старику пришлось нищим убираться из своего дома, который вместе с остальными его владениями переходил к Адами. Как ни плох был старик, но на этот раз решился тягаться с своим поверенным, а для этого тотчас же записал сыну, чтобы он немедленно ехал к нему. Узнав, в чем дело, сын не сопротивлялся, и в

первые дни, не оставляя совершенно любимого своего занятия охотой, принялся так ревностно за дела, что Адами смутился. Не доверяя, и очень основательно, прокурору своего отца, подставленному, конечно, самим же Адами, молодой Стоппа помышлял уже о том, чтобы пригласить адвоката из Сиены. Это было в начале осени...

Здесь необходимо маленькое отступление. В Италии есть очень замечательный городок Норчия[270], о существовании которого очень многие из моих читателей даже и не подозревают. Он лежит в папских владениях, на высокой и до того неприступной скале, что в него можно войти не иначе, как по лестнице. Этот словно заколдованный замок населен вовсе не волшебными красавицами, а свиньями, отыскивающими трюфели, и норчинами (обитателями Норчии), ухаживающими за этими полезными животными, – людьми нрава мрачного, напоминающими и видом, и характером тех животных, с которыми они возятся всю свою жизнь... Бывает однако же часть года, когда Норчия почти исключительно населена одними четвероногими, а имен-

но с половины осени до начала весны. Тогда двуногие норчины отправляются на промысел, берут с собою мешки трюфелей и во несколько ножей очень разнообразной формы и величины, спускаются со своей лестницы и идут обыкновенно особняком (они вообще не социального нрава) по дорогам к северу, востоку и западу, по всей Тоскане, останавливаясь в каждой деревушке, на каждой помещичьей вилле или ферме. Посещение их везде оставляет кровавые следы, ознаменовываясь смертью одного или нескольких откормленных кабанов, которые тотчас же обращаются в их руках в очень вкусные сосиски и колбасы всех родов и видов. По пути она сбывают также свои трюфеля.

В то время, когда Стоила замышлял выписать адвоката из Сиены, во владениях его отца у опушки одного из лесков нашли мертвое тело. Норчины, как я сказал уже, имеют обыкновение ходить по одиночке; страна здесь все не безопасна; сами они ведут во время своих экскурсий слишком невоздержанную жизнь, а потому нередко гибнут на дороге жертвой ли своей склонности к пьянству или

жадности лесных промышленников, а всего чаще своих земляков, с которыми иногда судьба приведет их встречаться в глуши на большой дороге и совершенно неожиданно.

В маленькой вилле, в которой жил Адами, шел пир горой. Празднуя какое-то семейное торжество, в главное, заранее уверенный в том, что процесс или не состоится, или окончится в его пользу, он пригласил к себе нескольких приятелей из Сиены, с которыми отправился утром того же дня на охоту. Им и обязаны открытием тела мертвого норчина.

Началось следствие... Адами совершенно неожиданно показал перед следователями, что убийца норчина не кто иной, как Стоила, молодой его патрон, привел нескольких свидетелей этому и пр. Всего этого было, однако же, недостаточно, чтобы по здешним законам осудить молодого человека; тем не менее его посадили в тюрьму до окончания следствия, так как он не мог представить необходимого поручительства.

Долго ли просидел Стоила в тюрьме, не знаю. Времени этого было совершенно достаточно Адами, чтобы окончить в свою пользу

процесс, а старику Столпе, чтобы умереть... За недостаточностью доказательств виновности, сына выпустили, оставив в подозрении. Только он очутился по освобождению своем совершенно нищим. Многие жители показывали против него, Адами довольно искусно сумел восстановить против него общественное мнение той среды сиенских жителей, на которую он, внезапно разбогатевав, получил влияние. Аристократические друзья Столпы отвернулись от него. При лежавшем на нем подозрении, он не мог достать себе никакой должности, а следовательно и никаких средств к существованию. У него была, правда, какая-то родственница, жившая в Чивита-Веккии, где муж ее имел довольно значительный коммерческий дом. Узнав о его несчастий, она предложила ему переехать к ней, но не догадалась прислать на дорогу денег. В ожидании их, молодому человеку пришлось бы жить в Сиене на улице, если бы один из приятелей его отца не предложил ему более удобного помещения в своем домике, граничившем с новыми владениями Адами... Поселившись у него, молодой человек исключительно пре-

дался своей страсти к охоте... Преследуя какую-то дичь, забрался он однажды в лесок, которого владельцем привык считать себя, но который теперь принадлежал врагу его Адами. Вероятно забыв это обстоятельство, Стоппа стал распоряжаться в чужих владениях слишком по-домашнему, как вдруг перед ним предстала старая фигура лесничего. Это внезапное явление рассердило охотника, тем более что лесничий этот служил прежде у его отца, а потом свидетельствовал против него в зале об убийстве норчина. Раздраженный еще больше дерзкими словами старика, Стоппа ударил его прикладом в голову... Старик остался на месте с разможенной головой... После этого Стоппе пришлось уходить и из нового своего убежища. У него всё еще не было денег, и он приютился у какого-то крестьянина неподалеку, в бедной избушке, среди болот и леса... Его искали всюду, и он должен был скрываться. Эта жизнь сильно не нравилась ему, и злость его против главного виновника всех его бедствий, Адами, и тех, которые свидетельствовали против него, усиливалась. Он бродил по лескам вдоль дороги, ведущей

из Гроссето к владениям Адами, ожидая встретить как-нибудь своего главного врага. Это ему не удавалось... Но однажды под вечер, в субботу, Стоппа из обычной засады своей увидел баррочино[271], летевший быстро по направлению к бывшему дому его отца. В экипаже сидели два почтенные сиенские юриста, закадычные приятели Адами, от души помогавшие ему в деле против Стоппы. Они были с ружьями, легавая собака, высунув язык, бежала за баррочино, чихая от попадавшей ей в нос пыли. приятели собрались верно поохотиться на даче благодетельствованного ими Адами и весело разговаривали между собой, погоняя маленькую сардинскую лошадку...

– Стой и не шевелись! – раздался вдруг громкий голос впереди их... Вздвогнув, они оглянулись и увидели Стоппу, прицелившегося в них из своего двуствольного карабина... Оставаясь постоянно в этом положении, он велел им идти к себе. Несчастные повиновались. Он повел их в лес, в середине которого копал какую-то яму. Заставив одного из своих пленников крепче связать руки и ноги дру-

тому, повторив потом над ним самим эту же операцию, он спустился в яму с помощью импровизированной лестницы, расширил ее несколько вниз и побросал туда двух бедных юристов.

– Сидите же тут, – сказал он им уходя, – пока я не достану себе Адама, а тогда расправлюсь с вами по-своему...

Пленникам удалось однако же бежать из этой ямы. Они не замедлили донести о случившемся властям. Из Сиены были посланы три жандарма, под начальством сержанта, для поимки смелого разбойника.

Стоппа стоял на небольшом холме в академической позе, опершись на ружье. Он заметил жандармов еще издали и, казалось, ожидал их. Когда они были от него на расстоянии шагов 200, он стал махать им шляпой. Сержант жандармов хотел идти дальше, но бандит приложился в него из двуствольного ружья, однако же не стрелял. Один из жандармов выстрелил по нему, но он успел прилечь к земле. Жандармы быстро побежали к нему, но не успели сделать и нескольких шагов, как раздался выстрел. Один из них повалился, по-

раженный пулей в лоб.

«Вот как стрелять надо!» – закричал им Стоппа со смехом, и с быстротой зайца побежал к лесу.

Его напрасно искали несколько дней сряду. Потребовали подкрепления от войска. Дознавшись как-то, что Стоппа жил в избе крестьянина у опушки леса, солдаты заняли эту избу, но в течение нескольких дней Стоппа не показывался. Тогда арестовали крестьянина и объявили ему, что если он не объявит властям, где находится убежище Стоппы, то будет сам предан суду, как соучастник в злодействе этого последнего. Крестьянин согласился служить проводником небольшому отряду... Они зашли в самую глушь леса, где нашли недостроенный еще шалаш, пальто Стоппы и одноствольное щегольское охотничье ружье. Стоппы не было. Это было в 1855 или 1856 году.

С тех пор о Стоппе не было ни слуху ни духу. Говорили, что он уехал в Америку, скоро совсем о нем забыли. Адами стал ежегодно при наступлении весны посещать свои владения, между Гроссето и Орбетелло, проводил в

них иногда по несколько недель, смело бродил по окрестностям, и никто никогда его не беспокоил до настоящего случая.

Конец этой печальной истории наделал здесь много шума и об ней говорили почти во всех журналах.

В назначенный день племянник Адами явился с требуемой суммой на указанное место. Стоппа ждал его один. Но так как не вся сумма была золотом, а были и билеты тосканского банка, то Стоппа, не взяв ничего, отправил племянника назад, назначив новый и очень короткий срок. Бедный юноша был в страшных попыхах. Он с трудом мог достать и половину требуемого золота в Сиене и Гроссето. Пришлось ехать в Ливорно... Однако же он поспел к сроку. У опушки леса, где ждал его Стоппа, стояла привязанная лошадь Адами. Стоппа взял деньги, отдал племяннику лошадь и приказал идти на большую дорогу и ожидать там дядю. Не слушаться было нельзя. Бедный племянник прождал около часа в страшном волнении... Вдруг он услышал выстрел. Угадывая, что случилось, он выхватил из кармана револьвер и побежал по направ-

лению к выстрелу... В нескольких шагах от того места, где он только что имел свидание со Стопой, он увидел труп дяди, лежавший на спине в растяжку и со скрещенными на жилете руками. На груди его лежала круглая широкополая шляпа Стопы...

Сначала в Сиене некоторые любители романтических приключений приняли было открыто сторону бандита, стараясь представить его чем-то в роде Карла Моора[272].

– Адами отнял у него всё, что имел он, – говорили они, – ему простительно прибегать к таким решительным средствам, чтобы вернуть себе хоть часть потерянного имущества.

Но понимая, что подобные личности, чтобы возбуждать к себе сочувствие, должны обладать значительно блистательными качествами, они упирали на великодушные Стопы, на его честность, основываясь на том, что он, будучи в совершенной крайности, преследуемый жандармами, никогда не грабил и убивал только из мести. Они и не допускали мысли о том, что он убьет Адами, взяв с его племянника деньги.

Эта неожиданная развязка сильно сконфузила их, и другой зверский поступок Стоппы, открывшийся тотчас же после этого, окончательно возбудил против него негодование общественного мнения, выказав в настоящем свете его жестокий, мстительный и зверский характер.

Где провел Стоппа несколько лет, после своего побега из мареммы до апреля 1863 года, – неизвестно. За несколько дней до рассказанного мной происшествия, тот крестьянин, у которого Стоппа так долго укрывался прежде, садился по обыкновению за стол с сыном, двадцатилетним парнем, с невесткой, женой этого сына, кормившей грудью своего первого ребенка... Раздался стук в дверь.

– Кто там? – спросил хозяин.

– Я, Стоппа, – не узнаешь что ли? – произнес слишком знакомый ему голос. Хотя крестьянин и побаивался несколько мщеника Стоппы за то, что служил поневоле проводником жандармам, однако же отворил, рассчитывая, может быть, на то, что в доме их двое, а Стоппа страшен только в лесу со своим двуствольным ружьем, а может быть, надеялся

на то, что Стоппа не станет ему мстить за прошлое, нуждаясь в новых его услугах.

Стоппа вошел весело, дружески обнял хозяина и сына его, полюбезничал с молодой женщиной и попросил поужинать. Хозяин сел вместе с ним и со всем семейством, довольный отчасти тем, что гость ни слова не поминает о старом, но не совсем еще доверявший его добродушной веселости... Он наконец решился заговорить об этом первый. Стал извиняться, жаловаться на то, что его вынудили к этому силою... Нечего и сомневаться, что хозяин Стоппы, как всякий итальянский контадин, ненавидевший город и всё городское, а следовательно и правительство и власти, вовсе не считал Стоппу злодеем; он побаивался его, но от души был готов помочь ему во всякое время. Гость не дал ему и закончить своего оправдания...

– Полно, брат, об этом. Мы ужинаем, – так будем же веселы, после ужина успеем поговорить о многом. Мне нужно тебе еще многое сказать, я и подарок тебе привез – видишь, не забыл о тебе в Америке...

Очень довольный, хозяин угощал бандита,

чем мог. Окончив ужин, Стоппа встал и запер двери снутри на задвижку.

– Ну, теперь о старом, – сказал он, – вот тебе подарок из Америки.

С этими словами вынул он револьвер из кармана и совершенно неожиданно выстрелил из него в хозяйского сына, спокойно прибиравшего со стола остатки ужина. Старик остолбенел от ужаса и отчаяния... Молодая женщина с ребенком на руках бросилась к трупу своего мужа.

– Не всё еще, погоди, – спокойно отвечал Стоппа, – из рода доносчиков ничего путного родиться не может, – не этими словами, прежде чем кто-либо успел опомниться, он наповал убил ребенка в руках матери новым выстрелом. Старик в отчаянии бросился на него, но Стоппа ударом табурета в голову повалил его на землю и *задушил потом руками...*

Подобному зверству не легко верится в наше время. Тем не менее в рассказе своем, я ни переменял, ни прибавил ни одного слова к тому, что из достоверных источников знаю об этом. Я выпустил только некоторые из по-

дробностей, которые мне кажутся еще более невероятными и которые я узнал от лиц, не пользующихся вполне моим доверием...

Я никогда не видел Стоппу, но коротко знаком с несколькими из его приятелей и сослуживцев, а также читал описи его приметам в сиенской префектуре. Он маленького роста и очень худ и сухощав, несколько прихрамывает; цвет лица его желтовато-бледный, рыжие волосы и серые глаза – с помощью этого можете составить себе его портрет. Он слабого здоровья и только и берет своим умением стрелять из ружья, хотя – как после я узнал – он в мареммах не считался за первоклассного стрелка...

После случая с Адами и с контадином в розыски за Стоппой были посланы кавалерийские и пехотные отряды, но им не удалось ничего узнать о нем. По примеру всех итальянских разбойников и воров, он бежал к римской границе, воспользовавшись покровительством реакционерных комитетов и, говорят, с намерением вступить на службу к Франческо II, т. е. составить шайку и идти разбойничать в неаполитанские провинции.

Проект этот ему не удалось исполнить... Племянник Адами немедленно поспешил в Рим и воспользовался своим кредитом и влиянием для того, чтобы исходатайствовать у папского правительства приказание арестовать Стоппу и судить, как убийцу. Прибавлю, что Адами один из самых богатых торговцев стадами, лошаадьми и лесом в Тоскане и Романьях.

Несколько дней спустя, Стоппа очень спокойно въезжал в Рим верхом на лошади покойного Адами. Он остановился у трактира и отправился обедать. Тут его схватили. Он пробовал сопротивляться – но безуспешно. В подушке его мула *alla marettana* (в роде наших казачьих) нашли золотом 6.000 скуд... Деньги эти, явно принадлежавшие племяннику и наследнику покойного Адами, возвращены ему не были. Папское правительство, вследствие ходатайства французского главнокомандующего, выдало Стоппу итальянскому. Это здесь сочли началом примирения между папой и королем Италии, но так как до сих пор продолжения еще не было, то перестали и думать об этом начале. Стоппа находится те-

перь в тюрьме, кажется Сан-Джиминьяно близ Сиены, в ожидании приговора.

Вот какие невероятные дела делаются в мареммах тосканских. Живя например в Флоренции или в Ливорно, нельзя предполагать, чтобы такой дикий край, такое несоциабельное общество, которое порождает героев, подобных Стоппе, находились от вас на расстоянии едва нескольких десятков миль...[273]

2 октября – 20 сентября 1862 г.

Иностранцу в мареммы попасть дело нелегкое: нужно решиться на слишком многие и иногда тяжелые неудобства и лишения. Но охота, говорят, пуще неволи, а во мне охота видеть эту полуфантастическую страну (такой воображал я себе ее по крайней мере по тем рассказам, которые мне случалось слышать) возрастала с каждым днем.

Сиена один из городов средней Италии, служащих как бы ключом для сообщений со всей внутренней Тосканой. Я рекомендую заезжать туда всем, желающим поближе ознакомиться с классическим типом итальянских веттуринов. Впрочем торопиться нечего: же-

лезные дороги так тупо развиваются в лежащей по трем ее сторонам каменистой местности, что интересное племя это вероятно не скоро еще переведется в ней. И через 10 лет, как теперь, на маленьких и неровных площадях этого городка будут по всей вероятности тревожно расхаживать маленькие рыжие человечки в рыжих плащах старинного покроя, в круглых порыжелых и донельзя истертых шляпах, с большим количеством вязаных шарфов, обмотанных вокруг горла, с предлинным бичом в руке. Таков теперь нормальный тип веттурина; таким был он и 50 лет тому назад... Шумно толпятся они у ворот гостиниц, на извозничьих биржах, за решеткой станции железной дороги, певучим голосом зазывая форестьеров, предлагая им свезти их по-видимому за очень дешевую плату в разные более или менее интересные местечки и городки, лежащие далеко от железной дороги...

В Сиене есть целая длинная улица, вся уставленная одноколками, баррочинами, колесами, оглоблями, собранными и разобранными экипажами, с запахом конюшни... По

обеим сторонам ее тянутся харчевни попеременно с кузницами. Тут отечество веттуринов; встретив тут человека, вы наверное можете сказать, что он или только что приехал из внутренней Тосканы, или собирается ехать туда в самом скором времени...

Зная по опыту, как дорого обойдется мне путешествие с веттурином, и твердо вознамерившись ехать не иначе, как в дилижансе, я торопливо шел по только что описанной мною улице, не отрывая глаз от вывесок, украшавших собою фасады зданий по обеим ее сторонам... Толпы веттуринов с бичами окружали меня на каждом шагу, едва ли не хватали меня за полы сюртука, предлагая свезти кто в Вольтерру, кто в Радикофани, кто в Монтепульчиано... Насколько приятно было мне прогуливаться при этой обстановке, предоставляю судить читателю. Скажу только, что я совершенно с чувством человека, укрывающегося под портиками от проливного дождя, вбежал наконец в довольно большой и темный сарай, на дверях которого увидел очень красивую картинку, изображавшую дилижанс, запряженный шестернею цу-

гом и с лаконической надписью внизу: *per Massa Marittima...* В сарае, или в конторе дилижансов было так темно, что я сперва не мог разобрать ничего и споткнулся два, три раза о какие-то окованные железом предметы. Меня охватило сырой теплотой и запахом конюшни... Наконец, в одном углу я заметил очень слабое освещение.

У деревянного стола, на котором красовалась чернилица, запачканная тетрадь и седелка, сидела мрачная фигура. Тут же горел сальный огарок в грязном фонаре и горел так мутно, как мне никогда еще не удавалось видеть. Атмосфера была до того густа, что в ней не только гореть, даже дышать едва было можно, – это в оправдание сального огарка...

– Позвольте узнать, когда уходит дилижанс в Массу-Мариттиму, – спросил я у мрачной фигуры.

– Дважды 16–32, да 4 и пр., – говорил он голосом, которым дьячок читает псалтырь над покойником.

Мне несколько раз пришлось повторить вопрос, пока наконец я добился лаконического ответа: «не знаю». Затем мой приятный со-

беседник снова погрузился в арифметические занятия...

– Да разве не здесь контора массетанских дилижансов?

– 256 да 18... Здесь... 274.

Разговор довольно долго продолжался в этом же тоне. Из него я узнал только то, что один Господь Бог ведаёт, когда отправится дилижанс в Массу.

Так как это может возбудить некоторое недоверие в русских читателях, то я считаю нужным объяснить им, на каком основании существуют дилижансы во внутренних провинциях Италии, мало посещаемых иностранцами...

Дилижансы здесь все без исключения принадлежат частным антрепренерам, которые по контракту с правительством обязываются возить почту, т. е. письма. Дальше этого сношения с официальными властями не простираются. Для почты обыкновенно они держат особую лошаденку и двухколесную таратайку, которая с математической точностью совершает свои рейсы. Дилижансы же двигаются с места в таких только случаях, когда обес-

печено достаточное число пассажиров. Это однако вовсе не мешает им привешивать объявления очень длинные и красноречивые, дающие полное право публике предполагать, будто правильные сообщения посредством дилижансов действительно существуют между данными пунктами. Исключения из этого правила составляют настоящие мальпосты, или курьеры, как их здесь называют, содержимые правительством между значительными городами, пока еще не соединенными железными дорогами...

Но если вам придется путешествовать по внутренним закоулкам и уголкам Италии, не верьте сладкоречивым объявлениям, обещающим вам те или другие удобства. Вы будете совершенно во власти веттуринов, которые в вас видят пассажира в самом тесном смысле этого слова, то есть живую поклажу, тюк, очень неудобный для перевозки, которому не предполагается иметь ни своей воли, ни своих соображений. Итальянский веттурин также неумолим, как локомотив. Ему не достаёт только скорости и точности этого последнего. Не думайте какими бы то ни было

увещаниями наставить его ехать скорее или медленнее, чем вздумается его тощим клячонкам, остановиться в неурочном месте или не остановиться там, где нет никакой необходимости останавливаться, но где лошади его привыкли останавливаться безо всякой необходимости. Помните к тому же, что итальянские веттурины слишком горячие приверженцы девиза немецких студентов: *einer für alle* и *alle für einen*[274]. Если вы не поладили с одним из них, другие ни за что не поладят с вами. Очень интересно было бы строго-специально разобрать вопрос, каким образом в Италии, несмотря на ее политическую подразделенность, развилось в высшей степени веттуриное единство, о котором никогда не заботились никакие патриотические комитеты, ни правительственные, ни народные ораторы. Я изъездил Италию по разным направлениям, имел случай изучить до малейшей подробности северных и южных веттуринов; единственная разница в них – одни местные оттенки в наречии. Замечательно то, что веттурины никогда не говорят чистым диалектом своей провинции. Те, которые заботятся

об единстве языка в Италии, должны бы были начать с уничтожения железных дорог: я твердо убежден, что единство языка скорее всего сделалось бы веттуринами.

От Сиены к юго-западу по направлению к Массе Маремманской (которую ни почему ненужно смешивать с Массой Каррарской), идет очень живописная холмистая местность, то повышаясь, то понижаясь, образуя мягкие, волнистые линии на горизонте. Приближаясь в низменной Маремме, холмы эти принимают более и более угловатые формы, низменные долины между ними попадают чаще и больше; вся эта цепь обрывается наконец в виде уступов или скал известково-глинистого свойства, за которыми расстилается наконец совершенно ровный и низменный широкий морской берег, поросший мелкими и колючими кустарниками, а местами густой сочной зеленой травой.

Сиенские холмы считаются самым плодородным местом во всей Тоскане. Поземельная собственность здесь ценится очень дорого и приносит большой доход. Я имел случай близко познакомиться с состоянием здешнего

сельского хозяйства, и хотя это и не относится прямо на предмет моих писем, скажу о нем здесь несколько слов.

Больших имений в Тоскане мало, под Сиеной их нет и вовсе, за исключением разве поместий сенатора Джорджино, здешнего Шереметева[275]; но и те разделены на мелкие участки, часто несмежные между собой... Вся буржуазия, богатая и средней руки, обитающая в соседних торговых и промышленных городах, спешит при первой возможности обзавестись небольшим поместьем неподалеку от Сиены. Есть несколько старых аристократических семейств, владеющих тут же участками земли; но их немного, и все они за последнее смутное для Италии время сочли за лучшее отделаться от поземельной собственности... Эти землевладельцы при распоряжении своими имениями вовсе не имеют в виду сельской торговли, а только удовлетворение собственных своих потребностей; от этого большая часть поместий, даже на расстоянии нескольких десятков миль от города, имеет характер загородных дач или вилл, правда, без особенных затей барской фантазии, но

также и вовсе не похожих на поместья южной Италии, где земледелие составляет одну из главных отраслей богатства страны...

Построив себе загородный замок и окружив его маленьким садом, весьма непохожим на английские парки, тосканский землевладелец пользуется по-своему остающимся за тем количеством земли и, – странная слабость всех помещиков! – заботится единственно о том, чтобы ему меньше приходилось покупать у других. В этих видах рассаживает он на 4-х, 5-ти принадлежащих ему десятинах пшеницу и оливы, кукурузу, горох, бобы, капусту, коноплю и пр., пр.; не забывайте, что самое существенное во всем этом виноградник и что следовательно под него нужно оставить немалое пространство: всякий тосканский землевладелец продает непременно вино и оливковое масло. Это последнее вывозится в большом количестве на острова здешнего архипелага, а часто и за границу: Сиенское красное вино, *vino delle Colline*, а в особенности сладкое *Aleatico* пользуется большой славой во всей Италии...

Не могу с точностью определить, насколько

ко теряют с практической стороны тосканские землевладельцы от подобной системы хозяйства; но с точки зрения художественной, местность эта выигрывает много. Действительно, я редко видал такие красивые места, как в сиенских холмах; нет здесь, правда, никаких, ни природных, ни искусственных великолепий, но мягкая, волнуемая линия гор, затопленных в самой разнообразной растительности, и светлые стены вилл и хижин земледельцев, вырисовывающиеся на этом богатом фоне, всё это до нельзя привлекательно и имеет какой-то грациозный веселый вид, отражающийся и на характере самых жителей... В самом деле, Сиена слывет самым веселым городком, и слывет не без основания...

К сожалению, это веселье имеет свою изнанку: здесь вы без малейшего труда понимаете и видите в действии и в лицах всё то, что нелепого развило и выработало в Италии ее исключительно городское общинное устройство: города здесь живут паразитами на счет сельских классов, презирая их и сами ненавидимые ими в свою очередь...

Тяжело положение итальянского земледельца и всего тяжелее, может быть, именно в этой веселой, цветущей части Тосканы. Изнеможенные, бледные и худые, согнувшись в дугу, роются они целый день в земле, которая словно также за одно с горожанами признает их какими-то париями и даже не оказывает на них своего благотворного влияния, благодаря которому, во всех частях света, земледельцы хоть физически здоровее горожан. Здесь напротив. Решение этой странной загадки я нашел очень скоро, когда мне удалось увидеть осенью две, три вспаханные десятины земли. Дело в том, что всё это плодородие сиенских холмов чисто искусственное: вы не только нигде не встретите здесь чернозему, но едва ли, перенеся с собою наши русские взгляды на землю, найдете во всей провинции клочок земли, стоящий быть обработанным: всюду известняк и беловатая глина, редкими местами, и то возле лесков и садов, попадутся вам полосы красноватой железистой глины, удобренной слабыми процентами органического вещества; гораздо чаще целые непроницаемые слои известкового шпата с

природными и незатейливыми инкрустациями из кремня, и только на некоторых вершинах высоких холмов белый мрамор, вообще очень низкого качества, – почему его и не выламывают... Все эти роскошные сады, нивы и цветники – плод упорного труда целой касты народонаселения, которая по странной ли игре случая, или по другим причинам вовсе ими не пользуется...

Однако же в Тоскане нет ни крепостного права, ни черных невольников, отношения между земледельцем и землевладельцем имеют вид добровольного соглашения. Обыкновенно одна крестьянская семья селится на участке, принадлежащем какому-нибудь городскому купцу или аристократу и обрабатывает его из половины всего дохода. Закон предоставляет помещику полное право выгнать своего контадина, когда ему вздумается, равно как и этому последнему право оставить своего помещика, когда пожелает; разумеется, определено то время года, в которое могут быть совершаемы подобные переходы... Однако помещики очень редко пользуются этим правом, а крестьяне и того реже.

Чаще всего целое поколение крестьян живет на одном и том же участке... Впрочем вообще о сельской Италии я буду иметь случай говорить живее и полнее... Теперь боюсь, что, читая мое описание сиенских холмов, вы ощущаете почти то же, что я, когда проезжал по ним в душной маленькой карете, нагруженной сверху до низу... Две клячи тащили нас кое-как по каменной тряской дороге. Скоро совсем смерклось, соседи мои дремали, ежеминутно толкали меня в бока и бесцеремонно взваливали мне на колени и на плечи то ту, то другую часть своего тела... Твердая дорога глухо гудела под тяжелым экипажем. Хоры лягушек приветствовали нас, когда мы спускались в ложбину между двух пригорков, причем сырой холод заставлял спящих жаться и бормотать что-то сердито себе под нос... Порой лужа или болото в стороне от дороги серебром сверкали между темной зеленью, и на ее светлой поверхности темными силуэтами вырезывались фантастические стволы деревьев, увитые плющом, виноградом... Веттурин громко зевал и сонным голосом покрикивал на лошадей, эхо торопилось повторять

эти звуки, но лошади не обращали на них никакого внимания... Я всё больше и больше убеждался в том, что ночь создана для того, чтобы спали все, кроме сов и летучих мышей...

24 октября – 6 сентября

Наутро я проснулся вместе с солнцем и с птицами. Наш дилижанс (я заодно с извозчиком буду называть этим именем наш неудобный ковчег) тянулся медленным шагом в гору; веттурин шел пешком возле лошадей, поощряя их громкими возгласами, а иногда и ударами бича... Я тоже вышел... Было чудное весеннее утро, которого прелести исчезли бы под моим пером, а потому я и не распространяюсь о нем. Дорога, по которой мы ехали, шла несколькими поясами вокруг высокого крутого холма, поросшего темной густой зеленью; на верху его было какое-то мрачное подобие старинного замка... Позади себя мы оставляли все прелести итальянского пейзажа: горки и ручейки, каменные мостики и стройные тополи, кипарисы и роскошные каштаны...

– Далеко ль до Массы? – спросил я веттурина.

– Да вот она, – отвечал он мне, указывая рукой на замок...

Когда колеса нашего экипажа задребезжали по неровной мостовой города Массы, я проклял общую мне с большей частью туристов слабость – спрашивать заранее всех и каждого о месте, которое собираешься посетить. Из этого выходит, что наперед и по слухам составляешь себе понятие о том, что думаешь увидеть, а потом и стараешься на фактах проверить это свое голословное представление; вследствие этого, если в стране пробудешь недолго и если с разу не наткнешься на факты, слишком противоречащие прежним слухам, то и ломаешь всех их без милосердия, из-за благого намерения подвести их, во что бы то ни стало, под наперед готовое впечатление. Благодаря этой привычке путешествующего люда, мы имеем очень много описаний разных стран, часто весьма милых и красноречивых, но порой совершенно несогласных с действительностью...

Не такая участь ждала меня в Массе-Ма-

риттима... По тем рассказам о Маремме, которые мне удалось слышать в Съене, по тем экзотическим маремманам, которые мне удалось видеть, я воображал себе страну эту фантастическим, мрачно очаровательным краем, где всё горит и сохнет под палящим солнцем, где кипят вулканы под землей и чистейшая кровь в венах жителей, где нет ничего туманного, сырого, тяжелого и проч.

Вообразите же себе мое удивление, когда, проезжая по улицам Массы, я вообразил себя поневоле, каким-то чудом, перенесенным в Орловскую губернию... Масса-Мариттима несравненно больше похожа например на Мценск, чем на какой бы то ни было из виденных мной прежде итальянских городов... Дома по большей части деревянные, выкрашенные голубой, зеленой и иногда светло-кирпичной краской, с высокими кровлями, с деревянными ставнями снаружи, мостовая не из плит, а из кусочков битого камня: всё это вовсе не по-итальянски. На одной из площадей колодезь с деревянным срубом, вместо неизбежного каменного фонтана с чудовищными дельфинами, поразил меня окон-

чительно. Везде простор: здания не лезут вверх до нельзя, а больше в ширину, возле многих из них пустые места или садики, простые, незатейливые, иногда огороженные деревянными заборами. И тут же прохаживаются высокие стройные мужчины со светло-русыми кудрями и бородками, с веселыми серыми глазками, женщины дюжие и полные, с роскошными формами, несколько кругловатым лицом и предлинными густыми русыми косами...

Масса, как я говорил уже, построена на самой вершине крутого холма, с трех сторон поросшего зеленью, а с четвертой обрывающегося в низменную равнину, идущую до самого моря. Это новый город. Весь он состоит из одного большого здания, имеющего вид не то монастыря, не то замка. В этом здании помещается госпиталь и церковь. В нем же живут все служащие и прислуживающие при госпитале. Подъехать к этому госпиталю нельзя ни в каком экипаже и едва ли можно верхом: больных вносят туда на носилках по узкой дорожке, делающей множество изворотов и изгибов, и по которой непривычному челове-

ку едва ли удастся взобраться и без ноши. Признаюсь, меня сперва сильно поразили подобный выбор места под госпиталь, но скоро мне объясняли его причину. Для большого числа больных, которые в летнее время собираются сюда из всей низменной мареммы (по большей части работников с окрестных железных заводов и земледельцев), необходим чистый горный воздух. Здешние доктора вообще признают горный воздух не только лучшим, но едва ли и не единственным лекарством против маремманской лихорадки (из бывших в госпитале в Массе в июле настоящего года 130 больных, 128 страдали маремманской лихорадкой; 129-й был пильщик с переломленной ногой). Хотя положение старой Массы и достаточно высоко, но так как у подножия холма, на котором она построена, есть несколько болот, то и боятся их вредного влияния на больных; кроме того, здешние лихорадки считаются заразительными, – вследствие всего этого сочли за лучшее построить госпиталь на самой верхней точке холма, месте изолированном от старой Массы или собственного города, лежащего ниже его почти

на миллю расстояния...

Зачем его строили, этот старый город? Кто и когда? Это всё такие вопросы, на которые я не берусь дать ответ. Некоторые предполагают, что в древности море доходило до самой Массы и что самый город этот имел торговое значение. Но если это и было когда-нибудь, то уже очень давно. Мы знаем положительно, что почти в самом начале средних веков мареммы были уже совершенно бесплодны, славились своим дурным воздухом и богатством минеральных произведений, которых однако же никто не решался эксплуатировать. Пользуясь безлюдностью страны, разбойничьи шайки всевозможных родов и видов, сикарии и феодальная сволочь, рыскавшие по всей Тоскане, укрывались сюда от преследований власти. Некоторые из них строили замки на немногих возвышенностях, где климат менее вреден и откуда им представлялась возможность видеть далеко кругом. Замков этих теперь уцелело очень немного и то больше в горной вольтерранской Маремме...

В настоящее время Масса не имеет ровно никакого торгового или промышленного зна-

чения; она не лежит ни на какой большой дороге и держится еще только тем, что в ней живут административные власти и чиновники с железных заводов Фоллоники (на расстоянии 12 миль от Массы). Море отстоит от Массы с лишком на 10 миль, и почему она называется приморской (*Marittima*), это тоже неизвестно; разве только в отличие от Массы Каррарской, которая, служа гаванью городку Карраре и близлежащим мраморным каменоломням, имеет гораздо больше прав на это название...

Масса-Мариттима замечательна разве только тем, что в ней нет никаких художественных и археологических достопримечательностей, а в Италии это большая редкость. В ней нет никаких древних зданий за исключением серого каменного собора очень оригинальной и вместе с тем уродливой формы; весь главный фасад представляет сплошную массу без окон и безо всяких украшений; на одном из концов его низенькая башня, служащая колокольной. Дом городских властей — *Palazzo del Municipio*, происхождения тоже должно быть очень древнего, но столько раз

подновлен и переделан, что не имеет вовсе характера старых зданий.

Ученые итальянские, – в самой Массе нет никаких ученых, – никогда не занимались археологическими изысканиями насчет этого города. Между массетанами есть предание, что город их построен в очень древние времена и процветал когда-то; но что впоследствии он был весь сожжен и жители его перебиты...

Так или иначе, теперь это – совсем захолустье, всеми забытое и мало заботящееся о других. В целом городе вы с трудом найдете флорентийскую газету. А между тем жители здешние отличаются фанатической преданностью Гарибальди и либеральными стремлениями. В 1860 г. в гарибальдийском войске было гораздо больше массетан, чем ливорнецов, хотя всё народонаселение Массы не простирается до 1500 чел. Когда я был в Массе, там только что был поставлен памятник убитым при Марсале, Милаццо, Реджио и под Капуей. Памятник этот стоит возле собора и далеко не великолепен: он состоит из мраморного пьедестала и на нем мраморной же фигуры, изображающей Италию; под нею золо-

тая подпись, которой я никак не вспомню...

Привязанность массетанов к Гарибальди значительно усилилась после 1849 года, когда он, после знаменитой римской ретирады, прожил здесь несколько дней инкогнито. Он встретил в Массе такой радушный прием и столько готовности помочь ему в его тогдашнем опасном положении, что и до сих пор, по его собственным словам, с воспоминанием о Массе связаны одни из лучших минут его жизни. Когда всё было готово к его отплытию, толпа совершенно неизвестных ему жителей города провожала его с оружием в руках и с полной готовностью защищать его против австрийских солдат и велико-герцогских жандармов. При прощании они поклялись ему следовать за ним во всяком его предприятии за освобождение Италии. С тех пор, имя Гарибальди стало священным для них. В 1860 году они сдержали эту клятву. Я видел матерей, которые пешком приходили из Массы во Флоренцию с своими сыновьями, и сами приводили их в комитет, заведовавший тогда набором волонтеров. Некоторые из них плакали, когда сыновья оказывались слишком моло-

дыми и не могли быть приняты...

Много ли выиграл этот город с переворотом 1860 года, стоившим ему стольких жертв? Как вообще не промышленный город, — я думаю, очень мало. Однако патриотический восторг не остыл здесь нимало. Читателю, вероятно, известно, что весной настоящего года, когда ждали, что волнующие теперь Италию вопросы из области дипломатии и полемики перейдут, наконец, снова на поле сражения, в здешних городах устраивались так называемые *общества вольных карабинеров*, т. е. сильные городские отряды, вооружившиеся на собственный счет и долженствовавшие составить зерно нового гарибальдийского войска, лучше обученного и правильнее организованного, чем гарибальдийские партизанские отряды 1860 года. Общество это с большим успехом привилось к Массе: всё, что было в этом городе свежего и молодого, спешило записаться в число вольных карабинеров, самые бедные несли последнюю копейку на то же дело.

Я был в Массе в то время, когда Гарибальди только что оставил Капреру, и все с волне-

нием следили за каждым его шагом, ждали чего-то нового, неожиданного. Я стоял у дверей кофейной, на главной площади, с приятелем своим, коренным массетаном, доктором Аполлонио А... Мы познакомились под Капуйей в 1860 году, и теперь он был председателем общества вольных карабинеров в Массе.

Вечерело; начинали запирать мастерские и лавки.

– Хочешь повидаться со старыми своими массетанскими приятелями? – спросил меня Аполлонио. Я не замедлил изъявить свое желание, и мы отправились.

В низкой зале со сводом при очень слабом освещении сидело несколько юношей за столом, на котором были классические *fiasco* с красным вином и сыром. Увидев моего приятеля, некоторые из них бросились ему навстречу.

– *Bravo!* – закричал один черноволосый и черноглазый мальчуган лет 16-ти.

«*Si scopran le tombe, si levan i morti!*»[276] – пропел он первый стих из гимна Гарибальди, – смотрите, господа, вот право мертвец воскресший?... – И схватив меня за плечи, он

представлял меня своим товарищам, из которых многие были мне уже прежде знакомы...

Вся эта молодежь требовала, чтобы ее непременно вели на австрийскую границу, где по носившимся тогда слухам Гарибальди снова собирал волонтеров. Аполлонио напрасно рассыпал перед ними свое красноречие, убеждая их ждать терпеливо. Он представлял им необходимость вести дело обдуманно, не горячиться, а ждать терпеливо, пока узнается что-нибудь определенное и положительное.

– Если уже нам не идти теперь к Гарибальди, – провозгласил, вставая, один из сидевших за столом, – так пойдемте в неаполитанские провинции унимать разбойников.

– Пойдем! Пойдем! – подхватило несколько голосов. – Что нам тут сидеть; довольно уже мы парадировали в саду да стреляли в цель. Или пусть распустят общество, или пусть ведут нас к Гарибальди.

– Я знаю, что из Сиены вольные карабинеры уже вышли вчера, – кричал один.

– Зачем же нас не пускают вперед?

– Послушайте, – перебил их Аполлонио, –

ведь и мне самому не весело это положение, но что же делать? Нам говорят, что вольные карабинеры из Сиены, из Флоренции и из других городов будто бы пошли уже с Гарибальди на австрийскую границу, но по газетам мы ничего не знаем, ни где Гарибальди, ни что он. Вы знаете, что очень многие неблагосклонно смотрят на наше общество, а потому нам нужно быть очень осторожными и не доверять всяким слухам.

На этих словах оратора прервали. Явился его денщик (Аполлонио служил доктором при массетанской больнице) и принес ему телеграфическую депешу. Она была из Флоренции от одного из очень известных тамошних *carri rorolo*[277] и заключала в себе известие о майских событиях в Брешии[278].

Леон Бранди

9 октября – 27 сентября 1862 г.[279]

Часть 3

Художественная часть флорентийской выставки

Я посетил Флорентийскую выставку с исключительной целью покороче ознакомиться с произведениями живописи, которых случилось очень много, против всякого ожидания, и между которыми очень не мало произведений действительно замечательных. Я спешу поделиться моими впечатлениями с читателями, тем более что этим я вовсе не выхожу из своей программы: в картинных галереях этой выставки, как и вообще в цикле итальянских провинций, стремящихся к полному слитию, первенствуют Неаполь и Тоскана, представляющие собой два противоположные одно другому начала.

Выставка эта, очень богатая и хорошо устроенная, имеет только тот недостаток, что посетившие ее даже несколько раз сряду, обратив всю силу внимания на особенно интересные из выставленных предметов и выходя потом, невольно теряются в разнообразии вынесенных впечатлений, которые с большим

трудом удается привести в некоторую систему. Мне кажется, что главной виной того не богатство материалов, а несколько неправильное, совсем не систематическое размещение их. Я по крайней мере никак не могу угадать и до сих пор, что имели в виду подобные распорядители, ставя то там, то здесь, какую-нибудь земледельческую машину или хитросплетенную из раскрашенной соломы штору, или что-либо другое в этом роде. Главная цель этой выставки, положим, была политическая: угадать нетрудно, а многочисленные толки по этому поводу, предшествовавшие ей, совершенно избавляют от труда угадывать.

Брошюры и журналы всех партий, глубокие политики и поверхностная молодежь – все, устно и письменно, толковали, разбирали, каждый с своей точки зрения, а г. Каррега, главный распорядитель, действуя как будто заодно с ними, откладывая со дня на день открытие. Яснее всех поняла эту цель какая-то толстая героиня фруктового рынка в Сиене, и высказала ее очень внимательно слушавшей толпе, ожидавшей как-то вечером открытия

почты и раздачи писем, привезенных вечерним поездом железной дороги из Флоренции.

– Счастливы эти бестии, флорентийские работники, – говорила она, – не было у них заработков ни на грош, а хлеб по две грации за фунт. Вот они кричали, кричали да и докричались до выставки. То-то, я думаю, наедет к ним *форестьеров* (иностранцев)! А мы... ну да что и говорить!

Говорить действительно было нечего: слушатели по большей части были сами работники, хлеб в Сиене не дешевле флорентийского; они и поняли всё сразу.

Но флорентийские работники, несмотря ни на какие выставки, не считают все-таки завидной свою участь. «Вот посмотрите на Неаполь, – говорят они, – там дождем сыплются преимущества и карлины[280]; там правительство само навязывает работу, а мы надемся на *форестьеров*. Да и какие *форестьеры* теперь!» А неаполитанцы? Те всё же нейдут работать и твердят старый припев: хлеба и зрелищ. За зрелищами у них и нет остановки; но хлеб везде очень вздорожал в последнее время.

Между тем жизнь Флоренции так радикально изменилась в предшествовавшие три месяца, что ее буквально узнать было нельзя. Куда делись мир и тишина, манившие туда всех, склонных к созерцательной жизни? Шум и трескотня на улицах, наново написанные и раззолоченные вывески магазинов, щегольские джентльмены из всех стран света, нарядные дамы, кровные лошади – вот что замелькало перед моими глазами, когда я очутился на хорошо знакомой мне, но показавшейся новой, площади *Santa Trinità*.

На месте прежнего воксала ливорнской железной дороги, теперь дворец выставки. Старое здание перестроено и украшено, обнесено решетками, обстроено вокруг так, что не только самого воксала, но даже площади нельзя узнать вовсе.

У подъезда встретил меня не то швейцар, не то капельдинер; он, с несвойственной итальянцам, лакейской ловкостью, откинул дверцу моей наемной кареты и не потребовал за это *la buona mano*[281] (на водку).

Под лоснящейся трехуголкой, окаймленной новыми галунами, я сразу узнал своего

старого знакомца Микеле; я никогда не видал его не в лохмотьях, но лицо его было также знакомо мне, как силуэт колокольной собора. Микеле тоже узнал меня.

– *Siamo por*[282], – сказал он, окидывая снисходительным взором свою нарядную ливрею. – Да потрудитесь бросить вашу сигарку, – прибавил он несколько покровительственным тоном. – Тут уже курить мы не позволяем. Жалко бы было, *per dio Vasso*[283], если бы сгорела эта славная выставка.

Но независимо ни от каких случайностей, всякая выставка должна же иметь в виду дать посетителям возможность познакомиться с выставленными предметами и вынести о ней какое-нибудь определенное воспоминание. Кажется, флорентийские распорядители именно это-то и забыли. В залах светло и просторно, ко всему можно подойти со всех сторон и даже очень близко. Но ведь всякого посетителя особенно интересует один какой-либо отдел. Механику, конечно, было бы очень выгодно сравнить две или три машины различно устроенные для одного того же назначения: следовало бы поставить их рядом;

а тут, чтобы добраться от одного типографского станка до другого, приходится перейти целую галерею, уставленную то блестящими хрустальными изделиями, на которые нельзя не заглядеться, то чудными искусственными цветами, то мягкими и пушистыми тканями, которые невольно бы погладил рукой, если бы не грозная надпись колоссальным шрифтом: *proibito di toccare gli oggetti esposti*[284]. Как тут не забыть и типографские станки, и механику!

Тут же в нижних галереях развешаны копии со старых картин; многие в очень невыгодном свете, но они от этого вовсе не теряют ничего. Большая часть их – произведения флорентийских копистов. Этот род искусства здесь одна из главных отраслей промышленности. Флоренция поставляет копии с древних мастеров на бóльшую часть Италии, Англию, Америку и Россию. В таможенном уставе, на вывоз их наложена пошлина, также как на мраморные статуи и статуэтки, тогда как за оригинальные произведения ничего не платится ни при ввозе, ни при вывозе. Между тем нельзя сказать, чтобы здесь особенно

процветал этот род живописи. В Венеции, например, несравненно более хороших копий, чем во Флоренции, хотя там не так много картинных магазинов, да и те немногие наполнены вовсе не по-флорентийски. Не потому ли это, что в Венеции лучше понимают смысл своих старых мастеров?

Есть тому еще и другая причина. В Венеции не существует цеха *копистов*; перспективная живопись составляет самую существенную часть ее картинной промышленности; копиями занимаются или ученики, или профессора за неимением другой работы. Во Флоренции живописцы-художники мало занимаются копиями, и то только в особенных случаях: или по заказу, или по крайности. Работы их редко попадают в магазинах. Каждый сколько-нибудь значительный магазин имеет во Флоренции своих копистов, с которыми заключается форменное условие. В большей части случаев, кописты эти получают от магазина месячное жалованье, и обязываются никому не продавать своих картин, кроме своих патронов. Число часов, которое они должны проработать каждый день, а

также *minimit* того, что они должны сделать в течение месяца, определяется условием. Каждый из этих художников выбирает себе две или три картины одного мастера или одной школы. Патрон часто обязывается не покупать ни у кого другого копий с этих картин. Весь смысл свободного творчества теряется от этого, а для того, чтобы сделать хорошую копию, часто более бывает нужно этого дара, нежели для того чтобы написать картину. Копист вовсе не заботится о том, чтобы передать смысл картины; он часто исправляет и пополняет оригинал, пропускает в ней многое, что может прийтись не по вкусу массе покупателей. Скопировав несколько раз сряду одну и ту же картину, он непременно создает себе свою особенную манеру, из которой потом уже не в силах выбраться; все работы его получают какой-то мертвый, машинный характер. Распорядителям выставки надо отдать полную справедливость хотя в том, что они не поместили этих копий в залах свободных искусств.

Залы эти, где собрано несколько сот картин новой школы, почти все итальянских ху-

дожников (собрано как и остальное, без всякой системы, безо всякой господствующей мысли), помещаются в верхнем этаже, по обеим сторонам центральной галереи. Тут же рядом самая полная коллекция всевозможных варений, консервов, колбас, вин, ливеров и пр., в склянках, в банках, в горшках, в коробках или просто во всем безобразии наготы.

Долгом считаю предупредить читателей, что они не найдут здесь перечня всех более или менее замечательных картин этой выставки, с их критическим разбором, историей и биографией авторов. Их слишком здесь много; больше чем половину их я уже успел совершенно потерять из памяти, о чем сильно жалею, так как между ними есть много очень и очень достойного внимания. Но и то, что я помню, передам я так, как помню; если в этом не будет строгой связи, то да падут все нарекания на г. Каррегу и на его советников, — я же, право, не принимал никакого участия в устройстве этой выставки.

В первой маленькой зале, налево от входа, собраны акварели, пастели и рисунки карандашом. Несколько перспективных видов об-

ращают на себя внимание публики тщательной и изящной отделкой деталей. Акварели эти, как бы последнее слово, или скорее загробный голос условного рода живописи. Они особенно были в моде в то переходное время, когда глаза публики и самих художников стали как-то неприятно поражаться вычурностью поз, отсутствием правды и красок. Выход еще не был указан, а потому и помирились на *mezzotermine*[285]. Взялись за акварель; небольшие размеры, бедность материалов служили извинением художнику; нежность и мягкость тщательной и кропотливой отделки нравились зрителям. Миниатюры на кости, маленькие портреты, перспективные виды, раскрашенные со вкусом, наполнили собой картинные магазины, студии и салоны. Впоследствии, фотография подорвала их успех. Акварелисты очень долго уберегались от нового направления. Деларош[286], Вернет [287], наш Брюллов, указали однако же этому роду живописи новую дорогу, но мало кто за ними последовал; сами они тоже не знали всех ресурсов акварели, и употребляли ее только как вспомогательное средство для ма-

леньких эскизов и альбомных рисунков. Эжен Декан[288] первый стал писать акварели в виде окончанных картин, и достиг замечательной степени совершенства в этом роде; он творил чудеса: передавал силу света африканского солнца, яркость восточных тканей.

Но настоящее отечество современной акварельной живописи – Англия. Тамошний фабрикант красок, Ньюман, оказал ей громадную услугу изобретением своих жидких водяных красок (*moist water colours*), с помощью которых искусные живописцы достигают силы и прозрачности масляных красок.

Но в Италии не привился этот новый вид акварельной живописи. Один только Корроди[289] в Риме смело соперничает с английскими и французскими акварелистами; а между тем в акварельных рисунках недостатка нет; ими даже с особенной любовью занимаются художники-фокусники, которых тут не мало.

Впрочем, на настоящей выставке, всех их перещеголял падуанский профессор Газотто [290], выставивший три больших рисунка пером: Ад, Чистилище и Рай, из Данта. Никогда

еще барокко не доходило до такого полного проявления. Впечатление, производимое этими рисунками, так странно, так ново и оригинально, что перед ними невольно останавливается всякий, как бы ни мало интересовала кого живопись. Достоинства и недостатки их определить нет никакой возможности; художники-пуристы презрительно улыбаются, глядя на них; а между тем в них есть что-то действительно творческое, но недостойное искусства.

Вообще Венеция на этой выставке *fa una tristissima figura*[291] по итальянскому выражению. Газотто более других обратил на себя внимание. Искусство далеко не в блестящем положении в древней царице морей; академия в руках немецких профессоров пустеет со дня на день. Независимо от академии, есть там отдельная корпорация комнатных или декоративных живописцев, продолжающих, хотя и не с особенным успехом, предания прежних веков. Многие из их самодельных произведений сохранили прелесть колорита и грацию постановки; но большинство почерпает вдохновение из раскрашенных француз-

ских литографий; рисунок страдает по преимуществу.

Живописцем-лауреатом, истинным героем выставки, является флорентиец Усси[292], которого большая картина «Изгнание из Флоренции герцога Афинского»[293] встретила большое сочувствие в Риме, что означает, что во всякой другой стране, а в особенности в Париже, она наделала бы нескончаемого шума, и она вполне заслуживает этого, хотя в Италии она не вызвала даже ни одной фельетонной статейки.

Это одно из тех редких произведений, в которых, в полной силе и красоте своего развития, являются все начала, характеризующие направление какой-либо эпохи. Картина Усси произведение современной нам эпохи, и это чувствуется почти в каждом ударе кисти. Ничего условного ни в выполнении, ни в композиции; жизнь и правда во всем.

Внешние совершенства техники теряются в общей гармонии целого и доведены до той высшей степени, где уже исчезает вся ложная, кажущаяся, сторона искусства. Художник угадал и уловил жизнь, и задержал ее во

всей ее гармонической полноте. Зритель, пораженный красотой картины, не заботится о процессе, посредством которого художнику удалось совершить чудо; ему всё кажется так естественно и просто, что он забывает, что именно эта-то естественность и простота и требуют самых больших усилий, и что до нее могут дойти только редкие избранные натуры. Личность художника забыта: она исчезла в его произведении.

Эта современная картина представляет сцену очень отдаленной от нас эпохи начала XIV века; но в этой одной сцене целая драма, вся жизнь того времени, со всей правдой подробностей и мелочей, тогда как в самой картине вовсе не бросаются в глаза эти мелочи и подробности; художник сумел быть очень умеренным в их выборе и размещении. Архитектура, костюмы, разучены со всей строгостью и добросовестностью; Усси, художник скромный, не позволил себе ни одной поэтической вольности, ни одного анахронизма, которые в большом ходу между художниками, не совсем осмотрительно отдающимися вдохновению.

Сюжет, выбранный Усси, – одно из событий, очень часто повторявшихся в истории Флоренции в средние века, и характеризующих жизнь итальянских общин того времени.

Когда вся Европа начинала новую жизнь и стремилась к внешнему могуществу, Италия, раздробленная на мелкие республики, добивалась внутреннего гражданского развития, жизни личной, которая очень резко противоречила жизни всех остальных европейских государств. Те сознательно вырабатывали принцип абсолютизма, неограниченной монархии, который один мог доставить им возможность укрепить и добиться предположенной цели; Италия развивала городскую общину, *municipiò*, сосредоточивала в ней всю политическую и административную власть. Первой формой этого общинного правления было владычество оптиматов, аристократических семейств. Община народная появилась уже позднее, и с самого начала своего существования вступила в открытую борьбу с олигархической общиной. Та уступила не разом и, потеряв наконец надежду взять силой,

принялась за хитрость. То одна, то другая из олигархических фамилий принимали под отеческую свою опеку доверчивый народ и прямым, или косвенным образом прибирали власть в свои руки, из трибунов народных становились тиранами, деспотами, пока народ не выходил из терпения и не свергал ненавистного ига, чаще всего для того только чтобы снова подпасть под другое. Медичи, прочнее всех других забравшие Флоренцию в свои руки, были изгоняемы оттуда шесть раз, пока наконец незаконный сын папы Климента, Александр Медичи, с помощью императорских и папских войск, не взял ее с бою после долговременной осады, и не сломал окончательно ее вольную муниципальную конституцию.

Изгнания эти – подвиги пробуждения народного – представляют целый ряд весьма выгодных для исторического живописца сюжетов, тем более еще, что совершались они не грубой материальной силой, а геройским увлечением или всей массы, или отдельных личностей.

Усси выбрал первое по времени изгнание

Готье де Бриена, герцога Афинского. Я предполагаю, что читателям достаточно известны своевольные и коварные подвиги этого пришельца, успевшего сперва льстивыми обещаниями обмануть народ и приобрести его доверие, потом довести его до отчаяния, и наконец до полного сознания собственного достоинства и силы. Народ однако же не стал вымещать на особе утеснителя свои страдания и угнетения.

Бледный, расстроенный герцог сидит в торжественной одежде в зале *Palazzo Vecchio* у стола, на котором лежит не подписанный еще им акт его отречения. Перо дрожит в его руке; смущенные взоры блуждают по сторонам. Ему жаль, одним почерком пера, уничтожить плод стольких лет тяжелого труда, черных дел и козней. Перед ним молчаливые, спокойные как судьи, но грозные своим спокойствием депутаты от тех граждан, которыми так недавно еще играл он и которых подчинял всем причудливостям своего буйного нрава.

«Зачем в них это холодное, строгое спокойствие?» – лепечут посиневшие его губы, –

«будь это шумный порыв энтузиазма – была бы надежда».

Но павшему тирану нет больше надежды! Он уже не смотрит на позеленевшее, искаженное самым отвратительным страхом лице своего секретаря. В благополучные для них обоих дни праздников и угнетений, изворотливый ум паразита находил тьмы хитросплетений, которыми упрочивалось их жадное владычество; но во дни гнева и бури, конечно, не его ехидная душа удержится в тощем теле: эта кровавая игра не по секретарскому характеру – тут проигрывается всё, а выиграть можно только удар камнем в голову. Один из герцогских кондотьеров – тощий изегрим[294], позволивший себе по старой привычке какую-то вольность с взволновавшимся на площади народом, с окровавленной головой и без оружия, с яростью в сердце, торопит своего растерявшегося хозяина:

«Подписывай, герцог. Ты медлишь, а посмотри, как там кипит это бешеное стадо. Нет, герцог, дали мы промах – не бараны они».

Солдаты потеряли и тень грубого своего

нахальства; со страхом смотрят они по направлению руки кондотьера. А там поучительное для них зрелище.

Масса, недовольная промедлением, неспокойная насчет участи своих представителей, волнуется и кипит на площади. Насколько камней, брошенных ловкими руками, побили стекла герцогской залы. Доминиканский монах, будущий миссионер, Савонарола, едва может удержать своим строгим видом и разумной речью волнение.

Но герцог ничего не видит и не слышит. Сына его уводит стража; бедный юноша, которому может быть придется поплатиться за подвиги отца, бросает на него взгляд, полный самого нежного участия; но отец не замечает его. Необузданная жажда власти и страх перед грозой наполняют ум и душу герцога. Как пойманный зверек, он смутно смотрит по сторонам: да нет ли где лазейки?

Все это несравненно лучше меня рассказал г. Усси, в награду за что и получил уже от флорентийской городской общины 2000 скуд [295].

Строгие ценители и знатоки изящных про-

изведений находят, что в картине Усси и колорит и рисунок в исправности. Глядя на его картину, я видела живых людей, во мне возбуждала сильное участие горькая доля герцогского сына и его молодое, благородное лицо.

«Бедный герцог, – думал я, – оставался бы ты в Афинах: там и Акрополь, и Пропилеи, и оливы растут в изобилии!»

Усси, как я сказал уже, флорентиец, питомец Тосканского общества поощрения изящных искусств. Художественное свое образование он окончил в Риме, где содержался на счет Общества. Он еще не дожил до тридцати лет, и эта картина – первое замечательное его произведение. Она написана им в Риме, и куплена два года тому назад флорентийским городским обществом; этой зимой он оканчивает ее, и только по воскресеньям публике был открыт доступ к ней.

Вся Флоренция считала долгом перебивать в его студии, но художник мало возгордился своим успехом.

В художническом квартале Флоренции, у площади Барбано[296], в подвальном этаже

какого-то престарелого здания, помещается маленькая таверна *падроне*[297] *Стефано*, где за очень умеренную плату и при всех возможных неудобствах, с которыми только художники и люди с очень-нетуго-набитыми кошельками могут примириться, – подают очень плохой обед и лучшее во всей Флоренции вино. Таверна эта нечто вроде художнического клуба. Знаменитости и незнаменитости тосканского художнического мира, живописцы, скульпторы, граверы, хористы, балетные компарсы[298], геркулесы и цирцеи проезжей труппы вольтижеров, между тремя и пятью часами пополудни, непременно заседают на некрашенных лавках заведения.

Там часто встречал я человека средних лет, бедно одетого, бледного, лысого, с большими черными глазами, с темно-русой бородой. Он приходил всегда молча, садился в каком-нибудь темном уголке, много ел, мало пил, говорил еще меньше; словом, по всему отличался от обыкновенных гостей *падроне Стефано*. Я знал, что он флорентиец и живописец, но не знал ни имени, ни прозвища этого таинственного незнакомца. Впрочем фигу-

ра его мало возбуждала любопытства: он не носил в себе никакого особенного отпечатка человека, погруженного в самого себя; он не избегал случая вступить в разговор, и если больше молчал, то казалось потому, что ему нечего было сказать, может быть еще и по такому соображению: нужно же, чтобы в таком многочисленном обществе хотя кто-нибудь слушал. Но неоднократно, вынужденный необходимостью, он вступал в общие толки и споры об искусстве; важно выслушивал заносчивые толки какого-нибудь длинноволового Рафаэля, в ожидании периода своей будущей славы писавшего вывески для табачных лавок; возражал на них очень спокойно, без малейшего увлечения, и высказывал собственные свои взгляды, стоящие тех во всех отношениях. Живописец этот был Усси. Но что это за черты в его характере? Недоверие ли к себе, презрение ли к окружающим, или и на этот раз Усси – исключительная натура: среди многочисленного собрания людей, из которых всякий более или менее прекрасно говорит об искусстве, которому плохо служит, он, его достойный жрец, совсем не умеет го-

ворить о том, что так хорошо выражает кистью?

Между тосканскими художниками, выставившими в этом году свои произведения, нет ни одного молодого дарования, которое, созревши и развившись, могло бы стать наряду с Усси. Все картины этой школы отличаются очень строгим изучением и оконченностью; многие на них очень хороши, но невольно чувствуется, что это уже последнее слово; художник может удержаться на той же высоте, но он уже не пойдет далее.

Французы уверены, что пластические искусства изменили своему отечеству, Италии, и покорные общему движению века, эмигрировали в Париж. Они так твердо убеждены в этом, что и другие поверили им тут же на слово. Я не стану отрицать достоинство французских живописцев; но смело могу уверить и их и каждого, что искусство в Италии живет не только в музеях и пинакотеках, — оно здесь перешло в жизнь, а потому и не умрет никогда, пока в Италии будут холст и краски. На нем лежат предания старых веков, хотя порой они и давят его; но ведь искусство, кра-

сота, гармония, жизнь, никогда не умрут и некогда не состарятся. Если в Венеции искусство, как нежный цветок, боится распусться, чтобы не попасть под тяжелый каблук тирольского егеря, если Болонья со времен Караваджо более славится колбасами, чем картинами, то не в них ведь вся Италия: есть Тоскана, где оно гордо и свободно поднимало голову в тяжелые годы владычества австрийских гренадер, есть Неаполь, где оно ловко пряталось в чердаках квартала *dei studj*, пока наконец ему не открылся свободный выход на свет Божий.

Тосканская, или правильнее флорентийская, школа живописи – самая древняя из существующих в настоящее время итальянских школ. Она одна может быть изо всех шла не перерываясь со времени возрождения. Микеланджело Буонарроти умел сделать во Флоренции живопись делом государственным. Герцоги покровительствовали художникам, всегда с одинаковым стремлением подражать Лаврентию Медичи, надеясь, что одним этим святым покровительством они станут наряду с этим уважаемым соотечественниками, хотя

и развратным монархом.

Медичи оставили Флоренции великолепные картинные галереи, доступ в которые очень легок всем и каждому. На площадях и улицах встречаются повсюду знаменитые произведения искусств; во многих семействах сохранились предания о жизни художников в давно минувшие века; всё это вместе развивает эстетический вкус во всех классах городского народонаселения, внушает молодым людям горячую привязанность к искусству, в котором они видят славу своей родины и средство выйти из ничтожного положения, для того чтобы стать, может быть, наряду с великими деятелями флорентийской независимости, народными героями. Множество общественных и частных рисовальных школ и художнических студий облегчают им исполнение их планов.

Флорентийскую школу обвиняют в том, что она слишком твердо придерживается преданий старых времен и мало поддается влиянию современного духа. Не говоря уже о дарованиях средней руки, которые, поставив себе кумиром кого-либо из знаменитых живо-

писцев эпохи Возрождения, слепо подражают ему и не имеют ни глаз, ни ушей ко всему остальному, даже лучшие здешние художники отличаются слишком серьезным, научным направлением, напоминающим Микеланджело.

Эти недостатки очень замечаются в лучшей из выставленных флорентийскими художниками (Усси художник всемирный, и о нем здесь не может быть речи) картине «Сцена из истории инквизиции», молодого еще художника Гвичьоли.

Строгость рисунка, глубокое понимание ракурсов и светотени, оконченность работы, делают ее произведением весьма замечательным. Но несмотря на все эти неоспоримые достоинства, в ней есть что-то сухое, бесцветное, производящее весьма неприятное впечатление, какая-то неживописная грубость форм, несмотря на маленькие размеры. Картина эта – не мертвое, холодное произведение признанной бездарности: в ней есть жизнь, но жизнь какая-то тяжелая, не возбуждающая участия.

Присяжные наградили художника золотой

медалью, и поступили вполне основательно: в художнике есть всё, что может быть дано самым добросовестным и внимательным изучением, даже больше: в нем выражается дух и сущность всей школы, хотя, разумеется, и не в таких колоссальных и полных формах, как в соотечественнике его Микеланджело. Все остальные произведения этой школы отличаются в большей или меньшей степени теми же недостатками и теми же совершенствами, за исключением разве профессоров братьев Муссини[299], на которых особенно живо чувствуется влияние Пику[300] и других парижских корифеев.

Рассматривая все эти произведения, собранные вместе, зная отчасти закулисную жизнь их авторов, я с трудом верю тому, чтоб это направление было исключительно результатом прошедшего, лежащего, как полагают, тяжелым грузом на плечах всякого тосканца. Во Флоренции искусство меньше всего могло бы оставаться в условной рамке преданий. Там оно поневоле идет рядом с жизнью, которую уже успело проникнуть всю целыми веками успехов.

Гейне в своих «Флорентийских ночах» говорит очень остроумно, по своему обыкновению, что во Флоренции жизнь поступила с искусством, как жадный ростовщик. В типах уличных торговок и цветочниц он видит, какой лихвой заставила она заплатить за те грациозные модели, которые когда-то поставляла она вдохновенным художникам.

Действительно и мне не раз случалось встречать между детьми, играющими на площадке у *Ponte alla Carraia* оживленных ангелов с картинок Фра Беато Анджелико. Микеланджеловские парки[301] и теперь еще поспевают на всех перекрестках за лотками с жареными каштанами, или классическими *pani perati*[302]. Но мадонны Андреа дель Сарто, полные женственной грации и неги, куда же девались они?

Флорентийки между всеми итальянками составляют совершенно особенный тип. Они превосходят неаполитанок и северных итальянок правильностью черт и форм, но далеко остаются позади их в роскоши колорита и по нежной округлости линий. Может быть низменный и сырой климат Флоренции отча-

сти виной их сухости и бледности. Имея постоянно у себя перед глазами этих натурщиц, художник невольно привыкает к мужественным и угловатым формам, часто грубым и белым.

С декоративной точки зрения, Флоренция представляет много очень живописных портиков и галерей старинной постройки, церковных папертей, монастырских дворов и открытых зал (*loggie*); но собственно пейзаж открывается только в загородном парке, да и тот не представляет богатства красот. Природа действует заодно с древними мастерами, и развивает в художниках те качества, которые исключительно приписываются влиянию старых школ.

Под знойным, золотистым солнцем Неаполя, всё принимает совершенно иной, чарующий вид. Округлые груди соррентинок, живой, горячий цвет их лиц, резко отделяющийся от белого *mezzaro*[303], волшебная прозрачность воздуха и вод Санта-Лучии, волнующаяся мягкая линия гор, теряющихся вдали, сладострастные фрески Помпеи – манят воображение молодого художника очень далеко за

сферу академических совершенств, определенности и отчетливости рисунка. Он едва смеет легкой, как паутина, чертой обозначить на холсте неуловимую, чарующую своей воздушностью черту; он теряется в упоительной игре красок, прекрасных своей чистотой.

Академическое изучение в Неаполе всегда было в самом жалком состоянии. Профессоры очень много заботились о нравственности, и очень мало о техническом совершенстве своих учеников. Изучение нагого тела было исключительной привилегией герцога Сиракузского[304], и то еще натурщица должна была предварительно получить разрешение от своего исповедника. Лучшие залы музея, под названием *секретных*, были заперты для публики, и в особенности для художников, не имевших возможности подкупать неподкупных ничем, кроме денег, сторожей этих сокровищ [305].

Большая часть художников вынуждены были приняться за пейзаж, род живописи, не требующий столь тщательного изучения форм и рисунка. Неаполитанские декораторы приобрели общеевропейскую известность, ко-

торой они исключительно обязаны своим природным дарованиям и роскоши природы, их окружавшей. Не многим удалось отделиться от массы; зато эти немногие достигли мало кому доступной степени совершенства. Братья Палицци (*Palizzi*)[306] еще юношескими своими произведениями обратили на себя всеобщее внимание на парижской выставке. Меньшой из них не имеет себе соперников в рисовании животных. Не знаю, что именно доставило ему покровительство бывшего неаполитанского короля, которого он остался и до сих пор таким ревностным приверженцем, что в настоящем году не захотел ничего прислать на итальянскую выставку, где ему по праву должно бы принадлежать одно из самых почетных мест.

Соотечественник его, пейзажист Вертуни [307], живущий в Риме, вопреки запрещению папского правительства, выставил два вида из окрестностей Рима – новые доказательства того, что им вполне заслужена слава, которой он пользуется в ряду современных пейзажистов. Небо и ровная, уходящая в бесконечную даль, низкая местность – вот из чего Вертуни

сумел сделать две прекрасные и довольно большие картины, два задушевных лирических стихотворения.

В Неаполе мало так называемых исторических живописцев, которые в Италии пользуются еще, по старой памяти, именем *живописцев строгого стиля*.

События прошлого года, подвиги Гарибальди и его удалых сподвижников послужили материалом для нескольких очень маленьких произведений батальных и так называемого *genre*[308], – отрывочных страничек из всемирной современной летописи. Неаполитанцы начинают приобретать большую известность в этом роде живописи. Живописность тамошних костюмов, красота природы представляют богатое поприще их живым и наблюдательным дарованиям.

Пальму первенства между всеми заслужил Морелли[309], давний любимец неаполитанской публики и всех хорошо знакомых с Неаполем иностранцев. Морелли из тех исключительных дарований, которые развиваются наперекор всяким случайностям и обстоятельствам; и он развился тем полнее и само-

стоятельнее, чем резче противоречило ему всё его окружающее.

Очень молодым еще Морелли добился замечательной степени технического совершенства и славился как портретный живописец. Он однако не удовольствовался этим успехом и занялся более серьезным и строгим изучением. Первые его картины отличаются уже блестящими достоинствами колорита, живостью общего впечатления, заставлявшими забывать неудовлетворительность рисунка. Выставленная несколько лет тому назад в Неаполе картина его «Эпизод из Сицилианской вечерни»[310], доказывает большие улучшения в его манере рисовать. Шелковые ткани и металлические украшения написаны с поразительной правдой, блеском и силой красок. Картина эта имела очень большой успех; с нее тотчас же были сняты литографии и фотографии, которые и теперь еще продаются во всех эстампных магазинах Италии.

Вслед за тем Морелли получил заказ на парадную занавесь для театра Сан-Карло. Он изобразил на ней Олимп, на который музы

взводят всякого рода неаполитанских знаменитостей. Работа эта в очень больших размерах, и требовала строгих изучений и всех средств живописи. Приготовляясь к ней, Морелли сделал еще шаг вперед, и принялся за историческую живопись. Выставленная им в этом году картина «Иконоборцы»[311] превосходит всё предыдущие его работы смелостью удачной композиции и красотой выполнения. Только мне всё же кажется, что не этот род живописи настоящая область таланта Морелли. Его средневековые битвы, далеко не так оконченные, производят однако более сильное впечатление: сила света, живость движения, мастерское расположение групп, удовлетворяют самым взыскательным требованиям.

Но задушевное его произведение, и потому более всего возбуждающее сочувствие – это «Внутренность помпейских бань»[312]. Рассказать содержание этой картины, так чтобы читатели могли себе составить хотя какое-либо о ней понятие, я не берусь.

Сицилианцы прислали большое количество пейзажей и маленьких живописных

сцен из их простой, но симпатической жизни. Пейзажи эти – светлые и юные произведения недоразвившихся еще талантов; в них более действительного понимания красот и гармонии природы, нежели художественных достоинств; но я предпочитаю их как-то болезненно-ученым произведениям Малатесты[313] из Модены, хотя он и кавалер и к тому же еще потомок очень аристократической фамилии, чуть ли ни того Малатесты Бальйоне[314], который продал императору Флорентийскую республику.

Пока я писал эти отрывочные строки, выставку уже закрыли, а потому если кто из моих читателей возымел желание видеть собственными глазами то, о чем я передаю мои не систематические впечатления, ему придется подождать, пока в другой раз сделают единство Италии (тогда это может быть уже будет и не на шутку) и откроют снова, или во Флоренции, или в другом каком-либо городе, всемирную итальянскую выставку.

Л.М.[315]

Политическая литература в Италии

Период независимости:

«Oculus pastoralis», се. Фома Аквинский – Данте, Колонна – Петрарка и классическая школа – Джинно Каппони – Савонарола

Нигде в христианском мире мы не встречаем такого развития политической жизни, какое нам представляет Италия со времени своего появления на поприще средневековой истории и до своего подпадения под власть общеевропейской государственности. В этом отношении она оставляет позади себя даже классические республики древности, возглавлявшие на многочисленных рабов будничные житейские заботы, чтобы не отрывать своих граждан от политической деятельности. По крайней мере, здесь, в муниципально-федеративной Италии, мы встречаем такое многообразие и обилие элементов политического развития, которое, кажется, нигде не повторялось в истории. Папство и империя, федерация и централизация, республика и монархия, полноправие коммун и своеволие синьоров, – все формы народоправства, начиная от

флорентийской демагогии и кончая тяжело-весным олигархическим деспотизмом Венеции, – все виды государственности и гражданственности, когда-либо изведенные в истории романо-германских народов, сталкиваются в Италии одновременно на пространстве нескольких квадратных миль, иногда в стенах одного и того же города, стремятся искоренить, вытеснить друг друга, в свирепой борьбе за свое существование, не стесняясь в выборе средств, могущих доставить им хотя бы временную и местную победу над противником.

Те же самые элементы политического существования играют роль в истории и других европейских народов. Но там тот или другой из них подчиняет себе остальные и властвует более или менее безраздельно в течение целых веков, в силу одного того факта, что он мог подчинить себе все остальные, которые – при тогдашнем младенчестве мысли и ее робком смирении перед космическими явлениями – и не требует от него никаких иных объяснений его владычества. В Италии эти элементы существуют и развиваются совместно,

параллельно; являются поочередно здесь победителями, – там побежденными. А если какому-нибудь из них и удастся порой восторжествовать более решительным образом над остальными, то и это не создает устойчивого политического положения, потому что противники, – побежденные, но не уничтоженные, – тем внимательнее следят за минутой, удобной для того, чтобы склонить на свою сторону безапелляционное право силы.

Короче говоря, в то время, как для всей остальной Европы условия относительно устойчивого политического строя вытекают естественным путем из права силы, не нуждающегося ни в каком признании, кроме фактического, – Италия вынуждена создавать для себя эти условия силой собственного разума. Таким образом совершенно объясняется то раннее напряжение политической мысли, которое создает в Италии целую своеобразную политическую литературу уже в те отдаленные времена, когда мысль всего остального исторического мира не смеет еще затрагивать политических явлений; когда даже относительно простейших культурных явлений

она довольствуется одними мистическими представлениями.

Для самого посредственного мыслителя нашего времени было бы совершенно ясно, что причины тогдашнего бедственного положения Италии следовало искать в тех элементарных условиях, этнографических, климатических, исторических и т. д., из которых складывается общественный, а за тем и политический быт народов. Современный мыслитель легко мог бы понять, что с тех пор, как нет внешней силы, которая могла бы сгруппировать разнохарактерные элементы итальянской народности вокруг одного какого-нибудь знамени и заставить хотя бы некоторые из них отказаться от своей обособленности и своих притязаний, — то остается только один исход, а именно: разрешить и примирить все эти разноречивые притязания в широком синтезе, найти такую формулу социального устройства, которая позволяла бы счастливым гражданам торговых и промышленных городов развиваться во всю ширь, преследовать свои идеалы утонченной цивилизации, не ложась в то же время всей своей тяжестью

на полудиких жителей деревень, как голодные звери, рыскавших вокруг стен этих «мраморных и шелковых» городов, – которая позволяла бы итальянским феодалам преследовать свои геральдические идеалы, не забирая силой у богатых промышленников и купцов те деньги, без которых и Санчо Пайса очень хорошо понимал, что благородный рыцарь не может разгуливать по белу свету... и т. д. Мы не станем перечислять все те вопиющие контрасты, которые должны бы были быть примирены и разрешены для того, чтобы политическая жизнь Италии того времени могла войти в колею мирного развития: трудно предположить, чтобы одна из самых сложных и трудных задач общественной науки – наилучшая форма взаимных человеческих отношений, задача, перед которой останавливается в недоумении современный гений человека, в ту варварскую эпоху могла так или иначе сформироваться, – предположить это – значило бы допустить, что социология, труднейшая и сложнейшая из всех наук, могла возникнуть наперекор всем законам исторического развития, внезапно, как Минерва,

выйти во всеоружии из головы какого-нибудь олимпийца.

Политическая литература в Италии возникает не из любознательности кабинетного деятеля, отделенного от дрязг и треволнений житейских каменной стеной монастыря. Она уже в первой четверти XIII столетия является здесь, как продукт настоятельной необходимости дня, а потому при самом своем появлении носит уже чисто эмпирический характер, которого она и не утрачивает до самого позднейшего времени. Итальянское учение о государственности – «*Ragione di Stato*», – над которым изоцряли свои умы в течение пяти веков с лишком четыреста разнообразнейших писателей, во все периоды своего развития есть тот самый безнравственный, но трезвый макиавеллизм, т. е. политический эмпиризм, который, с легкой руки кардинала Казы[316], и до сих пор еще предают позору теологи и метафизики всего света, что однако же вовсе не помешало ему разыграть свою, весьма важную роль, не относительно политических судеб своей родины, а относительно развития общественной науки вообще, о которой всего

меньше помышляли авторы этих многочисленных трактатов «*de principis regimini*»[317] или «*de republica*»[318] и т. п. странных рецептов политического благоденствия, которое точно также не давалось Италии, как не давался философский камень или жизненный эликсир алхимикам, создавшим фундамент нынешнего естествознания в своей гоньбе за химерой...

Классический мир мало завещал своим преемникам по части политической литературы. Платон и Аристотель, Тит Ливий и Тацит впоследствии будут играть немаловажную роль в творениях итальянских публицистов, развивших на этих образцах не только слог своих трактатов, но и самые приемы своего политического мышления. Но начинается итальянская публицистика не с схоластических комментариев на классические образцы. Стимулом, побуждающим к творчеству итальянскую мысль на политическом поприще, является весьма естественный консерватизм в человеке, живущем среди калейдоскопа политических событий, причем каждая перемена декораций если не сносит с лица зем-

ли целые города, то оставляет их «как бы разрушенными землетрясением», по выражению современника. Вопрос в каждую данную минуту заключается в том, чтобы из имеющихся под рукой элементов создать силу, способную положить предел междоусобиям и анархии.

Древнейший памятник итальянской политической литературы относится к 1222 г.[319] Это анонимная брошюра, под заглавием «*Oculus Pastoralis*» (Пастырское око), род руководства для выборных судей или подеста – единственная политическая власть, которую, по взаимному соглашению, решаются выносить итальянские общины. Судья эти избираются общинами ежегодно. Их обязанность – решать распри городов; орудие их власти – доводы красноречия. Из этих-то кукол, облеченных правом говорить речи, если их пожелают слушать, – а иногда и повесить кичливого гражданина, если найдутся исполнители для приговора, автор «Пастырского ока» замышляет создать диктатуру, способную обуздать своеволие ненавистных ему общин, – род «бродячих королей», ежегодно сме-

няемых и почерпающих свою власть единственно в искусстве лицемерия, в умении обманывать народные собрания. Анонимный автор сам понимает трудность подобной задачи; а потому, в видах облегчения исполнения своей программы, он дает уже готовые образцы речей, которые должны быть произнесены в разных случаях; он почти подсказывает своему герою жесты и игру физиономии, которые, по его мнению, должны производить особенно потрясающий эффект.

Как ни мелочен кажется нам этот первый лепет зарождающегося макиавеллизма, как ни смешно его наивное вероломство, напоминающее лукавство дикаря или ребенка, – его программа риторического деспотизма все-таки не может быть названа мечтательной. Совершенно напротив, «Пастырское око» дает нам некоторое понятие о тех путях, посредством которых судьи и подеста сумели действительно наложить некоторое ярмо на страну, так что итальянский республиканизм и федерализм вынужден был искать защиты у папы и императора, или, точнее говоря, в постоянном колебании между этими двумя

представителями двойственной власти. В половине того же XIII столетия вспыхивает гвельфо-гибеллинская война со всеми своими ужасами. Само собой разумеется, что скромная диктатура подеста со всеми своими искусственными препаратами была скоро снесена с лица земли, как соломинка перед этой страшной бурей, где два мировых деятеля – демократический деспотизм католической церкви и иерархический деспотизм империи с чудовищной силой стремятся ко взаимному истреблению, на итальянских полях решают спор о всесветном своем владычестве.

Горизонт политической литературы Италии при этом значительно расширяется. Вместо скромного анонима «*Oculus Pastoralis*», пытающегося положить предел анархическому развитию народной жизни посредством своего хитросплетенного китайского церемониала, выступают крупные мировые деятели: св. Фома Аквинский со стороны гвельфов, со стороны гибеллинов – пресловутый автор «Божественной комедии».

Новую эру итальянской политической литературы открывает трактат св. Фомы «*de*

regimine principum»[320], которого две последние книги написаны его учеником Птоломеем Лукским (1240 г.). Легко убедиться, что стимул, побуждающий к политическому творчеству аквинского епископа[321], остается тот же, что и у анонима «*Oculus Pastoralis*», т. е. стремление обуздать анархию общин, искусственным путем создать сильную власть, которая положила бы предел итальянской неурядице. Только на этот раз под рукой у итальянского консерватизма оказываются более пригодные материалы для этой цели, и ему нет уже надобности теряться в мелочах и хитросплетениях. Как и все публицисты этого республиканского периода итальянской истории, св. Фома «советует обратиться к монархии, потому что она не допускает смут и неурядиц. Конечно, скипетр может попасть в руки тирана, но это неизбежное зло всех правительств. По крайней мере, сила, даже грубая, дает внутренний мир – необходимое условие жизни». *Unum porro est necessarium* [322] – таков, начиная с св. Фомы Аквинского, девиз всей итальянской политической литературы. Гвельфы и гибеллины, – светские и

духовные, паписты, империалисты и роялисты, отчасти даже классики с Петраркой – только повторяют то, что говорит аквинский епископ о необходимости всесветной монархии. Сильный своим классическим образованием, вдохновляемый непримиримой ненавистью к республиканской действительности, св. Фома поднимается действительно на такую высоту красноречия, отвлечения и обобщения, которая заставила прозвать его христианским Аристотелем. Для него «республики, собственно говоря, даже и не существуют; это исключения, редкие оазисы, затерянные в пустыне истории; переходные формы, иногда даруемые божией милостью некоторым нарочито боголюбивым народам»[323].

Замечательна схоластическая ловкость, с которой он устраняет пример римской республики, очевидно, не подтверждающий его основное положение о проклятии, тяготеющем над республиканским началом в истории. Он старается показать, что республиканизм Рима как бы только номинальный, что Рим и в республиканские времена играет роль монархии, получившей свыше призва-

ние соединить все народы под одной верховной властью. Как только эта задача покончена победоносными войсками республики, монархия тот час же вступает в свои законные права и вскоре спаситель, которого св. Фома уподобляет афинскому Кодру[324], открывает для нее новую эру. С этих пор, по мнению автора «*de regimine*», весь дальнейший прогресс человечества и христианства сводится к вопросу об учреждении всемирной духовной монархии, которая из Рима должна охватить собой весь цивилизованный мир.

Судя по тому единодушию, с которым политические писатели Италии всех школ и сект повторяют и варьируют на все возможные лады любимую тему св. Фомы – о неогценных преимуществах монархии над республикой, можно смело сказать, что вольность федеративных итальянских общин не дожила бы до XVI столетия, если бы политическая жизнь страны действительно сообразовалась с одними только выводами и измышлениями, до которых додумываются лучшие люди своего времени. Эта муниципально-федеративная вольность Италии в тече-

ние почти четырех веков находится в постоянной борьбе с осаждающей ее силой политического единства и стремления городов воздвигнуть на ее развалинах центральную власть. В самом деле, недостаточно еще прийти к сознанию, что «*Unum porro est necessarium*» для того, чтобы и в самом деле установить монархический покой и благочиние на месте мятежной анархии коммун. По меньшей мере, надо еще условиться и на счет того, какой должна быть эта желанная монархия; а на этот счет политическая литература Италии является столь же противоречивой и разнохарактерной, как и самая итальянская жизнь. Св. Фома, верный своему церковному сану, стремится к теократическому господству. Его монарх должен быть вовсе чужд страстей и тревожений земных, не знать ни славы, ни богатств, ни честолюбия; он должен быть больше, чем наместником – воплощением Бога на земле. Гвельфский епископ создает не политическую теорию, а целый религиозно-демократический культ, который, говорит он, уже властвовал над народами в лице Константина, властвовал над царями в

лице Льва III, поставившего Карла Великого своим наместником; в лице Иоанна XII, уничтожившего наследственность императорской власти. Остается сделать еще один шаг: уничтожить и избирательную империю; тогда глава католической церкви станет действительным воплощением земного Бога, которого власть нигде не встретит предела...

На первый взгляд легко может показаться, что трактат св. Фомы Аквинского – плод фанатического увлечения гораздо более, чем политического расчета – представляет воюющую противоположность тому политическому эмпиризму, которого наивный образчик мы видели в «*Oculus Pastoralis*». Может показаться, что епископ парит на такой высоте метафизических абстракций, куда нет доступа политической интриге; может показаться, что поглощенный своей утопией всемирного теократического царства, он забыл анархию итальянских общин, и если ненавидит кого-нибудь, то гораздо более гибеллинского императора, чем эту анархию, о которой он даже и не упоминает. Может показаться, короче говоря, что «*de regimine principum*» заключает в

себе схоластический свод мистической доктрины, а не политическую программу. Но всё это может казаться только до тех пор, пока мы будем рассматривать этот трактат без его соотношения к обстоятельствам времени и места. В сущности же никогда еще католическая церковь и римский ее глава не находили себе такого ловкого политического слуги, как этот литературный вождь партии гвельфов. Сделать священную хоругвь знаменем своей партии; обратить на войну против империи весь жар крестоносцев, указав им так сказать новую Палестину у себя дома, – обратить всю многочисленную рать монахов всевозможных орденов в служителей новой демократической религии земного искупления; создать из главы католической церкви вождя всесветной монархии человеческого рода, перед верховною властью которого должны порваться все оковы и преграды феодализма – это значило повторить великий переворот, уничтоживший языческую цивилизацию; но на этот раз повторить его в смысле Евангелия, без всякой примеси того иерархического военного начала, которое освобожденного римского

раба обращало в средневекового крепостного виллана.

И действительно, ничто не может сравняться с тем одушевлением, с которым гвельфы в Италии распространяются по селам и городам, объявляя истребительную войну всему, что носит сколько-нибудь феодально-имперский характер. Об итальянском федерализме никто и не думает. Но что такое этот федерализм, как не исторический компромисс между монархической демократией гвельфов и противоположными ей стремлениями? Фактически республиканская воляность Италии только и могла существовать до тех пор, пока длилась вражда папства и империи. Обобщение гвельфских начал, упразднение империи, пропагандируемое св. Фомой, грозило всего вернее и всего ближе гибелью республиканской федерации. По счастью для нее, враждебный гибеллинский лагерь встает во весь рост, напрягает все свои силы, чтобы не оставить и в области политической теории торжества за противником. Гибеллинский трактат «*de Monarchia*» (1311 г.) [325] и в значительной степени самая «Боже-

«Комедия» Данте Алигьери, изгнанного из гвельфской Флоренции, является как бы противоядием пропаганды св. Фомы.

«Увлекаемый по образцу своих предшественников идеей монархии, – потому что демон революции не знает еще на итальянской почве иной формы, – Данте в свою очередь только и говорит что о подавлении мятежей, о прекращении междоусобий, о соединении всех народов под одной верховной властью. Можно подумать, что читаешь самого св. Фому, но только в заключение, в выборе вождя для объединяемого человечества, он поворачивается спиной к папе и провозглашает светское верховенство императора. По мнению Данте вовсе не церковь зарождается вместе с миром, имея своим предназначением поглотить его в себе, а империя, имевшая своими предвозвестниками в древности четыре великие монархии: ассирийскую, мидийскую, греческую и римскую»[326].

Очевидно полемизируя против св. Фомы Аквинского, Данте усваивает в своем трактате даже самые приемы противника и с чисто аристотелевской обстоятельностью развива-

ет свою гибеллинскую философию истории, идущую вразрез с эмпирическими взглядами его противника. Идеалом гибеллинской утопии является Юлий Цезарь, впервые осуществивший идею всесветной империи, которую Данте противопоставляет гвельфскому идеалу всесветной демократической теократии. – Вероятно, вследствие этого, почти вынужденного, своего схоластицизма монархический трактат Данте никогда не пользовался ни той славой, ни тем значением, которые остались за его «Божественной Комедией», посвященной от начала до конца пропаганде тех же гибеллинских идей, которым она со служила неогрениенную службу, даже своими чисто художественными заслугами.

«Бог Данте – говорит Феррари – этот полужычешеский верховный судья, карающий грешников своими громами, очищающий нерешительных в огненной купели чистилица и награждающий добродетельных светло-заоблачным блаженством – это идол римских цезарей и германских императоров; идол гибеллинских фурий, вдохновляющий к междоусобной войне, в которой меч его правовер-

ных сектантов не пощадит сеятелей и защитников гвельфской демагогии. Нельзя не подивиться роскоши воображения, с которой флорентийский изгнанник так искусно разнообразит адские картины мучений, уготованных им для своих политических врагов! Какие страшные приговоры изрекает он над папами, королями и городами, как Пиза, Генуя, Флоренция, заслужившими его проклятие своей холодностью к гибеллинскому делу или своей преданностью делу врагов! Его поэма покажется нам горячечным бредом неизлечимого больного, если мы забудем, что она есть ничто иное, как картинное выражение стремлений юрисконсультов, философов, еретиков и ученых XIII и XIV столетия, которые все зывают к Цезарю, как единственному оплоту законности против всепоглощающего произвола демократической теократии, – единственному защитнику свободной мысли против инквизиции церкви, опирающейся на невежественность масс. Затоптанные в грязь сволочью гвельфских городов, окруженные толпой шпионствующих монахов, обвиняемые в преступлениях, в колдовстве и бунтовщице-

стве, передовые люди всей Италии горько оплакивали поражение Гогенштауфенов, бездействие Габсбургов, жалкое бессилие Люксембургского дома, унижение императора, которого Италия же заставила подчиниться папской инвеституре, чтобы сделать его своим орудием».

Таким образом, политическая литература Италии, – а в ней другой литературы нет, ибо, в силу поговорки, «что у кого болит, тот о том и говорит», – всякая мысль здесь фатально направляется на политическое поприще; уже в этом раннем периоде, который можно назвать периодом утопистов, она живет тем не менее насущными интересами, знакомит нас с деятельными элементами исторической жизни страны лучше, чем самая фактическая история того времени. В самом деле, фактическая история дает нам одни только равнодействующие противоположно направленных сил, тогда как политическая литература представляет самые эти силы во всей полноте и односторонности их развития. Ничтожным и бледным покажется нам то относительное величие, которого достигает папство с Бонифа-

цием VIII, этой карикатурой Гильдебранда [327], в особенности же, если мы сравним его с тем идеалом всесветной демократической теократии, которым св. Фома вдохновляет итальянских гвельфов. Но не надо забывать, что едва только гвельфская доктрина становится деятельной силой, выводящей католическую церковь из того политического ничтожества, в котором она обреталась в половине XIII века, когда ее глава блуждал без крова и приюта между Римом и Витербо, изгоняемый из стен священного города своими баронами, – против нее, т. е. против гвельфской доктрины тотчас же выступает новое политическое учение Данте: протест интеллигенции, успевшей уже народиться и окрепнуть под сенью феодального захвата и вытекших из него привилегий. В результате гвельфский идеал всемирного безразличия и равенства в рясе невежественного босоногого монаха разбивается о рыцарские латы гибеллинского поэта и мыслителя, и Италия остается всё при той же невозможности осуществить обоюдно признаваемую необходимость положить предел федеративной вольнице учреждением еди-

ной верховной власти по гвельфскому или гибеллинскому образцу.

Мы не вправе умолчать о римлянине Эджидио Колонна, современнике Данте и авторе весьма знаменитого в свое время гвельфского трактата тоже «*de regimine principum*» и «*quo modo sit regenda civitas aut regnum tempore belli*» («каким образом должен управляться в военное время город или царство»). Принимая исходную точку зрения Фомы Аквинского, он однако же вносит новый элемент в систематическую доктрину публицистов, ратовавших против итальянской свободы. Равно отклоняя верховенство и папы, и императора, как избирательных представителей власти, Колонна полагает, что только учреждение наследственного королевства может спасти Италию от смут и междоусобий. Скучный схоласт по методу и изложению, путающийся в мелочах и подробностях до того, что он даже заранее пытается установить особый ритуал – различный для зимы и для лета – супружеских сношений будущего короля с королевой, Колонна заслуживает особенного внимания потому, что он первый, меж итальянски-

ми публицистами, пытаются установить политическое равновесие и внутреннее благоденствие страны на добродетели правителя, признавая в то же время наследственную передачу власти.

Вслед за школой *утопистов* (хотя название это только в очень относительном своем значении может быть применено к выше перечисленным публицистам), или лучше говоря *унитариев*, выступает школа *классическая*, имеющая наиболее именитым своим представителем поэта Петрарку, певца любви и Лауры де Сад, который наполняет собой всю политическую литературу периода герцогов и синьоров. Бартоло[328], единственный современный ему публицист, только облекает в юридические формулы его не всегда ясные и определенные политические измышления.

Этот недостаток определенности не без основания ставят в укор Петрарке, не только в его сонетах, но и в самых его политических трактатах, которых он оставил три: «*de republica optime administranda*», «*de officio et virtutibus imperatoris*» и «*de libertate capescenda*»[329] не считая его трактатов «*Contra gallum*»

и «*Epistolae sine titulo*»[330]. Вследствие этой отличительной его черты некоторые весьма почтенные критики, как, например, Цезарь Бальбо[331] в своей «Истории», отрицают всякое политическое значение Петрарки и низводят его чуть не на степень средневекового Всеволода Крестовского. Даже Феррари, в своей превосходной «*Histoire de la raison d'Etat*», на основании которой собственно и составлен этот этюд, говорит нижеследующее:

«Прочитав и перечитав несколько раз певца Лауры, воздав ему должную дань почтения, удивления, заучив его наизусть и проанализировав все его неисчислимыя красоты, все-таки пожалеешь о Колонне, о св. Фоме, даже о самых посредственных писателях XIII века... Те, по крайней мере, грешили излишеством определений, подразделений, объяснений. Петрарка же на каждом шагу доводит нас до отчаяния. Его многоречие затмевает все. В своем энтузиазме он высказывает рядом самые противоречивые положения; его преклонение перед греко-латинскою древностью повергает его в празднословие, чуть-что не в безумие. Тут нелегко разобрать, кто друг,

кто не друг. Самое отсутствие педантизма в нем сбивает с толку; он никогда не поучает *ex cathedra*; никогда не излагает теории *ex professo*[332]»... «Да и чему может научить нас этот недалёковидный добряк, который равно дружен с гвельфами и с гибеллинами, с тиранами, синьорами, вождями всех партий?» – Многому, – как сам же Феррари отвечает на свой вопрос. Прежде всего тому, что каждый итальянский публицист есть продукт политического положения своего времени, вдохновляющийся насущными нуждами дня.

Но и итальянская жизнь перестает уже быть гвельфской или гибеллинской. Прошло время утопистических стремлений к объединению мира под теократической или феодально-монархической властью. Наступает время синьорий или тираний с одной стороны, время Висконти, Скала, д'Эсте, не то феодалов, не то удальцев по классическому образцу древних пизистратидов[333] с своеобразным оттенком, благодаря которому Италия двух последующих веков (XV и XVI) заняла навсегда почетное место в истории развития человеческого рода. С другой стороны это

было время гражданской доблести, не без классического и не без своеобразного оттенка.

Петрарка в своем поэтическом вдохновении преклоняется перед каждым из таких удальцов, по-видимому, даже и не замечая тех проделок сомнительной честности, которым каждый из них обязан своей властью. С не меньшим восторгом он воспевает также и гражданские доблести городов, отстаивающих свою республиканскую вольность. На первый взгляд он легко может показаться легкомысленной бабочкой, кидаящейся на всё, что блестит, и мы затрудняемся, чем объяснить ту, почти беспримерную популярность, которой он пользуется у современников. Одна отрицательная сторона его деятельности, т. е. его язвительные выходки против пап в Авиньоне и против империи, в особе Людовика Баварского, — еще не дают ключа к этому объяснению. Одно негодование, которым он пылает против гвельфско-гибеллинского прошедшего своей родины, не могло его сделать столь любезным для всех без изъятия политических партий своего времени.

Дело в том, что Петрарка первый разгадал и указал ту роль, которую Италия, в лучшую пору своего развития, играет в истории цивилизации романо-германского мира. Первовестник возрождения классической цивилизации, которая поражает и прельщает его всем тем, что было в ней истинно великого сравнительно с варварством средних веков, он однако же не становится ни древним греком, ни римлянином, не уходит в археологию, не отворачивается от настоящего. Он хочет, чтобы это настоящее всосало в себя всё, что есть облагораживающего и освобождающего в классических образцах. Он должен быть назван гибеллином и ближайшим преемником Данте в той мере, в какой он всеми силами своего художественного гения возмущается против невежественной, теократической демократии папистов; но он вместе с тем и чистейший гвельф, или, по крайней мере, не меньше «черного» (т. е. яростного) гвельфа ненавидит все следы феодального бесправия и насилия, которое он – или ближайший его пособник Бартоло – сопоставляет с законченными формулами и стройным по-

рядком вновь открытой римской юриспруденции. Классический мир велик и обилен формами права, которые вполне заслуживали быть пересаженными на новую почву. В этом пересаживании Петрарка видит историческое призвание Италии, а потому и призывает к нему все без изъятия элементы итальянского политического строя. Папство, империя, республики, синьории – все найдут себе место на этом пиру; все найдут себе дело в разрешении широкой национальной задачи, которую ставит для Италии певец Лауры. Но, разумеется, папство не должно оставаться тем «наихудшим из правительств, которым оно является в действительности; империя должна перестать быть своего рода генеральным штабом шаек завоевателей; республики, синьории: всё должно переродиться»[334].

В течение полутора столетий политическая литература Италии остается в том направлении, которое указал ей Петрарка. «Кондотьеры сменили синьоров; республики развились и усовершенствовались целым рядом революций; династии усовершенствовались тоже целым рядом убийств; но и к кон-

ду XV века идеи миролюбивого Канцоньери не утратили своего народного блеска». Пльитина, Понтано, Караффи, Патрици только развивают его учение, представляя лишь небольшие и чисто случайные отклонения от образца. Основные черты этой школы, названной классической, остаются неизменными: то же равнодушие к правительственной форме, достигающее до того, что, например, Патрици, епископ гаэтский, пишет одновременно хвалебный трактат и за республику, и за монархию; те же идеалы вождя, сильного не родом, а доблестью, дающего аудиенции под открытым небом всем и каждому, дающего деньги займы для общепользных коммерческих предприятий, — быков и плуги крестьянам, презирующего войны и этикет двора, но организующего флоты для отдаленных плаваний, с ученой или торговой целью; то же отрицание феодальных основ и преклонение перед аристократией ума и таланта во всех ее проявлениях.

Если недальнозоркие историки и критики могут отрицать глубокий политический смысл учений Петрарки, опираясь на неопре-

деленность выражений и форм, столь же свойственную его трактатам в прозе, как и его поэтическим сонетам, то нам достаточно указать только на один эпизод не литературной, а фактической истории Италии, где политический идеал певца Лауры осуществляется непосредственно. Мы говорим о восстании Кола ди Риенци в Риме (1347 г.), которое представляется действительно как бы исторической иллюстрацией политической доктрины Петрарки. Никто не оспаривает того, что Петрарка был душой и руководителем римского движения, может быть, чересчур классического и литературного для своего времени. Самый факт, о котором здесь идет речь, слишком хорошо всем известен. В мае 1347 г. молодой римский плебей, Кола ди Риенци, друг Петрарки, археолог и нумизмат, провозглашает себя трибуном народным, изгоняет из Рима феодальных баронов (Колонну, Орсини, Савелли и пр.), провозглашает с высот Капитолия новое правительство, под именем *buon governo* и требует к своему суду обоих императоров (Людовика Баварского и его соперника Карла Люксембургского). Как-

го рода правительственную форму представляло это римское «доброе правительство», во главе которого стал Кола ди Риенци? Была ли это республика или тирания? Какого рода властью был облечен сам Риенци? Всё это – вопросы, о которых в то время никто и не думал. Риенци называет себя *трибуном*, действует как диктатор, считает себя за прямого наследника Гракхов, – одним словом, как истинный герой Петрарки, «совмещает в себе и Брута, и Цезаря». Это не мешает ему однако же знать с полной достоверностью то, чего он хочет. Основать благоденствие народа на уничтожении всех следов феодализма; поставить науку и достоинство, как единственную основу социальной и политической иерархии – такова цель, которую он преследует в течение своего первого чересчур кратковременного царствования. Вся интеллигентная Италия восторженно приветствует совершенный им переворот; римские плебеи от него без ума. Однако же патриции возвращаются с новыми силами и, при содействии папского легата, изгоняют Риенци из Рима. Ему, однако ж, удалось бежать к Карлу IV, оставшемуся,

по смерти Людовика Баварского, единственным императором. В июле 1352 г. он снова возвращается в Рим, на этот раз в качестве уполномоченного от папы Иннокентия VI, в сообществе кардинала д'Альборноз и с званием римского сенатора. Народ встречает его с восторгом; но Кола ди Риенци в новом звании утратил свою самостоятельность, перестал быть тем воплощением героя Петрарки, которым он явился пять лет тому назад. Народ обвиняет его в измене; патриции организуют против него восстание; он пытается бежать, но его узнают и убивают люди Колонны. Так печально кончается эта кратковременная, но назидательная попытка осуществить в лицах политическое учение Петрарки.

С Петраркой мы присутствуем как бы при радостном и полном надежд начале пиршества, которое однако же не замедлит превратиться в безобразную оргию утонченнейшего сластолюбия и беззастенчивого разврата. Политика классической школы ставит единственным источником власти – личное достоинство, заслугу; и доктрина эта, со всей своей облачно-красивой неопределенностью, отве-

чает как нельзя лучше всеобщему настроению умов и положению дел в конце XIV и в начале XV столетия. Но политическая действительность не замедлила указать и обратную сторону этой блестящей медали, украшенной изящнейшими античными изображениями: оказалось, что древние образцы доблестей были мертвые идеалы, с которыми живые люди не имели ничего общего. Индифферентизм к политическим формам, вытекающий у публицистов классической школы из широкого понимания действительных нужд и стремлений современной им Италии, перерождается в систематическую измену всем партиям и знаменам. Герой Петрарки, которого воплощение вполне мы следили в Кола ди Риенци, но которого отчасти должен был воплощать каждый из Висконти, д'Эстэ, Медичи или Гонзаго, теперь перерождается в кондотьера, запроедающего на определенное число месяцев свою кровь какому угодно делу; предупреждая, что он взбунтуется или изменит, если случится замедление в уплате условного жалованья и благоразумно договариваясь заранее в том, что, в случае измены, даже без

столь законного повода, он не понесет наказания, кроме денежной пени. Собственно говоря, политическая теория Петрарки остается в полной силе и до XVI столетия; но прошло настроение, создавшее некогда Кола ди Риенци; утратилось чутье, посредством которого народы и общины Италии из ряда сомнительных личностей указывали именно тех, кому надлежало отдать в руки свою свободу. Успех стал единственной меркой доблести; «привычка соединять идею доблести с успехом заставляет ликовать при страшном крике: «*Viva chi vince!*» (Да здравствует победитель!)» (J. Ferrari. *Histoire de la raison d'Etat*).

Автор вышепоименованного сочинения указывает на «*Ricordi*» флорентийца Джинно Каппони, – род поучения, которое он оставляет своему сыну, – как на весьма красноречивый памятник глубокой политической развращенности Италии того времени. «Не вмешивайся в дела попов; они как накипь на Италии. Беги от церкви, – разве вздумается тебе помолиться. Если в ней выйдут распри, – тем лучше для Флоренции; но ты предоставь действовать природе, потому что папу необ-

ходимо иметь своим другом. Остерегайся гражданских войск, больших сражений, долгих осад и больших издержек; не доверяй власть имущим и т. д.».

Но еще красноречивее свидетельствует об упадке политического смысла и гражданского чувства в Италии та униженная роль, которую она играет при нашествии на нее французов с Карлом VIII. Смиренно преклоняются перед завоевателем пьемонтские и ломбардские города; Пьер Медичи подобострастно выходит ему навстречу и сдает ему тосканские крепости; Пиза отворяет перед ним ворота и пользуется оставленным в ней французским гарнизоном для того, чтобы отложиться от Флоренции... Этот верх унижения только в одном клочке полуострова вызывает мощную реакцию. Флоренция изгоняет Пьера Медичи, вернувшегося после встречи с Карлом VIII в Понтремоли, выбирает новую синьорию и решается дать отпор неприятелю. Когда Карл, не рассчитывавший на сопротивление, предлагает городу вступить в сделку, монах Пьер Каппони разрывает в его присутствии предложенный договор и произносит свое знаме-

нитое: «*Suonate le vostre trombe, e noi suonaremo le nostre campane*» («Трубите в ваши трубы, а мы ударим в вечевой колокол...»).

Флоренция с этих пор становится единственным очагом, где догорает с некоторым блеском пламя итальянской независимости. По весьма понятному закону реакции против политической распущенности классической школы, доведшей Италию до столь униженного положения, общественное движение принимает самое сдержанное, великопостное направление. Начатое монахом Каппони, оно кончается более чем монахом, почти юрочивым уличным пророком Савонаролой. Синьория, выбранная по изгнании Медичей, провозглашает Иисуса Христа королем Флоренции.

Говорят, будто бы на Савонаролу, отличавшегося суровым и мистическим направлением уже с молодых лет, произвело сильное впечатление изгнание Медичей, последовавшее вскоре после того, как он громил их в одной из своих проповедей и угрожал им проклятием. С этих пор он уверовал в свой пророческий дар, в то, что ему свыше дано призва-

ние спасти Флоренцию и Италию. Имея в своем повиновении монастырь св. Марка, монахи которого видели в нем почти сверхъестественное существо, он, по образцу Петра пустычника, организует на площадях Флоренции свою религиозно-политическую пропаганду, громит разврат, проповедует «карнавал воздержания», увлекает и фанатизирует флорентийских граждан новизной и оригинальностью представляемого им зрелища.

История этого трибуна-монаха хорошо всем известна. Но гораздо менее известно то, что вся его проповедь есть последнее усилие классической морали вдохновить нацию, удержать ее на том скользком пути, на который навел ее Петрарка. Савонарола возмущается во имя добродетели против двусмысленной классической системы, не касаясь самой системы, не дерзая ничего изменить в ней, даже не предполагая, что она может быть изменена. Он усиливается принимать ее в буквальном смысле, как будто Брут и Кассий были доминиканцы. На свете не бывало еще столь пылкого трибуна и столь честного гражданина; но зато мало было также людей,

способных до такой степени увлекаться нелепейшими предрассудками. Набожный до идолопоклонства, папист до нелепости, монах до безумия, он верит решительно во все. Он считает свое вдохновение за божественное призвание и серьезно ожидает вмешательства Промысла в житейские дела. Его учение или, точнее, его мания заключалась в том, что, если бы каждый, начиная от папы и епископов, кончая синьорами, судьями и солдатами, исполнял свой долг с той добросовестностью, которой требует от людей Иисус Христос, то Италия избавилась бы от всех зол. Даже как трибун, он держится политики Петрарки, признавая превосходство силы с точки зрения императорской и папской, но проповедуя во Флоренции республику и федеративное начало. Индифферентный между республикой и монархией, между Брутом и Цезарем, он хотел бы, чтобы на месте флорентийских Медичей, римских Борджиа, неаполитанских Арагонцев и миланских Сфорца были честные люди. Не подозревая, что зло истекает из самых положений, он впадает в грубую ошибку тем, что привязывается к людям и через это

теряется в бесчисленном лабиринте личных вопросов.

Как наивно-безжалостны, как глупо-суровы его проповеди! Он громил личные пороки, сластолюбие, содомию, злословие флорентийцев, корыстолюбие попов, распущенность женщин, безнравственность даже детей. Все общественные бедствия Италии кажутся ему только наказанием Божиим за эти пороки... «О, Рим! о, Флоренция! о, Италия! – восклицает он ежеминутно, – обратитесь, если вы не хотите, чтобы вас постигла участь Иерусалима!» Но так как все города Италии уже находились на лоне церкви католической, апостольской и римской, то они и не знали, куда им еще обращаться, как не знал этого и сам Савонарола... Он сжигал на площадях предметы роскоши, музыкальные инструменты, женские наряды; организовал корпорации детей-инквизиторов, которым поручал шпионить за родителями... [335] Его католический жар увлекал его на каждом шагу за пределы католической церкви, пока не довел его, наконец, до мученического костра, на который его сопровождали насмешки людей, некогда

боготворивших его, как пророка.

«Вместо того, чтобы обновить мир, Савонарола возобновил только яростный гвельфизм, возродил темные времена средневекового изуверства. Под его диктатурой Флоренция была посмешищем целой Италии»[336].

II

Макиавелли

«...di pensieri diabolici maestro, aiutatore del demonio eccelentissimo»[337]

Иезуиты о Макиавелли

– Вы передернули! – говорит с изумлением и негодованием молодой игрок одному весьма знаменитому в свое время московскому шулеру.

– Я давно знаю, что передергиваю, – отвечает тот, бросая в него картами, – но терпеть не могу, чтобы мне это говорили.

Человечество – этот туго развивающийся недоросль – в числе многих дурных привычек имеет и эту слабость московского игрока, не любившего, чтобы ему высказывали некоторые истины, которые он сам давно знает, но перед которыми считает нужным целомуд-

ренно жмурить глазки. Горе тем смельчакам, которые дерзают не уважать этой слабости: то вековое зло, присутствие которого они изобличают часто с тяжелой болью, взваливается на них, как будто они его создали.

Из такого тривиального источника исходит демоническая репутация, которой и до сих пор пользуется еще Макиавелли и не в одном только иезуитском лагере, желавшем сделать своей исключительной монополией политические открытия секретаря флорентийской республики, а потому и уверявшем мир в течение нескольких сот лет, будто все его открытия – порождение дьявола.

Истина, которую Макиавелли непрошенно высказал, заключается в том, что с XVI столетием наступает для политики рациональный период, что время всяких средневековых фикций прошло и должно уступить место царству разума.

Макиавелли имеет за собой целых три века итальянской истории, где в хаотическом беспорядке возникают и исчезают государства, то вольные, то деспотические, – партии и секты, имеющие в основе заведомую

ложь, – династии, возвеличенные и прославленные преступлением; ниспровергнутые за великодушный порыв или за недостаток коварства и лицемерия. Очень недальнозоркому человеку из обзора такого исторического материала становится ясным, что политическая история не нравоучительный роман, где

*Добродетель торжествует
И наказуется порок...*

Становится ясным, что самое понятие о добродетели и пороке на политическом поприще подчинены каким-то другим условиям и соображениям, а не подчиняют себе действительную жизнь: то, за что боготворят в одном лагере, предается анафеме в другом; что быть удачливым – одно дело, а быть добродетельным или хотя бы только полезным или нужным – совсем другое дело. Кому, например, были нужны все эти Сфорцы, Борджии, Бальони, последние Медичи и т. п.?.. Становилось ясным, короче говоря, что явления государственности вращаются в каком-то особом цикле, имеющем весьма мало точек соприкосновения с предвзятыми понятиями,

сознанными стремлениями и идеалами человечества; что не они управляются принципами, а «драма принципов вытекает из них, как дело чисто фиктивное, причудливое и переменчивое».

Всё это очень хорошо понимали те политические игроки, которыми так богата Италия этого времени, которым будет исключительно принадлежать политический мир с тех пор, как нарушилось фанатическое единство средневекового мирозерцания и пока не сложилось новое... Всё это они знали очень хорошо, но не любили, чтобы им говорили о том. А Макиавелли имел эту неосторожность. Разоблачить тайну успеха счастливых игроков – значит уже подорвать их авторитет. Поэтому Макиавелли должен быть причтен к мученикам свободы, несмотря на то, что, как гражданин, он всю свою жизнь честно трудился над созданием в Италии грубой централизации, и совершенно помимо вопроса о том, писал ли он своего «*Principe*» с целью упрочить во Флоренции подорванное у корня, сгнившее иго Медичей?

Величие Макиавелли заключается в том,

что, следуя хронологически за Савонаролой, он возвышается до реального представления об идее государственности и его только относительной, условной зависимости от человеческого произвола. Вся публицистическая и политическая деятельность секретаря флорентийской республики проникнута признанием того, что явления государственности подлежат своим непреложным законам, и пытливым стремлением проникнуть в эти законы, уловить объективную связь между весьма отдаленными политическими событиями, разложить на его составные части – так сказать, анатомировать государственный механизм. Он первый изучает и наблюдает политический мир точно так же, как умный лоцман, например, изучает особенности опасного моря, по которому ему приходится плыть, понимая очень хорошо, что никакая благонамеренность не поможет ему в борьбе с противными ветрами и течениями, с подводными камнями и мелями; что только разум и знание дадут ему возможность миновать все невзгоды, подчинить себе безразличные стихии и благополучно ввести свой ко-

рабль в желанную гавань. Эти-то особенности ставят его неизмеримо выше не только всех его предшественников и современников, но и тех метафизиков общественности и государственности, которыми столь богата Европа в течение трех веков, следовавших за реформацией. Можно смело сказать, что из всех публицистов первых восемнадцати веков христианства, Макиавелли ближайший к нашему времени по трезвости и реальности своих политических воззрений[338]. Он один стоял у рубежа позитивного периода общественного вознания, когда европейская мысль еще только устремлялась в метафизический его период.

Всего более к Макиавелли следует применить то, что выше мы говорили об эмпиризме итальянской публицистики вообще. Как анонимный автор «Пастырского ока», так точно и Макиавелли мало заботится о том, какое место займут его исследования в общей сокровищнице человеческих знаний. Он прежде всего итальянский гражданин, поглощенный исключительно мыслью о том, чтобы вывести свое отечество из той бездны по-

литических зол, в которой оно тонет. Он торопится дойти до частных решений практических задач, совершенно не заботясь об общих научных законах, о методологическом прогрессе. Свое реальное, строго логическое мировоззрение он высказывает без всякой внутренней целостности, часто в нелепой, разрозненной форме рецептов против того или другого политического недуга Италии вообще и Флоренции в частности. Тогда он целые свои трактаты посвящал мелочным и сомнительно-гуманным целям, как, например, трактат «О средствах усмирить жителей Кьянской долины» (*Modo da praticarsi contro i popoli ribellati della Val di Chiana*[339]), или даже и более общеизвестный его трактат «О войне», написанный с специальной целью убедить флорентийцев в необходимости заменить кондотьеров правильным республиканским войском: «кто поручает защиту своей свободы другим, тот заслуживает быть рабом».

Нельзя не подивиться той глубокой силе ума, пронизательности и меткости психологических наблюдений, знанию людей и событий, которые Макиавелли выказывает на

каждой странице своих сочинений. Но можно прочитать его целый трактат о «Государе» или любую из его «речей о декадах Тита Ливия» и не составить себе определенного понятия о том значении, которое имеет Макиавелли в истории развития общественных наук. Он нигде не высказывает своего политического мирозерцания систематически. Его личная гениальность служит для него заменой сколько-нибудь установленного и последовательного метода исследования. «Я погрузился в княжества, – говорит он о себе, – я хотел знать, как поступают они, кто их приобретает, удерживает в своей власти или теряет. История государей и тиранов раскрыла мне мысли и действия их политики. Я их и сообщаю народам для поучения»[340]. Более точных указаний на методы политических исследований у него нет. Как Адам Смит создает целые школы экономистов-эмпириков, сам слишком часто забегая вперед голого и недалезоркого эмпиризма, так точно и Макиавелли создает школы эмпириков-публицистов, слишком часто возмущающих нас своей неспособностью проникнуть в глубь

наблюдаемых ими явлений так, как проникал великий маэстро, – перерождающих политическую науку в какую-то каббалистику; искусство «вызывать великие последствия сочетанием мелких причин» – в эквилибрическую пляску на туго натянутом канате противоречий, двусмысленностей и надуваний. Но когда умный и талантливый современный публицист (о котором мы будем говорить ниже) принимается, наконец, за подведение итогов всей этой разрозненной, отлитой в мириады ничем не связанных между собой афоризмов и поучений деятельности, – то мы видим, что очень немногое еще остается сказать или сделать для того, чтобы политический эмпиризм раз навсегда мог считать свое дело теоретически поконченным; чтобы самые сложные и запутанные вопросы государственности могли быть сданными на решение той научной антропологии, создание которой составляет честь мыслителей и ученых нашего времени...

«Кто не знает теперь наизусть поучений Макиавелли? Они составляют свой особый род. Нельзя, вступив в сферу его соображе-

ний, не усвоить себе тотчас же его манеры. Его речь, спокойная и ясная, без тени схоластики, охватывает все случаи государственной борьбы, и никогда он не преминет указать пальцем действительного врага; никогда не ошибется в своем указании. На каждой странице он открывает новые и непредвиденные горизонты... Его нельзя сократить или сжать, не уничтоживши его совершенно... Он срывает маску с героев Петрарки, нерешительно лавировавших между республикой и монархией и примирявших своей личностью эти две непримиримые государственные формы. Обрисовывая наипротивоположнейшие политические роли трибуна, тирана, кондотьера, пророка, – восстанавливая с поразительной точностью смысл замечательнейших событий греко-латинской древности и выясняя механизм и значение крупнейших государственных переворотов своего времени, – он в первый раз сопоставляет лицом к лицу политические противоречия, разбирает их, указывает их взаимные соответствия и соотношения, вырабатывающиеся в междоусобной войне. Он почти изъят от первородного греха

всех публицистов, рассматривающих государство как нечто изолированное и само в себе, – изъят от мономании политических верований, от пошлого сомнамбулизма литературно-политических вождей, фарисеев. Более того: прежде на реформы смотрели как на величайшие бедствия, видели в них только хаос и слепую случайность, классифицировали их по Аристотелю на семь категорий и изыскивали все средства к их немедленному пресечению. Макиавелли же учит создавать реформы, учит создавать и разрушать отжившие порядки, противопоставлять живую и вечно подвижную силу силе традиции.

Организатор борьбы, он презирает благоденствие покоя и застоя. В силу этого каждый волнующийся народ, волей или неволей, вынужден подчиняться законам, начертанным флорентийским секретарем; каждый человек, возвысившийся над средним уровнем силой геройской или преступной своей гениальности, непременно воспроизвел в себе один из типов, обрисованных Макиавелли»[341].

Патриотический итальянец, у которого мы заимствуем эту общую характеристику Ма-

киавелли, упрекает автора «*Principe*» и еще более замечательных «*Discorsi*» в одном: а именно, что Макиавелли не понял истинного смысла итальянского политического права. Чтобы выяснить значение этого упрека и вместе степень его основательности, мы должны заметить прежде всего, что Макиавелли, пополняя пробел классической школы, резко разграничивает две политические формы: республиканскую и монархическую. Ни одна из них не обморочивает его, не привлекает к себе настолько, чтобы заставить его с предубеждением отнестись к противной. Совершенно напротив: он старается уяснить те условия, которые в одном случае делают предпочтительнее республику, в другом монархию. По обыкновению своему и всей, даже значительно позднейшей итальянской публицистики, он не выводит своего анализа из замкнутого круга чисто политических условий. Но в этих тесных пределах едва ли и современный мыслитель нашелся бы добавить что-нибудь к его наблюдениям. Быть может, он несколько преувеличивает значение сознательности в деле выбора между этими

двумя формами. Но, – говорит он, – однажды убедившись, что республика или монархия более соответствует основным условиям национального быта, должно неуклонно следовать по выбранному пути. По мнению Макиавелли, всё политическое зло Италии именно от того и происходит, что Италия не может остановиться в выборе.

«Эта ненависть к итальянскому прошлому, – говорит Феррари, – ослепляет его. Вместо того, чтобы видеть в республике и монархии два крайние противоположные термина в борьбе, между которыми слагается историческая жизнь, Макиавелли впадает в общую односторонность, в республиканский или монархический абсолютизм». «Будучи непримиримым врагом феодалов, в которых он видит только орудия пап и императоров, гвельфов и гибеллинов и тысячи других паразитных сил, он выказывает чисто вандалское непонимание итальянских традиций... Относительно пап, он не хочет понять, что своей корыстной борьбой против империи они совершили чудесную революцию разделения властей. Коснется ли дело Григория VII, гвельфов и гибел-

линов, он не видит, что огонь их войн очистил Европу от миазмов начала средних веков. В эпохе синьорий он видит только ловких обманщиков, извлекающих корыстную пользу из глупости партий. Наконец, в современную ему эпоху – в это время изобретений и открытий, – он жалеет о феодальных армиях; он хочет заменить правильными солдатами наемников, не замечая, что они-то и есть герои насилия, ужас тиранов. Он не имеет глаз для блестящей плеяды великих людей, которых мириадами порождают эти волшебные города: Рим, Неаполь, Верона, Флоренция. Он может только презирать свою блестящую родину, где он видит лишь трусость, бедность, корысть и повсеместную развращенность. Вся Европа удивляется Льву X, окруженная блестящим сонмом поэтов, художников, историков, философов, ученых... Макиавелли остается холоден и суров... Он попирает ногами это чудное мраморное здание итальянской истории, по которому узорчатым карнизом извивается свобода; здание, состоящее наполовину из республики, наполовину из монархии; полу-федеративное, полу-уни-

тарное... Он проклинаят эту Италию, полу-папскую, полу-императорскую, где ничто не существует собою; где каждый город есть только клочок чего-то; где каждый пользуется свободой под условием утраченной национальной независимости...»[342].

Феррари очевидно делает здесь ошибку, не различая в Макиавелли практического деятеля, политического вождя, почти должностное лицо (Макиавелли, как известно, был секретарем флорентийской синьории при гонфалоньере Содерини, прославившемся бесхарактерностью и глупостью), публициста-теоретика. А это подразделение в особенности важно относительно такого деятеля, который, как Макиавелли, в теории исключительно только наблюдает и объясняет, т. е. принимает всякую действительность такой, как она есть, не предъявляя ей никаких требований. Громадная разница существует между теоретическим отрицанием какого бы то ни было явления или практическим признанием его негодности в данное время, которая может выражаться в резких Филиппинах и сатирическом бичевании еще более едком, нежели

то, какому подвергает Макиавелли современную ему Италию. Из того, что было сказано выше и нами, и самим Феррари, уже явствует, что Макиавелли и не думал отрицать двойственный, полумонархический, полуреспубликанский характер Италии, как *историческое явление*. Совершенно напротив: он именно на этот-то двойственный характер и указывает, как на причину смут и междоусобий, в которых проходила вся итальянская политическая жизнь. Но самая страна в его время находилась совершенно не в тех условиях, в каких она была, например, во времена Петрарки. Те светлые порождения, которыми справедливо гордится Феррари за свою родину, достались Италии не даром. Лучшие ее силы были затрачены в борьбе. Истощенная страна во чтобы то ни стало требовала замирения. Не находя его в себе, Италия уже значительной своей частью отдалась иностранцам. С самого начала XVI века, мы уже повсюду здесь встречаем смутное сознание, что Италия окончила свою политическую роль. Между тем в непосредственном ее соседстве сложились уже два сильные государства:

Франция и Империя. Унитарно— монархическое начало надолго взяло в них верх над началом федеративно-республиканским. Не надо было даже макиавеллевской пронизательности, чтобы понять, чем грозило Италии такое соседство. Папство, как политический противовес империи, уже не существовало. При таких условиях — прошедшее Италии становилось невозможностью: его отрицала история. Необходимость обороны подавляла все другие соображения. Для мыслителя едва ли могло оставаться сомнение насчет исхода предстоящей борьбы; но на гражданине лежала обязанность всеми силами противодействовать грозившей опасности.

Не теоретиком-публицистом, а итальянцем, решившимся отстаивать свою национальную независимость, отправляется Макиавелли к Цезарю Борджиа (герцогу Валентино, сыну папы Александра), который один тогда во всей Италии располагал силами и способностями, дававшими хотя некоторый шанс на осуществление макиавеллиевского проекта объединения Италии. Смерть папы Александра и болезнь его сына (говорят, что

отец и сын выпили по ошибке отраву, приготовленную ими для других; причем папа умер; а Цезарь Борджиа опасно заболел и не оправлялся уже до конца своей жизни) лишили объединительные планы Макиавелли последней опоры. Вернувшись во Флоренцию, он вскоре потерял свою секретарскую должность при воспоследовавшем восстановлении господства Медичей (Юлиана и Джованни, 1512 г.), предан пытке и заключен в тюрьму, из которой вскоре вышел, благодаря покровительству Льва X. В это время он написал своего «*Principe*», в посвящении которого семейству Медичей обыкновенно видят доказательство гражданской безнравственности злополучного экс-секретаря. Книга эта – последнее усилие со стороны Макиавелли осуществить то государственное объединение Италии, которое одно могло еще дать некоторую гарантию итальянской национальной независимости. Но если Цезарь Борджиа помог осуществить широкий политический план Макиавелли, то Медичи оказались неспособными даже понять его. Отстраненный от всякого участия в делах, он пишет

свои «Discorsi» и флорентийскую историю. Он умер в 1527 г., несколько дней спустя после последнего изгнания Медичей и по возобновлении республики, почти накануне роковой борьбы под стенами Флоренции, – борьбы, которая так сильно подтвердила его опасения за независимость разъединенной Италии, ставшей на долгие времена достоянием чужеземцев.

Эмиль Денегри[343]

Политическая литература в Италии (Статья вторая)

III

Период испанского владычества:
Джаннотти и венецианская школа –
Гвиччардини и индивидуалисты – Са-
ломонио, итальянский предшествен-
ник Вольтера, и Кардинал Вида – пред-
шественник Руссо

Макиавелли, сходя в могилу среди мрач-
ных предчувствий своего дальновидного
гения, указывал своим соотечественникам на
опасность, угрожавшую Италии; он видел в
ее разъединении бессилие перед внешними

врагами, в ее внутреннем антагонизме, отделившем отупевший народ от развратного патрициата целой пропастью, ее социальную немощь, и потому всеми силами старался создать такую политическую власть, которая бы, даже ценой деспотизма, приобрела Италии внешнюю силу и внутреннюю гармонию. Он ошибался в практических результатах своей реформы, он требовал вместо бессилия насилия, но в его время ни один гениальный человек не думал иначе; в его время никто не сомневался в том, что политическая централизация есть единственная панацея силы и могущества народов. Так думал и Макиавелли... На его воззрениях воспиталось целое поколение флорентийских демократов, оставивших по себе громкие имена в истории: Микеланджело Буонарроти – художник, инженер, артиллерист, дипломат, и всего более итальянский патриот – представляет нам точно такую же типическую личность гражданина, какую мы видим в Ферруччи, в этом Гарибальди XVI века, начальнике тех немногочисленных гражданских войск, которые завела, наконец, у себя Флоренция, уступая доводам

Макиавелли; в Кардучио – гонфалоньере времени падения флорентийской республики; в Кастильоне и в сотне других, более скромных вождей и деятелей партии «*dei giovani*» (молодых) или «*arrabbiati*» (т. е. бешеных, или крайних республиканцев).

Геройские усилия этой горсти людей, сильных духом и патриотизмом, придали последним годам существования итальянской независимости грандиозный и поэтический отблеск. Но Флоренция тем не менее должна была отворить свои ворота войскам Карла V, осаждавшего ее по просьбе папы Климента VII, для того, чтобы посадить незаконного папского сына, мулата, Александра Медичи на флорентийский престол. С падением Флоренции итальянский федерализм лишается последнего своего оплота. Остаются, правда, независимые республики, но Генуя добровольно отдалась Испании, чтобы удержать номинальную независимость; Болонья точно также отдалась папе; Сиена быстро стремилась к гибели и уцелела на первое время только благодаря тому, что ее как будто вовсе не замечали. Оставалась, следовательно,

только одна Венеция, которая и в лучшие времена, замкнутая в своей своеобразной олигархической скорлупе, чуждалась итальянских стремлений, мало принимала участия в судьбах соплеменных с ней республик и еще меньше пользовалась чьими бы то ни было симпатиями.

Венеция и Флоренция изображали собой два противоположные полюса итальянского муниципально-федеративного развития. Краеугольным камнем экономического благоденствия Венеции была, как известно, торговля с отдаленным Востоком, требовавшая громадных капиталов. Народ, следовательно, находился здесь в экономической зависимости от крупных капиталистов или олигархов, а потому последним стоило небольшого труда упрочить за собой и политическое всемогущество. Излишне было бы распространяться о том искусстве, с которым венецианская олигархия владела двумя вернейшими орудиями всякого деспотизма: устрашением и подкупом. Флоренция же с самого начала своего существования эксплуатирует по преимуществу такие экономические отрасли, где лич-

ный труд имеет более значения, чем капитал; поэтому, развитие ее приняло крайне демократический характер.

Во второй половине XVI столетия внутреннее состояние Венеции едва ли утешительнее того, какое представляет нам в это время побежденная и порабощенная Флоренция. Морские открытия испанцев и португальцев подрывают у самого его корня источник венецианского благоденствия. Начинаясь разоряться, денежная аристократия св. Марка становится раздражительнее и подозрительнее, иго, которое она налагает на своих беспечных и пассивных рабов, становится невыносимее и тяжелее, по мере того как оно утрачивает основы, когда то делавшие его до известной степени необходимым и законным. Никогда ни один из Медичей во Флоренции, даже опираясь на императорские штыки, не смел бы позволить себе и тени того, что составляло обычное явление в венецианской внутренней политике. Но Венеция, одна во всей Италии, от конца XVI века, не получает, прямым или косвенным путем, приказаний из Мадрида или из Рима, а это составляет весьма обо-

льстительное преимущество в глазах народа, только что утратившего национальную свою независимость.

С падением Флоренции, Венеция становится тем образцом, к которому обращают свои взоры патриоты и демократы всей Италии. Флорентиец Джанотти, с своими двумя трактатами о флорентийской и венецианской республиках, отмечает собой переворот, совершившийся в итальянской политической литературе одновременно с историческим катаклизмом, обрушившимся на Италию в царствование Карла V.

Будучи по времени ближайшим преемником Макиавелли, Джанотти, как по духу своего времени, так и по характеру своей публицистической деятельности, представляет собой вопиющую противоположность пресловутому флорентийскому мыслителю. Насколько Макиавелли всё подчиняет разуму и беспристрастному анализу, настолько в Джанотти преобладает элемент страстности, ненависти к чужеземному владычеству и к туземным партиям, не разделяющим его буржуазного энтузиазма к республике св. Марка.

Насколько Макиавелли проникнут уважением к естественному ходу событий и стремлением разгадать и уяснить причинную связь между явлениями политического быта, настолько же Джанотти всё считает зависящим от произвола, мелочной случайности и отдельных личностей. Читая Джанотти, – говорит Ферарри, – так и видишь перед собой политического эмигранта, озлобленного недавним поражением, бегущего чуть не без шапки от преследующих его полициантов, и для которого весь мир, вся природа клином сошлись на событиях, которых он был односторонним деятелем. Он ничего не объясняет, но горько жалуется и злобствует. По его мнению, история приняла бы совершенно иной поворот, если бы Никколо Каппони послушался его и усилил власть синьории; если бы Филиппо Строцци не упорствовал и т. п. «Неистощимый на подобные предположения, этот знаменитый мученик флорентийской независимости твердо убежден, что одним ловким ударом флорентийского кинжала, удачной дипломатической интригой, основанной на ненависти Франции против империи, можно

было бы еще поправить всё дело»[344]. Коротче говоря, Джанотти рисуется одним из тех революционных Дон Кихотов, которые со дня на день ждут неизбежного, как пришествие Мессии, осуществления своих заветных мечтаний. Для него вопрос заключается только в том: что же делать тогда, когда Флоренция снова получит возможность распоряжаться своей судьбой?

Ответ, по его мнению, только и может быть один: водворить организацию св. Марка на берегах Арно, откуда она естественно распространится по всей Италии. И он пишет на эту тему трактаты, диалоги, критические статьи, имеющие целью ознакомить современников с чудесной организацией венецианской республики.

Далеко не беспристрастный в своем изучении политического быта Венеции, Джанотти выказывает однако же при этом гораздо больше проницательности и глубины, чем те из современных ему многочисленных панегиристов Венеции, которые имели счастье быть сами подданными республики св. Марка и даже занимать почетные должности в ее управ-

лении – как, например, Меммо, Контарини, Гаримберто[345] и др. Известно, что свобода мысли и слова вовсе не входила в число тех благ, которыми венецианский сенат и совет считали нужным наделить своих подданных. Поэтому панегирики Венеции собственно венецианского изделия все носят на себе характер хвалебной оды, писанной по официальному заказу. Джанотти же искренен в своем одностороннем увлечении. Его анализ свободен и довольно глубок: он не падает ниц перед внешними формами. Важно, по его мнению, не то, что в Венеции дож занимал, место флорентийского гонфалоньера и сенат – центр флорентийской синьории и т. п., а то, что в Венеции довольно сильно развито среднее сословие; тогда как в остальной Италии его не было вовсе, или же, по крайней мере, оно не играло политической роли. Таким образом, этой существеннейшей своей стороной деятельность Джанотти невольно напоминает знаменитую брошюру аббата Сизейса «*Qu'est-ce que le Tiers état?*» (Что же такое – это среднее сословие?). Флорентийский эмигрант 1540 г. отвечает на этот вопрос точно также,

как и французский аббат два с половиной века спустя: «*Il n'est rien*» – «*Que doit il être?*» – «*Tout*»[346].

По тому впечатлению, которое и теперь страстный слог и талантливая речь Джанотти производят на читателя, вовсе не сочувственно относящегося к его политическим доктринам, легко можно судить об увлечении, с которым его должно было встретить большинство современников. И действительно, направление, данное им политической итальянской литературе, остается преобладающим в ней до XVIII века, т. е. до тех пор, пока в Италии существовала политическая литература. Но его вина, если в числе деятелей этого направления мало оказалось людей способных, которые бы усвоили себе существенные черты его учения и повели бы дальше его доктрину буржуазного владычества. Большинство же панегиристов Венеции уловили только случайные черты; таким образом, это литературное направление быстро перерождается здесь в памфлеты против испанского владычества во имя одного только стихийного чувства национальной независимости.

Вождем школы, противоположной венецианским панегиристам, является соотечественник Джанотти, флорентийский же историк Гвиччардини. Мы уже говорили, что со времени первого похода в Италию Карла Анжуйского, политическая жизнь страны сосредоточилась в одной только Флоренции; а потому неудивительно, что пальма первенства в области итальянской публицистики этого времени остается в руках сограждан Капони, Савонаролы и Макиавелли.

В лице Гвиччардини макиавеллизм самого лучшего закала заявляет свои права против табунного настроения тогдашнего общественного мнения, олицетворяемого Донато Джанотти.

Гвиччардини по преимуществу знаменит своей историей; но для нас здесь гораздо интереснее и важнее его небольшой трактат: «*Pii consigli ed avvertimenti in materia di repubblica e di privata*» (Благочестивые[347] советы и предостережения касательно общественных и частных дел[348]), тут он, не будучи стеснен рамками повествователя, выказывает в отрывочной и бессистемной форме

афоризмов мирозерцание и личность, с высшей степени заслуживающие внимания. Мы не знаем, какая прихоть побудила Гвиччардини снабдить эпитетом «благочестивые» свои «*Avvertimenti*», заслужившие наравне с макиавеллиевским «*Principe*» анафему католической церкви и политических ретроградов. С первой строчки этого писателя вы признаете в нем одну из тех редких и трезвых натур, который ни в каком случае не погрешат против второй заповеди, «не создадут себе кумира и всякого подобия», не поставят произвольных границ своей критике и своему скептицизму; – которым вполне доступно одно только высшее благочестие, заключающееся в неподкупном служении истине.

«Глубокий наблюдатель, тонкий аналитик политических событий, Гвиччардини не знает гнева; но точно также не знает и жалости к деятелям, не умевшим неуклонно преследовать цель, которую подсказывала им их политическая благонамеренность. Его история и до сих пор еще тяготеет, как угрызение совести на нашей национальной литературе. Никто лучше его не становился на точку зрения

итальянской независимости; он не упустит помянуть добром ни одного города, ни одного синьора из тех, которые оказали сопротивление Карлу V. Но точно также он не умолчит ни об одной из неудач, гнусных проделок и измен, покрывших позором имена этих квасных патриотов»[349].

Как и все резко обособленные натуры, не умеющие слиться с какой-либо политической партией, Гвиччардини возбуждает против себя всех. Особенно же приверженцы независимости карают в нем изменника и отщепенца, основывая свои проклятия столько же на его публицистической деятельности, сколько на том, что Гвиччардини принял на себя должность домашнего секретаря Медичей. Таким образом, между ним и представителями литературно-политического направления, начатого Донато Джанотти, идет ожесточенная полемика.

«Вы кричите против несправедливости того деспотизма, под который мы подпали. Но разве есть деспотизм, который основывался бы на справедливости? Разве империя не есть продукт узурпации Цезаря; а папство не во-

дворилось двояким, духовным и светским, насилием?..» «Вы хотите революции. Ах, если бы я мог ее сделать один, то, конечно, не преминал бы. Но соединяться с безумцами и шутами... Никогда!»

«Флоренция погибла безвозвратно; напрасно вы станете теперь погружаться в политику. Поверьте, игра не стоит свеч, и вы же потом жалуетесь на судьбу, когда попадаете в изгнание, теряете доверие и состояние»[350].

Читатель, может быть, не без основания возмущается бесцеремонным эгоизмом, лежащим в основе мудрых советов, расточаемых флорентийским историком своим соотчичам. Выбирая между фальстафовским квинтизмом Гвиччардини, готового мириться со злом, неотразимость которого он понимает, и между дон-кихотством, заведомым самообольщением Джанотти, призывающего во что бы то ни стало к борьбе, хотя и не представляющей вероятности успеха, он (т. е. читатель) готов, может быть, предпочесть последнее. Бесспорно, Гвиччардини не заслужил бы той награды, которую римский сенат присудил побитому своему полководцу за то, что тот не

отчаялся в спасении отечества. Признавая в Гвиччардини гений, весьма сродный тому, который одушевлял такого деятеля, как Макиавелли, мы не можем не сознаться, что между этими двумя деятелями существует в то же самое время разница весьма существенная, особенно с точки зрения гражданской нравственности. Макиавелли, точно также как и Гвиччардини, ни во что не ставил в политике благие намерения, когда они не сопровождались целесообразно направленной деятельностью; — не щадил самообольщения и иллюзий; но он, одновременно с отрицательной, скептической своей стороной, создавал целую программу широкой гражданской деятельности; он верил в существование такой области, где отрезвленные его поучениями ум и воля, воспитанная в его суровой школе, найдут себе плодотворное применение. У Гвиччардини нет подобных верований; его сфера — безнадежность, необходимо парализующая всякую деятельность. Но нельзя не признать также и того, что различие, о котором мы говорим, заключается не в личных свойствах двух этих деятелей, а в тех различ-

ных обстоятельствах, при которых они жили. Немного больше десяти лет прошло по смерти Макиавелли до времени появления в свет «Благочестивых советов и предостережений». Но в этот короткий промежуток над Италией успела разразиться страшная буря, разрушившая много верований и надежд...

Со времени падения Флоренции у Италии не было и не могло быть политической жизни. Муниципально-федеративное начало, вдохновлявшее собою средневековую Италию и Италию первых времен Возрождения, отжило свой век и должно было уступить место новым, реформационным началам. Джанотти понимал это так же хорошо, как и Гвиччардини; по крайней мере, мы уже видели, что Джанотти проповедует необходимость внести в итальянское право новый элемент: всемогущее среднее сословие. В этом случае он выказывает знаменательную прозорливость, потому что период, наступивший в истории общеевропейской цивилизации немедленно за периодом процветания итальянских федеративных республик, был действительно тот период, в котором сложилось, развилось и те-

перь уже начало отцветать буржуазное всемогущество. Из всех итальянских городов, Джанотти в одной только Венеции находит зачатки такого среднего сословия. Это свидетельствует в пользу его наблюдательности. Но близорукий флорентийский эмигрант не мог понять, что новому вину нужны и новые меха; что история, из федеративно-республиканской преобразившись в буржуазно-государственную, не остановится как бы прикованной на месте, а проложит себе новое русло. Для дальнейших судеб Италии детское самообольщение Джанотти прошло так же бесследно, как и скептическая безнадежность Гвиччардини; но последний, во всяком случае, обозначает собой один из весьма интересных моментов развития политических доктрин: его выводы и измышления, будучи усвоены деятелями страны, еще имеющей перед собой историческую будущность, должны способствовать развитию в них трезвых, реальных отношений к политической действительности.

Давно уже было замечено, что собственно застои, неподвижность не встречаются ни в

природе, ни в истории. Там, где прекращается прогрессивная, жизненная метаморфоза, – начинается процесс разложения. Закон этот оправдывает собой и итальянская политическая литература. Мы уже сказали, что агитаторское движение, открываемое Донато Джанотти, скоро перерождается в мертвенную официальность присяжных панегиристов Венеции, очень многоречивых и очень многочисленных, но едва ли способных заинтересовать собой современного читателя с какой бы то ни было стороны. Из них едва ли не один только Тассони (в начале XVII века) умел стяжать себе более или менее европейскую известность; впрочем, и он обязан ею почти исключительно своей юмористической поэме «О похищенном ведре» («*La secchia rapita*»), в которой он осмеивает разрозненность и узкий муниципальный патриотизм городов, т. е. обнажает перед современными ему читателями ту гнойную язву, боль которой чувствовалась всеми, но никто не знал, как отвязаться от нее.

Направление, открываемое «Благочестивыми советами» Гвиччардини, уже в силу од-

ной своей глубины и несообразности с общепринятыми стремлениями и национальными инстинктами масс, естественно должно было пользоваться в Италии несравненно меньшей против первого популярностью. Но в Италии того времени не было недостатка в людях с умом, достаточно развитым и утонченным для того, чтобы ценить трезвость и меткую наблюдательность этого ближайшего последователя Макиавелли. Таким образом, и это скептическое направление вскоре разрастается в весьма уважительную массу трактатов, очевидно не рассчитывавших на популярность, так как многие из них и до сих пор еще ни разу не были изданы в свет, а хранятся, в виде рукописей (очень часто анонимных), в различных частных и публичных библиотеках Италии. Перечитывая в книге Феррари перечень приверженцев этого направления, нельзя не подивиться количеству замечательно даровитых людей, которые в это время в Италии, «за невозможностью действовать, вдалились в дилетантизм мышления и анализа; в какое-то эпикурейски-сладо-страстное созерцание явлений эгоизма и по-

рочности... Их критика была тем смелее, что они, благоразумным своим квиетизмом, обеспечивали себя от преследований»[351].

Весьма многие из произведений этого своеобразного духа представляют громадный интерес и до настоящего времени по смелой оригинальности проповедуемых в них политических воззрений, по замечательному знанию человеческой природы и в особенности ее черных сторон, – знанию, которым обладали их авторы. Во многих из них мы встречаем замечательно трезвую и глубокую оценку различных событий итальянской и общеевропейской истории. Но все эти драгоценные перлы рассыпаны в них там и сям среди целого моря отважных парадоксов, не связанных между собой никаким внутренним единством метода. Самые имена авторов в большей части случаев остаются неизвестными. всё это вместе заставляет нас воздержаться от дальнейших цитат и перечней. Однако мы должны заметить, что, как агитаторское направление в итальянской литературе недолго удерживается на той точке, на которой мы его застаем в минуту самой катастрофы, в ли-

це Донато Джанотти, – так точно и макиавеллизм недолго мог остановиться на той степени своего перерождения, которую представляет Гвиччардини. Лишенный лучшей своей стороны, он не замедлил превратиться в бессодержательное и гнилое брожение, принять крайне отталкивающие формы. Уже Гвиччардини стоит на рубеже того бесполезного, систематического мизантропизма, который ставит себе единственной целью какое-то непонятное самоуслаждение созерцанием человеческой порочности. Но Гвиччардини покажется нам доверчивым юношей, если сравнить его, например, с Кардано, то медиком, то астрологом, но всегда одним из самых смелых отрицателей, которых представляет нам какая бы то ни было литература.

«Проницательный, легко читаемый и презирующий вульгарность до того, что он предпочитает ей самые смелые парадоксы, Кардано слишком хорошо понимает корни уничтожения Италии. Презируя итальянских цезарей, окруженных льстецами и шутами, ползающими у ног мадридского двора, презируя в то же время демократическую толпу, не уме-

ющую отличить лекаря от колдуна и шарлатана от философа, он разоблачает сокровеннейшие тайны политики и государственности с тем отчаянным мизантропизмом, который стоит всякого гражданского мужества. С каким высокомерием он бросает к ногам народов и их властителей самые насильственные и роковые орудия владычества, оставаясь совершенно равнодушным к тому, кто вздумает ими воспользоваться. Каждое слово Кардано есть плод глубоких размышлений. Ему понятны сокровенные пружины каждого политического события кровавой эпохи Реформации... Иногда он как будто вдается в общие места, в преклонение пред установившейся властью; но тут-то и остерегайтесь его, потому что он вдруг поразит вас неожиданно дерзким отрицательным выводом. Он не щадит ничего, потому что дышит только одной ненавистью, а ненавидит потому, что нечего любить... В другом месте вы видите его погруженным в астрологию до того, что вы готовы уже усомниться в нормальном состоянии его умственных способностей: он кончает тем, что отрицает основные догматы католицизма.

ма, ловко обходя костер инквизиции... Вот он, по-видимому, впадает в обоготворение великих людей; но от повторения избитейших афоризмов на этот счет он переходит весьма последовательно к доказательству того, что герои во все времена были бичом своей родины»...

«Несмотря на свою вечную, кажущуюся погоню за парадоксальностью, ломбардский философ (Кардано) никогда однако же не сбивается с позитивного пути и открывает как бы мимоходом истины, имеющие большое практическое или научное значение. Он первый устанавливает строгое теоретическое отличие между унитарным государством, неизбежно имеющим свой центр или столицу, от государства федеративного, не имеющего такого центра. Он предсказал, что Португалия не удержит за собой восточной Индии, а Испания своих американских владений»[352].

Но и Кардано обозначает собой только переходную ступень. Прежде конца XVI века, начавший разлагаться макиавеллизм, почти замер. Рядом с демоническими фигурами Гвиччардини, Сальвиати, Кардано и нескольких

анонимов являются полу-лакейские, полу-шутковские личности Кастильони, Гримальди, Нифо, кардинала Коммендоне и т. п. Если первые из своего умственного превосходства создают для себя нечто вроде геральдической привилегии, дающей им будто бы право с аристократическим презрением третировать грубую чернь, то последние вовсе не намерены ограничивать себя одним платоническим сознанием своего могущества: понимая сокровенную игру политических пружин, они с наивностью цинизма решаются эксплуатировать свое понимание с целью извлечения из него возможно больших для себя материальных выгод. Тут уже нет речи о трезвой науке государственности, о рациональном исследовании причинной связи в мире политических явлений. То, что можно было назвать политической наукой в руках Макиавелли или Гвиччардини, обращается в хитро сплетенное искусство обманывать власть имущих – в руках этих позднейших авторов, пишущих трактаты об искусстве снискивать себе фавор разного рода властителей с такой же систематичностью и обстоятельностью, как если бы

дело шло, например, о живописи на стекле и о сыроварении.

Еще шаг – и литературное направление, столь достославно начатое Макиавелли, становится с епископом Ботеро[353] и его последователями особой отраслью полицейского управления, за приличное жалованье курящей обязательный фимиам установившемуся порядку, каков бы он ни был, и систематически позорящей авторитеты, которые могли бы увеличить силы оппозиции.

* * *

Мы далеки от намерения вести нашего читателя как бы сквозь строй четырехсот слишком итальянских писателей, трактовавших на свой оригинальный манер и с самых разнообразных точек зрения о высших и основных вопросах политики и государственности. Надеемся, что нам удалось хоть отчасти обрисовать своеобразную физиономию этой литературы, рожденной при своеобразных исторических условиях и представляющей весьма характерный, хоть и изолированный эпизод общей истории развития европейского мышления. Рожденная из настоятельных потреб-

ностей дня, эта литература с самого своего начала носит характер гораздо более теории искусства, чем общей и отвлеченной научной отрасли. Еще при Макиавелли Италия приходит к сознанию того, что историческая жизнь народов подлечит своим, особым законам, которые не в силах изменить произвол ни отдельных личностей, ни народных масс. Отсюда пытлиное стремление проникнуть, разгадать эти законы, стремление составить о них трезвое, реальное представление. Несовершенство тогдашних приемов исследования, недостаток наблюдений, добытых опытом и разработанных теорий, – всё это придает этому стремлению случайный и эпизодический характер, лишенный строгого научного знания. Личная гениальность, какая-то патологическая напряженность ума служит для итальянских мыслителей заменой строгого и последовательного научного метода.

В половине XVI столетия, когда чужеземное завоевание кладет, наконец, предел непомерному напряжению политической жизни Италии, число политических писателей здесь не уменьшается, напротив оно разрастается

почти до чудовищных размеров. Иначе и быть не могло: сильный импульс, данный еще с XIII века итальянскому политическому мышлению, не мог прекратиться сразу. Чем меньше давала ему исхода действительность, тем более должен он был искать себе литературного применения. Мы видим целые ряды писателей, которых побуждает приняться за перо не желание повлиять на умы современников: их рукописи и до сих пор не были изданы в свет, – не помыслы о славе: они не оставили потомству даже своего имени... Имперские власти не шутя были испуганы бесцеремонным отношением итальянских публицистов к таким вопросам, которые, по мнению большинства передовых людей того времени, могли подлежать только догматическому решению. Кардинал Каза[354] изобличает перед Карлом V зловредный характер итальянской «*Ragione di Stato*» и требует против нее, как против своего рода черной магии, церковной анафемы и преследования светской власти. Но умы, специально посвятившие себя изучению сокровеннейших тайн политической интриги, ловко обходят препят-

ствия, которыми думает стеснить их светская и духовная власть. Из двух направлений, принятых итальянской публицистикой со времени падения Флоренции, несомненно последнее, макиавеллевское, несмотря на свои эпикурейский квиетизм, всего менее могло способствовать к насаждению в Италии того нравственного благочиния, которое желали бы видеть в подчиненной стране Карл V и его пособники. Тем не менее, большая часть деятелей этого направления, – по крайней мере, тех, которых имена нам известны, – оказываются высокопоставленными особами, сановниками двора, епископами или кардиналами церкви.

Может показаться странным, что итальянская публицистика, столь смело и далеко идущая в своем отрицательном направлении, не отзывается однако же с надлежащей силой на вопрос религиозной реформации, разрушившей средневековой умственный застой и положившей прочное основание интеллектуальному освобождению северной Европы. Но эта кажущаяся странность вполне объясняется тем, что Италия, пережившая гвельфо-ги-

беллинскую войну, не могла относиться к папству ни в положительном, ни в отрицательном смысле так, как относилась к нему остальная Европа. Папство в Италии составляло слишком старый, домашний элемент для того, чтобы поражать итальянцев своим декоративным эффектом. Не говоря даже о гибеллинских князьях и баронах, уже в XIV веке успевших привыкнуть к отлучениям и анафемам, утратившим на них свое действие, как мышьяк от постоянного употребления утрачивает свое действие на желудки тирольских горцев, – самые гвельфы, которых интересы были связаны с интересами ватиканского двора, по необходимости глядели на наместника св. Петра теми же глазами, какими смотрит на драконов, когда-то изображавшихся на византийских щитах, для устрашения неприятеля. В XVI веке светская власть папы составляет еще жизненный вопрос для одного только римского народонаселения, фактически осужденная нести на своих плечах тяжеловесную администрацию римской курии. А потому из несметного числа итальянских публицистов этого времени, на-

сколько нам известно, один только римлянин Саломонио дает себе труд серьезно подкапывать на литературном поприще давно расшатанный, но только теперь повалившийся трон католического Далай-Ламы.

По характеру своей деятельности, Саломонио однако же гораздо более приближается к французским анти-клерикалам XVIII столетия, чем к схоластикам-реформаторам XVI века. Выше мы уподобили его Вольтеру; но да не подумает читатель, что в римском публицисте, о котором мы говорим, он найдет хоть тень язвительной соли, ядовитой игры ума, так прославившей фернейского философа. «*Écrasez l'infâme*»[355] – сокрушить светскую власть католического духовенства и освободить человеческий ум от оков суеверия: таков девиз деятельности их обоих. Но Саломонио в своем диалоге «О господстве»[356] (изданном в Венеции в 1544 г.) исполняет это солидным тоном делового человека. Первоначально, в очень немногих словах, он разбивает папский абсолютизм вообще и отсюда уже переходит к критике папства, представляющего собой, по его мнению, худший из видов рели-

гиозного деспотизма. Когда предполагаемый защитник Ватикана ссылается на историю, желая в ней найти оправдание этого противосоциального явления, Саломонио разбивает его аргументацию на этом поприще, обнаруживая при этом весьма уважительный запас учености и светлого понимания исторических событий. Затем он рисует картину нравственного упадка римского духовенства, систематически развращающего также и народ, чтобы сделать из него орудие своего владычества. Отсюда, по его мнению, вытекают все бедствия Италии, возрождение которой он считает невозможным до тех пор, пока в самом центре ее гнездится вертеп угнетения и разврата. Когда же одно из действующих лиц этого диалога сводит разговор на основные догматы католицизма, Саломонио круто обрывает его, «с резкостью», говорит Феррари, «слишком напоминающей пресловутое выражение Декарта – это не мое дело».

* * *

Заговорив об аналогиях, или точках соприкосновения итальянской публицистики с политической литературой XVIII столетия во

Франции, мы не можем умолчать о епископе Вида, одном из членов трентского собора, которого диалог «*de optimo stata civitatis*» [357] (1556 г. в Кремоне) представляет замечательный свод некоторых метафизических формул, которыми впоследствии прославился Жан-Жак Руссо.

Кардинал Фламинио, – главное действующее лицо этого диалога, – на прекрасном латинском языке и в замечательно изысканных фразах восхваляет «*первобытное состояние*» человека, совершенно соответствующее той фикции, которую Руссо окрестил «натуральным состоянием» и до которой могла прийти только болезненно-отчаянная безнадежность этого мыслителя.

«Тогда, – говорит кардинал, – полное равенство царило между людьми; каждое семейство составляло независимую республику. Нравы были просты, суровы, но искренни и невинны». Власть, угнетение и честолюбие не терзали людей в это блаженное время; законы, точно также как и ссоры, еще не были изобретены. «Надо, – говорит Фламинио, – живо воскресить в своей памяти образ этих

счастливых дней для того, чтобы ощутить всю горечь настоящего...» Каждый закон, по мнению этого оригинального князя римской церкви, налагает на нас новое ярмо, не улучшает нравы, а изощряет хитрость и лукавство. Каждый материальный прогресс вызывает утонченность нравов, которая тотчас же переходит в распутство. Если вам приятно видеть чистоту нравов, то обратитесь спиной к городам и станьте лицом к селам, где еще живут люди, мало воспользовавшиеся плодами цивилизации, близкие к естественной простоте...

Далее идет нижеследующая игра в вопросы и ответы:

– Существуют ли где-нибудь совершенные человеческие общества?

– Существуют; но только в мозгу ученых, или же на необитаемых островах.

– Но возможно ли, по крайней мере, их осуществление в действительности?

– Всемирное движение уносит с собой всё, и Солонов, и Драконов.

Не менее уклончивые ответы дает кардинал Фламинио и на многие другие вопросы,

выражаясь более или менее полупрозрачными афоризмами и загадками.

Зато во многих других случаях он категоричен до резкости. Так, например, на вопрос: что такое финансовое управление Италии? – он отвечает: «организация грабежа». Когда его спрашивают: что останется от истории, если из нее выкинуть повествования о войнах и насилиях, мрачных переворотах и избиениях, одним словом, о всех таких событиях, в которых человек выступает зверообразным существом и злейшим врагом себе подобных, то он вовсе не отвечает, а восклицает: «О, сто крат блаженные первобытные времена! Если бы меня должны были распять за это, я все-таки сочту долгом сказать, что надо бежать от этого мрачного и кровожадного чудовища, которому имя – папский или светский деспотизм. Только в глуши полей можно вкушать истинное счастье, живя сообразно с природой!» и т. п.

Весь диалог, в котором собеседниками выступают сановники римской церкви, носит на себе характер особенной салонной утонченности и изысканной вежливости, ни-

сколько не сообразной с идеалом пасторальной простоты и природной безыскусственности, перед которыми автор преклоняется до готовности быть распятым за свое служение им. Должно заметить, что автор никогда не оставляет последнего слова за своим кардиналом Фламинио. Собеседники возражают против каждого его смелого положения; но возражают так мягко и несостоятельно, как будто и в самом деле его метафизические фикции – неоспоримые аксиомы.

Этот диалог, насколько нам известно, составляет единственную дань, заплаченную итальянской публицистикой метафизическому методу политического мышления. Но читатель сам может судить теперь, в какой мере мы были правы, указывая на Вида, как на предшественника Руссо и выделяя диалог из массы сентиментально-пастушеской дребедени, наводнявшей собой в известном (значительно, впрочем, позднейшем) периоде все европейские литературы.

IV

Последняя литературная борьба за независимость: Иезуиты – Фра Паоло

Сарпи и Парута

В первые годы порабощения Италии, церковь и империя живут еще в тесной дружбе между собой, составляя непреодолимый союз против итальянской независимости. Климент VII, только что пережив разграбление Рима войсками коннетабля Бурбонского, только что освобожденный из плена, считает за лучшее принять руку, которую, – более покровительственно, чем дружественно, – протягивает ему Карл V. Опасность, которой грозит ему Реформация и которую он не может преодолеть без помощи императора, заставляет его на время забыть только что перенесенные им оскорбления и унижения.

Этот союз церкви и империи отражается и в политической итальянской литературе тем, что служители католической церкви не только преследуют агитаторскую или националистскую школу публицистов, но в то же время работают над созданием официозной литературы, которая в области идей оправдывала бы и упрочивала бы испанское иго. Ботеро, первый совративший макиавеллизм на служение властям предрержащим, был епископ и

ревностный слуга Ватикана.

Но этот медовый месяц гвельфо-гибеллинского союза длится недолго. Едва успела улечься первая буря реформации, как только в Европе вспыхнули первые проблески католической реакции, – римская курия уже начинает считаться с союзником и понимать, что она слишком дорогой ценой купила победу. Иезуиты, быть может, более ревностные паписты, чем самый папа, начинают с завистью вспоминать о золотых временах Гильдебранда или св. Фомы Аквинского и задаются смелой мыслью воскресить эти времена в самом начале XVII столетия.

Итальянская публицистика носит на себе слишком несомненные указания такого намерения. Клерикальная пресса, до сих пор клеймившая Макиавелли за его националистические стремления, сама начинает разжигать эти стремления, надеясь в них найти надежную опору против испанского всемогущества.

Кампанию открывает скромный ряд писателей-иезуитов, в числе которых встречается между прочими имя столь известного у нас

Поссевина. На первый раз они только возбуждают чувство подавленного национального обособления, комментируют Тацита, которого страстные дифирамбы против римских тиранов приходится как нельзя более кстати в это время еще всеми ненавидимого в Италии чужеземного господства. Наиболее выдающийся из писателей этого разряда – неаполитанский иезуит Шипионе Аммирато, первый после Макиавелли недвусмысленно заговаривает об «итальянских надеждах» (*le speranze d'Italia*), призывает народ к героической борьбе за независимость, требует изгнания испанцев и возрождения итальянской федерации под верховной гегемонией папы, на которого он указывает как на единственного союзника и мощного заступника итальянской свободы. Макиавелли, по словам Аммирато, окончательно совратил итальянский здравый смысл с истинного пути и приготовил гибель страны тем, что увлек в бездну централизации и вселил недоверие к папской власти, в которой он (Аммирато) видит избирательный и демократический характер и до небес превозносит ее за это.

Тассони, о котором мы уже упомянули, является деятельным пособником Аммирато. Траян Боккалини в своем остроумном «*Ragguagli di Parnaso*» (Отчет с Парнаса) осмеивает популярнейшим образом авторитеты враждебного лагеря и возбуждает всеми мерами и государей, и народ к восстанию против испанского владычества, которого смешные и позорные стороны он чрезвычайно удачно схватывает.

План иезуитов возрождения лиги итальянских городов под главенством папы очевидно представляется чрезвычайно заманчивым для итальянских публицистов этого времени. По крайней мере, это можно предположить на основании большого количества писателей, эксплуатирующих мысли, брошенные в оборот Поссевином, Бозио, Аммирато и др. Но кроме поэтов Тассони и Боккалини, украсивших это литературное направление произведениями своего ариостовского, игривого юмора, вообще писатели, трудившиеся над возрождением гвельфской идеи XVII века, не были ни популярны, ни особенно замечательны. История, как известно, не дала осущест-

ствиться иезуитскому проекту. Быть может, их многочисленные комментарии Тацита и их желчные выходки против испанского владычества несколько способствовали поддержанию ненависти к последнему в известных слоях итальянского народонаселения, которые однако и без того имели достаточно оснований, чтобы ненавидеть чужеземное иго. Но только привилегированные здешние классы не имели в себе достаточно сил для деятельной борьбы с могучим противником. Массы же в Италии мало имели поводов воодушевляться идеей давно отжившего гвельфского союза городов под покровительством Ватикана.

Венецианский монах Фра Паоло Сарпи, оставивший по себе довольно громкое имя в итальянской политической литературе, делает отчаянную попытку примирить или совместить в себе все политические направления, заключающие еще в себе хотя слабые зачатки жизненности. Он заимствует у иезуитов, или тогдашних нео-гвельфов их федеративную идею. Но во главе возрожденной итальянской федерации он хочет видеть не папу, а столь

прославленную уже публицистами XVI века республику св. Марка. Наконец, у макиавеллистов Сарпи заимствует то артистическое интриганство, которым прославились поздние деятели этого направления.

Громкая известность Фра Паоло Сарпи гораздо более скандального, чем почетного характера. В недавнее время итальянские ученые пытались было даже отрицать подлинность его творений, но, к сожалению для итальянской нравственности, подлинность эта не может подлежать никакому сомнению. Фра Паоло играл на своей родине чересчур видную роль для того, чтобы его собственные творения могли пройти незамеченными, или же творения других могли бы укрываться под его именем. Нельзя отрицать заслуги, оказанные этим монахом венецианской республике в ее борьбе с римским двором, довольно расчетливо предполагавшим начать свою новую роль в Италии с унижения этой единственной своей соперницы. Но Сарпи не думает ограничиться одной отрицательной победой, т. е. одним отстаиванием полноправия и автономии Венеции и против притязаний пап-

ства, оправившегося после лютерова погрома. Он, в свою очередь, принимает на себя наступательную роль, замыслив, как мы уже сказали, заменить Венецией папу во главе имеющей возродиться новой итальянской федерации. Понимая однако ж, что предпринятая им задача нелегко исполнима и что Венеция с своим узким олигархическим эгоизмом еще менее самого папы имеет право рассчитывать на итальянские симпатии, Фра Паоло Сарпи пытается достичь своей цели при помощи интриги, доведенной до каких-то чудовищных, нелегко вообразимых размеров. С истинно-монастырской мелкой расчетливостью и терпением, Сарпи создает сеть отчаянных хитросплетений, способную возмутить действительно самое невзыскательное нравственное чувство. Нет той низости, того преступления, которого он не включил бы в число своих «*arcana imperii*» (тайны империи), если только они, по его мнению, могут способствовать к достижению той химерической цели, которую он неуклонно преследует, т. е. возвеличению Венеции и распространению ее владычества над федерацией итальянских

городов. Сарпи вдаётся при этом в такие мелочи, что самый поверхностный их обзор потребовал бы, по меньшей мере, нескольких страниц. Он развивает целую систему политических убийств, лжи и доносов. Он научает республику поддерживать распри между подвластными ей городами и разорять те из них, которые возбуждают к себе ее недоверие, но разорять, так сказать, под шумок, под видом невинных фискальных мер или даже льгот. Шпионство и вероломство должны, по его мнению, систематически быть преподаваемы гражданам с самого раннего их возраста... Коротче говоря, Фра Паоло Сарпи хотел бы создать род светской инквизиции и обратить всех граждан и подданных венецианской республики в адептов какого-то чудовищного тайного общества, которое не знало бы ни гуманности, ни чувства человеческого достоинства, считая для себя всё дозволенным во имя созданного им идеала власти.

Как всякая крупная звезда, Сарпи представляется нам окруженным целым сонмом мелких спутников и последователей, вышедших преимущественно из рядов тех офици-

ально-холодных панегиристов св. Марка, о которых мы уже говорили в предыдущей главе. Парута, Мануцио, Контарини и пр. напереыв пытаются убедить Италию, что республика есть лучшее из всех правительств, а Венеция – лучшая из всех республик.

Из них мы обратим внимание на первого (Паруту), который не ограничивается одним восхвалением своей родной республики, а пытается указать преимущество венецианского политического строя над другими. Для сравнения он избирает не какую-либо другую итальянскую муниципальную республику, а испанскую и древнеримскую монархию; таким образом, он обращает в пользу св. Марка всё то, что можно сказать о преимуществе экономической организации над чисто политической, федеративного строя над унитарным.

Сарпи, точно так же, как и иезуиты с Поссевином, Бозио и Аммирато, не достигает цели и не оказывает решительного влияния на политическую судьбу Италии. Но он вызывает некоторое оживление в итальянской публицистике, переходившей уже с половины

XVI столетия в какой-то горячечный бред за
неимением перед собой живой задачи...

V

Платон сменяет Тита Ливия и Тацита –
Норес – Сгвальди – утописты: Бонифа-
чо – Цукколи – Кампанелла

Мы уже говорили, что итальянская поли-
тическая литература во все свои периоды и
на всех ступенях своего развития носит отпе-
чаток некоторого эмпиризма. Начиная от
анонимного автора «*Oculus pastoralis*» и кон-
чая только что перечисленными публициста-
ми времени упадка, она менее теоретизирует,
чем преследует какие-либо практические це-
ли, часто односторонние и узкие (как, напри-
мер, Джанотти и панегиристы Венеции); ча-
сто несбыточные (как, например, иезуиты и
Фра Паоло Сарпи); часто своекорыстные и гад-
кие (как Ботеро и придворные макиавелли-
сты). Последователи Гвиччардини, да и он
сам в значительной степени, может быть,
чужды такой цели; но они не чужды эмпи-
ризма, так как их творения носят чисто на-
блюдательный, психологический характер.

Вероятно, это исключительно эмпирическое, добытое опытом настроение итальянского политического духа обуславливает непонятное равнодушие их к одному из величайших мыслителей классической древности – к Платону.

Когда политическая жизнь замирает в Италии и перестает поставлять обильный живой материал для публицистики, то классические образцы начинают играть в ней очень уважительную роль. Так направление, начатое Джанотти и основывавшее свои надежды на возрождение Италии на образование в ней среднего сословия, платит обильную дань Аристотелю. Тит Ливий, своей республиканской простотой соблаздивший самого Макиавелли, привлекает к себе тех из публицистов всех школ, которые не видят надобности прикрывать бедность содержания энергией и красотой слога. Бозио, Аммирато, а с другой стороны Парута и некоторые из последователей Сарпи создают целую литературу комментариев Тацита... Только платонизм до XVII века не находит себе последователей в Италии.

А между тем уже в 1516 г. в Англии Томас

Морус[358] первый – насколько нам известно – своей «*Утопией*» возрождает идеи Платона в христианском мире. Полвека спустя Боден с своими шестью книгами о республике популяризирует неоплатонизм во Франции, где он скоро проникает в салоны отеля *Rambouillet* и даже на некоторое время с успехом соперничает там с эпикуреизмом.

Боден один из немногих иностранцев пользовался популярностью в Италии. Это несомненно доказывается тем, что Боккалинни упоминает симпатически о нем в своем «*Raggagli di Parnaso*». Почти одновременно с выходом в свет «Республики» Бодена, а именно около 1580 г., платонизм совершает первое свое появление в области итальянской публицистики. Венецианец Норес[359], по примеру большинства своих соотечественников твердо уверенный в том, что республика св. Марка должна встать во главе возрожденной и освобожденной от испанского ига итальянской федерации, однако же находит необходимым, чтобы сама Венеция предварительно переродилась и стала достойной той высокой роли, которую ей готовят в будущем ее пане-

гиристы. Он дает себе труд начертать по обыкновению до мелочности подробный план этого перерождения. Привыкнув к систематической мизантропии и хитросплетениям публицистов этого времени, читатель остается поражен широкой гуманностью воззрений Нореса. Человек с своими стремлениями, чувствами и требованиями не является у него бездушной пешкой на шахматной доске холодной и безжалостной политики, напротив последняя подчинена требованиям человечности: чему еще мы до сих пор не встречали примера на этих страницах. С немногих слов перед читателем разоблачается и настоящий источник этого внезапного перерождения едва ли не самой бездушной из всех школ и отраслей итальянской публицистики. Норес довольно беззастенчиво скопировал свой идеал возрождения Венеции и Италии с платоновского первообраза. Но так или иначе, живая струя начинает пробиваться с этих пор сквозь тину, накопившуюся на застоявшейся поверхности политической литературы Италии.

Однако платонизм медленно прививается

на итальянской почве. В начале XVII века, т. е. слишком 25 лет спустя после Нореса, аббат Ствальди[360] (1605 г.) является с новым планом перерождения Венеции, объясняя свое преклонение перед «столицей Адриатики» именно тем, что она, по его мнению, более всякого другого города в свете способна осуществить идеал, начертанный Платоном. Он полагает, что всё в ней способствует такому перерождению: начиная с ее географического положения и кончая ее историческими судьбами.

Но, – говорит он, – для этого ей надо отделаться от вековых пороков своей властолюбивой олигархии; пусть она как можно чаще меняет состав своих советов, открывая в них широкий доступ деятелям из народа, не зараженным наследственными недугами патрициата. Платонизм Ствальди гораздо свободнее, чем у Моруса и у Нореса и стоит на менее утопической почве. Он не заимствует целиком платоновские учреждения с их мельчайшими подробностями. Он даже прямо отрицает гармонический застой и олимпийскую неподвижность своего классического перво-

образа. По мнению Сгвальди, *разногласие* составляет один из неизбежных элементов жизни. «Оно создает, – говорит он, – в музыке мелодию; в государстве порядок; в сенате разно-стороннее обсуждение... Оно препятствует тому объединению, которое порождает гробовое молчание и делается союзником всякого угнетенья». Но за то Сгвальди более определенно, чем кто бы то ни было из неоплатоников, ставит человека выше гражданина и гуманность выше всякой государственности.

За ним, после слишком двадцатилетнего молчания, следует Цукколи, проникнутый тем же настроением, но гораздо более своих предшественников, находящийся под влиянием «Утопии» Моруса. Согласно с Норесом и Сгвальди в необходимости радикального преобразования основных условий общественного быта Италии, он не без оснований отвергает, чтобы Венеция могла взять на себя инициативу требуемого перерождения. По его мнению, лилипутская республика Сан-Марино, которой он имеет счастье быть гражданином, гораздо способнее к такой метаморфозе. «Мы бедны, – говорит он, – но мы счастли-

вы своей сельской простотой. Мы не знаем скупости, которая отнимает цену у богатства, ни гнусной алчности, которая унижает человека перед золотым тельцом. К нам не являются чужеземцы развращать наши нравы, купцы не привозят нам придуманные для праздных забав безделушки; банкиры не разоряют нас своими чудовищными учетами; наши ремесленники не тратят времени на производство ненужных предметов роскоши; шарлатаны не туманят наших голов, чтобы очистить наши кошельки, лекаря не отравляют нас своими медикаментами» и т. д.

Короче говоря, Цукколи идеализирует Сан-Марино, предлагая ее под именем «*Città felice*» (счастливого города) за образец всей Италии. Но вскоре и эта форма кажется для него стеснительной. Он издает в свет вымышленное путешествие своего деда, который будто бы, разочаровавшись окончательно в судьбах своей родины, стал искать в отдаленных плаваниях утешения и забвения. Случай пригнал его корабль к неведомому острову *Эвандрии*, «где никто не говорит по-латыни, никто не мрет с голоду и где рабство существует толь-

ко как наказание для воров». Эвандрия в существеннейших своих чертах представляет значительно смягченный сколок с «Утопии».

По примеру Томаса Моруса, Цукколи отрицает общность жен (которую признавал Норес) и допускает рабство; но на «Эвандрии» рабами являются только осужденные за воровство. Форма правления на Эвандрии есть род избирательной демократической монархии. Власти избираются ежегодно; судьи не смеют прибегать к пыткам и обязаны решать каждое дело в две недели.

Одновременно с Цукколи, венецианец Джованни Бонифачо[361] издал свою республику «пчел» (*La repubblica delle api*[362]). В этом игривом памфлете рассказывается, будто какой-то испанский капитан открыл громадный остров, населенный миролюбивыми дикарями. Он тотчас же водрузил на острове кастильский флаг и донес в Мадрид о своем открытии. В Мадриде тотчас же составили комиссию, которой поручено было создать политическое устройство для вновь открытой страны. Комиссия взяла себе за образец не римское право, а быт пчелиного улья и скопи-

ровала в точности его общественное устройство. Она наделила островитян маткой-королевой, не пользующейся никакой властью, окружила ее штатом придворных евнухов и т. п. Но о быте пчел Бонифачо знает только то, что мог заимствовать у Вергилия. Вообще же его памфлет не имеет определенности «Утопии» Моруса или сочинений Нореса, Ствальди и Цукколи.

Так или иначе, вторая четверть XVII столетия открывает период утопистов в итальянской публицистике. За Бонифачо следует Кампанелла, доминиканский монах, которого не без основания считают патриархом неоплатонизма нашего времени.

«Солнечный город» (*la Città del sole*) Томмазо Кампанеллы очень хорошо всем известен. Калабрийский реформатор по примеру Томаса Моруса, предупредившего его почти на полтора столетия, рисует общественный быт вымышленного города, чтобы, таким образом, резче запечатлеть в воображении своих современников план предлагаемого им преобразования. Точки соприкосновения «Солнечного города» с «Утопией» очень многочис-

ленны и очевидны. Нам нет надобности заниматься вопросом: знал ли Кампанелла произведение английского своего предшественника; или же сходство их творений объясняется общим происхождением их обоих от республики Платона? Ни в каком случае «*Città del sole*» не может быть сочтена за копию, хотя бы украшенную и дополненную, ни с английского, ни с греческого образца.

Томас Морус рисуется нам образованным человеком своего времени, которого прельщает гуманная сторона социальных идеалов греческого философа, почему-то позже всех других своих собратий заслужившего себе признание в христианском мире. Он популяризирует идею Платона в форме романа, предупреждая в предисловии, что он сам смотрит на свое произведение как на роман и, очищая свой классический прототип от всего того, что было в нем слишком резко противоречащего установившимся понятиям и нравственным требованиям тогдашнего английского общества. Так, например, Т. Морус переносит в свою «Утопию» платоновских рабов, потому что это учреждение, хотя и про-

тивохристианское, не заключало в себе ничего того, с чем английская общественная чопорность не могла бы примириться и нравственно, и политически. Но он отвергает общность жен, столь противную всякому индивидуализму вообще и английскому обществу в особенности.

Совершенно иначе представляется нам Кампанелла, у которого в обширной публицистической деятельности «*Città del sole*» является только одним уголком или эпизодом, слишком тесно вяжущимся со всем остальным. В самом деле, прежде «*Città del sole*» он уже напечатал (1640 г.) свой трактат об «Испанской монархии», который непростительно игнорировать тем, кто желает составить себе истинное представление об этом замечательном итальянском мыслителе. Для Кампанеллы издание в свет своих сочинений было делом нелегким. Вечно преследуемый инквизицией и светской властью, имея повсюду только врагов и ни одного покровителя, он семь раз подвергается пытке и с трудом спасет от костра не то что рукописи, а самую свою особу. Из восьми его сочинений, дошедших до

нашего времени, пять навсегда остались рукописными; одно в первый раз было напечатано в итальянской типографии в Лугано только очень недавно (*Poesie filosofiche*); наконец, две остальные нашли себе издателей в Нидерландах («*Monarchia hispanica*» 1640 г. и «*Città del sole*» 1643 г.). А между тем вся его деятельность проникнута от начала до конца одной широкой идеей всемирного возрождения, – идеей, которой он сумел дать весьма равностороннее развитие. Его «*Monarchia hispanica*» с полной достоверностью может быть принята за исходный пункт его публицистической деятельности.

Кампанелла – плебей, каким-то чудом нахватавшийся всей той научной премудрости, которая была доступна цеховым ученым его времени. Пройдя суровую монастырскую школу, он не сделался религиозным аскетом, не заплатил дани мистицизму, а только закалил в ней природные спартаковские свойства своего нрава и остался тем, чем создала его природа, т. е. провозвестником тех стремлений темных романских народных масс, которые и до сих пор не пришли еще к полному

Сознанию...

Таким является он в области итальянской публицистики в половине XVII века с своим трактатом «*de Monarchia hispanica*», требуя во имя этих народных масс отчета у всех политических сект и школ своего времени. «Вы требуете, чтобы народ проливал свою кровь в неравной борьбе с Испанией, для того, чтобы, по низвержении чужеземного владычества, он отдал снова освобожденную Италию ватиканскому двору», – говорит он нео-гвельфам. – «Но кто же, как не папа, наводнил нашу страну испанскими полчищами и что сумели сделать ваши римские идолы, когда гвельфский идеал был поднят св. Фомой почти на недосыгаемую высоту? Что дали они Италии и миру, кроме суеверия, распрей, невежества и разорения?»

Так называемым республиканцам он ставит на вид мелочность, искусственность и узкий эгоизм их идеала гражданской доблести. Вообще врагам испанской империи он говорит: вы слабы против этого противника, которого сила создана вашей же глупостью и мелочностью. К чему возбуждать националь-

ную вражду, когда она имеет чисто вымышленное основание. Кампанелла обращается к золотому веку итальянской политики. Он равно принимает гибеллинский идеал Данта и гвельфский идеал св. Фомы в той мере, в какой оба они предполагали слитие всего человечества или, по крайней мере, всей Европы в одно федеративное политическое целое. Пусть же Испания продолжает свои завоевания: тем лучше, если ей удастся собрать под своей властью все европейские народы. Тогда исчезнут поводы к политическим распрям, и люди посвятят себя безраздельно единственному достойному делу: устройству благосостояния народных масс. Пусть Испания вводит католицизм в своих владениях: Кампанелла твердо уверен, что католицизм должен переродиться в религию благоденствия народных масс, науки и гуманности; он сам всю свою жизнь деятельно работал над этим перерождением.

Кампанелла настолько сын итальянской государственности, что он презирает демократическую коллегиальность. По его мнению, возвещаемый им культ возрождения

должен быть водворен верховной властью. Материальные элементы такой власти он все находит соединенными в руках главы католической церкви, которому остается только нравственно стать достойным своей великой задачи, чтобы снова приобрести себе мировое значение...

Таким образом, этот странный человек, будучи сторонником империи не меньше любого гибеллина времен Данта, терпит однако же постоянные преследования от имперских наместников; будучи сторонником папы не менее самых ревностных иезуитов времен Сикста V, с трудом, едва живой, ускользает из рук инквизиции! Противоречия эти легко объясняются тем, что Кампанелла под империей и папством понимает вовсе не те явления действительности, которые в его время носят эти названия, а совершенно новые, еще невиданные учреждения, тесно связанные с его культом всемирного возрождения, основанного на гражданском равенстве и на политическом братстве.

Из сказанного здесь читатель легко увидит те своеобразные черты, которыми Кампанел-

ла резко отличается от большинства итальянских публицистов. Он не считает основы кажущегося ему гуманным и рациональным общественного строя присущими человечеству, а стремится создать их при содействии сильной и универсальной власти, которая, вооружась всеми орудиями знания, регулировала бы самые разнообразные стороны коллективного и индивидуального быта так, как католицизм в лучшие свои времена регулировал жизнь своих правоверных. Когда он заставляет верховного главу своего «Солнечного города» считать государственным делом подбор родичей для имеющих народиться граждан, то Рейбо видит в этом только плод монастырски-развратного его воображения. Мы же, с своей стороны, смотрим на эту черту калабрийского утописта, как на несомненное доказательство его разносторонней гениальности, позволявшей ему уже в те отдаленные времена понимать, что возрождение того или другого общества не может хотя бы на шаг приблизиться к своему осуществлению до тех пор, пока и воспитание, и рождение детей будут оставаться в распоряжении слепой слу-

чайности.

«Солнечный город» составляет не более, как только эпизод в публицистической деятельности Кампанеллы. Желая в прикладной форме развить существенную сторону своего учения, автор необходимо должен был прибегнуть к стереотипным рамкам фантастического острова (Тапробана), лежащего вне всяких географических и исторических условий. Это однако же вовсе не мешает тому, что, в целом, Кампанелла все-таки весьма твердо стоит на исторической почве, чем и отличается весьма существенно от большинства писателей сродного ему направления. Кампанелла не предлагает итальянским городам немедленно скопировать у себя устройство его фантастического острова; но он хочет, чтобы те, которые держат в своих руках судьбы народов, прониклись началами, вдохновлявшими его самого, когда он писал эту свою образцовую утопию. Презирая политиканство, Кампанелла однако же редко доставляет случай дипломату усмехнуться над его наивностью, потому что он тщательно изучил политическую интригу и династические инте-

ресы и знает, чего можно требовать от того или другого политического элемента его времени. Правда, он ошибся в своих расчетах на папу и на то, что из тщедушной испанской монархии может развиваться всемирная империя, подобная македонской или римской. Но упрекать его за это так же было бы неосновательно, как и ставить ему в вину то, что в своих космологических комбинациях он опирается на труды тогдашних астрологов, а не на лекции, например, Гельмгольца о взаимодействии сил природы и не на геологическую теорию сэра Чарльза Ляйэля. Это были ошибки его времени, и притом ошибки такие, от которых гораздо более пострадала Испания и папство, чем учение Кампанеллы. Бесспорно, что Европа конца XVI и начала XVII века видела в Карле V Карла Великого, а когда он умер, не осуществивши возбужденных им надежд, то она ждала их осуществления от Филиппа II. Столь же несомненно, что, начиная со вступления на папский престол Сикста V, ожидали, что для католической церкви возвращаются времена Григория VII. Для того, чтобы всё это действительно сбылось, надо

было, чтобы эти формы, т. е. империя и папство, снова наполнились содержанием, дорогим для народных масс и способным фанатизировать их так, как умели фанатизировать их и империя, и папство в первые годы своего существования. Кампанелла давал им такое содержание; тем хуже для них, если они отвернулись от него. По крайней мере, мы видим, что семена, посеянные калабрийским монахом, хоть и не принятые под покровительство сильными мира сего, не переставали произрастать и приносить свой плод.

А что случилось с Испанией и Ватиканом? Они – хуже, чем умерли, – они обесславили себя.

Эмиль Денегри[363]

Заметки о современной итальянской литературе. Романисты[364]

На итальянской современной литературе, как и на самой жизни итальянской, весьма приметен какой-то анархический отпечаток, отсутствие благовоспитанности. Он антипатичен северным жителям. Слишком прямые отношения итальянцев к природе кажут-

ся нам грубостью, скандализируют своим не всегда пластическим проявлением сантиментальных англичанок, заставляют немецких поэтов писать грозные строфы, полные негодования, презрения к народу, не умеющему ни мечтать, ни *forschen*[365], ни *grübeln*[366].

Хорошо ли оно или дурно само по себе, правы ли немецкие поэты, или импровизаторы с мостовой Санта-Лючии в Неаполе? Я решать не буду. Я знаю только, что этот демократический хаос, так дорогой итальянцам, порядочно мешает нам, иностранцам, познакомиться с итальянской литературой. Всего больше это может быть с теми ее произведениями, которые пишутся для всех, произведениями литературными по преимуществу...

Первая трудность чисто внешняя, так сказать, механическая. Романисты, писатели повестей и рассказов в Италии не группируются вокруг немногих имен, пользующихся большей или меньшей знаменитостью. Они стоят как-то особняком, по-видимому, ничем не соединенные, не связанные между собою, иногда даже с самой политической историей Италии они вяжутся плохо, кажутся явлениями

совершенно случайными. Они особенно поражают самих итальянцев своей оригинальностью, своим случайным, индивидуальным характером до того, что часто становятся плохо понятными для своих соотечественников, пользуются вследствие этого несколько двусмысленной репутацией, читаются холодно, или вовсе не читаются. Хорошо, что их не много, иначе наблюдатель совершенно затерялся бы в этом хаосе...

Отсутствие литературных архивариусов, библиографов, которые бы занялись приведением в порядок, записыванием в своего рода шнуровую книгу или хронику разношерстных произведений современных писателей, с прибавкою кратких, но формально выразительных примет каждого – составляет вторую и едва ли ожидаемую трудность... Нельзя не удивляться трезвости и зрелости, с которой Италия умела управиться в очень короткий промежуток времени с новым для нее меркантильно-посредственным складом жизни, политически едва успевшим водвориться в ней. Это объясняется тем, что она по трупам мадзиниевских ассоциаций только и могла

дойти до лафариньяновских национальных комитетов; она приняла постное гражданство по французскому образцу, не иначе, как убедившись в прикладной несостоятельности своих поэтических и классических идеалов. Поэтому она и не ищет поэзии в мещанско-демократической организации. Это кусок настоящего хлеба, в котором она нуждалась. Поэзия – роскошь, а 1849 год слишком кроваво глумился над ее поэтическими стремлениями...

Итальянская действительность, как ни рабски копировали ее с космополитического (в биржевом и административном смысле слова) быта морских и континентальных соседей, все-таки самобытна, – не в том смысле, как бы хотела крайняя, доктринерски-национальная партия, но потому может быть и самобытна... Мы горячо сочувствуем драматическим положениям человека, и остаемся, вместе с тем, непонятно холодны к трагическим судьбам людей. История нас трогает меньше, чем роман. Это объясняется тем, что политиканский дилетантизм (и чем более искренний, тем хуже) приучил нас смотреть на

людей, как на бездушную и безличную коллективность. Человечество заслоняло человека. Величавое сочувствие к первому мешало пониманию последнего... Мы остались холодны к практически освободившейся Италии, как будто даже будируем за то, что переворот вышел не совсем таков, каким мы хотели его для нее и каким она сама хотела его своими лучшими живыми силами. Глубокий драматизм ее положения для нас не существует, а он человечески интереснее, пожалуй, даже поучительнее чайльд-гарольдовского и иного романического разочарования, вокруг которого (хоть он уж и вышел из моды) вертятся, большей частью, драматические положения современных героев.

1860 год со своими торжественными демонстрациями, иллюминированными городами и пожаром Гаэты[367] далеко не праздником отозвался в Италии. Напротив. Едва ли когда-либо в истории чувствовался так сильно весь горький драматизм прозаической будничности. Ренегаты надорвавшейся народной партии, может быть, и нашли себе примирение в посыпавшихся на них благах и по-

честях, но не они составляли большинство... Сознание разлада *разумно-возможного с фактически-возможным* встретилось в Италии на тех ступенях общественной лестницы, на которых мы не привыкли встречать никакого сознания. А в чем же и трагичность положения, как не в нем? Смешно негодовать на людей за то, что они не падают под тяжестью горьких истин, не скрежещут зубами и не раздирают на себе одежды, а пользуются выгодами, которые можно извлечь из изменившегося таможенного устава...

Все это для того, чтобы объяснить: почему в Италии вновь прививающаяся жизнь пренебрегает теми посредственно-художественными проявлениями, которые прельщают очень многих своей гризеточной[368] грацией во Франции. Для того, чтобы искать и находить эту прелесть в том, что только прозаически необходимо, нужно смотреть на него сквозь известную преломляющую среду искусственных отношений, исторических предубеждений. А Италия, как уже сказано, слишком прямо и непосредственно относится к природе, к истории.

Для того, чтобы легким, водевильным смехом встретить все противоречия и компромиссы, надо не понимать или не чувствовать всю силу, всё трагическое своего положения. А в Италии живо это сознание. Оно не заглушается здесь ни физиологической склонностью к мечтательности, ни пережевыванием осмеянных отвлеченностей. В этом трезвом понимании или принятии действительности – сила итальянской нации, залог ее будущего.

С последним политическим переворотом здесь литература сразу сошла со всех дидактических ходуль. Критика не могла явиться, как *deus ex machina*, пока еще народная мысль не успела придти в себя. Но то, что более или менее удачно подделывалось под нее: литературное маклерство, шарлатанское криёрство [369], стало тотчас же на свое место, на четвертые страницы журналов, рядом с объявлениями о необыкновенном лекарстве против зубной боли, о девушке примерной скромности, ищущей места и т. п. Я не думаю в этом видеть зло; хочу только заметить, что подобного рода библиографическая хроника – сте-

реотипные похвалы всякому вновь вышедшему сочинению, без малейшего соотношения с его содержанием не могут служить путеводной нитью для наблюдений и изучений.

Впрочем, об этом факте, слишком важном во всякой литературе, я имею в виду поговорить обстоятельнее, в чертах менее общих и резких.

Итальянская литература для нас может иметь только совершенно другой интерес, чем для самих итальянцев, и потому ни их воззрения, ни их методы, если бы они и были высказаны полнее и обстоятельнее, здесь не могли бы быть приняты.

Кроме общих причин, в силу которых сказанное нами может быть отнесено и ко всякой другой литературе, тут есть еще некоторые другие, свои, частные причины.

Даже не в строгом смысле слова: современная итальянская литература (т. е. тех времен еще, когда Италия несравненно больше настоящего чуждалась иностранной жизни и цивилизации), движение в литературе здесь шло извне. Всего больше именно в легкой литературе.

Роман никогда не был здесь собственно народной формой. Романтизм начала нашего века (Фосколо, Каррер и др.), приводивший в отчаяние старого Монти и академии от римских Аркад и флорентийской Круски, до миланской академии итальянских литераторов на службе у австрийского эрцгерцога включительно, – только и может быть назван романтизмом в смысле оппозиции слепому поклонению авторитетам литературным и полицейским. Блистательно начавший Томмазео и печально кончивший Луиджи Каррер возбуждали сочувствие исключительно политической, агитаторской своей стороной. Все умы слишком сильно были заняты мыслью об изгнании австрийцев из Италии. До споров о назначении и призвании искусства, о том, как следует писать: так ли, чтобы было хорошо, или чтобы было только похоже на то, как прежде писали? – до всего этого никому не было дела. Общественное мнение стало за нововводителей только потому, что классицизм слишком скомпрометировал себя в лице своих представителей...

С тех пор, как оборвалась окончательно

муниципальная жизнь в Италии, элементов для итальянского искусства, в том смысле слова, каким все мы знаем его (Данте и Микеланджело, Ариост[370], Боккаччо, Рафаэль и пр.), в народе не было... Но влияние старых мастеров на некоторые классы народонаселения не могло сгладиться. С одной стороны национальная гордость, развившаяся непомерно от подавления иностранным народом, поддерживала в молодом, страстном и искреннем поколении ложную мысль: продолжать дело старых мастеров, заставивших уже однажды признать превосходство итальянского народного гения (*l'ingegno nazionale*) над духом чуждой ему цивилизации. С другой, дилетантизм и меценатство аристократии сдерживали и мысль, и искусство в замерших уже, и следовательно безопасных, неподвижных формах...

Искусство было достоянием немногих. Эти немногие иногда сочувствовали национальному горю, скорбели за своих соотечичей, как неоромантики. Иногда чуждались всякого сближения с народом и его жизнью – с непосвященными. Таковы все без исключения

итальянские классики этих времен...

Это искусство, кормившееся трупами прошлого, не могло иметь внутреннего содержания, стороны доступной каждому. Это была всё та же археология, палеонтология, только порой в более игривой, приятной форме. Самая форма могла быть только очень искусственная, изысканная, придуманная. Таков Канова, таков и Метастазио, предупредивший его несколькими годами, просвещавший австрийский двор манерной звучностью своего языка, примирявший сантиментально противохудожественных южных немцев с непонятной для них Италией.

Как однако ни плохи были политические обстоятельства Италии, народ в ней жил. Люди влюблялись, умирали, страдали. И все разнообразные чувства, мысли, ощущения, стремились по вечному, непреложному закону природы, развиться до полного и крайнего своего предела, потом заявить себя. Высшие классы, занимающиеся *de jure* изящными искусствами, не вырабатывали пригодной для них формы. Они высказывались первобытно, необработанно и непродуманно – песней.

Таким образом, приготовился тот богатый народный лирический материал, которым прежде других сумел воспользоваться Россини, за ним Беллини... Итальянское искусство ожило вновь со всей страстной, молодой силой народного лиризма в итальянской опере...

От того ли, что по другим отраслям искусства не явилось гениев, равносильных этим новым патриархам музыки, или от того, что поприще музыки было обширнее, сильнее, свободнее от подавляющих авторитетов, от того ли наконец, что лиризм доступнее музыке, чем пластике и поэзии, или от совокупного действия всех этих причин вместе, только ни пластика, ни одна из отраслей литературы не сумела так полно усвоить себе этот живой элемент – не расцвела так пышно и художественно...

Проследить постепенность хода развития или упадка всех их здесь нельзя. Замечу только, что поэзия расцвела и поднялась до живой, общедоступной изящности в двух единственных итальянских лириках: Леопарди и Джусти. В живописи попытки Айеса (*Hayes*) в

том же роде вышли слабы и удались меньше, чем в половину, потому что художник этот не нашел в себе сил относиться самобытно и непосредственно к своему предмету... Скульптура, как-то неожиданно перешагнув через всякий лиризм, от балетной грации Кановы перескочила к полному реализму стоящего совершенно одиноко и изолированно Дюпре [371].

Но классицизм, дойдя до последней крайности, не мог оставаться на ногах.

В Монти, благодаря горячей оппозиции, которую встречал этот ученый трагик в молодом поколении искренних патриотов – итальянский псевдоклассицизм поднимается несколько из той холодной пропасти напудренных красот, в которую обрушился он с Метастазием. Но и сам Монти, воодушевляемый враждою к нововведениям «дерзкой северной школы», остается также бездушен, как и его предшественники. Несомненная талантливость его служит только новым доказательством того, что на избранной им дороге талантам нечего другого делать, как кастрироваться, – становиться бесплоднее и бездуш-

нее.

Положение его противников, называемых здесь неоромантиками (я сказал уже, что итальянский романтизм не собственно романтизм), точно также почти безнадежно. Успех, который они временно здесь имели, имеет смысл только политической демонстрации.

Уго Фосколо (*Ugo Foscolo*) со всем своим патриотизмом («*Письма Якова Ортис*»[372]) кажется здесь немцем. Луиджи Каррер, самый талантливый и живой из поэтов этой эпохи, сознает непрочность своего положения и стремится выйти из него. Но куда? Этого он сам не понимает. Отвергая авторитеты, он сам тем не менее остается под их влиянием. Его тянет к жизни – но она слишком противоречит заранее выработавшимся в нем взглядам на нее и на все. Той прелести, которую сумел найти в ней Беллини – он не видит. Он ищет убежища в политиканстве. Сам примечает, как талант его слабеет на этой скользкой дороге. Отсюда трагический характер всей его жизни и деятельности, закончившейся неискренним отступничеством...[373]

Между тем, основные условия быта всей

Европы изменяются. Перемена эта чувствуется конечно и в Италии.

Литература, выработавшаяся в доктринаризм, отказавшаяся от национальности и от народной жизни, не может отказаться от самой себя. Доктринеры, убежденные в своем паразитстве на итальянской почве, оставляют всякую заботу о том, чтобы натурализироваться, приобрести себе права гражданственности. Они стремятся к космополитизму, не отказываясь от археологической гордости своим прошедшим, но вместе с тем подчиняясь иностранным образцам, увлекаясь – или правильнее, стараясь увлечься общим потоком.

Противоречия эти все воплощены в слишком прославленном Александре [374] Манцони (его роман: *Обрученные* «I promessi sposi»).

Манцони является как бы примирителем двух враждовавших школ. Вносит конечно нечто новое, не вполне свое – а заимствованное. Как всякое примирение в подобных случаях, он вял, дряхл, без энергии. Но как всякое примирение, он принимается с восторгом легко утоляемым большинством.

Рассматриваемый исключительно как подражатель Вальтер Скотта, Манцони должен бы занять одно из самых почетных мест в их многочисленном войске.

Он не столько из подражательности принимает за образец шотландского романиста, сколько из сродства с ним. Манцони мог бы быть и без Вальтер Скотта. Но только едва ли его длинный роман был бы прочтен и принят, если бы вальтер-скоттовский жанр не был уже так прославлен.

Появление Манцони всего больше польстило итальянскому самолюбию. В то время, как вся Европа была полна славой Вальтер Скотта и готова была признать превосходство английской литературы – итальянцы были детски рады возможности сказать: «у нас есть свой Вальтер Скотт».

Критики стали отыскивать новых и самобытных достоинств в его романе «Обрученные», с той же терпеливой, антикварской любовью, с какой сам автор отыскивал в ломбардских летописях подробности о своих бедных героях. Достоинства, конечно, нашлись. Скопированная чрезвычайно верно природе

фигура сельского католического священника (Дон Аббондио[375]) поразила своей правдой; понравилась, как новость, показалась смелой... Но если бы роман этот не имел в свою пользу только что указанную случайность, толстенная фигура Дон Аббондио прошла бы незамеченной. Не понравилась бы она наверное, потому что итальянцы мало ценят реализм в своих литераторах...

Но ни сам Манцони, ни большая часть его судей и читателей, не смотрели на этот роман с обозначенной точки зрения. Сам автор не хотел отказаться от дидактических притязаний, на которые итальянские литераторы в то время считали себя в праве. Публика не хотела отказаться для одного литературного произведения от тех требований, к которым ее слишком приучили.

Эта дидактическая, поучительная сторона романа Манцони составляет самую слабую сторону этого автора и всех его последователей.

Как страстный археолог, Манцони не только не понимает, но вовсе и не замечает того, что делается вокруг него. Поглощенный свои-

ми летописями, он забывает, что они рассказывают события давно отжившие. Он в самом деле воображает себя современником свирепых феодальных ломбардских грандов и добродетельного епископа Карла Борромейского. Общественное зло времен испанского владычества и ломбардской чумы всё еще кажется ему живым общественным злом. Он до того проникается благородным негодованием, что хватает первую подвернувшуюся ему под руки притупленную, заржавевшую рапиру из своего антикварского хлама, и яростно нападает на оживленное его собственным воображением привидение давно отжившего противника. Манцони забыл, что целые два века – и каких два века – отделяют современную ему Ломбардию от рассказываемых им событий. Странно, что он забыл даже плодотворную деятельность Беккарии и Берри[376], из которых сам он почерпнул не мало. Но все не странно, что при всем этом он видит действительное спасение Италии в демократическом католическом пьетизме миланского епископа и странствующего монаха падре Кристофоро.

Читатели Манцони – и даже самые недалёкозоркие из них – понимают очень хорошо всю несовременность и неуместность переселения в Италию шотландского барда. Как ни сладко пой он хотя бы родную им песнь – они могут встречать его с временным аматёрским сочувствием, каким, например, в Петербурге встречают итальянских певцов. А они не хотят, при бедности своей литературы, расстаться с упованиями, которые так сказать за глаза они возложили на это произведение, одним своим появлением наделавшее уже много шума в высших общественных слоях...

К тому же слишком близорукие тогдашние классики не признали в Манцони своего. За то только, что он внес в итальянскую литературу противную им форму романа, отвергающую всякие псевдо-классические единства, они причислили его к «дерзким нововводителям», не уважающим никаких старых авторитетов. Нападения, которыми они встретили вновь появившийся роман, послужили обществу как бы отрицательным признанием его общественного современного значения.

Читатели взглянули на «Обрученных» со

стороны прямо противоположной той, с которой смотрел на нее сам автор. Живой образ робкого и мелочно-корыстного и себялюбивого Дон Аббондио заслонил мертвые образцы поэтической добродетели, для которых собственно Манцони написал свою длинную рапсодию.

Так как вся Италия в это время гораздо больше страдала от владычества иезуитов, чем от феодальной анархии, против которой Манцони ищет спасения в пьетизме, то ему и приискали современное значение...

«Обрученные», конечно, не долго бы выдержали безыскусственную критику свободного народного смысла. Но доктринеры, слишком напуганные приметным упадком своего классического авторитета, позаботились спасти этот обновленный и подогретый доктринаризм. «Обрученных» поспешили поставить на искусственный пьедестал какого-то смешанного романтически-классического единства, вне всяких нападков разумно свободной критики, проповедуя детям в школах недостижимое превосходство этой безжизненной рапсодии над всяким живым художе-

ственным проявлением...

Литературно-общественное значение Манцони ограничивается тем, что страницы его прозы заучиваются в школах наизусть вместе со стихами Данта и Ариоста. Попытка поставить его патриотом-родоначальником современной итальянской литературы не удалась и не выдерживает никакой критики...

Манцони даже не делает школы. Он стоит по обыкновению особняком между итальянскими романтистами...

Флорентиец Джованни Розини – автор другого романа: «Монахиня из Монзы[377]» (*La Monaca di Monza*) вяжется с автором «Обрученных» почти одной случайной, внешней своей стороной.

Репутация ломбардца Манцони задела муниципальное самолюбие Тосканы. Розини задумал рассказать эпоху из истории своего родного города общедоступно, как Манцони историю своей ломбардской деревушки. Уступая весьма распространенному тогда предрассудку, основанному отчасти на сделанном уже здесь замечании, – что частный роман интересуется больше, чем история, – Розини

счел нужным сгруппировать события выбранной им эпохи вокруг двух протагонистов – непостоянного любовника и пылкой монахини аристократического происхождения, гордой, более ревливой, чем влюбленной, больше от скуки бездействия и одиночества, чем из страстной любви к своему похитителю, оставившей монастырь...

Желая обеспечить свой успех установившимся уже авторитетом предшественника, Розини развивает один из эпизодов романа Манцони...

Тем не менее в его романе гораздо больше внутреннего содержания, гораздо больше материалов для живой и довольно современной драмы, чем у Манцони.

Герои «Монахини из Монзы» ближе современному обществу всех добродетельных и не добродетельных героев Манцони. Но Розини сам вовсе не интересуется своей драмой. Она очевидно нужна ему только для того, чтобы связать между собой разнообразные эпизоды исторической жизни Флоренции прошлого века.

Но и в исторических своих действующих

лицах, он именно лица, т. е. человека, не умеет или не хочет найти. Он заботился слишком о их количестве. Ему хочется, чтобы все имена, встречающиеся в политических, литературных и художественных летописях того времени, были и в его романе. Галилей и посредственный скульптор Такка, разгульный и скептический плодовитый живописец Джованни да Сан-Джованни и приторный Карло Дольче – все ему одинаково недоступны своей живой индивидуальной стороной. Он собирает о каждом из них большее по возможности количество неизданных прежде анекдотов, и остается холодным. Он оставляет ежеминутно историю для романа, и роман для истории, без всякой надобности, без любви и сочувствия и к той и к другому.

Как художник он умеет относиться к одного рода личностям: к пройдохам и плутам низкого звания, оказывающим большие услуги грандам, под протекцией которых они прячутся от нападков враждебной им общественности. Они у него выходят живыми, не смотря на явно высказываемое автором отвращение к этим полу-убийцам по найму (*sicario*),

полуфакторам.

Чубатые *bravi*[378] в романе Розини, его предводитель двусмысленной плебейской ассоциации в Болонье – самые удачные личности, из выведенных всей итальянской литературой тех времен, – может быть потому, что они созданы без всякой заданной мысли, верно с действительностью. Кроме этого, они имеют в себе еще и другое достоинство. Они интересны для общественной физиологии, для истории Италии.

Все это свидетельствует конечно о факте довольно печальном, в котором итальянский автор не хотел или лучше не мог сознаться самому себе. Плут Ангвилотто (в романе Дж. Розини) потому так удался ему, что это был живой народный итальянский тип того времени.

Ангвилотто не обладает обыкновенными добродетелями романических своих собратьев. Не обладает и многими их пороками. На лестнице нравственного человеческого достоинства он стоит несравненно выше тех цепных собак, которых слепая привязанность к своему хозяину, бессмысленная покорность

составляют весь нравственный кодекс. Ангвилотто не клиент своего развратного богатого господина – он плебей, прямой потомок того *popolo magro*, который слишком меркантильно, может быть, муниципально понимал цизмизм[379]; но понимал, и притом весьма плодovито...

Уступая предрассудкам своих соотечественников, Розини выводит своего *браво* из Лукки – города пользующегося и теперь еще в Тоскане репутацией гнезда воров и мошенников. Это промах автора: Ангвилотто – непременно уроженец Флоренции. Только в этом городе, – главном театре муниципального итальянского развития и затем борьбы, – есть безнравственные и продажные партии, только во Флоренции – говорю я – встречается в черни сознательный, добродушный, практически рассчитанный маккиавелизм. В других городах той же самой Италии такого отрицания общественности не может быть, по крайней мере в массе. Он является, конечно, и там, но в форме судорожного протеста, бессознательного и подавляющего...

Переход от итальянских литераторов кон-

ца прошлого столетия к двум романистам, о которых выше шла речь, не объясняется итальянской историей: Манцони и Розини ничем видимо не связаны с предыдущей эпохой, ни мало не вытекают из нее.

Они – первый отзыв Италии на движение западноевропейской литературы, ими начинается в итальянской литературе эпоха подражательная. Насколько в подражании каждый из этих двух авторов остался самостоятельным, уже сказано.

Период Манцони и Розини называют обыкновенно «вальтер-скоттовским периодом». Это совершенно верно с одной стороны, но многое можно сказать против этого мало выражающего названия...

Успех их, в особенности Манцони, показывает, что итальянское общество настолько уже стерлось в космополитической цивилизации, что ему по плечу становилась иностранная литература. Вместе и то, что у этого общества нет самобытной, национальной жизни, без которой и самобытной литературы быть не могло...

Но выбор Вальтер Скотта для первого пере-

саждения иностранного искусства не совсем удачен. Спокойный антикварский его характер и его занимательный бесстрастный рассказ был дорог его соотечественникам. У них был досуг, было спокойствие, необходимое для того, чтобы вслушаться в его невозмутимые красоты. Ничего подобного в Италии не было.

Политическое положение этой страны в те времена слишком хорошо известно и о нем нечего говорить...

А о непосредственном влиянии Манцони и Розини на итальянское общество следует сказать несколько слов.

На них охладившиеся несколько приверженцы старого примирились с легко утомляемыми приверженцами нововведений. С них начинается отщепление, совершенное разъединение итальянского общества и итальянской народности. Конечно, не ими вызван этот раскол; он только ими обозначается в литературе. Они стоят как вехи, указывая на точку поворота.

Высшее итальянское общество никогда не отличалось патриотическими чувствами.

Аристократия была очень надежной опорой Австрии против итальянской народности. Но после Наполеоновских войн здесь образовалась новая для Италии среда, по-своему аристократическая и по-своему народная. Отрицательными своими сторонами эта среда касалась обоих тогда враждовавших классов итальянского народонаселения. Она привлекала к себе часть низших сословий тем, что была против Австрии. С аристократией она мирилась на том, что была против итальянской народной общественности. А потому численный состав ее рос не по дням, а по часам отщепенцами от обеих...

Среда эта потому не сословие, что она вмещала в себе все сословия (некоторой их частью), а потому и не была тесно связана никакими сословными интересами. Она высказалась очень определенно в итальянском национальном обществе, учрежденном Манином [380] в Париже...

Остальные деятели (за исключением двух выше названных) вальтер-скоттовского периода итальянской литературы принадлежат все без исключения к этой среде. Манцони и

Розини стоят, как уже сказано, на распутье.

Вальтер-скоттовская манера писать исторические романы вообще легко прививается там, где больше тесного, близкого знакомства с прошлым, чем современной умственной жизни. Вот почему она в Италии привилась очень быстро...

Произведения этого рода здесь довольно многочисленны сравнительно с количественной бедностью итальянской литературы. Но они не современны, не потому только, что писаны несколько лет тому назад, а потому что принадлежат временной эпохе, уже совершенно и бесследно отжившей.

Впрочем, этот будто бы вальтер-скоттовский род романов имеет такое свойство, что он везде, в каждой стране и в каждом обществе может повторяться без конца. Для призрачного его существования нужно много досуга, порядочный запас археологических знаний – и только. Когда общественная жизнь замирает, или засыпает надолго, тотчас же появляются в литературе такие романы. И они даже находят себе читателей – приносят своего рода общественную пользу. Через них мно-

гие знакомятся с историей. Есть внизу множество людей, которые ни за что не прочитают исторического сочинения, как бы интересно оно ни было. А к романам они до того пристрастны, что прощают им их сухой, черствый исторический характер.

В такие времена, когда всё молчит, всё подавлено – публика бывает иногда даже очень благодарна людям, которые не совсем успешно затрачивают свой труд и время на попытки развлекать ее... Политико-экономический взгляд на произведения изящных искусств незаметно проникает в массы – разумеется там только, где таким произведениям есть доступ к массам...

Неудивительно, что в Италии, где всё талантливое, живое, обрекалось на смерть или на насильственное молчание, где человек, не совсем заморенный в какой-нибудь из тесных рубрик политиканского доктринаризма, искал себе поприща деятельности более практического, чем художественное творчество; немудрено, говорю я, что здесь легко приобреталась более или менее лестная популярность даже и такого рода сухими, безжизнен-

ными романами...

Манцони и Розини, как я уже сказал, не составили школы. Их интерес и значение в той весьма не широкой индивидуальной стороне таланта, на которую я старался указать в беглом обзоре их слишком прославленной деятельности...

Но тем не менее нашлись писатели, усвоившие себе, так сказать, их технику, механическую часть их работы и стяжавшие себе некоторую известность под благодетельным покровом лоскутков, оторванных от их полуклассической мантии, перекроенной на манер пледа горных шотландцев.

Техника эта, состоящая в группировании известного числа исторических подробностей избираемой эпохи вокруг какой-нибудь личной драмы, не исключает, конечно, авторского творчества. Джованни Розини доказал своей «Монахиней», что соблюсти обе стороны интереса этого *genre mixte*[381] литературных произведений (то есть *историческую* и *романическую*) очень трудно и не под силу обыкновенному таланту. Но есть множество произведений, где одна из этих сторон служит

как бы только поводом к другой – жертвуется ей. Бледность главных действующих лиц выкупается иногда очень удачно живым воспроизведением исторической эпохи. Такова большая часть романов Вальтер Скотта. Или наоборот: историческая сторона служит только поводом к личной драме, пополняет, объясняет ее. Как, например, «Люция де Ламмермур» того же самого Вальтер Скотта[382].

Ни того, ни другого нет в итальянских исторических романистах, думавших продолжать дурно понятую ими деятельность Манцони.

Несмотря на их малочисленность, я не стану разбирать их здесь поименно в хронологическом или другом каком-нибудь порядке.

Их *несовременность* прежде всего избавляет меня от этого.

Скажу однако несколько слов о двух крайних деятелях этого рода, о геркулесовских столбах, так сказать, обозначающих по обеим сторонам пределы, из которых не выходили все эти двусмысленные, мертворожденные знаменитости.

Пределы эти: дилетант Массимо д'Азелио

[383] (*Massimo d'Azeglio*) со стороны личной талантливости, и Чезаре Канту (*Cesare Cantù* [384]) со стороны исторической верности, изучения.

Авторитет Массимо д'Азелио считается второстепенным здешними схоластическими критиками. Но живая, общенародная популярность его не уступает манцониевской.

Многие, может быть, не оправдают меня в том, что я не останавливаюсь перед этим, почти поголовным и конечно не насильственным признанием достоинств пьемонтского романиста. Но я спешу сознаться, что во мне вера в непогрешимость подобного суда «неприсяжных», по крайней мере в делах литературных и художественных, уступает сознанию необходимости известного развития вкуса и некоторого знакомства с искусством для произнесения сколько-нибудь правильного приговора в подобных случаях. Иначе бы мы должны были признать несомненное художественное превосходство сказки о «Бове Королевиче» над «Сказками для детей», например, и над другими лучшими произведениями Лермонтова и Пушкина... У нас совер-

шенно другой взгляд, другая мерка не только художественности, но и самой народности наших авторов...

Возвращаюсь к Массимо д'Азелио.

Отказать ему в талантливости (как делают некоторые очень почтенные итальянские критики враждебного ему лагеря, основываясь исключительно на том, что он *не ихнего прихода*) невозможно. Он своим именем «наполнял Италию», по высокопарному, но справедливому выражению его собственных литературных и нелитературных клиентов.

В самом деле, имя д'Азелио встречалось везде: в только что учрежденной сардинской камере депутатов, и на художественных выставках, в политике (едва открылась возможность какой-нибудь политической деятельности), в литературе всех сортов и разрядов... Массимо д'Азелио писал большие пейзажи и продавал их в пользу учреждаемых им вместе с Кавуром филантропических заведений, был министром, писал политические, критические и проч. статьи, и при всем у него доставало времени на сочинение длинных донельзя романов.

Только этой стороной своей всеобъемлющей деятельности он и входит в узкие рамки этих заметок. Но и в них он бы должен занимать очень видное место, если бы я более оценил количество сочинений, написанных итальянскими авторами. Один он написал больше (как романист), чем вместе все трое названные выше...

Подобная плодовитость и разносторонность есть принадлежность гениев, как Микеланджело, Гёте и т. п. Но и у Дюма она встречается тоже, и едва ли в меньших размерах.

Массимо д'Азелио ни почему не может быть отнесен к первым. Зато поражает сходством своим с последним, самым плодовитым из живших когда-либо мулатов всевозможных литератур...

В самом начале этих заметок я сказал уже, что итальянские литераторы не группируются ни по школам, ни по эпохам. Если я связываю в какое-то подобие манцониевской школы романистов от Дж. Розини до Канту, то это исключительно потому только, что в каждом из них я примечаю заднюю мысль: взобраться на пьедестал, на который сразу удалось

вскочить счастливому автору «Обрученных». Потому что каждый из них питается крошками вальтер-скоттовского величия, не столько по сочувствию к его таланту, по сходству склонностей, сколько из какого-то *parti pris* [385], из непонятной для нас уверенности, что успех Манцони в этом роде обеспечивает и их собственный успех.

Должно заметить, что направление общественной литературы мало согласовалось со вкусами и стремлениями итальянского общества. Самые отважные из французских, английских и частью немецких нововводителей переводились на итальянский язык, читались даже очень охотно в Италии, но тогда только, когда авторитет их был уже установлен и признан всей Европой. Без этого важного условия Италия не могла оценить их по достоинству. Это одно заставляет уже сомневаться в том, чтобы хотя один из них возбуждал серьезное внимание к себе в итальянских читателях, или просто даже был бы понят ими. По крайней мере итальянский историк и критик, пользующийся здесь нисколько не двусмысленной известностью (Ч. Канту: его

«История ста лет, 1750–1850») находит поразительную тождественность между Байроном и Виктором Гюго. Этот многозначительный факт оправдывает достаточно только что высказанные мной сомнения... Сознание это заставляло поневоле итальянских романистов, искавших себе пицци в иностранном движении, смотреть на своих заграничных кумиров сквозь манцониевские очки. Я говорю, конечно, о тех только, которые не чувствовали в себе достаточно народного чутья или инстинкта, чтобы отважиться быть самостоятельными в подражании. Вот в чем вся связь их с Манцони. Связь весьма скрытая, приметная только при тесном знакомстве с ними.

Вальтер-скоттовское время и в самой Англии миновало довольно скоро. Романтизм не замедлил принять другое направление. Влияние Франции всё усиливалось с каждым днем. А там образовалась другая литература «безобразная, как современная жизнь», говоря словами уже названного итальянского критика, порою пустая, искусственно цветистая, подкрашенная, как парижские красавицы, обольщающие модный мир своей под-

дельной красотой.

Та среда итальянского общества, о которой было говорено выше, и которая преимущественно состязалась на разбираемом здесь литературном поприще, не могла устоять против этого нового беспокойного влияния. Гюго, а еще больше Дюма, положили эту неизгладимую печать на многостороннюю деятельность Массимо д'Азелио.

А в то же самое время он очень искренно, или усердно по крайней мере, приставал к дружному хору итальянских критиков, бичевавших *варварскую* литературу своих соседей со своей строгой и величавой точки романтического пуризма.

Массимо д'Азелио постоянно обращается к Вальтеру Скотту и к Манцони, не замечая сам, что царствующий в их произведениях стиль противен его беспокойной, политиканской, поверхностной натуре. К тому же Дюма стоит вечно между ним и образцами, которым он думает подражать...

Таков общий характер его романов. Поэтому-то они и приняты были так легко и свободно теми, кто никогда не мог преодолеть трех

страничек Манцони.

Его «Гектор Фьерамоска» (*Ettore Fieramosca*) – образцовое произведение в этом роде. Нужно было, в самом деле, много таланта, чтобы составить эту интересную мозаику из известного Д’Артаньяна, исправленного и пополненного осколками «майора Дальгетти»[386], всё это осветить своим итальянским национальным юмором, настолько, чтобы не заметили швов и неровностей, но вместе с тем, чтобы эта, в самом деле оригинальная, смесь легко переварилась организмами, освоившимися с «Тремя мушкетерами» и «Графом Монтекристо».

Прибавив к сказанному, что Массимо д’Азелио первый попробовал воспользоваться нейтрально безжизненной формой своих исторических романов, для того чтобы провести отрывочно и всем понятными намеками некоторые мысли, очень трудно тогда про- скальзывавшие в печати, мне кажется я достаточно объясняю его популярность, теперь уже забытую...

Всех этих достоинств нечего искать в сухом и трудолюбивом Канту, или правильнее,

в его историческом романе «Маргарита Пу-стерла» (*Margherita Pusterla*).

Немногие прочли его от начала до конца. Большинство признало за глаза, как говорится, его достоинство. И большинство на этот раз не ошиблось. Только на долю автора вследствие этого выпала та холодная популярность, которую никто не оспаривает, потому что не считает нужным спорить о ней, а частью из боязни выказать в спорах свое слишком поверхностное знакомство с предметом.

Многим кажется вовсе несправедливым обсуживать художественное произведение с точки зрения того, *чего в нем нет*. Т. е. осуждать его за то, что автор вовсе не то видит в своем предмете, что хотел бы видеть критик. Признают несомненным авторским правом, чтобы критик становился на точку самого художника, решая только: удовлетворительно или нет выполнил он им самим избранную задачу?

Признанием неотъемлемости этого права художники могли бы дорожить в том только случае, если бы вместе с тем им было гаран-

тировано непререваемое сочувствие общества, среди которого они живут, ко всякой задаче, какую бы себе они ни поставили...

В противном случае, сделанное выше разграничение представляется довольно бесполезной юридической тонкостью. Я ставлю вне вопроса присяжных критиков, для которых разбор произведений искусства, не исчерпывающих всех сторон своего предмета, может служить только поводом к тому, чтобы совершенно самостоятельно развить стороны, пропущенные автором. Тогда, и в силу того же афоризма, их неотъемлемое право (как художников в свою очередь) – указывать на то, чего нет в разбираемом ими создании... Сама же публика, общественное мнение, отвыкает требовать от художника абсолютного решения затрагиваемых им вопросов и рукоплещет тому, кто сумеет прямо и честно поставить их ей на вид, хотя бы для того только, чтобы возбудить новые сомнения.

Задача, которую поставил себе Канту, – восстановить подробности исторического быта северной Италии, выполнена им с примерной добросовестностью и вовсе не бездарно.

Но странно винить общественное мнение за то, что оно холодно благодарит автора «*Margherita Pusterla*» за его достоинства. Ей интересны живые люди всякой эпохи, мысли и чувства, побуждения и страсти, двигавшие ими, волновавшие их. Но кому же теперь досуг и охота примечать искусство и добросовестность, с которыми знаток антикварий надевал на деревянные куклы старый костюм...

* * *

Среди этого мирного направления итальянской литературы появляется совершенно никем неожиданная, ничем необъяснимая изо всей предыдущей деятельности – новость о «Битве при Беневенто», «*La Battaglia di Benevento*», молодого Франческо-Доменико Гверрацци.

Появление ее едва ли не замечательнейшее из литературных событий рассказываемого периода. Полный недостатков и странных противоречий, Гверрацци – теперь уже 70-летний старик – всё еще кажется гигантом и титаном сравнительно с крошечными своими противниками, поклонниками, подражателями и зоилами...

«Битва при Беневенто», как явствует уже из самого заглавия, роман исторический, представляет даже некоторое общее фамильное, так сказать, сходство со всеми предыдущими той казенной стороной, которой не избег еще ни один исторический роман или повесть: я говорю о более или менее длинных описаниях геройски-чудовищных и невероятных поединков и сражений, где закованные в железо рыцари, обнявшись в судорожной злобе со своими врагами, перепрыгивают с легкостью балетной тени со скалы на скалу, или с борта одного корабля на другой (как, например, в повести Гверрацци), получают и наносят баснословное количество ударов и т. п.

Такие страницы, скопированные довольно неудачно с Вальтер Скотта, или его итальянских подражателей, притом утрированные еще и полные напыщенного лиризма, встречаются, повторяю, и у Гверрацци. Это самая слабая его сторона. Я указываю на нее всего прежде, потому что ею он вяжется со своими предшественниками.

Во всех других отношениях это молодое, невыдержанное во многом произведение, со-

вершено ново и во многом самобытно. Еще новее и еще самобытнее казалось оно в Италии, потому что для большинства здесь было загадкой: кем вдохновлялся этот художник? У кого заимствовал он свою антиклассическую, «противу-итальянскую» (если можно так выразиться) манеру?

Нового в этой повести Гверрацци прежде всего то, что она не принадлежит ни к одной из двух вышеобозначенных категорий. Гверрацци меньше поглощен исторической эпохой, им выбранной, и судьбами своих героев, чем современной ему жизнью – чем собственной своей личностью. Эту субъективность не могут простить ему не только политические и литературные враги его, но даже слишком многие из его поклонников – критиками, закупленными в его пользу нелитературным авторитетом его имени.

Я считаю священнейшей своей обязанностью обойти спор о значении субъективности в искусстве. Гверрацци, которого Мадзини в своих критиках (см. «Генуэзский указатель» того времени – потом журнал «Молодой Италии» и записки Мадзини) обвиняет в из-

лишней гордости, в поглощении собственной своей особой, именно благодаря этим-то похвальным и непохвальным качествам, и играет в итальянской литературе и до сих пор еще очень блестящую роль. Я не имею намерения судить итальянских литераторов с точки зрения добродетельного Монтиона[387], а потому и не буду останавливаться над оценкой их нравственных добродетелей, совершенно не касающихся их умственной и художественной деятельности... Поведение Бэкона в очень многих отношениях было весьма непохвальное, но никто же не отвергает на этом основании его заслуг в деле общечеловеческого развития[388].

Личность автора «Битвы при Беневенто» гораздо интереснее всех первостепенных и непровостепенных героев этой повести. В том и заключается интерес самого произведения, что живая, мыслящая особа автора проглядывает везде...

Гверрацци резко отличается от всех итальянских современных писателей (исключая одного Леопарди, которого трагическую судьбу я рас скажу в другом месте) тем, что он бе-

рется за искусство, не заморив в себе, на каком-то произвольном, голословном и догматическом полурешении, ни одного из тех сомнений, которые составляют неотъемлемую собственность каждого современного человека, сколько-нибудь думавшего... Он одинаково смел был тогда, в первое время своей молодости, и остался смел теперь, вопреки всем политическим актам и расколам своего времени... Такие вещи в наше время большая редкость везде, всего больше в Италии, где каждый человек, рождаясь, положил уже для себя готовое дело, перед которым ему едва ли простительно было сомневаться и колебаться... Италия не простила Гверрацци его сомнений... Но мы можем беспристрастнее смотреть на людей и на вещи... Нам – не итальянцам – менее можно было бы простить излишнюю придирчивость в этих скользких, как рыба, тонких вопросах.

Нравственное брожение, происходившее в душе молодого Гверрацци, когда он писал это первое свое сочинение, отразилось очень верно на самом произведении, – придало ему какой-то беспокойный, неровный, судорожный

характер... Все итальянские критики, спокойно спавшие в величавом эстетическом замке, были пробуждены его появлением; с просонков не шутя перепутались, рассердились даже на автора.

Они видели в начинающем романисте непростительные стремления к уродливому, к чудовищному (*tendenze al brutto*), которые так возмущали их в современной варварской (то есть не итальянской) литературе...

Должно сознаться, что они отчасти были правы. Правы не потому только, что привычным к отечественной рутине умом не могли отличить Байрона от Виктора Гюго.

Сам Гверрацци, только ознакомившийся с мрачной поэзией Байрона, в этой первой своей повести действительно близок к тому, чтобы перескочить через барьер, отделяющий мрачное, страждущее от натянутых и безобразных ужасов французской *école échevelée* [389]. Многие из страниц «Битвы при Беневенто» в самом деле достойны факельщика современной литературы (по остроумному отзыву Гейне о Викторе Гюго)...

Поэтому повесть эта даже в искренних

друзьях Гверрацци, – в тех, которые, оценили его жизненность, поэтическую дельность через всю призму всякого рода своеобразных и подражательных недостатков и промахов, – даже в них повесть эта вызвала много законных возражений и опасений...

На все, возбужденные появлением этой первой повести вопросы, Гверрацци ответил несколько лет спустя своим известным романом «Осада Флоренции», о котором слишком многое предстоит сказать впереди...

Но прежде еще несколько слов о «Битве при Беневенто» и о других повестях Гверрацци, писанных хотя и позже, но принадлежащих по всему той же эпохи его деятельности. «Изабелла Орсини», «Вероника Чибо», «Герцогиня Сан-Джудьяно» и «Беатриче Ченчи» – самые известные из них. Все слишком похоже одна на другую и в более сжатой форме представляют всё те же недостатки и достоинства, как и названная прежде самая длинная и первая по времени его повесть...

Значение Гверрацци в итальянской литературе и до появления «Осады Флоренции» весьма многосторонне и едва ли может быть

отрицаемо.

Он заменил эту мертвенную поэзию прошлого, которую до него в Италии считали единой истинной – живой поэзией байроновского отчаяния и сомнения – единственной возможной современной поэзией... И классици, и романтики восстали единодушно против него, уличали его в безграмотности, цитировали Данта и академические словари... Но всё молодое поколение заучивало наизусть целые страницы его звучной прозы, неподдельно восхищалось ею, сочувствовало тревогам и страданиям автора, гораздо больше чем эстетическому покою законодателей вкуса и академиков всякого рода...

Это одно уже избавляло Гверрацци от необходимости вклеивать между строк своих повестей, в виде сжатых афоризмов, политические намеки, общеизвестные и замаринованные эпитафии старых истин... Он и без них имел достаточно чисто современного значения и смысла.

Гверрацци долго остается под очень приметным влиянием Байрона, и в самом самостоятельном из своих произведений – «Осада

Флоренции» – не совсем освобождается от него... Я не думаю винить его за это, потому что для самого себя я еще неудовлетворительно решил вопрос: может ли современный поэт вполне отделаться от байронизма?..

Конечно, зависимость эта имеет много степеней, фазисов развития...

Гверрацци начинает с низшей из них; с той, где он ученической рукой копирует мрачные рембрантовские фигуры своего учителя, принимает их за объективные воплощения близких самому автору, слишком понятных ему страстей и мыслей – не замечая, что все герои существуют только отрицательной стороной – что они мифы, антитезы...

В своей «Битве при Беневенто» Гверрацци так детски верит в реальность байроновской поэзии, что думает живое создать лицо из отрывков всех этих Манфредов, Лоры и т. п., горячо прочувствованные им, связанные не на живую нитку его личным, горячим чувством...

Лицо это (герцог Казерта) выходит более карикатурно, чем трагично... Эту ошибку повторили едва ли не все юные подражатели

Байрона, обольщенные одной его стороной: поэтичностью страдания. Но байроновские герои страдают от того, что они не живые люди, не в самом деле ярки, а олицетворение тех сторон человеческой жизни, которые поправны, задавлены исключительным и односторонним развитием человечества.

Гверрациевские герои напротив. Они не отвлечения. Или по крайней мере автор заботился о том, чтобы они не были таковыми. Он рисует те их стороны, которыми они тесно вяжутся с жизнью... Он даже не показывает, в чем эта жизнь им так горько противоречит? А без этого читатель совершенно не понимает, отчего они так упорно, так настойчиво страдают?

Автор сам хорошенько не понимает этого. Он награждает многих из них очень почтенными мещанскими добродетелями. У всех их, злодеев и не злодеев, есть очень много решенного; иногда даже больше, чем нужно для умеренного морального благоденствия...

Вследствие всего этого, мы не можем сочувствовать их страданиям. Автор сам также. Поэтому он и хочет наполнить психический

пробел, приметный каждому, невероятным сцеплением неблагоприятных случайностей. Этим он только еще больше охлаждает внимание читателя, и именно этой своей стороной он и приближается к свирепой школе современной фантазии...

Гверрацци охотно останавливается над психическим разбором, но только не заходит глубоко в душу. Он слишком итальянец, и у него рука не подымается на серьезные замкнутые истины. Только он останавливается перед ними не с наивной верой, не с благоговением, а скорее из уважения к общепринятым приличиям обходит их.

Осуждать его за это значило бы именно: *судить художника с точки зрения того, чего в нем нет*. А в подобных-то случаях такая критика и не может быть допущена...

Гверрацци напугал, или по крайней мере изумил, поразил своих современников тем, что пошел далеко в отрицании. Какое же тут место обвинять его за то, что он не пошел дальше? Он бы остался совсем непонятым или даже непонятным... Из этого можно заключить только, что он не принадлежит к

слишком ограниченному числу гениев, которых вольный полет не стесняется ничем – ни современностью, ни соображениями временной или безвременной пользы...

Герои Гверрацци – все преступники, томимые раскаянием, убедившиеся, что цель, которой он добивался таким кровавым путем, не стоила жертв и мучений, сопряженных с ее достижением. Их раскаяньице очень недостаточно для того, чтобы погрузить их в ту бездну нравственных страданий, которую автор предполагает... Я говорю: предполагает, потому что, действительно, он только более или менее косвенными намеками дает знать читателю, что намерен свести его в какой-то неописанный Дантом самый ужасный из адских лимбов. Но читатель нелегко верит ему, потому что действующие лица его вовсе не заслуживают таких жестоких наказаний. Иной из них, которого он думает выставить самым черным злодеем, сохранившим на свою беду сознание своей преступности, в сущности оказывается просто добрым малым или недалёковидным пройдохой, которого разборчивый Плутон и не впустил бы даже в

свое мрачное царство...

Байроновская сторона Гверрацци, очевидно, – самая слабая из всех его сторон. Это объясняется не личным характером автора, но тем, что он итальянец...

Но уже в первых своих сочинениях Гверрацци вносит свой собственный, самобытный элемент. Элемент живой восприимчивости, страстного стремления к счастью, к наслаждению жизнью, помимо всяких общепринятых условий и приличий... Страстность эта доводит и до преступления, но за ними идет не раскаяние, не разочарование... Все силы подрываются в одном могучем порыве, за ним нравственная смерть, с горьким, но спокойным сознанием: «совершилось».

Этот самобытный оттенок в Гверрацци проявляется до крайности робко в его «Битве при Беневенто», в лице молодого стрелка из свиты короля Манфреда... Его пылкий нрав, в явном противоречии с полулакейским его званием, обещает с первых же страниц живую и интересную драму... Но автор, надо признаться, не сдерживает обещанного. Он спешит дать ему самую аристократическую

генеалогию, как будто для того, чтобы оправдать, Бог знает перед кем, его честолюбивые мечты, его противу-этикетную любовь к молодой королевне...

Гораздо полнее и выдержаннее именно в этом отношении коротенькая повесть его «Вероника Чибо».

Самая краткость ее весьма немаловажна в числе ее достоинств... Гверрацци вообще трудно дается целость, техническое единство его произведений. Причудливый его юмор (не в английском смысле этого слова) утомляет читателя. Воображение дробится, не находя, на чем сосредоточиться по преимуществу... «Вероника Чибо», как картинка, недостаточно, может быть, оконченная в подробностях, но проникнутая одной невымученной мыслью, производит очень сильное впечатление. Это, бесспорно, самое художественное из всех произведений автора и в современной итальянской литературе едва ли найдет себе опасных соперников... Ее заучивают наизусть. Юноши декламируют ее, без сомнения, с большим сочувствием и пониманием, чем лучшие из сонетов своих классиков...

Как от картинки, от нее нельзя требовать ни глубокого психического смысла, ни особенной разработки мысли. Но она с начала и до конца заставит задуматься... Если исключить из нее несколько строк неизбежной в Италии риторики, она могла бы стать достоянием и других литератур.

Содержание ее не затейливо. Интерес не сконцентрирован на одной личности, поставленной на ходули для того, чтобы лучше заслужить благосклонное внимание публики. Прочитав ее, вы никого не обвините, и вам еще больше больно за всех и за себя...

Герцогиня Сан-Джувьяно страстно любит своего мужа, и он вполне способен возбуждать страстную любовь... Но прелести Вероники Чибо успели утратить на него свое действие в течение нескольких лет ничем не возмущаемого семейного счастья. Самая красота отлетает; бедная герцогиня, одеваясь на званый ужин, сама с горьким чувством замечает, как опустились ее когда-то словно из мрамора выточенные черты лица. Герцог полон жизни и стремлений; он сохранил всю мощь первой юности, он не может остановиться,

успокоиться на решенном. Ему нужна новая борьба, новое счастье, новая жизнь... Вероника тем горячее любит его за это, но ей страшно – ее томит предчувствие... Герцог чем-то занят, он холоден с нею...

Ребенок ее проснулся, зовет. Он видел страшный сон, испугался... Чувство матери заставляет забыть на минуту тревоги ума и собственные сомнения. Она судорожно хватается его в свои объятия, страстно целует. Но она ушибла его, нервно лаская. Он вырывается из ее рук...

И ей больно. Пустая случайность эта наводит ее снова на случайно прерванную горькую мысль... Она в ребенке видит врага: в муках рождения утратила она свою красоту, свежесть молодости...

Герцог любит другую... Вероника убивает свою соперницу... В этом весь сюжет рассказа...

* * *

Прежде чем говорить о дальнейшей деятельности Гверрацци, я хочу сказать хоть несколько слов о друге его и сотруднике – о Карло Вини[390], этом Полежаеве[391] ита-

льянской литературы, растратившем свои силы и стремления в грязных ливорнских кабаках в попойках с пьяной чернью.

Он рано умер от раны, которую нанес ему один из его обычных собутыльников за то, что он защищал против его пьяной нежности какую-то легко доступную трактирную грацию...

«Бини имел непонятное преимущество проходить через невероятную грязь, оставаясь чистым», говорит Гверрацци о своем друге, – «часто он пропадал на несколько дней без вести. Я обходил все таверны Венеции (рабочничий квартал Ливорно) и непременно находил его в душном подвале, поющего разгульную песню пьяным товарищам по разврату... Он послушно шел за мною... Мы принимались вместе читать Тацита или переводить Байрона и Шекспира. И он яснее меня понимал их красоты. Молодая душа его отзывалась на каждый звук их девственной поэзии...»

Бини писал немного. Не написал ни одной повести или романа. Но я упоминаю о нем здесь потому, что он один своими немногими

и неоконченными трудами пополнял дело, которого Гверрацци никогда не мог окончить, отвлекаясь от него постоянно то собственными своими художественными стремлениями, то политической деятельностью...

Гверрацци и Бини думали ввести итальянскую литературу в область европейских литератур, – усвоить Италии выработанную вне ее мысль, как Джоберти, Манин и другие усвоили ей выработанный вне ее склад жизни...

Этого едва ли можно было достигнуть одними переводами иностранных авторов на итальянский язык. Между тогдашней итальянской жизнью – или правильнее – между жизнью, к которой стремилась тогда Италия, и идеалами людей ее была целая пропасть. Протест, которым заявляла себя подавленная мысль в Европе, едва ли мог быть понят в Италии. Но протест этот подрывал некоторые из оснований, в силу почти трехсотлетней давности незыблемые в Италии...

Гверрацци и Бини издавали в Ливорно род литературной газеты, имея в виду, может быть, больше внутреннюю переработку, развитие своих соотечественников, в общечело-

веческом смысле, чем близкий политический переворот, на служение которому обрек себя Мадзини, издававший тогда такой же журнал в Генуе, при условиях, сравнительно гораздо менее выгодных... К этому времени относится размолвка между этими двумя людьми, наполнившими своими именами целый промежуток – один в политической истории Италии – другой в истории развития итальянской мысли, которую он сумел сделать близкой и доступной каждому...

Бини помещал в каждом номере журнала отрывочные статьи, которыми объяснял значение более замечательных из общеевропейских литературных деятелей и для Италии. Переводил места из Байрона, Гёте и др.

У нас трудна, может быть, такого рода деятельность. Космополитизм у нас, если не в крови, то по крайней мере в общественном устройстве, укоренился до того, что мы сами его не замечаем...

В Италии совершенно другое дело. Изучение иностранных языков и до сих пор здесь в очень жалком состоянии. Знакомство с иностранными литературами встречается, как

особенная редкость...

Тем незначительным успехом, который приметен здесь за последнее двадцатипятилетие, Италия почти исключительно обязана Гверрацци и Вини...

В мечтах самых смелых итальянских прогрессистов постоянно слишком блестящую роль играет *реакция* – возобновление старого, давно отжившего.

Итальянское общество как будто оледенело на той точке, когда еще действительно ее муниципальная гражданственность, так пышно расцветшая на развалинах старого мира, была последним крайним словом цивилизации.

Но с тех пор Европа много жила и пережила многое... Италия оставалась враждебно чуждой ее жизни, ее развитию...

Уже с начала текущего столетия Фосколо восставал против слепой вражды своих соотечественников к именам, словам, формам, независимо от их содержания. Его протест, чисто случайный и слабый в нем самом, прошел едва замеченный немногими...

Гверрацци и Бини сделали этот протест ос-

новным вопросом своего существования. Они указывают на то, что люди ненавидят призраки, давно истлевшие и переставшие быть опасными или вредными; и что вследствие этой рутинной ненависти горячо любят и верят в то, что не может быть предметом ни веры, ни любви...

Возьму одну из сторон этого плодовитого протеста. Плодовитым я не задумываюсь назвать этот протест и теперь, когда плодами его очень успешно сумели воспользоваться другие и притом в таком смысле, которого конечно не имели в виду разбираемые здесь общественные деятели...

Слепая ненависть итальянцев к иноземцам считалась святым залогом итальянского возрождения. Гверрацци и Бини открыто встают против него и притом вовсе не с точки зрения христианской любви к ближним и ко врагам по преимуществу...

В том и разгадка их несомненного успеха, что они в самом протесте остаются итальянцами и не менее горячо, чем самые записные враги, преданы своему народному делу...

Как я уже сказал, ни тот, ни другой из них

вовсе не проповедают примирения. Напротив. «Месть слабого», говорит Гверрацци, «радует сердце Всевышнего». Но перед началом боя они считают вовсе не лишним оглянуться, пересчитать врагов и друзей... Они видят, что старые перегородки, – которыми подавленная Италия еще во времена первого гвельфо-гибеллинского союза против своей независимости думала отделить «козлиц» от доброго стада, – давно уже сгнили несмотря на тщательный присмотр патриотических антиквариетов...

Ни «форменные отлички», ничто ни спаслось от тех отдаленных времен. Несмотря на кажущуюся неподвижность, всё изменилось... Враги под всеми знаменами, во всех мундирах и тем опаснее, что их не примечают, или еще хуже, считают за «своих», им курят фимиам...

Таких скрытых, замаскированных врагов итальянского возрождения Гверрацци находит в природе, в себе самом, и с ужасом замечает, что сам он за то и приучился любить их, что не в силах уже ненавидеть.

Это одно тесно сближает его с современны-

ми мыслителями всех стран. Мрачная поэзия Байрона ему ближе, чем сам он думает...

С тем вместе ненависть его жгучее, чем у тех, которые обвиняют его в непростительном индифферентизме, в безнравственности. Можно сказать даже, что в нем она цельнее, здоровье, чем в массе его современников. Он ненавидит, смело доверяясь своим инстинктам, и не ищет себе диалектических оправданий...

Бини представляет другой оттенок того же самого нравственного состояния. Пантеист и эпикуреец, он не обвиняет природу в безнравственности за то, что она дает[392], «пышный и красивый цветок цикуты, убившей Сократа, блестящую одежду ядовитому боа», он не негодует против океана[393] «за то, что тот подло лизал могучие ребра итальянской флотилии, везшей смерть и разрушение в Америку, и подло разбивает слабые челноки бедных рыбаков».

Полное равнодушие природы к бедствиям людей не оскорбляет талантливого юношу. Он умеет наслаждаться «богатым рисунком на коже боа» и «пышным цветком цикуты»,

зная, что в этих красивых формах – смерть. Он ближе к микеланджеловскому: «жизнь и смерть два великие произведения одного и того же автора»; оттого он спокойнее, чем Гверрацци, меньше негодует, меньше имеет ядовитости и желчи над разбиваемыми им верованиями, потому что они не его верования. Теряя их, он ничего не теряет, или теряет по крайней мере не все.

Но из сознания, что природа вовсе не благодетельная мать, предохраняющая любимое детище свое, человека, от всяких зол, Бини выносит мужественное сознание, что человеку самому следует предохраняться, если он не хочет погибнуть бесследно в анархическом хаосе космического мира... Бини негодует на людей за то, что они недостаточно смелы для подобного сознания.

К сожалению, молодой талант этот не успел достаточно заявить себя. Отрывочные статьи его в «Ливорнском Указателе» были орудием слишком слабым.

Он, так мужественно добивавшийся истины, не отворачивавшийся от нее никогда, как бы горька она ему ни казалась, не мог выне-

сти одного, – совершенного равнодушия к себе и к истине от тех, кого он хотел любить горячо и страстно... От сознания этой пустоты вокруг себя он бежал в грязный разврат, в котором нашел преждевременный конец...

Гверрацци меньше, чем Бини, понимал свою собственную умственную работу. Он не переходил смело и свободно через ряд нравственных пыток, которыми загромождали путь развития современному человеку. Но в самых страданиях этих он искал и находил какую-то мрачную прелесть... Ею он потряс глубоко сон своих соотечественников...

Как все, он искал убежища в ядовитой иронии, в «спасительном яде», который по выражению нашего поэта «и жжет и заживляет рану...» Недальнозоркие критики принимали этот страдальческий смех за равнодушное глумление...

Когда появился отпечатанный в Швейцарии его «Осел», написанный им во время трехлетнего заключения в крепости, братство доктринеров всякого звания накинулось на него с особенной яростью. Им в первый раз открылась возможность застать своего врага

без обороны со стороны общественного мнения, всегда горячо державшего его сторону...

Это сочинение Гверрацци написано под влиянием Гейне, того именно из современных поэтов, который всего менее доступен итальянцам или нужен им...

Немногие оценили ядовитую силу насмешки Гверрацци, никогда не проявлявшейся в нем так самостоятельно и полно, как в этом причудливом сочинении. Но фантастическая форма его, то что есть в нем гуманного, мистического, послужила препятствием к тому, чтобы «Осел» был оценен и понят всеми, как другие произведения того же автора, хотя и более слабые по выполнению...

Масса читателей осталась холодна. Критика пользовалась случаем, чтобы выставить автора совершенно чуждым итальянскому быту, совершенно равнодушным к вопросам, к которым оставаться равнодушным в глазах итальянцев составляет худшее из возможных преступлений против общественности... Клеветы и оскорбительные намеки посыпались со всех сторон на бедного автора.

Не думаю, чтобы кто-нибудь серьезно по-

верил им. Но во всяком случае, время появления «Осла» – время первого изгнания автора, самое тяжелое во всей его жизни...

«Манцони», – говорит Ч. Канту («История ста лет»), – «наказал Италию своим молчанием» за то, что схоластики и рутинеры отказались высказать нечестивый образ мыслей о его «Обрученных». Гверрацци не смолк под выстрелами доктринерских батарей, а доказал, что он прав – своей «Осадой Флоренции».

Об этом романе необходимо сказать многое, а потому я скажу о нем дальше...[394]

Современные итальянские поэты.

Джузеппе Джустини

I

Современная, в узком смысле слова, жизнь, т. е. переживаемый нами теперь исторический момент, мало производит поэтов повсюду, и Италия на этот раз не составляет исключения. Главная причина этого, я полагаю, та, что *современность*-то наша – собственно в будущем, что может показаться совершенной нелепостью, не переставая однако же быть истиной. В самом деле, истинно живые начала современной общественности не созрели

еще в нашем сознании. Самая заметная общественная среда, т. е. та, в руках которой сосредоточивается всякая видимая деятельность, не живет, а *донашивает* когда-то осмысленную жизнь, как наши чиновники *донашивали* вицмундиры по старой форме. И главное – эта *донашиваемая жизнь* никому не мила. У всех есть, правда, очень неопределенное стремление к чему-то лучшему, мешающее с любовью останавливаться на этой отжившей современности.

Дело в том, что ни одно семя *не оживет, аще не умрет*[395]. Это также верно относительно развития всякого зародыша в жизни общественной, как и в агрономии. И в обоих случаях самый процесс развития – подземный, скрытый. Но на этом и оканчивается аналогия: разложение, которое при агрономическом посеве совершается закулисным путем, в мире общественности совершается не только на наших глазах, но и с полным нашим участием. Не только «май жизни» – весна цветет для каждого человека для каждого поколения, один раз и не больше, но и «лето – пора жатвы» не повторяется. Новая среда по-

жнет плоть посеянного предыдущей. Но между этими двумя средами легко может быть среда промежуточная. Ей нечего было ни сеять, ни пожинать. Время этих промежуточных поколений, время сомнений, трезвости, беспристрастного разбора и прошедшего и будущего, с которыми чувствуется не больше, как холодная родственная, кровная связь. Смелая, добросовестная пытливость – лучшая из отличительных черт такой переходной эпохи. Знание, а не упоенье, не блаженство удел ее. Она может быть богата весьма полезными открытиями по всем частям, где достаточно рассудочной спекуляции; но надежд и пророческого пониманья действительности у нее нет – на них у нее не хватает силы, да она и стыдится их. Из этого впрочем не следует, чтобы их не было и тени в отдельных лицах; не все одинаково подвержены давлению общего строя, и потому речь идет здесь только о степенях, а не о совершенном уничтожении. Строгих рубрик, отделов нет ни в природе, ни в истории – это довольно избитая истина, и я привожу ее вовсе не в назидание читающим, а для того, чтобы быть понятным в том имен-

но смысле, в котором пишу.

Вообще же я говорю только, что до полного художественного развития этот невесомый, неисчислимый и неподверженный ни одному из рассудочных процессов элемент жизни, не доходит в промежуточных поколениях. Он исчерпан жившими тогда, когда современность не донашивалась, а была во всей прелесть своей свежести и новизны. Счастливые предшественники наши, упившиеся девственными прелестями красавицы, оставили в наследство нам свой опыт. А природа, а жизнь, по-прежнему неисчерпаемая и безлично благосклонная ко всем, одинаково предоставляет и нам бездну непочатого еще и девственного. Но для этого нужно отнестись к ней с непочатой страстностью юности, пожертвовать, может быть, своей опытностью – на что именно нас и не хватает. Не влюбляются же опытные мужи так, как пылкие юноши – на это однако немногие думают пенять. Если сердечно мы и жалеем о том, что для нас лично пора восторженных заблуждений прошла, то тем не менее мы разумно утешаем себя мудрой истиной, что для всякого возраста

есть свои заботы, свои дела, свои радости и страдания. «*La vieillesse a cependant sa beauté*» [396], говорил Альфонс Ламартин, глядя на портрет, который вздумалось ему снять с себя, будучи семидесяти лет от роду.

Мы предпочли воспользоваться опытом прошлого, отжившего поколения. Мы собственно *продолжение* его, а не *будущее*, то, о котором оно мечтало, к которому оно стремилось. Но это его будущее нечужое и нам. Мы не стремимся к нему так порывисто, не мечтаем о нем, потому что имеем на счет его некоторые одуряющие сомнения.

Но только по этим сомнениям и догадкам мы не составим о нем себе художественного понятия. А оно живо в поэтической деятельности того предыдущего, которого мы являемся как бы дозревшим продолжением, живо потому, что только та художественная деятельность и переживает минуту, которая служит выражением хоть одной надежде, одному стремленью человека, и его эпохи...

Вот почему, говоря о современных итальянских поэтах, я начинаю с Джустини. Те же надежды, те же стремленья живы здесь и те-

перь, как тогда, когда он писал карандашом в карманной книжке колкие строфы под шум ораторствующих на трибуне собратий своих по тосканскому народному собранию. Только надежды эти поблекли теперь «при слове рас-судка», что не помешает им со временем осуществиться, когда настанет эпоха не одних рассуждений и слов, но и самого дела.

Два имени: Леопарди и Джусти исчерпывают всю современную в этом смысле деятельность Италии. В оставляемые ими пробелы и промежутки с трудом укладываются талантливые ничтожности в роде Маливи[397] и бездарные знаменитости, как, например, Ричарди[398], больше известный впрочем своим оригинальным получением графского титула, чем стихами.

Составляя совершенную противоположность один другому, Леопарди и Джусти пополняют один другого и сходятся на одном отрицании беспощадном и страстном всего, что давала им или что могла дать окружавшая среда их и на безграничной любви к Италии, а через преломляющую призму своей национальности – на любви ко всему человеческо-

му. В язвительной насмешке одного и в безвыходном, мрачно поэтическом отчаянии другого слышится постоянно эта горячая, страстная нота. Так возмущаются уродливой бессмысленностью настоящего только люди, у которых живо сознание иного, безмерно высшего существования. Сомнение, жизненность, не позволявшая примириться на отвлечении, постоянно выбивали и того и другого из торной колеи чуждой нам идеализации, романтизма и вызывали их на твердую почву живой действительности.

Леопарди, более сосредоточенный в самом себе и менее Джусти, отражавший окружающую его среду во всех ее минутных отклонениях, тем самым уже доступнее сочувствию всех. Джусти популярнее и интереснее, именно как умное, колкое и всегда художественное изображение итальянской жизни, по сочувствию своему каждой народной отличительной черте своих соотечественников, потому наконец, что мало найдется итальянцев во всех классах тамошнего народонаселения, которые бы не слышали его стихов, и которые, услышав их хотя бы один раз, не удержи-

ли бы их в памяти.

Я не считаю всенародную подачу голосов верным средством определить достоинство художественного произведения и сравнительно с Леопарди большая популярность Джустини не служит в моих глазах речательством за его превосходство над ним. Есть формы, в которых истинно прекрасное недоступно тому, кому недосуг остановиться перед ним. Застольная песня с метками, часто народными выражениями всем по плечу... И независимо от формы, – насмешка меньше пугает, чем безвыходное отчаяние, в котором слышится проклятие, соединенное со стоном тоскующей души. В насмешке есть примирение, а в отчаянии его нет. Скептицизм Леопарди пугал даже Мадзини, а нет разносчика в целой Тоскане, который бы не смеялся от души над песенками Джустини, не чувствуя, как она заставляла отвалиться от его души какой-нибудь до того закоснелый нарост, что его можно было принять за естественный и нужный организму отросток.

Говоря о популярности Джустини, как о чем-то дающем ему право на всеобщее внимание,

я имел в виду не только то, что его все читали или, за безграмотностью, слышали. Это в Италии очень обыкновенно при большой дешевизне изданий и значительном распространении грамотности. Важнее то, что Джусти будет точно также читаться и будущим поколением и даже той частью Италии, которая принимает только пассивное участие в умственной жизни нации. За это ручается тонкое, – не скажу, – понимание, а скорее чувство его всех основных начал народной жизни; – тот такт, которым он умел от чисто внешнего видимого отклонения забраться до тех общих народных черт, которыми обуславливалась возможность этого частного случая... Нелепость и подлость, замечаемая им в общественной жизни, объясняется у него политическими обстоятельствами и обратно...

II

Италия слывет садом в Европе. Тоскану – *la fiorita Toscana*[399] – итальянцы называют своим садом. Это до такой степени верно, что, живя здесь, скоро соскучишься по полям и лесам, по простой и нехудожественной сельской природе – ее здесь нет и в помине. Скажу

больше: в Италии зелень – редкость, точно также, как во всяком слишком хорошо разработанном и слишком тщательно содержимом саду. Села здесь, т. е. нивы, поля как-то не *сами по себе*: они состоят при городах, как палисадники при домиках на Петербургской Стране. Это придает здешней жизни какой-то мраморный характер, конечно очень художественный, изящный. Мы можем прельщаться им, но нам он не по душе, *la longue*[400] нам в нем если и не тесно, то всё как-то неловко. Мы ищем чего-то более привольного, дикого. Таковы здесь горные пейзажи. Но горная дичь как-то слишком сродни этим мраморным городам; и она прельщает нас, но не манит. Это неродная нам природа.

Изредка вдали от больших дорог и городов попадется глухая деревушка. Она печальным пятном лежит на роскошно разработанной поверхности этого чудесного края. Слишком приметные следы отсталости, может быть даже застоя, отражаются на ней. Они оскорбляют, горько поражают своею противоположностью с остальным, но во мне, когда я вижу их, всегда зашевелится что-то отрадное, – словно,

приехав домой, встречаешь горе, но горе родное...

Этот задавленный сельский элемент, изнанка итальянской жизни, – элемент вечной реакции против всякого передового движения, – почва, на которой с успехом сеют всякую дрянь папские легаты, шпионы и разбойники Бурбонов, – эти ракообразные агитаторы, влекущие Италию ко временам выстраданной ею тирании. Тупое, страдательное отстаивание себя и своего клочка земли, живота и достояния против цивилизации, враждебно подступающей в виде образованного городского спекулятора – есть всё существование итальянского земства. Оно или гордится своим отчуждением, лукаво презирая и обкрадывая по возможности горожан, либо стремится отречься от самого себя, перейти во враждебный лагерь – единственное условие, под которым можно избежать печальной участи быть всосанным тиной этой мертвящей жизни... Любая кормилица или судомойка, точно также как выше по общественной лестнице, – любой толстенький студент в Пизе или Сиене с очевидной склонностью к ру-

жейной охоте, к добродушному лукавству и к *dolce far niente* – всё это личные попытки примирения двух враждующих вечно в Италии сословий, – попытки, даже в смысле частного случая, обыкновенно неудачные. Варварское контадинское происхождение тем хуже укрывается под благоприобретенным грузом городского просвещения, чем больше самый пациент смотрит на свою приобретаемую гражданственность, как на павлиньи перья, которыми ворона думала прикрыть свой плебейский убор...

Басня о «вороне в павлиньих перьях»[401], которую невольно вспоминаешь когда речь пойдет о людях, вышедших из одного сословия с намерением войти в другое – в этом случае едва ли идет к делу. В основании факта, о котором я говорю, лежит нечто весьма серьезное, и я не имею даже желанья относиться с холодной точки зрения моралистов...

Если оставить в стороне итальянских кормилиц и трактирных молодцов и принять в соображение остающуюся за вычетом их многочисленную толпу, ежегодно выбрасываемую из себя итальянским земством, то мы

встретимся с явлением, имеющим свой собственный тип, тип страшный и оригинальный в одно и то же время.

Дант писал в стране и во времена, не имевшие понятия о *нигилизме* в гамлетовском или в фаустовском смысле этого слова. Он не мог понять всей глубины мучений, проистекающих для человека из неприлагаемости его к среде, в которой он осужден прозябать. Ему казалось, что он очень милостиво поступил с душами, которых всё наказание в том, что они не могут пристать ни к тому, ни к другому берегу. Но мы опытнее его в этом деле... Мне и в голову никогда не приходит смеяться или морализировать, когда я встречаю в итальянских городах – по преимуществу между пизанскими и сиенскими студентами – это поколение, народившееся в приволье хотя и не процветающей здесь сельской жизни. Только между ними еще и встречаются здесь молодые люди. Городское же поколение, подавленное пауперизмом или богатством, необходимостью пустой и тяжелой работы, или обязательным бездействием, никогда не бывает молодо...

Но в городе трудно ужиться тому, кто с детства инстинктивно привык требовать от жизни легкого и дешевого удовлетворения оправданных каким-то всеобщим неммым признанием своих потребностей. Вечное движение городской жизни, казавшееся заманчивым человеку, развившемуся среди тинистого застоя итальянского земства, при первом сближении с ним, теряет в его глазах всякую прелесть. Он не может искренно хотеть вжиться в нее, усвоить ее себе; точно также не может предпочесть ей оставленного для нее покоя своей родной деревни, а потому и покой этот вовсе не чужд утомительного брожения в заколдованном круге. И самый круг этот еще теснее, еще удушливее может быть самодержавного мещанства промышленно и учено-деятельных городов...

Среда, о которой здесь идет речь, очень немногочисленна в Италии; но так как это самая большая ее среда, сохранившая здоровья ровно на столько, на сколько нужно, чтобы не утратить сознание своего жалкого положения, то и хорошо с одной стороны, что она не разрастается до более значительных разме-

ров. Но чтобы это совсем было хорошо – я не думаю.

Лицевой и задний фасад итальянский жизни, замкнутые в себе – процветающее и подавляющее мещанство и угнетенный сельский класс – оба вертятся, как белки, в колесе. Разница значительная в размерах, но не больше. И тут и там совершенно одинаковое довольство собой и своей долей – забота о том только, чтобы поудобнее разместиться в колесе, в которую бросила их судьба или случайность, – разместиться конечно на плечах и на шеях своих соседей. И за этой подавляющей заботой мало остается времени и желания подумать о том, чтобы выбраться из своей узкой, искусственной ячейки... Очевидно, века могут пройти – тот, кто вчера сидел на плечах десяти братьев своих во Христе, теперь в свою очередь лежит задавленный ими... а выходу всё же не будет...

Среда, не примкнувшая ни к тому, ни к другому берегу, чувствующая и сознающая оторванность свою от обоих, может, конечно, так же бездеятельно и тупо проводить жизнь свою, хотя и другим образом. Недостаток в че-

ловеке того творческого начала, которое оплодотворяет всякую деятельность, часто органический; он зарождается и развивается в этой общественной среде, которая гниет в тинном самодовольствии. Если человека удовлетворяет его прошедшее и настоящее – значит, он перестал жить и действовать. Поэтому будем скромнее, когда нам придется зубоскалить или швырять грязью в так называемые утопии и туманные надежды на лучшее будущее...

Было время, когда общество крайне снисходительно относилось к этим непризнанным душам, «сотканным из лучшего эфира» и гордившихся тем, что

*Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них[402].*

Мы увидели, что это пристрастие доходило до излишних крайностей, что часто решительная физиологическая негодность, т. е. невозможность жить в действительном мире, скрывалась под казавшимися нам художественными и поэтическими стремлениями романических натур. Но эта болезнь прошла,

только не всех мертвецов еще снесла на кладбище. Некоторые из них не покончили с своей агонией, и когда их трупы начинают разлагаться, они решаются бороться с той живой силой, которая их убила. В таком положении находятся в Италии идеалисты, сумевшие опоэтизировать даже католический догмат. Но мертвые уступают дорогу живым; на место больных и поврежденных мечтателей явились другие деятели – общественной пользы, которых *золотая середина* называет также утопистами, но уже не восхищается ими, а боится их и клеветает на них. Это люди мысли и дела, с горячей верой в человека и в его лучшее назначение. У этих людей вместо розовых фраз заметна ядовитая или горькая улыбка на губах – вместо художественных *увы* и *ах!* срывается с языка глубокий стон, нарушающий блаженные сны самодовольного мещанства.

Так как эти *мечтатели* очень положительны в своих желаниях и требованиях, то за эту положительность их ненавидят. При неаполитанских Бурбонах они сидели в душных казематах, а теперь их выпустили, но с

приказанием молчать – пока не восстановится порядок, придуманный министрами Виктора-Эммануила...

Если далеко неполным, то очень верным выражением этого типа людей был Джузеппе Джусти. Итальянские биографы его вскользь и мельком упоминают о том, что он родился в Монзумано[403], глухой деревушке близ Пешни[404], известной своими минеральными водами и живописным гротом. Я упоминаю об этом потому, что этим обстоятельством прямо обуславливалась одна из сторон его деятельности, и для нас, конечно, одна из самых интересных ее сторон.

Как ни рано оставил он нероскошный замок своего отца, как ни полно по-видимому вжился он во все треволнения флорентийской жизни, он никогда не мог заглушить в себе одно весьма часто томившее его чувство – своей разорванности с средой, в которой он сам осудил себя жить из весьма понятного стремления к деятельности. Городская Италия никогда не была ему родной, он не был закуплен в ее пользу никакими традициями, никакими воспоминаниями бессозна-

тельно прожитого им на этом месте времени.

А это время у Джусти было несравненно художественнее, богаче живыми впечатлениями, чем у самого счастливого из горожан. Если бы он раньше оставил деревню, т. е. до того времени, пока начал ощущать всю мелочность и пустоту жизни, развивавшейся, или лучше разлагавшейся среди живописной природы, которую он рано привык любить, то вероятно в нем сохранились бы буколические стремления, ревнивая ненависть ко всему городскому без всякого разбора. Но этого не случилось. Он вынес из детства близкое знакомство с итальянской нацией без ненависти к той или другой из ее рубрик.

Характер его уже сложился прежде, чем он испытал на себе всю подавляющую тяжесть односторонней просвещенности безжизненных тосканских городов. В пизанском университете, и во флорентийских академиях, и народных собраниях, воодушевленных подогретым цинизмом, заимствованным из руководств древней истории, Джусти оставался «скифом в Афинах», но не в карикатурном смысле. Он понимал, что он не чужой здесь,

что он имеет свои права, но едва ли мог найти удовлетворение в окружавшем; он «чувствовал», что ему было чуждо это окружающее. Он вмещал в себе два враждебные начала раздвоенного итальянского быта, и в нем они были примирены; а кругом продолжали презирать и ненавидеть друг друга, и ни министры Леопольда, ни триумвиры[405] впоследствии никогда не подумали о том, что первый и единственно возможный для Италии шаг вперед должен быть примирение двух неизвестно из-за какой необходимости враждующих сторон. Сам Джусти никогда не мог понять этой простой мысли в ее общности и целостности; но все его и песни были в сущности ни что иное, как развитие именно ее, но только в частностях и в применениях...

Тоскана и вся Италия во времена Джусти была в самом страстном припадке национализма. На патриотизме, на праве национальности все общественные ее деятели основывали свои стремленья. А между тем только он один и был национален.

Городская, промышленная жизнь ведет к космополитизму, во-первых, потому, что она

развивается на интересах общих, часто противоположных интересам национальным; во-вторых, потому, что она питается отвлеченностями, – она менее связана, обусловлена теми космическими и другими случайностями, которыми определяется национальность. Это имеет, как вероятно и всё на свете, свою хорошую и дурную сторону. Мысль общенародного братства выработана городами – поэтому-то она и остается отвлеченной.

Земледелец всегда – горячий приверженец своей национальности и крепко стоит за нее. Об общенародном братстве он не думает, потому что привык думать о том только, что само навязывается ему своей докучной насущностью. Потому же физиологически он-то и есть, несравненно более чем горожанин, представитель своей нации. Горожанин может иногда сохранить некоторые из своих национальных черт. Чем меньше он развит, тем больше в нем осталось их. Земледелец может развиваться столько, на сколько данные национального характера способны быть развиваемы, т. е. из узконациональных стать общечеловеческими. Горожанин легко понимает

все выгоды, которые могут произойти для человеческого из общенародного братства – для этого ему нужны некоторые спекулятивные способности и не особенно высокая степень развития. Каждый шаг в развитии земледельца есть шаг к общенародному братству. Национальность земледельческих классов служит вечным тормозом к развитию городской промышленности. Сама по себе эта национальность одна из природных, непосредственных ячеек общества, точно также как семья, община...

Передовые из сотоварищей Джусти по Национальному собранию[406] смотрели на национальность свою, как на средство поднять массы против ненавистного им австрийского правительства. Джусти ненавидел австрийское иго, на сколько оно препятствовало развитию живых начал итальянской народности, т. е. безмерно, но вследствие этого у него оставалась возможность самые средства, которыми думали избавить Италию от иноземных притеснителей, разбирать с насмешливой враждебностью контадина над всем недействительным и отвлеченным.

Так как обе стороны итальянского быта, в возможно полном своем по тому времени развитием, были тесно сплавлены в нем в одно целое и составляли его личность, как поэта, то нельзя найти одного или нескольких стихотворений его, которыми бы можно было указать на степень развития в нем той или другой из них. Но также трудно найти между ними и такое, в котором бы эта полнота и национальность его не отпечатались бы весьма ярко и во всей нераздельной целости своей.

Впрочем об этом еще много придется говорить. А здесь остановимся только на самом его языке. В этом всего резче высказывается тесное, не скажу знакомство, а скорее самое близкое родство его с живыми и оригинальными до нельзя тосканскими контадинами — земледельцами, на которых горожане тогда только и могут смотреть без смеху, когда дело коснется денежных расчетов с ними. А между тем тосканский мужик едва ли смешнее всякого другого мужика. Смешнее всего противоположность этих наивно-лукавых, выразительных физиономий с безличными и сглаженными до стереотипности мещанского бы-

та лицами горожан. Впрочем в Тоскане, благодаря щедрости и благодатности здешней природы, и в городах мало встречается «лиц» вовсе «безличных», но еще меньше правда таких, которые бы не носили на себе отпечатка той *изношенной* добродетели, которая как казенная пуговица, сравнивает всех благонамеренных горожан до безразличного уровня...

Оригинальность физиономии контадина составляет не столько самое лицо, сколько наивность чувства, соединенная с лукавством, а главное – его язык живописный донельзя, обработанный по-своему не в ущерб самобытности... Тому, кто сам не видал и не слышал их, или, по крайней мере, не видал классического «Стентерелло» на сцене тосканских грошовых театров, тому, говорю я, невозможно передать в чем именно дело.

Этим-то живописным языком Джусти выставляет на вид своим соотечественникам не только необходимость, но и возможность слияния в одно раздвоенного народа. Выставляет ее он, никогда не называя по имени, может быть и бессознательно, – во всяком случае отрицательно. Он дает почувствовать всю

пустоту этой раздвоенной жизни в бесконечном числе весьма различных ее проявлений, от мелочных и до считаемых важными. Личностью своей он заставляет каждого почувствовать, что разделение это ложно, недействительно. И странно: гордые горожане, которых всего больше раздражает именно сознание своей совершенной тождественности с презируемым сельским классом, – сознание того, что различие между ними чисто случайное, нелепое, недействительное, – только в одном Джусти и могут примириться с этим оскорбительным для их притязательности сознанием...

Джусти особенно любил этот живописный язык контадинов и изучал его до мельчайших подробностей. Это пристрастие чуть было не побудило его отдаться исключительно филологии. Но так как человек неизбежно вносит во всякое серьезное занятие ту часть своей личности, которая ему дорога по преимуществу, то Джусти свои научные занятия подчинял невольно одному личному стремлению, никогда впрочем, не развившемуся в нем так аналитически полно, чтобы сделать

плодотворной его науку. Он живо чувствовал потребность живого тосканского языка, которому между прочим ничто не мешало стать живым итальянским. И он создал его, но только не филологическими своими трудами, а своими песнями.

Все, что есть роскошного, живописного в *patoix*[407] всех существующих мелких и крупных, замкнутых или незамкнутых в себе итальянских корпораций и общественных подразделений, вошло в оригинальный, живой и роскошный, чисто народный язык этого поэта. Как от картины Рубенса или Декан (*Descamps*), от него веет неуловимой поэзией красок...

А весьма немногочисленные лингвистические попытки его вышли тем не менее весьма неудачны, безжизненны и затерялись по большей части никому неизвестными. Одна из них впрочем избежала общей участи – его издание народных тосканских поговорок и пословиц, снабженное собственными его объяснениями и примечаниями к каждой из них [408]. Впрочем, сборник этот интересен никак не той частью своей, которая принадлежит

самому автору. Я думаю, что Джусти всего более подчинялся весьма распространенному в его время мнению: будто человек «праздно бременит землю», если не имеет какого-нибудь скучного для себя дела, – так не в виде ли уступки этому мнению, которое сам он разделял, занимался Джусти своими ничего не объясняющими и не пополняющими пояснениями и прибавлениями к народным поговоркам?..

III

При первом взгляде на портрет Джусти, мне всё кажется, будто я вижу дурно сделанный портрет Пушкина. Отчасти это может быть и от того, что все портреты Джусти, которые мне случилось видеть, дурно сделаны. Впрочем, так как других нет, то я предполагаю, что эти – не без сходства. Понятие о человеке никогда не полно, если не знаешь его внешности. Она часто может быть и обманчива, но всегда многое объясняет... При потребности знать, какая физиономия была у Джусти и т. п. ничто не противоречит тому, чтобы у него была именно такая физиономия, какая изображена на его портретах, – я до-

вольствуюсь ими...

Разбирая черты его чисто тосканского лица, с несколько поднятыми кверху бровями, со сдавленной переносицей и редкой бородкой, я мало нахожу в нем похожего на африканское лицо нашего поэта. Сходство есть, но в общем, скорее в «музыке лица», чем в отдельных чертах его; да пожалуй еще в темных, курчавых, как у негра, волосах...

И я убежден, что это не ошибка рисовальщика. Между ними есть то внутреннее сходство, которое необходимо должно было заявить себя в самой внешности. Та же жизненность, разносторонняя впечатлительность, умение найти в себе «свой отклик», без олимпийского величия Гете, без романтизма и слезливого разочарования жизнью...

Некоторое сходство в случайном положении их, относительно среды, в которой жили, необходимо проистекала из этого внутреннего сходства, так как разница между их взаимными обстановками неизмеримая.

Из того, что сказано уже в общих чертах, в начале предыдущей главы, легко составить себе понятие о том, как шла жизнь Джустини в

первое время его приезда во Флоренцию, по окончании курса в Пизанском университете.

Существование его было настолько обеспечено, что он мог не выбирать себе прикладной деятельности единственно по инстинкту самосохранения. А по душе трудно было вообще человеку выбрать тот или другой из проселков общественной деятельности в те времена, когда всё стремилось к какой-то замкнутости в себе и совершенной оторванности от живой общности...

Впрочем, картину, и довольно полную, тогдашнего состояния Италии, оставил нам сам Джустини, и его живые художественные очерки гораздо интереснее и полнее того, что бы я мог сказать об этом предмете. К сожалению, большую часть его стихотворений я не могу, «по совершенно независящим от редакции обстоятельствам», представить на суд читателей в более или менее подстрочном переводе.

Однако, прежде чем говорить о деятельности человека, мне бы хотелось хоть сколько-нибудь ознакомить и с его личностью...

Насколько могу, заставлю и здесь самого Джустини говорить за себя. Предупреждаю толь-

ко, что он едва ли не меньше всех других современных итальянских и неитальянских поэтов занят собой. Он не оставил исповедей *специальных* или *генеральных*; весьма немногие из его стихотворений относятся лично к нему, к событиям его жизни. И самые письма его в стихах и в прозе к друзьям: к Джироламо Томази, Каппони, семейству *d'Azelio*, свидетельствуют всего больше о том, что у него не было близких, перед которыми бы он чувствовал желание высказаться. Письма эти (о которых еще скажу несколько слов после) весьма интересны во многих отношениях, но мало объясняют самую личность поэта, в особенности же в ту эпоху его жизни, которая у всех бывает полнее, блестящее остальных; но которая у Джусти, благодаря случайным сцеплениям обстоятельств, едва ли не самая бедная эпоха. Я говорю, конечно, о поре его первой молодости.

Первые дошедшие до публики стихотворения Джусти – я говорю это, полагаясь на верность хронологии, сообщаемой всеми его биографами и издателями – относятся к 1833 г., когда ему было около двадцати пяти лет от

роду. В последнее время, т. е. по введении в Тоскане конституционного уложения о печати, во Флоренции сделано два издания Джусти, весьма полных, более даже полных, чем следовало; так в последнее из них вошли даже такие стихотворения, которые Джусти никогда не писал, как, например, довольно плохой перевод «Бога» Беранже. Тем не менее «Паровая гильотина» (*La ghigliottina a vapore*) и «Предложение переменить образ жизни» (*Rassegnazione e proponimento di cambiar vita* [409]) остаются первыми по времени его произведений, а и то, и другое написано им после падения революции в Романьях в 1832 или 1833 году.

Ни то, ни другое из них не принадлежит к разряду лучших его стихов, однако в них уже достаточно выработанности и некоторой технической опытности, не позволяющей принять их за первые опыты... Я знаю, что у нас такое замечание может очень показаться странным. Но итальянская публика, хотя бы и очень не разборчивая в других отношениях, имеет свои очень строгие требования относительно слога, внешней отделки литератур-

ных произведений. Да есть к тому же весьма положительные данные на то, что Джустин сам очень тщательно обрабатывал каждую свою строчку, перечеркивая и переписывая ее по несколько раз...

Но, отложив в сторону всякие другие соображения, я просто задаю себе вопрос: мог ли человек, одаренный замечательным поэтическим талантом и редкой впечатлительностью, не писать стихов до двадцать пятого года своей жизни? Я не могу допустить подобной возможности.

Но что случилось с его первыми стихами? Это неразрешенная до сих пор задача. А потому, о первых годах молодости, о его студенчестве, сперва в Пистойе, потом в Пизе, трудно сказать что-нибудь...[410]

Биографы сообщают по этому поводу несколько малозначащих событий его внешней жизни. Но вовсе не это интересно...

Гораздо позже, уже совершенно возмужав, Джустин вспоминает торжественный день своей разлуки с университетом. Перевожу здесь целиком это весьма милое его стихотворение:

У меня навсегда останется в памяти

день, когда я получил за свои умственные доблести и за приличную плату диплом на звание Eccelentissimo[411] и печально оставил наше веселое пизанское столпотворение.

Усталый вошел я триумфатором с целой ватагой в Ussego[412], и, угостив в последний раз черным кофеем человек двадцать приятелей, заплатив шесть раолі старого долга – покатил на ждавшей меня у ворот таратайке – покатил, но не весело, а с опущенным носом и в смущении.

Четыре года прожиты беззаботно, на свободе! Книжки заброшены в угол – открывается широкий вход в жизнь, что на первых парах возбуждает и радостные отчасти ощущения.

Как ни упивайся знанием, как ни глотай том за томом – человеком от этого не станешь, а разве Chiarissimo (тоже что и Eccelentissimo). Только что выберешься из ученых стен, споткнешься на первом же попавшемся камушке. Эх! От слова до дела длинна дорога!

Каюсь – но я любил слушать урока но только не с кафедры. Немножко беспутства мне

казалось необходимым дополнением к профессорским лекциям. В небрежности есть своя мудрость.

Мне дорого мое истертое платье времен моего студенчества и наше квакерское *ты*, которым девственные тогда еще уста наши встречали нового товарища. Теперь обман жизни приучил нас ко лжи и бессознательно называешь каждого встречного почтительным *вы*, значительно облегчающим дальнейшее надувательство.

В наш пустой *банкирский* век, кроме университета встретишь тот цинизм, с которым мы не боялись выказывать нашу бедность, протертые локти, а иногда и голод?

Наши веселые дни и вечера, проходившие в искренних спорах, в шутках и насмешках! Нет не забывается то время, которое прожито без обмана, без лести – когда и волоса и мозг не прилизывались из приличия.

А сколько тогдашних юных Сократов стали потом плутами или полоумными... Боже сохрани нас заживаться так долго на этом свете!

Пусть же учение уступим место веселью,

как теория практике, или пусть, по крайней мере, идут вперемешку книжки с пирушками. Пора бы перестать морщиться на молодежь за ее невоздержанность.

А сами строгие моралисты с своим занятым вечно и деловым видом лучше бы перестали думать о том, как выгоднее запродать свою душу, стать ли шпионом, или иными путями поразжиться на счет чужого кармана?

Сигара, стакан пуншу, иной раз сумасбродная выходка, да подчас надуть лакействующих на кафедре ослов и плутов.

Вот, гг. туристы, мои грехи и подвиги. Сумасбродство, так строго порицаемое вами, в моих глазах заслуживает уважение. Все эти натянутые на серьезную мину рожи мальчишек о том только и думают, чтобы сесть другим на шею.

С какой радостью увижу я опять нашу наклонившуюся на бок мраморную колокольню – после долгих лет разлуки вид ее напомнит мне, что я не сломился и не погнулся.

А те, которые благоразумно тогда чуждались нас, когда мы забыв не только *Jus Romanum*, но и университетский устав, пели

трехцветные песни – те, что слушая нас прикидывались глухими.

Теперь разжирели и погребли себя в животности под бременем нескольких крестов. Мы же по-прежнему – какое сумасбродство! – не служим и не грязнимся, а все веселы.

Зато всякий, кто боится быть укушенным, перед теми отступает или молчит. Нам же каждый открывает беззаботно и мысли свои, и объятия... Нет право, сообразивши всё, благоразумнее оставаться сумасбродом («Воспоминания о Пизе»[413]).

Итальянские студенты давно уже не составляют отдельной корпорации. С каждым годом дух *филистерства*, меркантильного взгляда на жизнь и на науку, всё больше завладевает университетскими кружками. Но до сих пор есть еще много молодых людей, не утративших ни юношеской полноты и страстности, ни, следовательно, исключительности в своих воззрениях и убеждениях. Этим, конечно, не по плечу господствующее в обществе направление, с которым они в полном разрыве. Разрыв этот, вытекающий из весьма близкого всем нам источника, вовсе не огра-

ничивается необходимым, разумным проявлением. Как все на свете, он стремится дойти до крайности, до нелепости по дороге, перейдя через художественную полноту. В Италии, однако, ему еще далеко до крайних этих пределов и слава Богу! – скажем мы, вспомнив Германию...

Но итальянские юноши не так смотрят на это. Им бы хотелось устроить свое собственное, сообразное с их склонностями общество, возвести свои немногочисленные кружки в когда-то сильные своим значением корпорации – оградить их от мелочного влияния биржи и прилавка.

Этим кружкам (о которых многое бы можно сказать, если бы они не являлась здесь, т. е. в моем рассказе чисто эпизодически), недостает между прочим одного – своих песен. Недостаток этот весьма многозначительный в классической стране музыки и поэзии... Я впрочем упоминаю о нем для того только, чтобы читатели поняли: почему «Воспоминания о Пизе» Джусти были очень восторженно приняты юным поколением студентов и теперь живы в нем. Не обойдется в

самом деле ни одна студенческая пирушка без того, чтобы длинное стихотворение это не было пропето дружным хором молодых и свежих голосов. Этого одного, мне кажется, совершенно достаточно для того, чтобы многие с живым интересом прочли едва ли не единственную в Италии общеизвестную студенческую песню, хотя бы в прозаическом переводе, дающем не больше, как остов, скелет поэтического произведения.

Но для биографии Джусти его «Воспоминания о Пизе» имеют еще и другой довольно существенный интерес...

Как печальна должна была быть его молодость и как пусто прошли годы его молодости, если воспоминания студенчества вдохновляют его на какой-то робкий, незрелый дифирамб или апологию ребяческому разгулу.

Этот вопрос невольно задаешь себе, и на него ответ нерадостный.

В оригинале стихотворение это закупает в свою пользу необыкновенной жизненностью, какой-то неуловимой художественностью формы и меткостью некоторых выражений,

вошедших в поговорку, как у нас было из «Горя от ума». Эти достоинства, составляющие редкий отпечаток самого характера поэта, как-то обманывают на счет содержания. И хотя в стихотворении есть современная глубокая мысль, но ее-то мало и замечают.

Мысль эта едва ли принадлежит тому возрасту, о котором Джусти здесь вспоминает, – скорее тому, когда он вспоминает.

Студенчество его было действительно таково, каким он его рисует. Он точно любил пополнять профессорские лекции» столкновением с жизнью. Но едва ли он думал тогда о том, что подобное пополнение необходимо, что из аудитории выйдешь с титулом *Chiarissimo*, но не человеком. А стать человеком, кажется, было во всякое время его стремлением, но едва ли сознанным им самим.

Как недоношено еще в нем это сознание, когда он тридцатилетним мужем пишет свои «Воспоминания».

Наконец, если бы во время студенчества в нем уже было оно сознательно, он бы искал и наверное нашел бы столкновения более серьезные, чем те, которые прошли мимо, не

вызвав в его поэтической душе, откликавшейся на всё, ни одного глубокого ощущения.

Его долго мучило то апатическое бездействие, в котором он прожил много лет. Он искал какого-нибудь дела чисто практического, не доверяя сам своему таланту, готовый отречься от сумасбродства, которое он прославляет в своих «Воспоминаниях». Он пробовал адвокатские занятия; занимался философией. Он даже хотел заниматься всяким делом именно так, как те педанты, над которыми он смеялся сперва несколько раздражительно, не без злобы, потом до крайности остро и метко.

Все эти попытки его увенчались, конечно, ничем к великой его чести. Но постоянные неудачи, всюду встречаемый обман, развив в нем рано некоторую холодность ко всему, скептическую апатию, о которой поговорим потом, потому что она гораздо позже развилась в нем до более замечательных размеров. Но уже в 1833 г., когда он писал свои «Предположения переменить образ жизни», многие фразы его для него лично казались вовсе не такой иронией, за какую они были приняты.

*A quindici anni immaginava anch'io
Che un uomo onesto, un povero
minchione,
Potesse qualche volta aver ragione:
Furbo, per Dio![414]*

И многие теперь еще принимают стихи эти за колкую выходку против тогдашнего гражданского положения Тосканы.

IV

Что касается до предположения «переменить образ жизни» не в стихах, а в действительности, Джусти столько раз переменял его, что в сущности всё выходит одно и то же. Его разрыв со всеми окружавшими средами долго казался ему самому делом каприза, ребяческой невыдержанностью.

Некоторые из первых его произведений («Бездевушка – *il Gingillino*», «Коронация»[415], «Покров»[416], «*Dies Irae*» и проч.) ходили в рукописи по всей Тоскане. Имя автора не скоро стало известно публике. Никто не сомневался уже в его громадном сатирическом таланте, все сочувствовали его честным и действительно передовым взглядам. А сам Джусти всё еще не считал свою поэтическую дея-

тельность за «дело».

Постоянно добиваясь каких-то серьезных занятий, – ожидая чего-то, считая свое настоящее каким-то переходным положением – он мало заботился о том, чтобы существенно осмыслить свой образ жизни... Во Флоренции он продолжал ту же беззаботную жизнь, как и в Пизе. Недостаток в кружке товарищей он пополнял бессмысленным и пошлым обществом, в которое очень скоро был втянут по праву дворянского происхождения и собственных достоинств... Только эти новые столкновения не прошли так же бесследно, как его студенческие встречи. Он стал догадываться, отчего ему так не по себе в аристократических салонах, в кружках чиновников, считавших себя помещиками всего Великого Герцогства... Каждое столкновение его с этими кружками действовало на его нервы – чувствительные до того, что сам он называл себя несчастным бродячим барометром – раздражало его, возбуждало его ум и талант. Вместо того, чтобы внутренне пенять на себя за то, что не умеет примириться с пошлостью, он стал набрасывать беглые, но живые и весьма

осмысленные картины с попадавшими под руку оригиналов и в этом находил для себя какое-то примирение... Эти сатиры «без задних мыслей» верны действительности, как фотографические снимки. Джустини везде сумел не впасть в карикатуру... Таковы его «На конгресс ученых»[417], первая «Застольная песня» (*Il Brindisi*), многие другие и наконец «Бал»[418], длинная довольно сатира в трех частях, которую перевожу здесь как потому, что она чрезвычайно интересна, как важное изображение современного итальянского общества (в смысле *beau-monde*, но вне которого находятся разве несколько отдельных кружков, да и те какой-нибудь своей стороной примыкают к нему), так и потому еще, что это стихотворение более других может служить представителем целого ряда стихотворений Джустини, которые выше назвал я сатирами «без задней мысли».

БАЛ

Часть первая

Г-жа Хилоска, увядающая северная красавица, приглашает нас на пышный бал в исторических залах дома, когда-то принадлежа-

щего Фаринате, а теперь отдаваемого в наймы его скромными потомками...

Как мужик, любующийся чертиками, пляшущими в волшебном фонаре под шарманку шарлатана – так и я рассматриваю толкущихся в богатых комнатах и с наглыми рожами баронов, князей, герцогов, превосходительнейших, церемонно раскланивающихся друг с другом...

Лакей, поглядывающий от времени до времени на горящие свечи – в исправности ли они, – провозглашает громко не менее громкие титулы[419] появившихся. И среди всех этих чинов и знаменитостей мое голое имя дерет уши, как среди торжественной сонаты вдруг сфальшивившая флейта или кларнет...

Томная и разряженная богиня праздника олимпийским движением головы благословляет счастливцев и собирает их вокруг своего дивана, как сельдей в бочонке.

Заплатив ей дань комплиментов отрывистых и пресных, наш *bon-ton* толпится в коридоре, взаимно толкаются, наступают друг другу на ноги и бормочут: «*pardon, pardon*»...

О картины! статуя! о священная рухлядь,

полинявшая и дышащая на меня пятивековой давностью – покрытая когда-то новым лаком и славой, а теперь скромным *appigionasi* [420].

Простите мужику до того плебею, что не умеет говорить иначе как по-итальянски – простите ему, что он оскверняет вас своим дыханием...

Добравшись, наконец, до котла с мефитическими[421] испарениями, я вытягиваю шею и сквозь завитые чубы и локоны смотрю, как прыгают деревянные фигуры, словно бес их обуял.

Немецкие куклы, только что из лавки, сухие, прямые – какие-то черные и накрахмаленные скелеты и привидения.

Нет тени веселости или разгула, а самая изящнейшая надутость. Души закупорены герметически и только поры открыты – они и дряблую свою любовь ощущают как-то порами.

Надутое и самое приличнейшее чванство. Вечная, ничего не говорящая болтовня.

...Но разговоры, карточная игра и танцы кончены... Дамы и мужчины осаждают лаке-

ев с подносами и бутылками. – Кружение. – Водоворот.

И с этого вечера многие уйдут не только с полными желудками, но и карман наполнят; только головы у всех будут пусты.

Часть вторая

Посвящается молодым исковерканным невестам и вновь оштукатуренным их маменькам между дипломатических золоченых мундиров, крестов и украшений из лавки модного шарлатана.

Я вижу несколько разжившихся плебеев; моему уму, несколько свихнутому демократической мономанией, нравится подобное нарушение догматов в этом геральдическом святилище...

Первый, Хризалида *quondam*[422] монаха, нынче ради шутки называющийся аббатом. Он более благоговеет перед бутылкой, чем перед алтарем, славится ученостью по гастрономической части; его все боятся за его подлую славу...

Он знает все сплетни, все чужие долги. Покупая, всё осуждает; продает свое благорасположение и тем, кому кланяется, и в уплату за

такую услугу объедает их...

Он крадет, смешит, играет и не платит проигрыша. Такая его профессия...

Другой, вчера окрашенный в дворянина – самодержавный владыка всех банкиров.

Когда-то он промышлял ростовщичеством мелкого разбора. Теперь он презирает легкое надувательство, стал аристократом и «кавалером»...

Как черви, наша аристократическая гниль, состоявшая из голых патрициев, дошедших было до долговой тюрьмы и до гошпиталя, питается вонючими трупами. Теперь она опять наелась и растолстела, преобразилась в *рыцарей векселя* и наполняет дворцы целой колонией обдирал...

Третий – беглец, преследуемый пуще, чем книга, напечатанная без должной дани полиции и шпионам – раненный при Римини (сам он по крайней мере о себе так рассказывает).

Говорит, что ему грозит смерть, что он должен скрываться, а между тем сладко ест и спит...

О истинные дети нашей родины! Берегитесь этих торговцев *«красного товара»*.

Эти новые протестанты в Лондоне слывут за изгнанника, в Риме за монаха.

Сегодня он пьет за придворным столом; завтра со мной декламирует: *O Italia mia!*

Часть третья

В этой толкотне я очутился внезапно подле одной чахоточной, беззубой лярвы[423], подкрашенной под молодого человека...

Родился он *anno domini*[424]... эти гг. рождаются каждый год. Унаследовал покраденное богатство и отправился за море...

Вернулся хамелеоном, блистая самыми яркими цветами заграничного образования, да жаль только – без гроша.

Теперь он бродит аристократической тенью за татарскими крезами, удостаивающими нашу Италию своим посещением, и отличается собачьим аппетитом.

Хочет с чужой тарелки слизать проценты своего съеденного имения... Кривляясь, он сказал мне на своем полуфранцузском наречии:

Нынче всё вздор выдумывают! Надо ждать и пока развлекаться с *форестьерами*, которые очень хорошо платят. Нужно уметь доить их

как коров.

Затем всё вздор, который надо выбросить из головы. Что такое Италия? – Гостиница. Трактирщику нет дела до сравнений – он мерит нравственность человека уплаченными счетами.

Слава, доверие, честность, всё это его эластические шутки, как резинка... Рассказывают о народе, о гениальности, об искусстве, истории... всё это умерло, вечная память им.

Меня всё это очень мало интересует в сравнении с дюжиной хороших устриц. Надо знать современное направление всего света:

Ум и смелость – вот и все. Остальное классический педантизм.

– У меня есть несчастная страсть проповедовать[425] и я вовсе не нежно возразил ему:

Правда, Италия какая-то помойная яма целого света. За исключением немногих честных, на наш полуостров с Альпов и с моря ежегодно является бог знает какая сволочь: анонимные бандиты, отставные кухарки и *spodestati*[426], которые сумеют найти себе по плечу туземную грязь.

А мы благоговеем перед этой эротической

ордой воздушных графов и двусмысленных дам и готовы любому варвару с именем на *off* или *iff* продать душу за кусок ростбифа.

«Полноте! Это всё отвлеченности», – возразил мученик своего галстука, – «всё предрассудки. Вы еще новичок, как видно, прощайте».

И с важным видом он круто повернулся и отправился в буфет.

* * *

Я назвал стихотворения Джусты этого рода «сатирами без задней мысли», потому что в них не определяется ни направление автора, ни его стремление. Это еще произведения незрелого человека: искусство для искусства в самом бедном смысле этого выражения... Их достоинство независимо от специальных, так сказать, сторон таланта автора, благодаря которым они живут и долго еще будут жить в итальянском народе – в том, что они весьма верно рисуют известную господствующую в обществе среду. Она оскорбляла поэта, но он не мог оторваться от нее – доказательство, что в нем не было той внутренней полноты, которая заставляет с некоторой осмотритель-

ностью выбирать себе общество, или даже в крайнем случае обходиться вовсе без него...

Беспокойное чувство заставило его толкаться во все двери, и нигде не находил он ничего, кроме материала для едкой, колкой и художественной сатиры. Я не привожу здесь дальнейших выписок, потому что относительно Джустини больше, чем относительно всякого другого поэта, можно повторить старый итальянский афоризм: *traduttore traditore* [427].

«Бал», «Мирная Любовь» (*L'Amor pacifico*), «Маменька-воспитательница» (*La Mamma – Educatrice*) интересны как фотографически верные и притом художественные воспроизведения современной итальянской жизни в трех господствующих общественных средах...

Но Джустини не долго мог удовлетворяться, так сказать, портретным искусством. Видеть зло и бросить в него его же собственным верным изображением казалось ему недостаточным. Мысль, всё более и более созревавшая в нем от столкновений с жизнью во всех ее многообразных проявлениях, требовала и себе деятельности... Он начинает разбирать,

анализировать частные случаи, искать причины зла, разъедающего каждую жизнь в отдельности и жизнь целого общества...

Джустини долго и упорно добивался войти в тесный кружок тех немногих, которые с своими благородными стремлениями к лучшей будущности составляли не только передовую среду итальянского общества, но и единственный живой элемент в нем. Только эти немногие по необходимости скрывались от всех, их работа была подземная. Все знали о их существовании, чувствовали их близость, но только заслуживавшие доверия могли сами принять участие в их деятельности. Хотя сенаторской замкнутости и темного мистицизма уже оставалось мало следов, но новые патриотические общества на более человеческих основаниях имели свою замкнутость, или по крайней мере тайную, строго обусловленную тогдашним общественным бытом.

Джустини долго не мог проникнуть этой тайны.

Очень рано он уже стал своими стихами в открытую оппозицию с мирной господствовавшей средой застоя. Но оппозиция эта дер-

жалась общих мест и колких намеков против тех общественных дел, которые давно уже были изобличены.

«Джинджиллино», одна из самых длинных его сатир, встретила повсюду громадное сочувствие, несмотря на свою растянутость. В ней представлено со всей яркостью таланта Джустини весь процесс, посредством которого общество каждым своим столкновением с личностью, всем своим влиянием на нее требует от нее полного ничтожества, – обращает человека в ничто, в безделушку и под страшной альтернативой:

*Se pur desidero
Morir vestito[428].*

В весьма выразительных картинах Джустини представляет разные элементы из жизни своего Джинджиллино, – моменты, которые каждый из его читателей необходимо пережил сам. Нежные родители, повторяя припев: «если не хочешь умирать голым, как родился» – монахи воспитатели – начальники по службе – все только и требуют одного: полной безличности, жертвы всем общепризнанным

нелепостям.

Несмотря на свое громадное влияние и на все свои достоинства, стихотворение это не имеет еще в себе той глубины мысли, того понимания общественных условий, которое позже встречается у Джусты.

Оно показывает только, что в нем рано было стремление воспользоваться своим талантом для того, чтобы вывести современное ему общество из грязного болота, в котором оно разлагалось с некоторым комфортом и бессознательно...

Выставлять на сцену этому же обществу картины его собственного быта такими, какими они представляются на взгляд здорового человека – было для этого недостаточно. Нужно было, по крайней мере, не оставить возможности смотреть на них, как на что-то случайное, частное, – как на карикатуру...

Джусты делает попытки в аллегорической форме высказывать свои взгляды на жизнь, обобщая их. Брать зло, хотя бы случайное, но показать его необходимое развитие в обществе и самим обществом. То принимается он за басню, на манер Эзопа, хотя и без двух-

строчной морали в заключении... Такова его «Улитка» (*La Chiocciola*), которая соединяет в себе все доблести, требуемые современным обществом от современного человека. Улитка для Джусти является каким-то Молчалиным царства животных.

Впрочем, более склонный к тому, чтобы патологически смотреть на жизнь – указывать просто на болезнь, а не морализировать с высоты доктринерского величества, Джусти ограничивается очень немногими попытками в этом роде. Форма басни, апология очень удобна для популяризации какого-нибудь установленного, законченного догмата, нравственного афоризма...

Джусти, разделяя все классические и схоластические предрассудки своих ученых соотечественников, ищет между готовыми уже формами сатир, памфлетов, эпиграмм такую форму, которая бы соответствовала больше его склонностям.

Не находя ее, он создает свою собственную, разработав до крайнего художественного предела чисто народную форму застольной песни...

В полном издании его стихотворений помещены много переводов из Беранже – большей частью очень неудачных. Новейшие биографы его признают все их за подложные... Не берусь решать этого вопроса. Замечу только: мне кажется довольно вероятным, что Джусти переводил Беранже, которого влиянию подчинился уже несколько впоследствии, когда писал вторую свою застольную песню (*Brindisi*). Но только песня Джусти от этого вовсе не стала менее самобытной и чисто национальной итальянской.

Написанная им в 1838 г. «Апология правительственного Лото»[429] может относительно формы служить типом всех его дальнейших произведений. При всей объективности автора, как говаривали встарь, вы видите тут во всей ее полноте своего здорового развития личность автора. Недостаёт всё ещё той глубины и зрелой выработанности взглядов, которая дается только тесным знакомством с жизнью и внутренним переработыванием фактов.

V

Собрание стихов Джусти, без видимой свя-

зи между отдельными произведениями, представляет какое-то целое эпическое и неудоборазрываемое. Строгих подразделений, рубрик собственно нет. Для того, чтобы не разбежались сразу глаза, при взгляде на всё это многообразное целое, необходима какая-нибудь система, своего рода деление... Для этого я стараюсь по возможности следить за хронологическим процессом зарождения в Джусти той или другой стороны его направления, деятельности. Я указываю на известный момент его развития, стараясь уловить более характеристические черты этого элемента, а во все не думаю тем самым делить жизнь автора на какие-нибудь решительные и заключенные, резко разграниченные периоды. Подобное выяснение моих намерений я считаю здесь необходимым, потому что слово вечно стремится к абсолютному и при некоторой склонности понимать сказанное безотносительно, читатель легко мог бы навязать мне намерения и взгляды прямо противоположные здесь излагаемым. Такого рода опасения во мне весьма законны и признаются вероятно законными тем, кто собственным опытом

испытал, как, читая какую-нибудь книгу, очень часто натыкаешься на отъявленные противоречия и только после догадываешься, что противоречия были не в книге, а в себе же самом...

Возвращаюсь к Джусти...

Я думаю очертить здесь тот его нравственный возраст, в котором он чувствует еще только потребность положительной общественной деятельности в весьма определенном для него самом смысле, но еще не приобретает того влияния на окружающее, которое должен был иметь потом. Он всё еще пробует как будто средства, которыми располагает и очень не удовлетворен ими.

Отчасти, потому что итальянец, воспитанный на классических предрассудках, отчасти же просто, как человек, вообще трудно попадающий на больной зуб, на истинную причину своей неудачи, Джусти очень много придает значения форме. Ему долго кажется, что только высшие роды поэзии – эпос, драма, могут иметь то значение, которого бы ему хотелось... Сочинение небольших сатир, о которых уже говорено, было для него развлечени-

ем, как бы отдыхом от вечно оскорбившей его пошлости, которую он встречал повсюду. А Джусти разделял всеобщий тогда предрассудок, будто полезное дело непременно должно быть скучным. Он свысока смотрел на свои собственные произведения, как деловой политико-эконом на «непроизводительные» художественные занятия какого-нибудь непризнанного утописта художника... Джусти всё ждал еще чего-то, какого-то толчка и главным образом извне. Он надеялся, что сближение его с тайными политическими деятелями раскроет ему вдруг неизвестное еще ему и обширное поле деятельности. Сближение это могло быть делом чисто случайным.

Подобное ожидание неопределенного «чего-то» есть отличительная и неотчетливая черта молодости и не сложившегося еще характера.

А жизнь сама собою дала решение...

Джусти поневоле сталкивается на каждом шагу со злом, внешним отчасти, но уже прямо указывающим на другое внутреннее хроническое зло, разъедавшее тогда Тоскану.

Чиновничество, развившееся в Италии,

как элемент чисто паразитный, занесенный иностранным игом, более и более окрашивалось (в дурную конечно сторону) национальным цветом, по мере того, как завоеватели оставляли свою чужую гордость, заботились о приобретении себе прав гражданства в подавляемой ими стране... Австрийский дом в Тоскане действиями двух великих герцогов, решившихся идти по следам Медичей, акклиматизировался очень скоро. Администрация, основанная на австрийских началах, стала принимать в свой состав местные элементы. От этого, конечно, гнет меньше чувствовался здесь, чем, например, в Ломбардии, где победители нагло отвергали всякую возможность примирения с народными итальянскими элементами, но зато самое зло глубже пускало корни.

Природные тосканцы, занимая официальные должности, державшиеся только силой австрийских штыков, гораздо скорее забывали свою национальную связь с управляемыми, чем то, что они иностранной и враждебной их народу силе обязаны благами своего существования. К тому же, смутно предугады-

вая непрочность своего положения, они заботились о том только, чтобы разжиться помимо всякой правды. Приученные к неуважению общественного мнения, состоящего из разъедающих одно другое начал, и нравственности, о которой господствующее понятие изменялось с каждой правительственной переменой, эти «итальянские *tedeschi*[430]» довели до высшей степени совершенства взяточничество и казнокрадство... Народ, привыкший ненавидеть администрацию еще в те времена, когда она состояла из посылаемых на прокормление в Италию разорившихся чужеземных грандов и кондотьеров с их голодной челядью, не считал за нужное в пользу соотчичей отвыкать от этого. А если бы и хотел даже, то едва ли бы мог.

Тосканские чиновники, видя, что, во всяком случае, их встретит презрение и ненависть народа – по естественному, хотя изуродованному в них чувству *probité*[431] – стали добиваться признания своих относительных добродетелей со стороны тех, кому можно было подслужиться взяткой в свою очередь или доносом. Таким образом они низвели всякую

общественную должность на степень шпиона-*birro* из *poliziotto*...

Джусти встречал это жалкое и вредное племя повсюду, так как оно действительно распространилось везде и всё общество, во всех слоях своих, было покрыто этой всепожирающей саранчой...

Джусти в Тоскане имеет совершенно то же значение, какое у нас Гоголь, с громадной разницей обстановки в пользу тосканского поэта: он проникал во все классы и во все сословия.

Большая часть его первых стихотворений полны убийственными сарказмами против чиновников духовных и светских, стоявших во всей Италии тогда, как самые прочные опоры иностранного владычества.

И сарказмы эти ложились как ничем неизгладимое клеймо на лица изобличенных им казнокрадов, общественных воров, развратителей юношей...

Это прямо ставило Джусти в открытый и опасный для него разрыв с господствующей средой, это же немало способствовало тому, что он сам сознал наконец разность своих

стремлений и своего скрытого довольно долго и для него самого направления...

От вечной вражды с общественным злом до определенного прогрессивного направления едва ли даже один шаг... По мере того, как расширялись взгляды Джусти на предметы, учреждения и лица, с которыми он поневоле был в ежедневных столкновениях, самое памфлетическое направление его стало расширяться и перешло наконец в широко-общественное или политическое в обширном смысле этого слова...

В итальянском обществе давно уже не бывало олимпийского квиетизма, ищущего успокоения на предметах, стоящих вне политических прений. Между средами, удовлетворившимися грубым, развратным довольством собой и обстоятельствами до тревожного настроения молодого поколения, жаждавшего вырваться из своего угнетенного положения, не было никакого перехода. Джусти ни почему не мог принадлежать к первым; и хотя с последними у него не было полного тождества воззрения, то было по крайней мере известное сродство или сочувствие, послужив-

шее как бы начальной точкой, первой ступенью его дальнейшему развитию...

Близость его с этими кружками, невозможность с его стороны не принимать хотя бы отдаленного, косвенного участия в том, что волновало тогда всех, не утративших способность волноваться чем-либо кроме животных побуждений – заявляют себя почти в каждом из произведений первой его эпохи. Но в них это не больше, как политические намеки, смелые выходки – отголоски весьма распространенных и более опасных речей и понятий... Попадают даже целые стихотворения, как, например, «*Una tirata contro Luigi Filippo*» [432]; но в них незрелость содержания прикрывается фразами, иногда остроумными и колкими, – часто просто напыщенными...

Спешу отделить из их рода знаменитый его «Сапог» (*lo Stivale*), тоже очень молодое и незрелое произведение его, но которое заслуживает самого полного внимания, так как им начинается другая, блестящая эпоха деятельности Джусти, дающая ему право на сочувствие каждого не замершего и не погрязшего в мелочах и дрязгах.

Л. Бранда

Флоренция 26 декабря 1863 г.[433]

* * *

С появлением на свет стихотворения «Сапог» (*lo Stivale*) в 1836 г. начинается известность Джусти, как политического деятеля и как поэта, во всей Италии.

Я предполагаю, что историческое положение Италии того времени известно читателям, хотя в общих характеристических чертах, а потому я не распространяюсь о нем. Расскажу в нескольких словах то внутреннее состояние умов в Италии в это время, которое легко может быть неизвестно тем, кто знаком только с официальной, внешней историей итальянского движения.

Когда, с падением восстания в Романьях, карбонаризм выказался во всей своей несостоятельности и пустоте, общественное мнение в Италии потеряло, по выражению Джусти, *la bussola e l'alfabeto*: компас и азбуку; т. е. не знало, чем руководиться для дальнейшего продолжения дела, от которого отказаться было невозможно. Старый революционный кумир с своим мистицизмом и католиче-

ски-иерархическим устройством не был дорог никому; но он служил «и компасом и азбукой»; от него ждали больше, чем он мог дать, и в него верили. Утратив этот мнимый центр, все разнохарактерные элементы движения бродили врознь, не имея между собой ни одной общей веры, ни одной практически установленной, или хотя только теоретически определенной точки, на которой бы могли сойтись они, соединить свои силы. Старый мир в Италии падал очевидно, и падал не только в своих, рутинной преданных проклятью, мрачных проявлениях, но и со всеми своими радужными надеждами, величаво прекрасными стремлениями, на осуществление которых не оказывалось в нем ни сил, ни даже резко определенных желаний.

Так прошли тяжелые два года в жалких ссорах между собой мелких партий и политических сект, пока наконец не явилась «Молодая Италия». Между падением карбонаризма и «Молодой Италией» появляется одна личность блестящая и сильная – Чиро Менотти, готовый дать новый толчок замиравшему, или по крайней мере начинавшему разла-

гаться, итальянскому движению. Менотти для нас все еще загадочная личность. Он едва успел промелькнуть на поприще общественной деятельности и умер на виселице. Короткой карьеры его было достаточно ему для того, чтобы возбудить самые богатые надежды в своих соотечественниках, чтобы сделать надолго дорогой для них его память. Но он не успел даже «объяснить себя» – сделать доступным всем то, за что сам он сложил свою умную голову...

Стихотворение Джусти «Сапог» появилось в то время, когда мысль итальянского единства, хотя встреченная живым сочувствием всех сословий и классов, еще далеко не всеми была понята, по крайней мере, в тесной связи своей с коренными вопросами существования каждого гражданина. Еще довольно молодым человеком, – таким, одним словом, каким он был, когда писал свой «Бал» и обличительные сатиры, – Джусти принимал весьма отдаленное, правда, и какое-то косвенное, участие в восстании Романий. Чем именно ограничивалось это участие в последнем заговоре умиравшего карбонаризма, я не могу

сказать с точностью; мне не удалось достать никаких подробных сведений об этом событии из жизни разбираемого мной поэта. По всей вероятности, участие это было более пассивное; по крайней мере, оно не навлекло на него даже гонений со стороны подозрительной велико-герцогской полиции...

Джустини вообще не был и от природы заговорщиком. Впечатлительный и раздражительный до крайности, он мало внушал к себе доверия даже в людях, знавших близко и его самого, и честность его мнений, и искреннюю его привязанность к своим убеждениям и общему делу. Но Джустини был трус, подозрителен, как тосканский контадин и как мужики всех стран мира. Эта странная непоследовательность – удел весьма многих писателей и поэтов, людей мысли и созерцательности более, чем действия. Многого можно бы было сказать по этому поводу и не столько в оправдание самого Джустини, сколько вообще человека. Но я также мало склонен оправдывать его, как и обвинять за что бы то ни было. Мне не по душе становиться на точку зрения исправительной полиции по отношению к челове-

ку, умершему больше десяти лет тому назад, и я вовсе не считаю это обязанностью биографа. Мы, и в самых судебных процессах в *Gazette des Tribunaux*, и в полицейских следствиях, ищем одного – ищем человека, ищем уловить жизнь в многообразных проявлениях, а не осуждать или оправдывать, не вешать, не раздавать лавровые венки или другие вещественные отличия невестественным доблестям...

Предоставляя это похвальное занятие тем, кому оно придется по душе, я возвращаюсь к Джусти...

«Ты мне напоминаешь Самсона, – говорил нашему поэту Гверрацци, – но такого Самсона, который, разрушая храмину над филистимлянами, сам дрожит от страха, чтобы осколки штукатурки не разбили ему нос».

Характеристика эта до крайности верная. Джусти всю свою жизнь дрожал перед сбирками и полициантами, которых беспощадно клеймил в своих стихах. Можно бы от души пожелать, чтобы этой черты не было в характере самого народного из итальянских поэтов. Но с другой стороны, если бы в Джусти

не было этой, весьма несимпатической для современного человека, трусости, контадинского себялюбия и т. п., не было бы, может быть, в нем много того, что именно и делает его личность дорогой итальянцам, – не было бы и самого Джусти. Будем же брать живое лицо таким, как оно есть, не подгоняя его под заранее придуманные и заготовленные на всякий случай рамки совершенства... Гёте еще гораздо прежде меня заметил, что добродетели и недостатки наши растут на одном стебле...

Благодаря, может быть, этой самой черте, во всем Джусти так много простодушной наивности, что сам Леопольд II, послуживший предметом не одному из обличительных стихотворений, щадил его.

Поэт, однако же, не делал ровно ничего, чтобы заслужить покровительство высокопоставленных меценатов. Покровительство ограничивалось чисто отрицательными поступками: Джусти не преследовали, не сажали в тюрьму, чему отчасти способствовало и то, что он умел всегда вовремя укрыться от невзгоды в своей родной деревушке...

Участье, принятое им в романском восстании, как ни было оно пассивно и неприметно, имело для самого поэта весьма благие последствия. Оно сблизило его с людьми, если и уступавшими ему в талантливости натуры, то более сильными, чем он, систематическим развитием мысли, практическим знакомством с делом и жизнью. Между новыми его друзьями были люди, в свою очередь скоро добившиеся весьма лестной известности на разных поприщах: Монтанелли, Гверрацци занимали между ними первое место. Благодаря им, он скоро вышел из-под влияния братьев d'Azeglio, дилетантов по всем родам политической и художественной деятельности, и тому подобных.

Новые друзья эти очень скоро вовлекли Джусти в самый водоворот кипевшего тогда, в полной силе возродившейся юности, итальянского движения. Мысль в нем крепла от более серьезного сближения с предметами, которые всегда были близки его душе. Восприимчивая его талантливой натурой, быстро переработавшаяся в его сознании народная итальянская мысль, вылилась наконец в художе-

ственной, вполне народной и всем доступной форме, в его стихотворении «Сапог».

Это аллегорическое изображение Италии, изображение которой на географической карте вместе с Сицилией, очень похоже в самом деле на сапог, с высоким голенищем...

На нескольких страничках, весьма звучными и остроумными стихами Джусти передает историческую мысль существования Италии, мысль, развившуюся веками, и передает с таким глубоким сочувствием к несчастному положению *della madre patria* [434], с такой поэтической любовью и верой в лучшее будущее, которую мог носить в себе только мыслитель, одаренный высоким поэтическим талантом. Передавать подробно содержание таких произведений невозможно. Чтобы познакомить сколько-нибудь с ними тех из моих читателей, которым не случится прочесть его в оригинале, привожу несколько строк. «Сапог» говорит о себе:

Из числа родовых загорных (aitramontani) дилетантов, пробовавших надеть меня на свою ногу, был какой-то пиковый король. Трудился он

руками и ногами, и всё же должен был убраться с носом, когда Каплун[435], ревнуя своих курочек, погрозился ему затрезвонить в колокола.

В его время, или немножко позже, выскочил из аптеки профессор медицины, чтобы доконать меня. Для этого он затевал всякие хитрые штуки, клеветы, измены, которые тянутся, с его легкой руки, целые триста лет.

Он стал меня чистить и холить, убрал меня побрякушками[436], и, с помощью размягчающих снадобий и обманов, зачистил меня до того, что изодрал мне кожу. И все те, которым я доставался с тех пор, обращаются со мною по рецепту и предписаниям этой злодейской, проклятой школы. Я стал переходить из рук в руки; куча гарпий набросилась на меня. Прошел я через Галла и Каталонца, и измучился же. Они дрались из-за меня. Дон-Кихоту посчастливилось, но я достался ему распоротый по швам.

Те, которые видели меня на его ноге, говорят, что он носил меня прескверно. Он перегрузил меня ваксой и лаком. Меня называли Chiarissimo,

Illustrissimo, но исподтишка он меня подтачивал, и оставил меня еще больше истрепанным, чем прежде.

У меня оставалась на самой середине голенища пурпуровая лилия на память минувшего величия и благоденствия. Но Папа-мул – il Diavolo Vabbia in gloria [437] – отдал и ее варварам с уговором, чтобы они из моего цветка сделали венец его сынишке мулату[438].

С тех пор со мною не церемонились. Употребляли клещи и другие орудия, так что я постоянно от дождя да попадал под желоб. Сбиры и всякая сволочь выделывали со мной всевозможным подлости et diviserunt vestimenta tua[439]... и т. д. И вот я теперь в грязи, пренебрегаемый всеми, разорванный на клочки... Жду уже я давно ноги, которая бы оживила меня и стряхнула с меня грязь и плесень. Но, конечно, ни немецких, ни французских ног мне не надо, а хотелось бы своей родной ноги.

Я уже попробовал ноги некоего господина, который бы мог найти во мне лучший сапог в свете, если бы он не был обуян духом бродяжничества и не

истаскал бы мою последнюю шленку. Но увы! В своих бродяжничествах он набрел на такой снег, что отморозив себе обе ноги на полдороге... и т. д.

Это стихотворение Джусти, – где могло в печати, а не то рукописное, – распространилось с баснословной быстротой по всей Италии. От Турина и до Палермо, оно стало любимым стихотворением студентов, и за ними всей молодежи. Венецианское восстание 1848 г. начинается тем, что падуанские студенты, выгнанные массами из университета за демонстрации против тедесков, гуляют по венецианским улицам с трубками в виде сапога. Толпа рукоплещет им. Агенты Райнери [440] и полицианты должны были отбивать революционный курительный снаряд австрийскими штыками и тесаками...

С лишком десятилетний период деятельности Джусти, от появления «Сапога» и до самого восстания в Тоскане, является самым светлым промежутком всего его существования. Минутами он падает еще, и довольно низко; минутами он холоден и мрачен, он хандрит. Но вообще он процветает в это вре-

мя. Полные огня и жизни сатиры, едкие, льющиеся раскаленным свинцом на отверженные головы, выходят всё чаще и чаще из-под его пера. Его небольшая и неперевожимая ни на какой язык «Застольная песнь: Джирелла» [441] достигает такой высоты, до которой и сам Джусти доходил редко. Меткая, как прозвище, данное русским мужиком Плюшкину [442], она как-то прирастает к имени почтенного дипломата. Едва ли хоть один итальянец в состоянии, услышав имя Талейрана, не повторить про себя припев «Застольной песни» Джусти, посвященной этой великой ничтожности.

*Viva Arlecchini Viva le
maschere
E burattini D'ogni paese
Grossi e piccini; La gente, i Club,
i principi e le Chiese[443]*

Один новейший из итальянских биографов Джусти пресерьезно упрекает этого поэта за то, что он находил время и возможности писать в промежутке между своим *lo Stivale* и «Землей Мертвых» (о которой сейчас скажу несколько слов) – двумя высокопатриотиче-

скими своими стихотворениями, песенки, лишенные всякого политического содержания, иногда даже спокойно эпикурейские и т. п. Не знаю, насколько это разнообразие таланта дает право заключать нам о том, что поэт только талантом, а не сердцем, не всем существом своим понял современные вопросы и искренно сочувствовал им. Относительно Джусти всякое подобное рассуждение было бы не у места. Исключая последние годы его жизни, можно сказать, что он не сказал ни одного слова, которое бы было вполне лишено общественного значения. Как бы глубоко не сочувствовал человек общественному или даже личному своему, или чьему-нибудь горю, если только он одарен живой впечатлительностью, он не может вечно скорбеть, отчаиваться, скрежетать зубами под опасением сделаться аскетом. Джусти не уходит в фиваидские степи[444], а остается жить в обществе, где ежеминутно новые люди, новые события и столкновения вызывают в нем ряд ощущений, которые требуют высказаться. Они не сбивают его с пути, с мысли, лежащей в основе его существования. Мы часто любуемся

красотой пейзажа, заглядываемся на красивое лицо молодой женщины, когда идем по своей или по казенной надобности с ранней зарей; но ведь это нисколько не мешает нам не забывать своего дела, не уклоняться от его исполнения, когда мы до него наконец добрались.

Одна струна, в особенности напряженная в нем, звучит сильнее других, и чутче других откликается на малейший призыв. Это всё тоже стремление к лучшим судьбам, к свободе и к счастью. Чем сильнее и сознательнее в человеке эти стремления, тем больше умеет он выходить из своего узкого я, тем шире поле его деятельности. Это узкое свое я кажется ему чересчур мелким для сочувствия общенародной жизни, и он стремится объять, заключить в себе всё более и более полную единицу; он вмещает в себе наконец всё человечество. Одним из моментов этого внутреннего процесса, когда человек в себя впускает всех собратий своих, связанных с ним единством развития, воззрений, стремлений, или единством воспоминаний детства и пр., кровным единством соотечественности. На этом мо-

менте останавливается развитие Джусти. Он, никогда серьезно не любивший ни одной женщины, переносит на свою Италию весь запас своей поэтической любви. Не любовник неплатонический, он не альбомные стишки пишет ей и не описывает ее красы в антологической форме. Он живет ее горем, ненавидит ее притеснителей, горит стыдом и позором при виде своих соотчичей, погрязших в дрязгах и мелочах своего гуртового рабства.

* * *

Любовь к родине – чувство национальности – послужила темой несметному количеству дифирамбов, од, в стихах и в прозе. Приходит время сделать и это, конечно очень возвышенное и очень похвальное, чувство предметом науки. Не в биографии итальянского сатирика, не в промежутке между двумя главами какой-нибудь статьи можно изложить те нормы, законы, сообразно с которыми живет и развивается это чувство в душе человека и человечества, и вывести потом из этих законов положительные научные данные насчет того: какую роль должна играть национальность в общественном устройстве? Нет.

Вопрос этот слишком важный, а решение вопросов каких бы то ни было, не терпит суеты...

Но не моя вина, что мы живем в такое время, когда ни одному вопросу не дано еще окончательного решения, – такого, которое бы удовлетворяло всех и могло бы быть сдано в архив до представившейся в нем надобности. Конечно, в решениях на всевозможные вопросы недостатка не чувствуется; но одно то уже, что их так много, показывает, что настоящего решения всё еще нет. Первое, вытекающее прямо и последовательно из сказанного, неудобство состоит в том, что пишущий вечно подвергается опасности быть понят в весьма разных и часто противоречащих один другому смыслах – согласитесь сами: неприятная участь для пишущего...

В настоящую минуту вновь ребром поставлен вопрос, который давно уже считали решенным; а оказалось между тем, что о нем еще никто серьезно и не думал. Я говорю о вопросе права национальностей на самобытность перед системой общеевропейского государственного равновесия. Ловкий диалектик,

партизан последнего из этих двух принципов, наголову разбил националистов крошечной брошюрой, имевшей громадный успех. А в действительности, наперекор всевозможным брошюрам, принцип национальности продолжает развиваться в сознании народном, и за неимением более нормальных путей развития, продолжает служить тормозом общечеловеческому развитию и порождает тысячи международных неурядиц.

Говоря об Италии, нельзя не заговорить о принципе национальности, так как ему обязана эта страна всем своим общественным развитием во все времена, а в особенности за последнее время. Правда, и этот принцип, как все принципы вообще, обоюдоострый, включающий в себе самом и свое отрицание.

Джусти своим поэтическим талантом быстро усвоил себе это, тогда еще новое, учение об итальянском единстве. На нем вырос и созрел его талант как-то внезапно, без последовательности; поэтому-то, может быть, мы и встречаем, даже в этот самый блестящий период деятельности Джусти, некоторое противоречие в нем самом между человеком и по-

этом-пропагандистом. Противоречие это скоро после развилось в отъявленную непоследовательность, вовлекло Джусти, и как человека, и как поэта, в открытое противодействие самым этим началам, которые он принял с такой горячей любовью и так плодотворно усвоил себе из нескольких бесед с своими новыми друзьями...

Но об упадке Джусти будет еще время говорить. Лучше остановиться еще несколько на его медовом месяце, на той его поре, когда каждое слово его принималось с горячей любовью всей Италией, – когда Джусти действительно был силой, и силой, много способствовавшей успеху национального итальянского дела...

Во Флоренции в это время центром движения был отставной неаполитанский генерал Пьетро Коллетта[445], только что возвратившейся из австрийских казематов, где потерял здоровье и часть энергии. Как личность, Коллетта и тогда уже отжил свое значение. Но добытая им прежде известность и популярность в Италии заставляла молодых деятелей дорожить его, хотя бы только пассивным, со-

действием...

Немощность генерала Коллетты отчасти ограждала вечерние собрания в его зале от подозрений австрийских агентов и флорентийских шпионов. Предлогом для этих каждодневных собраний в его зале по преимуществу ученой и литературной молодежи служил большой исторический труд, предпринятый Коллеттой незадолго перед смертью. Адвокат Сальваньоли[446], Монтанелли, братья Гверрацци и Джусти содействовали ему, сколько могли, в его литературно-ученом предприятии. По всей вероятности, даже при самом начале, вечерние собрания эти и не имели никакого политического значения. Но при тогдашнем, всеобщем настроении умов всякое собрание очень скоро принимало весьма решительный, враждебный Австрии характер.

Заседания эти разыгрались заговором, весьма слабо задуманным, без малейшего вероятия на успех, не оставшимся однако же без последствий. Адвокат Сальваньоли, бывший до тех пор действительным главой движения, выказал при этой попытке столько ро-

бости и холодности, что расстроил навсегда свои сношения с названными выше молодыми людьми. С этих пор началось уже раздвоение во флорентийской партии действия, раздвоение, развившееся в 48 г. до весьма значительных и всем известных размеров.

Общество разрознилось. Гверрацци бежал в Ливорно, где скрывался несколько времени под вымышленными именами. Джусти, впоследствии перешедший совсем на сторону Сальваньоли и Джино Каппони, уехал в свою деревню. Коллетта был найден мертвым в своей постели пришедшими арестовать его полициантами...

Леопольд II в Тоскане делал большие усилия, чтобы не быть вынужденным играть в Тоскане роль австрийского комиссара, и потому прикрыл даже своим косвенным покровительством заговорщиков. Джусти вскоре вернулся во Флоренцию, где не было уже и помину о заговоре. Впрочем, по своей природной робости, Джусти сам не принимал в этом деле ровно никакого участия, не принял на себя ни одного из поручений, которые предлагались ему комитетом. Кроме робости своей, ко-

тору он ни от кого не скрывал, он оправдывался еще и отъявленной своей неспособностью к политике, которую и выказал впоследствии. На этот раз друзьям, впрочем, нужно было только его имя, пользовавшееся большой популярностью, и не без основания.

Тесным своим знакомством с Джусти воспользовались потом очень многие из тогдашних юношей, игравших потом более или менее важную политическую роль в Тоскане. Скептический отчасти и вечно иронический Джусти не позволял им увлекаться слишком при себе, хотя бы и самыми благонамеренными мечтами. Представитель того сельского элемента (о чем я говорил в первой части), который очень мало берется в расчет итальянскими администраторами всех партий, он был как нельзя более у места в их многочисленном кружке. И если Джусти много обязан Маццони, Монтанелли развитием своей мысли и таланта, то и они в свою очередь должны по праву уступить ему долю успеха, который имели впоследствии. К сожалению, став потом во враждебные один другому лагери, они не могли уже относиться друг к другу с

прежней искренностью и беспристрастием.

После неудачного заговора, о котором упомянуто, маленький кружок никогда уже не мог собраться снова во всей своей целостности. Отчасти внешние обстоятельства мешали этому; но и внутреннему разногласию было уже положено довольно основательное начало раздором с Сальваньоли. Тем не менее воодушевление поддерживалось долго. Попытка братьев Бандиера в Калабриях еще усилила его... Много горячо прочувствованных, художественных строф вылилось из-под пера Джусти под влиянием всё того же чувства. Это было святое для него время, хотя полное горя и страдания, но полное вместе с тем и того художественного смысла, который заставляет человека не падать под тяжестью гнетущих случайностей.

Нам итальянским ларвам, – пишет Джусти, – мумиям еще во чреве матери, – кормилица или даже повивальная бабка служит за могильщика. С нами Приор напрасно тратил воду крещеная; а умирая в другой раз, мы крадем себе похороны.

Посмотреть на нас – мы будто и отчеканены с изображением Адама; кажется есть плоть и кровь, но на самом деле мы стоящие на ногах скелеты...

С таким мертвым народом на что история? Что за дело скелетам до свободы, до славы? Не всё ли равно вам лавровый венок или кочан капусты? – Бормочите себе requiem без всяких разговоров

Души давно умерших! Как у вас хватает духу вновь являться среди нас? Слушайте меня: рано или поздно вам повредит наш воздух, он и для вас слишком могильный.

О вы, иезуиты-монахи, сбирьы-инквизиторы! На что вам скопить мертвецов?

Зачем над нами целый лес штыков, с чего трутся о наши кости северные сабли?

Как можно смотреть с такой ненавистью на мертвецов? Пусть бы изучали на нас анатомию и отпраплялись бы к черту!

О стены наших городов – величавые гробницы! Самые развалины ваши –

апотеоза нашей жизни. Пусть же завистливые варвары сгладят их и засыпят самые могилы; а то они вдохновляют кости мертвецов...

Пусть мы трупы. Пусть придворные совы напевают это вечно, но пусть не забывают, что между мертвецами есть и Dies irae...[447]

Я очень жалею, что не могу привести вполне это замечательное стихотворение Джусти, где он, не теряя своей вечной, горькой иронии, подымается до высокого лиризма.

Чтобы ознакомить по возможности читателей с этой лучшей эпохой Джусти, приведу еще несколько более цельных отрывков из его стихотворения *il Memento*, следующего за предыдущим в хронологическом порядке, и написанного под влиянием того же настроения.

У кого хватит духу бродить в монастырских оградах, считая гробницы наших предков, – тот непременно увидит изображение четырех или шести доблестных, доживших до чести быть похороненными в мавзолеях...

Теперь прогресс... ни один осел не мо-

жет издохнуть без того, чтобы ему тотчас не поставили бы хоть камня с надписью.

За самым гробом Макиавелли почитет труп Стентерелло...

Говорят, будто гроб приводит нас к истине. Да, как раз! Верьте кладбищу! Когда-нибудь наши потомки поцелуют с благоговением эти камни, с надписанной на них бесстыдной ложью, и скажут:

«Вот были молодцы наши предки! Что за непорочные жены, что за мудрые мужи?»

И замогильное чванство остается удовлетворено. И многие оставляют за собой, как светляки на камнях, нечистый след, который кажется серебром...

Вот герои нашего времени, которые крадут себе даже будущее!

А ты, выбивающийся из сил, чтобы жить без надувательства, – кто тебя защитит против надгробного слова? Умрешь – попадешь в руки биографу, он тебя заставит лгать и ты против собственной воли будешь шарлатаном, надувающим публику с высоты соб-

ственного катафалка.

Ей Богу! Я боюсь надгробных камней. Я непременно помечу в своем духовном завещании, чтобы меня опустили под землю без *qui giace*[448]. Дайте же ближнему гнить в мире,

*O parolai,
O epigrafai,
O vendi-lacrime,
Sciupa-solai*[449].

Два эти стихотворения, весьма различные в сущности, навеяны одним и тем же строем мысли, что стало бы яснее, если бы я мог вполне привести здесь первое из них. Вызваны, как то, так и другое весьма распространёнными в то время толками и доктринами во дворцах и аристократических салонах о том, что Италия земля смерти, что она закончила свое призвание и т. п. Италии, по их мнению, следовало робко плестись за остальными народами, предоставляя другим вести себя по пути дальнейшего социального совершенствования. Чтобы примирить с народной гордостью этот, конечно не лестный, рецепт будущего, налегали особенно на славу пред-

ков, на пластическую красоту гробниц, в которых погребла себя муниципальная Италия и на т. п.

Я боюсь растянуть свою статью бесчисленными выписками, а потому и ограничиваюсь этими двумя стихотворениями, взятыми почти наудачу. Выбирать было бы трудно. Этот период Джустини неисчерпаемо богат самыми разнообразными и бесспорно превосходными стихотворениями, пополняющими друг друга. Талант его достиг высшего своего развития, и дальше идти не мог. Собственная живучесть и сила событий поддерживали его долго на одной и той же высоте, пока наконец силы не растратились и общественные бедствия не нанесли ему рокового удара...

Отличительная черта таланта Джустини – яркое разнообразие, не изменившее ему и тут. Стихотворения всевозможных родов, от полной эпиграммы (как, например, *Una levata di capelli involontaria* или *Contro un letterato pettegolo e copista*) и до произведений высокого лиризма; едкие сатиры (напр. *il Giovinetto*) и добродушная ирония в *Amor pacifico* или в *San Giovanni* – все проникнутые строгим и ши-

роким единством окрепнувшей мысли и горячо прочувствованного чисто итальянского направления...

1848-й год приближался быстро. Вступление на папский престол Пия IX было решительным переворотом в тогдашнем положении Италии и вызвало бездну самых радужных надежд – энтузиазм с одной стороны, – с другой дало возможность робкому большинству отойти, с сохранением некоторых приличий, от поднятого ими же знамени, отступить от слов, сказанных слишком заносчиво в иное время...

События впрочем известны, а потому и повторять их нечего. Но в стихотворениях Джусти мы находим совершенно в другом смысле интересную, рассказанную почти факт за фактом внутреннюю историю Тосканы.

Стихотворение его *il Papato di Prete Pero*, написанное в самом начале 1846 г., может служить также вступлением в эту новую эпоху (самую кипучую, по крайней мере во внешности) его поэтической деятельности, слишком обусловленную конечно тем избытком жизненности и деятельности, которым

кипело тогда всё итальянское общество...

Папство священника Перо и другое его стихотворение *Supplica* (просьба о заграничном паспорте) показывают достаточно, что Джусти не принадлежал к числу тех, которым с первых же уступок всё показалось в розовом свете и которым так легко стало жить в одной открывшейся возможности осуществить свои стремления, что они самую возможность эту приняли за осуществление или даже вовсе отказались от осуществления.

Во всех, впрочем, начинающиеся реформы вселяют некоторую степень успокоения; на душе у всех становится легче, и Джусти более или менее поддается всеобщему настроению. Он еще не намерен сдать, примириться и сложить оружие. О нет – напротив. Открывающаяся возможность возбуждает в нем новые страсти, новые силы. Прочтите его *Delenda Cartago* или послание к медику Карло Гиноцци. Но у него является возможность с добродушной насмешкой говорить о предметах, которые вызывали еще недавно у него грозные и ядовитые проклятья. Он даже принимается за давно оставленную форму аполо-

гии, или басенки без нравоучения, чтобы написать своего *Re Travicello* – вещь, говорят, заставившую смеяться и самого Леопольда II, против которого она была направлена, и которому она повредила в глазах тосканцев, вероятно, больше многих красноречивых воззваний на ту же тему.

Из названного уже стихотворения *il Papato* и пр. видно, что Джусти и сам разделяет многие надежды. Но в этом же самом стихотворении мы видим то, что он понимает пустоту и шаткость того внезапного воодушевления в известную сторону, которое внезапно обуяло Италию при первых же обещаниях нового главы католической церкви.

Джусти полон надежд; но очевидно другое возбуждает его надежды. Он слышит восторженные речи вокруг себя, чувствует сам себя силой. Ему до того очевидной кажется победа, что он уже протягивает руку врагу в своем чудном стихотворении *Sauf Ambrogio*, из которого не могу не выписать хотя бы несколько строк.

Vostra Eccellenza, сердитесь на меня, –
начинает автор свой поэтический рас-

сказ, – за некоторые мои дюжинные шуточки, и считайте меня анти-тедеском за мое желание выпроводить отсюда сбиров; – послушайте же, что случилось очень недавно со мною, как я бродя утром и не зная куда деться, зашел в собор Св. Амвросия в Милане... Я вхожу; церковь полна солдатами, – этими северными солдатами, кроатами, богемцами, которые стоят навтытяжку, как подпорки в винограднике»... Извините, Есселенза, но мне показались сальными даже свечи, горевшие у большого алтаря...

Вдруг немецкая соната тихо, тихо раздается под сводами. Была молитва – мне в ней слышались вопли, такие звучные, торжественные, мрачные, что и теперь будто их слышу...

Я слышал в этом гимне ту горькую отраду, которую мы ощущаем, когда услышим песни нашего детства; наше сердце заучивает их с разного голоса и напевает нам их в горе. В них печальная мысль матери о пропавшем сыне, жажда мира и любви, тоска изгнанья – всё это заставляло меня качаться как пьяного...

Когда музыка умолкла, я задумался глубоко, и душа была печальна, но отраднa. – Я говорил себе: к нам шлют их, оторвав от родной кровли, из Кроации и из Богемии, чтобы они без отдыха порабощали нас, а сами не знали бы родины, и гибли бы, как стада в понтийских болотах...

Я бежал, чтоб не броситься в объятия усатому капралу, который стоял в дверях, черствый, прямой как столб.

С этим настроением Джусти входит в 1847 год.

Он начинает его длинным отрывком из никогда не оконченной им комедии *I discorsi che corro*, что по-русски можно перевести если не буквально, то довольно точно словами: *современные толки*.

Главными действующими лицами этой комедии выведены Рак и Поддувалка, в которых мы узнаем тупицу-ретрограда и болтуна-либерала всех стран света и всех времен...

Этот многочисленный класс раков, – чиновников старого порядка послужил для Джусти неисчерпаемым источником для более или менее злых, но всегда глубоко комиче-

ских сатир и эпиграмм. Не берусь даже переименовать их здесь. Рекомендую любителям *la storia Contemporanea, la Supplica*, о которой уже было говорено, и пр.

Эти стихотворения, в силу нового порядка получившие большую свободу распространения, – не только в Тоскане, но и в большей части Италии, – убивали ретроградов хуже самых либеральных реформ. По крайней мере от последних, благодаря Радецкому, они могли оправиться; но того позора, которому предал их Джусти, не в силах смыть с них никто и ничто.

Не нужно впрочем думать, чтобы он односторонне смотрел на них, или бы ограничил поле своих действий одними отъявленными *раками*, которых положение было столько же жалко, как и смешно. Нет. Он тут же не упускает из виду и вечно-юного паразита, успешшего значительно перемениться со времен Аристофана и Плавта, меняющегося ежедневно и ежечасно в угоду сильным мира и обстоятельствам, но никогда не исчезающего с лица земли.

Впрочем, классы административные вну-

шали поэту какое-то особенное пристрастие. Он постоянно возвращается к ним, если и оставит их порой на минуту, увлекшись достойным его оригиналом другой породы. Класс этот действительно обилен и многообразен в Тоскане, и Джустини особенно ловко умел схватывать самые тонкие, едва уловимые оттенки его. По его стихотворениям, написанным в одном 1847 году, можно бы было написать весьма подробное изыскание о быте тосканского чиновничества в те времена. Особенно интересно с этой стороны его стихотворение: *Конгресс Сбирров (il Congresso de' birri)*, где представлены три весьма интересные экземпляра этого многочисленного словия...

Джустини далеко не был весь поглощен этой своей деятельностью. Он видел не одну только сторону события, о чем достаточно свидетельствуют его *Sortilegio* (Колдовство), посвященное им двум друзьям своим Мейеру и Орландини, докторам, вылечившим его в конце 46 г. от опасной горячки. Затем его вдохновенные строфы *Привидениям 4-го сентября* (1847 г.) блистательно заканчивают этот год

его поэтической деятельности. Перевести всё это стихотворение нельзя, а в отрывках оно бы потеряло слишком много, да и потребовало бы того художественного перевода, на который я не чувствую себя способным.

Радостной «Застольной Песней» (*Brindisi*) Джустини встречается наступающий 48 год.

Друзья! – говорит он, – наша Италия, разорванная страна, так сразу и воскресает снова. Мы рабы, мы горсть людей смеем совершенно свободно говорить о свободе?

И так попросту, в дружеской беседе, почти семейно, устраивать общественное дело. Шутка ли это! да в другом месте нас бы и Бог весть куда отправляли за это.

...Без задних мыслей – поклянемтесь здесь же, все честные люди, забыть чванство, болтовню и ссоры, не краснея идти вперед.

Смотрите. К концу выходит, что умные-то и перехитрили злодеев. Те, которые злобствуют против угнетенных, кончат тем, что себя же сгубят...

Посмотрите, рукою варваров Павия,

Милан залиты итальянской кровью.
Но тише... Но бросим сравнения, и перестанем сводить счеты. Пусть всякий без фраз принимает свою славу и свои ошибки...

* * *

Но этот, встреченный так радостно, 48 год оказался роковым годом для Джусти, и не для одного Джусти...

Засвидетельствую факт, сам по себе довольно многозначительный. Стихотворения Джусти, из которых приведено уже достаточно выписок, для того чтобы и тот, кто не знал прежде о их существовании (если найдутся такие между читателями), мог бы убедиться в том, что они очевидно вызваны событиями, среди которых жил этот поэт, – что их невольно принимаешь за его же собственное *profession de foi*[450]. Готов на основании их поручиться, что автор в действительной жизни поступал именно так, а не иначе. Они слишком глубоко прочувствованы, слишком дышит искренностью каждая их строчка – для того, чтобы можно было заподозрить самого поэта во лжи, – я уже и не говорю про

наглуую, сознательную ложь... На деле выходит совершенно иначе. Джусти, так художественно понимавший всю несостоятельность слишком смелых надежд, возбужденных в легко примиряющемся большинстве, робкими уступками, – был с тем вместе горячим приверженцем партии Джино Каппони и Ридольфи. Он даже написал торжественную оду своему *Re Travicello*; но она вышла донельзя бледна. Немудрено – Джусти не был создан для этого рода поэзии. Такие таланты, как он, имеют и свои права и свою строго-обусловленную физиономию, и потому не всегда поддаются субъективным чувствованиям своих счастливых обладателей... Много придется высказать, по долгу беспристрастия, истинно довольно горьких о самой личности поэта; но талант его, тем не менее, остается чист и без пятна...

Тосканское движение начала 1848 г. настолько затеряно в общем итальянском тогдашнем движении, что очень многие из русских читателей могут не знать характеристики тогдашних флорентийских партий, группировавшихся вокруг нескольких более или

менее известных личностей. Должно сознаться, что самые партии эти во многих отношениях были делом слишком случайным, личным и не всегда разнились одна от другой принципами или основаниями. Это в особенности сбивает иностранцев, мало знакомых с подробностями Тосканской истории этого времени. Я избавляю себя от какого бы то ни было исследования насчет партий вообще, но о партии Ридольфи и Каппони нужно сказать несколько слов, так как ей оставался верен Джусти до самого конца, т. е. до вступления австрийских войск во Флоренцию...

Партия эта, явившаяся как оппозиция пьемонтской, унитарно-монархической партии, может быть охарактеризована именем федерально-монархической партии; только для полноты нужно прибавить, что в ее состав главным образом вошли аристократический и аристократически-бюрократический элементы. Благодаря честности своих предводителей, эта партия с самого начала была принята очень хорошо всеми за исключением немногих, слишком горячих приверженцев пьемонтской пропаганды. Люди, не разделяв-

шие сущности воззрений Ридольфи, Каппони и Риказоли – т. е. те, которые, с помощью ливорнского движения, составили потом демократическое министерство при Леопольде II и наконец триумвират – жили очень долго в добром согласии с аристократически-федеральной партией. Это объясняется тем, что крайняя партия тогда еще не была организована, не имела решительной, определенной программы. Приверженцы лотарингского зала, из династических видов конечно, противодействовали, весьма основательно, проискам Джоберти и Карла-Альберта: на первое время этого было совершенно достаточно...

При таком положении дел, Джусти был выбран депутатом и мог, не портя вовсе своих отношений к Гверрацци, Монтанелли и другим, поддерживать министерство Ридольфи...

Прежде чем идти дальше, мне кажется, интересно будет читателям узнать, как сам Джусти смотрит на свои новые обязанности, как представителя народного. В собрании его стихотворений мы находим весьма интересный аргумент относительно этого. Его сатира «Депутат», во многом конечно относящаяся, глав-

ным образом, к его политическим противникам, на которых он, по свойственной человеку вообще, а поэту в особенности, исключительности, смотрит как на личных врагов – может быть отчасти применена и к нему, как члену того же депутатского собрания...

Розина! – говорит он своей возлюбленной, – депутату вовсе нет никакой надобности понимать что-нибудь в государственных делах: если он читает хоть одну газету и удерживает ее в памяти, – он настоящий Ликург.

Также совершенно лишнее ему понимать финансовые вопросы: довольно, если он знает о существовании этого, до крайности скучного предмета. Законы же ему даже и не следует знать, потому что они сами их может исправлять...

Продолжение той же самой сатиры, в особенности ее последние строфы могут служить доказательством тому, что в Джусти в это время накопилось порядочно горечи против тех из его друзей, которые в депутатском собрании тогда составляли систематическую оппозицию аристократическим притязаниям ми-

нистерства. «Мы все братья!» – говорит он, – «но, черт возьми! Я хочу, чтобы брат мой думал так же, как и я, а не то убить его. Каин говорил, что Авель были страшнейший кодино»...

Демократическая партия не становилась открыто враждебно против министерства Ридольфи, пока война против Австрии была единственным политическим вопросом, потому что в необходимости войны обе партии эти были согласны между собой. Но едва возникли другие вопросы, по поводу которых министерство высказало свои аристократически-бюрократические стремления, весьма оживленная борьба завязалась между министерством и оппозиционными депутатами. Джусти и душою, и телом перешел на сторону первого, и в это время написал даже свою оду Великому герцогу, о которой уже упомянуто...

Странно, что в то же самое время он написал последнюю свою сатиру против бюрократии, – сатиру весьма едкую, показывающую между прочим, что он понимал, как нельзя лучше, ложное положение, в которое всё больше и больше становились представители

административной власти, по отношению к делу освобождения Италии. Сатиру эту перевести здесь нельзя; она имеет заглавие: «Совет Советнику», *Consiglio ad un Consigliere*, и начинается следующим образом: «Господин советник! – скажите вашему патрону, что мир совершенно прав, идя так, как идет и проч.».

Каким образом Джусти, сам так энергичски содействовавший распространению в массах стремлений к самостоятельной народной жизни, мог в такую решительную минуту пристать к партии, очевидно уже раскаивавшейся в тех уступках, к которым она была вынуждена временем и обстоятельствами? Признаюсь, это такой вопрос, на который я не могу дать в нескольких словах удовлетворительного ответа. Увлеченный борьбой и озлоблением партий, Джусти, вероятно, и сам не замечал, до какого чудовищного проявления разработал он то внутреннее противоречие, над которым и сам он, и его друзья благосклонно когда-то подшучивали...

Так или иначе, но раздор между Джусти и его оппозиционными приятелями, раздор, в

самом начале своем вызвавший, из-под пера поэта, неудачную оду к Леопольду II, разрастался с каждым днем, хотя долго еще оставался скрытым...

В заседаниях депутатского собрания Джусти говорил мало, сознавая, вероятно, сам свою ораторскую и политическую неспособность, так что в камере не могло быть никаких схваток между им и его политическими врагами, остававшимися довольно долго личными его друзьями... Вражда между ними мало находила случаев высказаться открыто, темь более, что и сам поэт не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы систематически опровергать начала, которые сам же он пропагандировал с большим жаром; он даже и возражать не находил ничего против принципов враждебной ему партии. Окончательная неудача его оды к Леопольду II заставила его даже отказаться от этого жалкого фиаско...

Все эти причины вместе побуждали его из политического раздора сделать вопрос личной, хотя еще и скрытой до времени, вражды. И этой-то, дурно скрываемой, злобой отравле-

ны все лучшие произведения Джусти за это время. Иногда, увлекаемый своим раздражением, он даже прибегает к средствам, за которые, вероятно, сам же не раз краснел потом, в более спокойные минуты... Проследя в хронологическом порядке ряд его стихотворений, написанных им в 1848 г., мы найдем в них историю развития этой вражды в нем самом, и отчасти даже целого хода борьбы партий между собой за эти несколько месяцев, весьма богатых всякого рода событиями...

Пока оппозиция имела чисто парламентский характер, Джусти бросал в противников своих, или правильнее, в противников той партии, к которой он принадлежал, едкими сарказмами вроде тех, которыми полна его сатира «Депутат». Но дело скоро приняло совершенно другие размеры и другой характер.

Противопоставлять монархически-унитарной или пьемонтской партии партию монархически-федеральную оказалось весьма опасной игрой с тех пор, как либерализм бюрократов стал навлекать на себя довольно основательные подозрения. В самом деле, надежды, возлагавшиеся на итальянский патрио-

тизм герцогов австрийского происхождения, едва ли выдерживали хладнокровную сколько-нибудь критику. Министерство, едва почувствовав свою силу, не замедлило выказать очевидные стремления остановиться на пути реформ, на который попало оно помимо собственной воли. Пользуясь тем, что ослабить его значило бы подкрепить пьемонтскую партию, оно готово уже было отказаться от войны с Австрией, потому что война эта могла иметь хоть какие-нибудь шансы на успех в таком только случае, если бы была народной. Народной же войны оно боялось хуже, чем восстановления австрийского владычества, хотя бы более даже непосредственного, чем прежде. При таком положении дел, оппозиция не могла ограничиться одним только административным своим значением; ей необходимо было организовать таким образом, чтобы в свою очередь представлять положительную силу, способную противодействовать обеим монархическим партиям...

Крайняя партия эта не сразу впрочем приняла, во всей ее целостности, программу Мадзини, но и не скрывала между тем своих стремле-

ний к федеративному единству Италии, которое, конечно, всего легче могло бы осуществиться при возобновлении федерально-муниципальных республик, независимых одна от другой, но и не связанных с иностранными державами никакими побочными династиями.

Между сатирами Джусти есть одна: «Наставление эмиссару» (*Istruzioni a un emissario*), написанная приблизительно около этого времени, но относимая, некоторыми из его биографов и издателей, к 1847. С точностью не могу определить времени ее появления, а это было бы чрезвычайно важно: и от ошибки в хронологических цифрах зависит очень много репутация самого поэта. В этой сатире Джусти говорит от лица какого-то австрийского государственного человека, отправляющего в Италию своего агента и дающего этому последнему весьма подробные наставления: как он должен действовать, чтобы заслужить лучше свое жалованье. Между прочим он советует ему прикидываться отчаянным либералом, и в заключение говорит: «Чтобы почтовое ведомство не могло заподозрить вас в

сношениях со мною, то вы отдавайте ваши письма *такому-то*. Вы можете быть уверены, что письма ваши дойдут ко мне. *Такой-то*, как вам известно, либерал, и волнует страну *per conto mio* (на мой счет)»...

Сатира эта, очевидно, написана с целью бросить весьма сильную тень на крайнюю партию, в особенности же на одно известное очень лицо, пользовавшееся большой популярностью в то время. Средство выдавать публично за шпионов своих политических врагов изобретено, конечно, не самим Джусти, и в его время было уже далеко не новым. Это вовсе не мешало ему быть средством весьма действительным, и ни в каком случае нельзя оправдать поэта за то, что он прибегал к нему. Если же, в самом деле, сатира эта написана в то время, когда мадзиниевская партия стала организоваться в Тоскане, и главным образом из парламентской оппозиции, то поступок Джусти становится еще чернее. Во всякое другое время сатира эта могла быть принята «безлично». В последнем же случае, она являлась бы как памфлет против людей, далеко не заслуживших подобных обвинений, но

поставленных в невозможность защищаться, потому что они не были поименованы в оскорбительном стихотворении. Так или иначе, нельзя от души не пожелать каждому талантливому писателю держаться подальше от такого рода полемики, которую так и хочется назвать подлостью...

Затем, Джусти стреляет по пропагандистам враждебных министерству идей своим посланием к известному Джаноне, под заглавием «Республика». Сатира эта хотя также весьма полна самого озлобленного негодования против диссидентов, тем не менее гораздо *честнее* первой, поэтому остроумнее ее. Она между прочим столько же противоречит и собственным политическим убеждениям самого поэта, сколько и республиканским теориям. Имея в виду уронить федеральную систему Монтанелли, Джусти говорит, что разделяя Италию по клочкам, Монтанелли (не названный по обыкновению в сатире) тем самым дает Австрии большую возможность проглотить ее по частям. Странно то, что партия, к которой он сам принадлежал, вовсе не враждебна федерализации, но хотела бы со-

хранения при этом местных правительств, находившихся, как известно, во всей Италии в более или менее тесных, родственных связях с австрийским домом. Почему автор думает, что это сохранение может служить препятствием, совершенно подобному же, поглощению Италии, по частям, австрийцами?

Парламентское большинство, оставаясь, как и Джусти, фактически преданным министерству Ридольфи, но связанное своим предыдущим довольно тесно с Мадзини, — теоретически склонилось на более родственную этому последнему демократическую пропаганду, думав пройти на весьма обыкновенном в подобных случаях эклектизме, думая оправдать свое отступление на практике от одобренных ими же теорий преждевременностью их. Подобное противоречие в своих собраниях сильно раздражало Джусти, и он написал против них следующий «Разговор поэта с салонными героями»:

Поэт: Герои, герои! – Что вы делаете?

Герои: Мы полируем будущее.

Поэт: (В сторону: тем лучше для нас!)

Но о настоящем что вы думаете?

Герои: *Всё и ничего.*

Поэт: *(В сторону: так и есть!) Что за славный народ! Ну, а Италия что же?*

Герои: *Пока мы ее отдадим кормилице.*

Поэт: *Кормилице клерикальной или либеральной, нашей собственной или немецкой!*

Герои: *Пошел к черту!*

Поэт: *Так я и знал (про себя: вот тебе и на!)*

Парламентское большинство, к которому, как депутат, принадлежал Джусти, приметно разлагалось, сознавая всё более и более несостоятельность своих паллиативных мер, перед более и более становившихся грозными событиями. Джусти до конца оставался верен министерству, которого падение приближалось. Сам Джусти, как ни утешал он себя стихотворениями вроде: *I più tirano i meno*, едва ли был спокоен духом, по крайней мере, насколько можно судить по тогдашним его стихотворениям. В это время, когда министерство Каппони (продолжавшее с сущности политику павшего министерства Ридольфи) готово было уже пасть в свою очередь, Джусти,

вместе с некоторыми литературными приверженцами своей партии, вздумал издавать юмористический журнал или сборник под заглавием *Piovano Arlotto*, которого он должен был быть главным редактором, и которого целью было противодействовать юмористическим листкам крайней партии, имевшим громадный успех. Это намерение никогда не осуществилось, и *Piovano Arlotto* выходил гораздо позже уже под редакцией Гверрацци.

Всеобщее предчувствие сбылось скоро. Гверрацци и Монтанелли, составившие так называемое демократическое министерство, сменили Капони. Первым делом их было распустить тогдашнее депутатское собрание, составившееся под слишком исключительным влиянием административной власти.

Джусти, которого негодование против прежних своих друзей дошло до высшей степени, утешал себя в падении своей партии злыми сатирами против новых администраторов, из которых одна, в особенности направленная против Гверрацци (*Arruffaropoli* – встрепыватель народов), заслуживает вполне внимания по силе таланта, колкости и метко-

сти выражений...

Как всегда бывает в подобных случаях, мелкие журналишки стали в свою очередь нападать на павшего модерата. «Те, которые оскорбляют меня», – говорил Джусти своим приятелям, – «могли бы вспомнить, что когда я говорил, то им приходилось молчать».

Затем, вот что пишет он в это время одному из немногих, остававшихся у него друзей:

Мне поют Dies irae[451] – оно и кстати: я больше мертвец, чем живой. Надо мною смеются – оно и дело: я сам смеялся над другими. Но я не знаю, с чего взяли, будто я возбуждал к беспорядкам, чтобы свалить потом вину на народ, что я рта не открывал на трибуне без того, чтобы не обругать народ и т. п.

Идут до того, что заставляют подозревать: не запродали ли я себя кому следует...

Мое знамя – порядок и свобода, насколько нам под силу. Под порядком я разумею вовсе не мертвый порядок маршала Себастьяни и собачки Людовика Филиппа.

Затем, Джусти говорит о желании своем издавать журнал, который бы проповедовал его умеренную *profession de foi*. Не знаю, о каком журнале здесь идет речь? Всё о том ли, о котором говорено, или о каком-нибудь другом. Но только намерение Джусти издавать журнал никогда не осуществилось по его же собственной вине, или правильнее по вине его расстроенного здоровья.

После падения министерства Каппони, Джусти отказался от кандидатуры в депутаты, но несмотря на это был всё же таки избран народом, знавшим только его деятельность, как поэта, и потому продолжавшего любить его, как будто он никогда и не был депутатом. Джусти отвечал на объявление ему исхода баллотировки в его пользу:

Я благодарю всех добрых людей за их привязанность ко мне, которую бы мне очень хотелось оправдать, хотя каким-нибудь полезным для них делом. Но мне очень горько, что дело идет так, а не иначе; пусть же засвидетельствуют, по крайней мере, что я делал всё, чтобы остаться дома. Я чувствую, что исполню очень дурно

то, чего от меня ждут, частью по своей политической неопытности, частью же и по слабости здоровья, которое служит мне вовсе не так, как я бы хотел. Я всегда дурно чувствую себя, прожив зиму во Флоренции. – Но тем не менее fiat voluntas tua[452].

Вторичное пребывание Джусти в новой представительной камере не ознаменовалось, с его стороны, ничем сколько-нибудь замечательным. Должно предполагать, что прежде он поддерживал аристократические министерства более из-за личного доверия к лицам, составившим его, чем из твердо установленных убеждений. На этот раз он не имел никакого определенного плана действий, и даже события сильно должны были поколебать его в его прежних политических верованиях... Еще до нового избрания своего, он написал сатиру в форме разговора двух: неподвижного и полудвижущегося, под заглавием *Le piaghe del giorno* (современные язвы) – затем, и до самого возвращения Великого Герцога, он не писал ничего.

8-го февраля 1849 г. была раскассирована,

наконец, и эта камера. Установленный триумвират созвал новую, которая должна была выбираться всеобщей подачей голосов. Джусти и на этот раз был выбран; но отказался принять предлагаемое ему в третий раз звание народного представителя. Измученный физически и нравственно, он угасал очевидно...

Привожу письмо его к Марини, с которым с детства он был в очень дружеских отношениях. Письмо это тогда же было напечатано, в одном из флорентийских альманахов:

Наши дела упали решительно, и еще хуже, чем в июле 48 года. Народ не умер, но умерла мысль, возбуждавшая его к искуплению своей свободы. Я надеюсь даже, что мысль эта, загнанная в самую глубь души, очистится там, созреет и прорвется вновь с новою силою, с большим единодушием...

Две вещи, главным образом, повредили нам: то недоверие к себе, то непомерная самонадеянность. Одна заставляла нас медлить, где нужны были порывы; другая – поступать, очертя голову...

С одной стороны люди, вечно сидящие сложа руки, кричали нам: не торопитесь!

С другой нас уличали в бездействии. А мы, среди этих двух крайностей, толкли воду, или еще хуже пожалуй. В другой раз, если только можно воспользоваться уроками, мы будем довольствоваться тем, что сделаем всё возможное, будем помнить, что мир не для тунеядцев, и что лучшее – вечный враг хорошего.

Это письмо, писанное не в минуту увлечения парламентской ссорой, рисует гораздо лучше, и может быть, даже вернее, характер Джустини и сущность его политических убеждений, чем его парламентская деятельность, и приведенный выше отрывок из письма, писанного под влиянием только что постигшей его политической неудачи.

Продолжаю выписку, так как дальше письмо это, касаясь прямо событий в Тоскане, становится еще интереснее:

Мы тут колебались между республикою и возвращением к прежнему[453]. С одной стороны, горько отказывать-

ся от собственных убеждений и от собственного дела[454]; но с другой стороны, озабочивают сильно Тедески: они уже повернули к нам. Гверрацци – с ним и всё собрание – а с ним и весь народ – то храбрятся, то как будто готовы на переговоры, на мировую. Приски кружков, – люди продажные и беспокорные, а также немногие заблуждающиеся честные люди – стремятся к крайностям и отбивают возможность действия у Гверрацци, как прежде у Ридольфи и у Капони...

Я не хочу опять идти в депутаты. На этом настаивают; у меня там есть еще несколько друзей, которым мне не хотелось бы отказать: но и против совести поступить я не хочу и не умею. К тому же я рожден для того, чтобы быть в партере; те, кто меня гонят в ложу, хотят уничтожить меня. У меня такие фибры, что обыкновенно их ничем не возмутишь и не потрясеешь; но едва взойду на трибуну, внутреннее волнение отнимает у меня возможность говорить и думать: чувствую, что много нужно сказать, а кончу тем, что ничего не скажу. Я не имею

ни малейшего желания идти в собрание для того, чтобы бормотать всякий вздор, или стоять как столб, не говоря ни слова. Я уже ни на кого не сержусь, но я поотведал волчьих зубов, и с меня довольно. Время покажет, кто прав; я же себе не изменяю: чем был, тем я буду, как бы ни ругали меня за это... Разделим грех пополам, поставим надгробный памятник прошедшему, и больше прежнего будем друзьями...

Корона или Фригийская шапка – всё равно, а худшее для народа междоусобная неурядица.

Прощай.

Д. Джустини.

Флоренция 8 апр. 1849

* * *

Талант Джустини оборвался сразу, замер, словно нерв, прижженный разъедающей кислотой. Старчество, которым дышит уже приведенное выше письмо к другу, начинает одолевать его. Едва кончалось раздражение, еще поддерживавшее в нем страстность порывов и силу увлечения, он умолк. В его стихотворениях мы не найдем агонии охлаждающегося

вдохновения, последней борьбы с смертью, на которую верный победитель всегда кладет свою тяжелую печать...

Отказавшись от дальнейшего участия в делах политических, Джусти доживает простым свидетелем событий, следовавших одно за другим с лихорадочной быстротой. Примирение, которым заканчивает он свое письмо к Лоренцо Марини, – ненормальное состояние его духа. В искренности его грешно было бы сомневаться. Но тем хуже, тем более тяжелое впечатление производит оно. Это предсмертная *facies hippocratica*[455] внутреннего человека, который смело принимал жизнь, со всей ее беспощадной борьбой, который увлекался, и иногда в разные стороны, но «не отдавал себя», а стоял крепко за то, что, под влиянием минуты, считал за лучшее свое достоинство.

Как ни мало можно сочувствовать деятельности Джусти, как депутата, – грустно тем не менее думать, что его последние дни были отравлены хуже, чем зрелищем кровавой реакции 1849 г., каким-то раскаянием, сомнением в себе, готовностью принять на себя

половину греха людей, которых он напрасно может быть, но страстно ненавидел, пока был живым человеком. Кто знает, как подобного рода уроки действуют на некоторые организмы, тот не примет за фразу слова Джусти о самом себе по поводу *Dies irae*, пропетого над ним уличными мальчишками...

Но еще раз оживляется он, как труп под влиянием гальванического тока. И роль гальванического тока разыграл на этот раз Радецкий.

Плодом этого восстания из мертвых являются несколько эпиграмм, тяжелых, пропитанных скорбью и желчью, но они едва напоминали о цветущей поре его деятельности.

Хотя смерть избавила самого Джусти от преследований, но стихотворения, пережившие автора, были до 1859 года предметом самых ревностных гонений. Это, впрочем, никого не удивит: сам поэт поставил эпиграфом к ним следующие слова: «*Rubino i ladri, – è il lor dovere: il mio: è di schernirli*»[456].

Это его девиз, которому, как Баярд[457], он остался верен.

Леон Бранди[458]

М.Г. Талалай
Итальянский триколор Льва
Мечникова
Послесловие редактора

Внимательный читатель, *разглядывая* стоящие на книжной полке первые два тома Трилогии – «Записки гарибальдийца» (2016) и «Последний венецианский дож» (2017) – вместе с выпускаемым ныне, надеемся, заметит, что корешки книг составляют вместе итальянский триколор, зелено-бело-красный стяг. Таковым был изначальный замысел издателей – дать, даже типографским образом, главный смысл этого корпуса сочинений Льва Ильича Мечникова, и, с оговорками, главный смысл жизни автора, гениального россиянина, итальянского патриота.

Вне сомнения, интересы и увлечения Л. И. Мечникова не ограничивались лишь одной Италией – он писал глубокие труды о других странах (о России, Японии, Испании, Германии и др.) и на другие темы (об основах общественной и нравственности, о зарождении

и развитии цивилизаций, об эволюционных и революционных путях развития общества, о культуре и укладе жизни народов и т. д.), однако все-таки его первая любовь была отдана Италии, а Мечников был однолюбом.

По отношению к воображаемому древку стяга, впрочем, цвета корешков зеркально перевернуты. И этого трудно было избежать – начальный том имеет преобладающе красный цвет – цвет рубашки, которую надел юный Мечников, вступив в армию Гарибальди.

Нынешний же зеленый корешок – под стать полям и лесам «итальянских земель», вынесенных в подзаголовок третьего тома, в то время как промежуточный белый цвет для сборника о Рисорджименто можно интерпретировать как чистоту помыслов патриотов Италии, принявших за строительство единой нации.

В общей сложности итальянская Трилогия, доведенная нами до завершения, составляет почти тысячу страниц: мы полагаем, что собрали все очерки, опубликованные Мечниковым об Италии. За рамками остались две ста-

тьи – о братьях Бандьера и о Джузеппе Маццини: известно, что они были написаны им для российских журналов, но так и не увидели свет из-за цензурных ограничений. Быть может, когда-нибудь они будут обнаружены... Не включены нами также архивные документы, в том числе описания итальянских реалий, рассыпанные в богатой переписке Мечникова с самыми разнообразными персонами – друзьями, соратниками, издателями. Архивные разыскания – это следующий возможный этап постижения творческой биографии автора.

Письмо Л. И. Мечникова из Ливорно в С.-Петербург А. А. Краевскому, редактору газеты «Голос», от 26 (14) декабря 1862 г. Отдел рукописей РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 530. Л. 1

Последовательность сборников получилась, на наш взгляд, весьма логичной. Если первый том – мемуарные заметки о самом первом подвиге русского автора на итальянской земле, о походе на Неаполь против неаполитанских Бурбонов ради объединения Италия, то второй том – широкое полотно

Меморандумъ Гайдшт

Мехенискыя, 1862 г.
(Омск. и Сибирск. и др. д. д.)
1862)

Аудиторъ Александръ Павловъ

Испрошуемъ Вася иже въ Омскъ и мѣстности
Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и
иже въ Омскъ и мѣстности Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и
иже въ Омскъ и мѣстности Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и

Испрошуемъ Вася иже въ Омскъ и мѣстности
Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и
иже въ Омскъ и мѣстности Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и

Испрошуемъ Вася иже въ Омскъ и мѣстности
Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и
иже въ Омскъ и мѣстности Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и

Испрошуемъ Вася иже въ Омскъ и мѣстности
Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и
иже въ Омскъ и мѣстности Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и

Испрошуемъ Вася иже въ Омскъ и мѣстности
Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и
иже въ Омскъ и мѣстности Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и

Испрошуемъ Вася иже въ Омскъ и мѣстности
Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и
иже въ Омскъ и мѣстности Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и

Испрошуемъ Вася иже въ Омскъ и мѣстности
Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и
иже въ Омскъ и мѣстности Иркутскъ гдѣ находится г. Т. Омскъ. Омскъ и

разросшегося общенационального движения, в самых разных точках полуострова, стремившегося создать единую и независимую страну не только военными средствами, но и через политику и культуру.

Последний том – есть публикация не только того лишь итальянского, что осталось у Мечникова. Он дает читателю, как мы надеемся, комплексное представление о переходе творчества автора от частных «точечных» описаний к широким обобщениям и прогнозам. В своих текстах нового периода, он уже нащупывает контуры того подхода, который в XX веке назовут геополитическим.

В заголовок всей книги мы вынесли название программной в этом смысле статьи – «Неаполь и Тоскана», где Мечников, разбирая столь разные и самобытные «физиономии» итальянских «земель», видит в их общем объединительном порыве залог успеха будущей нации. Он как будто вторит лозунгу Массимо д'Адзелио (порой его приписывают Камилло Кавуру): «Италию мы создали, теперь надо создать итальянцев». Мечников в Третьем томе нашей Трилогии – это уже больше, чем «гари-

бальдиец» (Первого тома) и «патриот Италии» (Второго тома). Он щедро являет другие грани, которые ярко раскроются позднее, в других краях земного шара – географа, этнографа, антрополога. Он также и филолог, и искусствовед, и литературовед – не забудем при этом, что Лев приехал в Италию учиться живописи, в надежде стать художником.

Мечников, к тому же, писатель. В разные годы он создает три художественные повести: «Смелый шаг» (на основе личной романтической истории, произошедшей с автором во Флоренции); «На мировом поприще» (о русских художниках в Париже); «Гарибальдийцы» (название говорит само за себя). В наших планах – собрать для современного читателя и эти, никогда не переиздававшиеся литературные тексты Мечникова.

Открывает нашу книгу тщательно документированный очерк киевского итальяниста Николая Варварцева. Он вышел десять лет тому назад в итальянском переводе, сделанном профессором Ренато Ризалити. Оригинал очерка, написанного на русском языке, автор полагал утраченным, однако в процес-

се подготовки тома он чудесным образом был обретен в колоссальном домашнем архиве Ризалити.

Весь собранный корпус очерков мы разделили на три условные части, которые предоставляют Мечникова как, во-первых, – аналитика (историка, политолога, географа, геополитика); во-вторых, – путешественника; в-третьих, – филолога.

Здесь нет нужды пересказывать биографию Льва Ильича – она изложена в нашем послесловии к Первому («красному») тому, а также – в статье Н. Варварцева в настоящей книге. Вместе с тем, дабы напомнить об основных ее вехах, в качестве заключения нами дана Биографическая сводка, подготовленная исследователем жизни и творчества Мечникова В. И. Евдокимовым.

30 июня [нов. ст.] 1888 года в час дня скончался в Кларане, коммуна Шатляр, от туберкулеза легких, согласно медицинской справке, Мечников Лев, профессия: профессор, сын Мечникова Ильи и Эмилии, урожд. Невахович, гражданское состояние: в браке с Ольгой, урожд. Столбовской; религия: ? [крещен в пра-

№ 95

Metchnikoff
Léon

Le vingt-neuf mai _____ mil huit cent quatre-vingt-
huit à une heure _____ minutes du jour _____
 est décédé à Clarans, Commune de Châtelard _____
 de Phtyose pulmonaire _____ selon certificat médical,
Metchnikoff, Léon _____ Profession: Professeur
 fils de Metchnikoff, Elias _____ et de Emilie née Kovakowitch _____
 Etat civil: époux de Olga née Stolbowski _____ Religion: _____
 de Krasnoff _____ domiciliée à Neuchâtel, en séjour à Clarans
 née le vingt-neuf mai _____ mil huit cent vingt-huit _____
 Inscrit au présent registre le deux Juillet _____ mil huit cent
 quatre-vingt- huit _____ sur la déclaration de Paul L. Chablot, agent
de justice

Confirmé après lecture faite:

Chablot

L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL:

Communiqué à la Mairie le _____

Mouchet

L'Officier de l'état civil:
L'Mayor

вославию 29 июня 1838 г.]; из Харькова, про-
 писан в Невшателе, временно проживал в
 Кларане, родился 29 мая [нов. ст.; однако в
 действительности 30 мая нов. ст., 18 мая ст.
 ст.] 1838 г. Записано агентом полиции Шабло
 в данном реестре 2 июля 1888 г. на основании
 заявления вдовы. [Registre des décès de
 Montreux, Vol. 3 (1884–1888), feuillet 354, № 95]

Русский читатель также сможет ознакомиться со списком тех работ Л. И. Мечникова, которые в последние годы были переведены на итальянский язык и опубликованы стараниями Р. Ризалити. Теперь можно утверждать, что практически вся Трилогия доступна и в самой Италии, которой посвящена.

...При подготовке настоящего издания, мы окончательно удостоверились в том, что могила нашего героя, увы, не сохранилась. Она подверглась обычной для Европы ротации кладбищенских участков и была упразднена. В процессе определения этого факта мы получили из архива кантона Во документ, регистрирующий кончину Льва Мечникова, который здесь и публикуем.

* * *

Принципы нашей публикации остались теми же – мы дали тексты Мечникова в новой орфографии, постаравшись при этом придать некое единообразие для итальянских реалий, написание которых у автора колеблется (к примеру, поставив везде *Сиена*, убрав иногда встречающуюся *Сьену*, или же везде *флорен-*

тийцы, без варианта флорентинцы). Мы исправили также ошибки, встречающиеся в итальянских словах, появившиеся преимущественно вследствие того, что автор не мог вычитывать гранки и исправлять огрехи, сделанные в русских журнальных редакциях. За редкими исключениями, мы не оговаривали подобные технические исправления.

Остается приятная обязанность поблагодарить коллег, нам помогавших: это В. Евдокимов (Москва), О. Кирикова (Лозанна), А. Клюев (Омск), Е. Ослина (Чефалу), В. Халпахчян (Падуя), М. Юсим (Москва).

На нынешний, 2018 год, приходится 180-летие со дня рождения и 130-летие со дня смерти нашего автора: ему было отпущено всего лишь 50 лет жизни.

Завершая Трилогию и трехлетний процесс публикации его итальянских сочинений мы, публикаторы, ощущаем текущий год воистину как Год Льва Мечникова.

Михаил Талалай,
Милан
март 2018 г.

Краткая хроника жизни Л. И. Мечникова

1838, 30 (18) мая – в Петербурге, в семье Ильи Ивановича и Эмилии Львовны Мечниковых, родился третий ребенок – сын Лев.

1841 (1842?) – отец Мечникова вышел в отставку и семья Мечниковых переехала в Купянский уезд Харьковской губернии, в родовое имение Панасовка.

Середина 1840-х – 1850 – Лев учится в частном пансионе в Петербурге.

1850, август – 1852 – учится в Училище правоведения, которое оставляет по болезни. (Воспаление тазобедренного сустава, в результате правая нога стала сухой и короче левой; впоследствии пользовался тростью, костылем, носил специальную обувь).

1852–1856 – живет в с. Панасовке, поправляет здоровье, получает домашнее образование.

1854 – учится в 4-м классе 2-й Харьковской гимназии.

1855, август – 1856, март – учится на медицинском факультете Харьковского университета.

1856, октябрь – 1858, март – учится в Петербургском университете на факультете Восточных языков, по Арабско-персидско-турецко-татарскому отделению. Посещает классы Императорской Академии художеств.

1858, март – начало 1859 – служит переводчиком в дипломатической миссии генерала Б. П. Мансурова на Ближнем Востоке.

1859, весна – возвращается в Петербург, держит в университете экзамен на Физико-математическом факультете, по отделению естественных наук. Получает свидетельство об окончании университета.

1859–1860, весна – служит в Русском Обществе Пароходства и Торговли (РОПиТ) торговым агентом в Бейруте. Совершает плавания по Дунаю, Черному морю и Восточному Средиземноморью.

1860 – переезжает в Венецию, чтобы учиться там живописи.

1860, август – 1860, ноябрь – служит в добровольческой армии Дж. Гарибальди. Лейте-

нант. 1 октября участвует в битве при р. Вольтурно, получает ранение.

1861–1862 – живет в Сиене, путешествует по Италии, издает газету «Flagello» («Бич»). Член Сиенского комитета по объединению Италии. Пишет и публикует в русских журналах статьи географического и историко-публицистического характера.

1862–1864 – живет во Флоренции, близок к кругу художника Н. Н. Ге. Примыкает к конспиративной деятельности русской эмиграции. Вступает в гражданский брак с Ольгой Ростиславовной Скарятиной.

1864, декабрь – переезжает в Женеву.

1865–1873 – активно участвует в жизни русской эмиграции и в революционной деятельности европейских оппозиционеров (в Швейцарии, Германии, Франции, Италии и Испании).

1867, сентябрь – дебютирует в Женеве с социологическими лекциями.

1868, апрель-ноябрь – вместе с М. К. Эллидиным и Н. Я. Николадзе издает журнал «Современность».

1871 – принимает участие в оказании по-

мощи участникам Парижской коммуны.

1872 – участвует в подготовке Гаагского конгресса Интернационала на стороне М. А. Бакунина: совершает агитационно-конспиративные поездки по Испании и Франции.

1872, *ноябрь* – избирается действительным членом Этнографического общества в Париже.

1873–1874 – знакомится с японским посольством в Европе. Изучает японский язык.

1874, *апрель-май* – на пароходе «Volga» совершает путешествие в Японию: из Марселя через Суэцкий канал, Индийский океан, Аден, Бомбей, Сингапур и Гонконг.

1874, *май* – 1875, *конец* – преподает в Токийской школе иностранных языков, путешествует по Японии. Проводит этнографические, исторические, лингвистические и географические исследования.

1875, *конец* – 1876, *зима* – через Тихий океан, Сан-Франциско, Панамский перешеек, о. Кюрасао, Атлантику возвращается в Европу, завершая кругосветное путешествие.

1876, *сентябрь* – квалифицируется в Женеве в качестве преподавателя русского языка,

географии, истории, математики.

1876, декабрь – избирается действительным членом Географического общества в Женеве.

1878–1885 – самый активный автор журнала «Дело», где под своей фамилией и под псевдонимами и криптонимами печатает работы естественнонаучного, географического, историко-биографического, социологического, литературоведческого характера.

1881 – в Женеве выходит в свет этапная книга «L'Empire Japonais» (на русск. не переведена), где впервые предложена и реализована идея комплексной, триединой характеристики страны: «страна-народ-история» или «народы живут на Земле, отчего происходит история». Переезжает в Кларан (Монтрё) и начинает работать (до 1887 г.) секретарем многотомного издания Ж.-Э. Реклю «Nouvelle Géographie Universelle» (в русск. пер. «Земля и люди. Всеобщая география»).

1884, осень – 1887, весна – профессор кафедры сравнительной географии и статистики Невшательской Академии.

1888, 30 июня – скончался в Кларане на 51-

м году жизни. Похоронен на Кларанском кладбище; могила упразднена.

1889 – в Париже попечением Ж.-Э. Реклю вышла в свет книга Мечникова «La civilisation et les grands fleuves historiques» («Цивилизация и великие исторические реки»). В ней Мечников обосновал свою теорию формирования и развития цивилизации на основе открытого им закона развития общества – закона солидарности, роста свободы в обществе и освоения при этом всё более сложной географической среды.

1897 – первый, цензурно ограниченный перевод книги Мечникова «Цивилизация...» на русский язык (М. Д. Еродецкий).

1924 – полный, цензурно неограниченный перевод «Цивилизации...» на русский язык (Н. А. Критская).

По открытым и архивным материалам составил В. И. Евдокимов

Современные публикации Л. И. Мечникова в Италии

- 1.** Memorie di un garibaldino russo / a cura di R. Risaliti. Firenze: Toscana Nuova, 2007. 176 p.
2. Memorie di un garibaldino / a cura di R. Risaliti. Firenze: Toscana Nuova, 2008. 176 p.
3. Memorie di un garibaldino: la spedizione dei Mille / a cura di R. Risaliti; presentazione di L. Rossi; postfazioni di M. Varvarcev e R. Risaliti. Moncalieri: CIRVI, 2011. 176 p.
4. Memorie di un garibaldino e altri testi / traduzione dal russo di R. Risaliti; postfazioni di R. Risaliti e M. Varvarcev. Moncalieri: CIRVI, 2011. 386 p.
5. Sull'Italia risorgimentale [Da Siena, La Maremma, Aspromonte] / a cura di R. Risaliti. Moncalieri: CIRVI, 2011. 32 p.
6. Corispondenze dall'Italia risorgimentale [Siena, Sicilia e G. Crispi, Siena e Lucca, Rattazzi] / a cura di R. Risaliti. Moncalieri: CIRVI, 2015. 140 p.
7. Viaggi in Toscana [Etruria, Volterra, La leggenda delle due sorelle, I monti volterrani,

Lagoni, Lettera sulla Maremma Toscana, Lettere sulle fratellanze artigiane italiane] / a cura di R. Risaliti. Firenze: Toscana Nuova, 2016. 178 p.

8. Due russi in missione da Garibaldi [N. V. *Berg*. Primo viaggio nel reparto di Garibaldi; *Ibid*. Secondo viaggio nel reparto di Garibaldi; *L. I. Mecnikov*. Bakunin in Italia nel 1864] / a cura di R. Risaliti. Moncalieri: CIRVI, 2016. 124 p.

9. Gli antagonisti dello stato in Russia (con «La storiografia russa e sovietica») di R. Risaliti / introduzione di R. Risaliti. Firenze: Toscana Nuova, 2016. 123 p.

10. Scrittori e poeti toscani dell'Ottocento: Guerrazzi e Giusti / a cura di R. Risaliti; note di L. Angeli. Firenze: Toscana Nuova, 2016. 132 p.

11. Scrittori poeti e artisti toscani ottocenteschi (Guerrazzi, Giusti e Ussi) / a cura di R. Risaliti; note di L. Angeli. Firenze: Toscana Nuova 2016. 150 p.

12. L'unificazione dell'Italia: da Daniele Manin a Garibaldi [L'ultimo Doge di Venezia: Daniele Manin; Caprera] / a cura di R. Risaliti. Firenze: Toscana Nuova, 2017. 153 p.

13. Storia della letteratura politica in Italia (con un documento su Garibaldi e la Camorra)

[Prima parte – la letteratura politica in Italia, periodo dell'indipendenza; Seconda parte – periodo della dominazione spagnola; Terza parte – letteratura dell'unificazione; (allegato) Napoli e Toscana] / a cura di R. Risaliti. Firenze: Toscana Nuova, 2017. 167 p.

14. Vittorio Emanuele II, Cavour, Garibaldi e l'unità d'Italia / a cura di R. Risaliti. Firenze: Toscana Nuova, 2017. 134 p.

15. Note sulla letteratura italiana contemporanea risorgimentale / a cura di R. Risaliti. Firenze: Toscana Nuova, 2017. 128 p.

Составил М. Г. Талалай

Примечания

Статья Н. Н. Варварцева первоначально вышла на итал. яз. в переводе Р. Ризалити как послесловие, с названием «Lev Mesnikov e l'Italia», в: Mesnikov L. I. Memorie di un garibaldino russo [«Записки русского гарибальдийца»] (Moncalieri: CIRVI, 2008); русский оригинал статьи (переработанный и снабженный новыми комментариями) публикуется впервые. – *Прим. ред.*

[^^^]

Итал.: ничегонеделание.

[^^^]

Современная летопись, 1861, № 34. С. 32.

[^^^]

4

Итал.: Комитеты по принятию мер.

[^^^]

Там же. С. 27.

[^^^]

6

Итал.: они из каморры (гаморра – неточная транскрипция автора, хотя этимологию слова каморра возводят, предположительно, к библейскому городу Гоммора).

[^^^]

Там же. С. 29–30.

[^^^]

Там же. С. 30.

[^^^]

Там же. С. 20.

[^^^]

Современник, 1862, февраль. С. 211.

[^^^]

Современная летопись, 1862, № 7. С. 6.

[^^^]

Итал.: да здравствует!

[^^^]

Там же. С. 8.

[^^^]

Россия и Италия. М, 1968. С. 182.

[^^^]

Процесс Н. Г. Чернышевского. Архивные материалы. Саратов, 1939. С. 72.

[^^^]

Современная летопись, 1862, № 10. С. 8–9.

[^^^]

Там же. С. 4–5.

[^^^]

См. совр. переиздание очерка в: Мечников Л. И. Последний венецианский дож. Итальянское Движение в лицах. СПб.: Алетейя, 2017. С. 147–191.

[^^^]

Современник, 1862, март. С. 41.

[^^^]

Современная летопись, 1862, № 11. С. 23.

[^^^]

Там же. С. 24.

[^^^]

Современник, 1862, март. С. 41.

[^^^]

Там же. С. 2.

[^^^]

Там же. С. 3.

[^^^]

Там же. С. 11.

[^^^]

Современник, 1862, май. С. 183, 190.

[^^^]

Современник, 1862, июль. С. 72.

[^^^]

Процесс Н. Г. Чернышевского. Указ. соч. С. 65.

[^^^]

Там же. С. 64.

[^^^]

Современное переиздание очерка см.: Мечников Л. И. Последний венецианский дож. Итальянское Движение в лицах. СПб.: Алетейя, 2017. С. 192–216.

[^^^]

Современник, 1863, июнь. С. 285.

[^^^]

Там же. С. 286.

[^^^]

Этот очерк открывает второй том трилогии, подготовленной Р. Ризалита и М. Талалаем (СПб.: Алетейя, 2017), дав название всему тому.

[^^^]

Пушки Кавалли, называемые так по фамилии ее изобретателя, савойского офицера Дж. Кавалли. – *Прим. ред.*

[^^^]

Современник, 1862, апрель. С. 245–246.

[^^^]

Современник, 1864, май. С. 198.

[^^^]

Процесс Н. Г. Чернышевского. Указ. соч. С. 65.

[^^^]

Monitore Toscano, 23 giugno 1861, № 168.

[^^^]

Иван Петрович Прянишников (1841–1909) – русский гарибальдиец, также, как и Мечников совершивший поход в Южную Италию 1860 г.; в 1862 г. принял участие в черногорско-турецкой войне. После войны вернулся в Россию, работал телеграфистом, преподавал рисование в гимназии, одновременно выучился на мастера по слесарной и токарной части, а затем уехал в США, где работал на строительстве железных дорог, писал корреспонденции в газеты, рисовал картины из американской жизни. Отправленный корреспондентом в Париж, там и остался. Затем обосновался в Провансе, где и жил до конца жизни. Известность в мире живописи ему принесли батальные и бытовые картины с непременною участием в сюжетах лошадей, которых он рисовал мастерски. Последняя его встреча с Мечниковым состоялась в 1881 году в Париже. Впечатления о ней отчасти использованы Мечниковым в повести «На всемирном поприще» (1882). – *Прим. В. И. Евдокимова.*

[^^^]

Там же, 9 febbraio 1861, № 37.

[^^^]

Там же, 9 marzo 1861, № 60.

[^^^]

Добролюбов Н. А. Собрание сочинений. М.-Л., 1964. Т. 9. С. 471. [Об Алексее Федоровиче фон Фрикене см.: Рыхляков В. Н. Род фон Фрикетов в России. М.: Лебедушка, 2012 (о его связях с Чернышевским – на стр. 154). – *Прим. ред.*]

[^^^]

Владимир Дмитриевич Скарятин
(1825–1900) – морской офицер, затем золото-
промышленник в Сибири. Редактор и владе-
лец газеты «Весть». Его жена, Ольга Ростисла-
вовна, ур. Столбовская, впоследствии стала
женой Льва Мечникова. – *Прим. ред.*

[^^^]

Чумак – возчик-торговец на волах.

[^^^]

Исторический вестник, 1897, № 3. С. 817.

[^^^]

Мясоедов Г. Г. Письма, документы, воспоминания. М, 1972. С. 171–172.

[^^^]

Петр Владимирович Долгоруков, князь (1816–1868) – историк, публицист, эмигрант с 1859 г. Хорошо знавший всю подноготную русского высшего общества, он за границей публиковал разоблачительные заметки о тайных пружинах власти в России – протекционизме, родственных связях и кумовстве, преобладающих над способностями. За это был лишен титула и получил запрет на возвращение в Россию. Те памфлеты, которые Долгоруков писал по-французски, Мечников переводил на русский для публикаций. – *Прим. В. И. Евдокимова.*

[^^^]

Летописи марксизма, 1927. Кн. III. С. 91.

[^^^]

Широкий резонанс во Флоренции, да и во всей Италии и даже в Европе, вызвала гибель тосканца Станислао Бекки, отправившегося в Польшу на помощь инсургентам, попавшего в плен и казненного царскими войсками (17 дек. 1863 г.). Во дворе флорентийской базилики Санта Кроче водружен в его память мемориальный барельеф со сценой казни. – *Прим. ред.*

[^^^]

Мясоедов Г. Г. Указ. соч. С. 171.

[^^^]

Колокол, 1863, 1 сентября. С. 1397.

[^^^]

Красный архив, 1923. Т. 3. С. 206.

[^^^]

Александр Федорович Стюарт (1842–1917) – русский естествоиспытатель, общественный деятель. Мечников в своей мемуарной заметке «Бакунин в Италии в 1864 году» упоминает о нем под инициалами А. Ф. С.; см.: Мечников Л. И. Последний венецианский дож... (2017). С. 303. – *Прим. ред.*

[^^^]

Николай Дмитриевич Ножин (1841–1866) – биолог-дарвинист, революционный демократ. По возвращении в Россию – один из руководителей народнического движения. О Ножине и, в особенности, о его дискуссиях с Бакуниным Л. Мечников писал в заметке «Бакунин в Италии в 1864 году»; см.: Мечников Л. И. Последний венецианский дож... С. 302–304, 308. – *Прим. ред.*

[^^^]

Николай Степанович Курочкин (1830–1884) – поэт, публицист. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. служил врачом в осажденном Севастополе. Вместе с Мечниковым в 1858 г. служил в миссии генерала Б. П. Мансурова на Ближнем Востоке. См. об этой миссии: Письма Б. П. Мансурова из путешествия по Православному Востоку в 1857 г. М.: Индрик, 2014. – *Прим. В. И. Евдокимова.*

[^^^]

Археографический ежегодник за 1979 год. М.,
1981. С. 102.

[^^^]

О пребывании дочери Николая I во Флоренции см.: Талалай М. Г. Великая княгиня Мария Николаевна и ее дворец-музей «Вилла Кварто» во Флоренции // Дворцы Романовых как памятники истории и культуры. СПб: Европейский дом, 2015. С. 408–419.

[^^^]

Archivio di Stato di Firenze. Prefettura di Firenze, 1863, filza 143, affari governativi, № 3211, ordine di servizio, 3 novembre 1863. Автор выражает благодарность сотрудникам Государственного архива Флоренции за помощь в поисках документов о Льве Мечникове. [Пер. с итал. здесь и далее – М. Г. Талалая. Оригинал на итальянском опубликован в послесловии Н. Н. Варварцева в: Месников Л. I. Memorie di un garibaldino russo. Moncalieri: CIRVI, 2008. P. 55–56.]

[^^^]

Там же. Granduchessa di Russia, 3 novembre
1863, Firenze.

[^^^]

Ошибка в донесении; у Мечниковых была дочь.

[^^^]

Ошибка в донесении; Мечникову было 25 лет.

[^^^]

Вероятно, имелась ввиду оправка из светлого металла (не из золота).

[^^^]

Там же. Rapportospeciale, 11 novembre 1863.

[^^^]

Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. М, 1956. Т. 2. С. 125–126.

[^^^]

Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 томах.
М., 1963. Т. XXVII. С. 376.

[^^^]

Там же. С. 377.

[^^^]

Там же. Указ. соч. Т. XVIII. С. 22.

[^^^]

Там же. С. 21.

[^^^]

Фр.: длинное письмо к Гарибальди.

[^^^]

Литературное наследство. М., 1985. Т. 96. С. 252.

[^^^]

Герцен А. И. Указ. соч. Т. XVII. С. 380.

[^^^]

Летопись жизни и творчества А. И. Герцена,
1859 – июнь 1864. М., 1983. С. 580.

[^^^]

Вероятно, по аналогии с республиканским движением Дж. Мадзини «Молодая Италия».

[^^^]

Archivio di Stato di Firenze. Prefettura segreta, b.
20, № 74, rapporto speciale, 23 novembre 1863.

[^^^]

Там же. Il prefetto della provincia di Livorno al
prefetto della provincia di Firenze, 2 dicembre
1863.

[^^^]

Герцен А. И. Указ. соч. Т. XXVII. С. 382.

[^^^]

Цит. по: Рудницкая Е. Л. Шестидесятник Николай Ножин. М., 1975. С. 57.

[^^^]

Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896. С. 151. [Заметим, что это свидетельствует о том, что канал доставки литературы в Россию Мечников организовал, но использован этот канал не был. — Прим. В. И. Евдокимова.]

[^^^]

Руководство Польским восстанием осуществлялось из двух центров: «Жонд народовой» – «белые», крупная и средняя шляхта и «Центральный национальный комитет» – «красные», демократы. В 1863 г. Жонд народовой организовал закончившуюся неудачей морскую экспедицию на Балтике. В 1864 г. Национальный комитет пытался повторить морскую экспедицию уже в Средиземном и Черном морях. — *Прим. В. И. Евдокимова.*

[^^^]

Целью морской экспедиции польского Национального комитета в 1864 г. было втянуть в польское восстание европейские державы, в первую очередь Францию и Великобританию; те же рассматривали польское восстание как внутреннее дело России. Для этого предполагалось снарядить пароход под польским флагом, напасть на русское судно и тем самым перевести внутренние события в международные, чем и дать повод европейским державам присоединиться к восстанию на польской стороне и оказать ему помощь. В том случае, если действия польского парохода по захвату русского будут успешными, предполагалось затем идти в Северном Причерноморье с тем, чтобы организовать волнения уже там. — *Прим. В. И. Евдокимова.*

[^^^]

Как писал Мечников в статье «Бакунин в Италии...»: «Пришедший пароход, на легкости и скорости хода которого покоилось все это предприятие, оказался никуда не годною ладьей, которую и на буксире тащить можно было не иначе, как с опаскою; см.: Мечников Л. И. Последний венецианский дож... (2017). С. 318. – *Прим. ред.*

[^^^]

В Швейцарии (сначала в Женеве, а с 1881 г. – близ Монтрё, в селе Кларан) Мечников прожил с конца 1864 до 1888 г. с перерывом на пребывание в Японии в 1874–1876 гг. Из Швейцарии он совершал многочисленные поездки по Европе (в том числе, в Италию), в Северную Африку и Америку. – *Прим. В. И. Евдокимова.*

[^^^]

Литературное наследство. М., 1977. Т. 87. С. 463.

[^^^]

Номер захоронения – 2836, однако могила была впоследствии упразднена. – *Прим. ред.*

[^^^]

Плеханов Г. В. Сочинения. М., 1923. Т. 7. С. 331.

[^^^]

Передовицы (*фр.*). – Здесь и далее прим. М. Г. Талалая.

[^^^]

Codino (*итал.*) – хвостик, косичка; переносно – консерватор, реакционер, ретроград, по причёске роялистов во время Великой Французской революции.

[^^^]

Прибл. «комитеты по устройству» (*итал.*) – ячейки политически активных горожан, продвигавших процесс объединения Италии. Сам Л. Мечников в статье «Из Италии», публикуемой ниже, переводит название как «комитеты снабжения, или предусмотрительности».

[^^^]

Точное название книги Аристида Габелли (Gabelli)' «I giurati nel nuovo Regno Italiano secondo la Legge sull'ordinamento giudiziario e il Codice di procedura penale [Присяжные в новом Итальянском королевстве согласно закону о директивах и Кодекс уголовной процедуры]» (1860).

[^^^]

Газета «La Nuova Europa» была основана во Флоренции в 1861 г. и закрыта в 1863 г., став на краткий период рупором радикальных последователей Гарибальди и Мадзини; см.: Furiozzi M. «La Nuova Europa» (1861–1863). Democrazia e internazionalismo. Milano: Franco Angeli, 2008.

[^^^]

Джузеппе Монтанелли (Montanelli; 1813–1862) – литератор и общественный деятель.

[^^^]

«Старый дворец» – флорентийская ратуша, одна из главных достопримечательностей Флоренции.

[^^^]

Должностное лицо при франц. парламенте или суде, составляющее официальные отчеты, редактирующее документы и т. п.

[^^^]

Гаэтано Филанджъери, иначе Филанджиери (Filangieri; 1753–1788) – неаполитанский философ и юрист.

[^^^]

Одилон Барро, полное имя Иасинт Камиль
Одилон Барро (Hyacinthe Camille Odilon Barrot;
1791–1873) – французский политик и государ-
ственный деятель.

[^^^]

Альбертинский статут – конституция, дарованная 4 марта 1848 г. королем Карлом-Альбертом Сардинским; с 1861 г. после объединения Италии стала Конституцией королевства Италии.

[^^^]

«Горит жилище соседа Укалегона»; цитата из «Энеиды» Вергилия (11:311; пер. с лат. С. А. Ошерова) – о непосредственной и близкой опасности.

[^^^]

Франциск (Франческо) II Бурбон-Сицилийский (Francesco II delle Due Sicilie; 1827–1892) – последний неаполитанский король, потерявший трон в результате экспедиции Тысячи Гарибальди и последующих военных действий Пьемонта.

[^^^]

Густаво Понца, граф ди Сан-Мартино (Ponza di San Martino; 1810–1876) – пьемонтский политик.

[^^^]

Энрико Чальдини (Cialdini; 1811–1892) – военный и политический деятель Рисорджименто; один из руководителей осады Гаэты, где оказывал последнее сопротивление бежавший из Неаполя Франциск II Бурбонский.

[^^^]

Castel Nuovo («новая крепость») – одна из главных цитаделей Неаполя, стоящая на берегу моря.

[^^^]

Pietrarsa, местечко к югу от Неаполя, где было устроено металлургическое и оружейное производство (в настоящее время музеефицировано).

[^^^]

22 апреля 1861 г. Энрико Чальдини опубликовал в «Gazzetta di Torino» открытое резкокритическое письмо к Гарибальди, получив затем от него взвешенную и убедительную отповедь.

[^^^]

Имеется ввиду Гарибальди, удалившийся в самоизгнание на о. Капрера; см. очерк Л. Мечникова «Капрера» в его книге «Последний венецианский дож. Итальянское Движение в лицах» (СПб.: Алетейя, 2017, с. 147–191).

[^^^]

Ладзарони, иначе лаццарони – неаполитанский плебс, люмпен-пролетариат, со своей ярко выраженной идентичностью (по имени ев. Лазаря – покровителя бедных и больных; ер. выражение «петь лазаря»),

[^^^]

Филибер де Шалон-Арле, принц Оранский, сеньор Арле и Нозеруа (Philibert de Châlon-Arlay, 1502–1530) – известный полководец, главнокомандующий императорскими войсками в Итальянской кампании Карла V, с 1528 г. генерал-капитан Неаполя.

[^^^]

Либорио Романо (Romano; 1793–1867) – политический деятель эпохи Рисорджименто, часто и умело проводивший двойную игру: будучи министром внутренних дел при последнем неаполитанском короле тайно содействовал успеху Гарибальди, против которого не раз интриговал и проч.

[^^^]

Фердинанд I. – Прим. автора. [Nasone (*итал.*) – носитель; прозвище короля Фердинанда I Неаполитанского (1751–1825), он же Фердинанд IV Обеих Сицилий, с 1816 г.]

[^^^]

Итальянизм: *sbirro* – полицейский стражник, сыщик, шпик (презр.); в XIX в. также – судебные и полицейские служители, которые были вооружены и имели военные структуры.

[^^^]

Итальянизм: poliziotto – полицейский.

[^^^]

Pulcinella – персонаж итальянской Комедии дель арте, сходный с русским Петрушкой.

[^^^]

Мазаньелло (Masaniello; 1623–1647) – неаполитанский вожак-бунтарь.

[^^^]

Правильно: каморрист; член преступной неаполитанской организации – каморры.

[^^^]

Итальянизм: vetturino – извозчик.

[^^^]

Они из каморры.

[^^^]

Правильное написание: iettatura (сглаз); йет-
татор – тот, кто причиняет сглаз.

[^^^]

Неаполитанской каморре автором посвящена позднее XVIII глава «Записок гарибальдийца», под названием «С ан джо ван н ар а»; редакция «Русского вестника», публикуя эту главу, сделала следующее примечание: «О Санджованнаре и вообще о гаморристах, или каморристах см. статью “Неаполь и Тоскана” в “Современной летописи”, № 34».

[^^^]

Александр Дюма опубликовал ряд очерков по данной теме, ставших основой многотомной исторической хроники неаполитанских Бурбонов («I Borboni di Napoli»; 1862–1863); о пребывании Дюма в Неаполе см. главу «Журнал *Indipendente*» (№ XVI) в «Записках гарибальдийца».

[^^^]

Итальянизм: galera – тюрьма.

[^^^]

Дословно: делают фигуру.

[^^^]

Т. е. кабатчица (у автора ниже – «кабачница»), О Санджованнаре (наст. имя: Марианна Де Крешендо) подробнее см. одноименную главу в «Записках гарибальдийца» Мечникова. Ее кузен Сальваторе Де Крешендо, главарь каморры, по поручению Либерио Романо, отвечал за порядок в Неаполе после бегства короля Франциска II и до создания новой администрации. 21 октября 1860 г. во время плебисцита по присоединению к Сардинскому королевству, она приняла в нем демонстративное участие, хотя женщинам не давалось право голоса. Спустя пять дней вышел государственный указ, согласно которому Санджованнара стала получать, вместе с четырьмя другими неаполитанками, персональную государственную пенсию.

[^^^]

Возможно, князя Долгоруковы, Петр Владимирович (1816–1868), известный фрондер, историк, публицист, живший с 1859 г. в самоизгнании за границей (Мечников занимался переводами его памфлетов; см. также прим. на с. 20), и его супруга Ольга Дмитриевна, урожд. Давыдова (1824–1893).

[^^^]

КНЯЗЬ.

[^^^]

Отрицательно относившиеся к присоединению Южной Италии к Объединенному Итальянскому королевству.

[^^^]

Батюшка.

[^^^]

Так в Неаполе произносили фамилию Гари-
бальди.

[^^^]

Esellenza – Ваше сиятельство.

[^^^]

См. главу «Санджованнара» в «Записках гарибальдийца» Л. Мечникова.

[^^^]

Ничего неделанье.

[^^^]

См. ниже специальную статью автора «Художественная часть флорентийской выставки».

[^^^]

Меблированные апартаменты (*фр.*).

[^^^]

Francescane – серебряная монета Великого герцогства Тосканского, чеканившаяся до 1859 г.

[^^^]

Леопольд II Габсбург-Лотарингский (Leopoldo II d'Asburgo-Lorena\1797–1870), Великий герцог Тосканский в 1824–1859 гг

[^^^]

Крещальня ев. Иоанна (при кафедральном соборе).

[^^^]

Городской публичный сад на правом берегу
Арно.

[^^^]

Опубликовано в: «Современная летопись»,
1861, № 34, 26–32.

[^^^]

«Юлиева Сиена» (*лат.*), т. е. посвященная Юлию Цезарю (и основанная римлянами).

[^^^]

birbante – плут, мошенник, жулик.

[^^^]

Пинтуриккио, иначе Пинтуриккьо
(Pinturicchio; наст. имя: Бернардино ди Бетта
ди Бьяджо; 1454–1513); Доменико Беккафуми
(Vescafumi; 1486–1551) – сиенские художники.

[^^^]

Содома (Sodoma; наст. имя: Джованни Антонио Бацци; 1477–1549) – сиенский художник пьемонтского происхождения.

[^^^]

Итал. forestiero.

[^^^]

Сиенский банк, древнейший из существующих в Европе (основан в 1492 г.).

[^^^]

Кладбище; дословно: святое поле.

[^^^]

См. прим. на с. 30.

[^^^]

Ирония в адрес повальных в объединенной Италии «патриотических» переименований в честь героев Рисорджименто; пьядца дель Кампо носит, однако, до сих пор свое историческое название.

[^^^]

Да здравствует Виктор-Эммануил, первый король Италии!

[^^^]

Ради ужесточения (*фр.*).

[^^^]

Амфитрион – герой греческих мифов; стал нарицательным именем человека, охотно видящего у себя гостей – после одноименной пьесы Мольера (1668 г.).

[^^^]

Кто идет медленно, тот идет правильно.

[^^^]

Краткое содержание басни Крылова: «Мужик гнал гусей продавать в город и при этом нещадно хлестал их хворостиной. Гуси громко жаловались на мужика прохожему, говоря, что нельзя так обращаться с птицами знатного рода, чьи предки Рим спасли. “А сами вы чем отличены?” – спросил прохожий. Гуси не могли припомнить за собой никаких полезных дел – знамениты были лишь их предки. Значит, сами “вы, друзья, годны лишь на жаркое,” – заключил прохожий».

[^^^]

Джузеппе Дольфи (Dolfi; 1818–1869) – видный флорентийский общественный деятель, масон.

[^^^]

Галлицизм: пребывающий, имеющий резиденцию.

[^^^]

Джованни Никотера (Nicotera; 1828–1894) – политический деятель, с 15-летнего возраста член «Молодой Италии», основанной Джузеппе Мадзини; в объединенной Италии – министр внутренних дел.

[^^^]

Беттино Рикасоли, иначе Риказоли (Ricasoli; 1809–1880) – политический деятель (дважды премьер-министр объединенной Италии), после упразднения Великого герцогства Тосканского в 1859 г. – генерал-губернатор Тосканы, назначенный королем Виктором-Эммануилом II.

[^^^]

Слепое рвание только вредит (*нем.*).

[^^^]

В действительности – Академия дей Роцци, престижное культурное учреждение Сиены, основанное в 1531 г. (первоначально: Конгрегация дей Роцци).

[^^^]

Stenterello – персонаж-маска итальянской комедии дель арте, возникший во Флоренции в XVIII в. Подробнее о нем автор рассказывает ниже.

[^^^]

Зал с лепниной.

[^^^]

Букв.: набранные отцы (*лат.*) – термин римского государственного права, обозначавший сенаторов.

[^^^]

160

Лотерея «томбола», игра в лото.

[^^^]

Сторож, охранник; италянизм: «кустод».

[^^^]

В Сиене было два брата-художника Муссини: Чезаре и Луиджи; директором Академии художеств был последний.

[^^^]

Протокол.

[^^^]

Здесь: комиссия.

[^^^]

Когда-нибудь в своем месте (*фр.*).

[^^^]

Франческо Саверио Де Санктис (De Sanctis; 1817–1883) – литератор, политик.

[^^^]

«Тощий народ», в противовес «popolo grasso» – крупной протобуржуазии.

[^^^]

Филиалы.

[^^^]

Популярная в середине XIX в. французская мелодрама «Серафина Лафайль» О. Анисе-Буржуа и Г. Лемуана; на русской сцене имя героини было русифицировано как Серафима.

[^^^]

Луиджи Лаблаш (Lablache; 1794–1858) – оперный певец (бас).

[^^^]

Мариетта Пикколомини (Piccolomini; наст. имя: Мария Тереза Виоланте Пикколомини Клементини; 1834–1899) – оперная певица (сопрано). Титул маркизы получила уже после замужества, в 1860 г., вступив в брак с маркизом (но не бароном, как ниже у Мечникова) Франческо Каэтани делла Фарнья.

[^^^]

Одетый по случаю праздника (*фр.*).

[^^^]

Итальянизм: facchino – грузчик, носильщик.

[^^^]

У Данте – Девятый круг Ада, замерзшее озеро;
от греч. Кокитос – река плача, приток Стикса.

[^^^]

Опубликовано в: «Современник», № 2, 1862.

[^^^]

Имеется ввиду столб с «римской волчицей» и братьями Ромулом и Ремом; согласно сиенскому преданию, город был основан Ромулом. «Римская волчица» помещена также на герб Сиены.

[^^^]

Подпорода лошадей, в прошлом ценимая для сельскохозяйственных работ и для городской езды.

[^^^]

Дословно: Правительственный дворец – городская ратуша, более известная как Palazzo Pubblico.

[^^^]

Великий герцог Леопольд. – *Прим. автора.*

[^^^]

Итальянизм: contadino – крестъянин.

[^^^]

Сельские джентльмены.

[^^^]

Отстранение от священнических обязанностей (лат).

[^^^]

Карло Пассалья (Passaglia; 1812–1887) – священник, теолог, общественный деятель, поборник объединения Италии; за призывы к папе Римскому отказаться от земной власти был исключен из Ордена Иисуса.

[^^^]

Франческо Ливерани (Liverani; 1823–1894) – аббат, автор ряда либеральных церковно-политических трактатов.

[^^^]

Radicofanì – селение в провинции Сиены.

[^^^]

То есть бесплатно для подписчиков.

[^^^]

Северная часть региона Кампания.

[^^^]

В оригинале неточно: della Tavaliera.

[^^^]

Марк Теренций Варрон (Marcus Terentius Varrò) – римский ученый-энциклопедист и писатель I века до н. э.; переносно – древне-римская архаика.

[^^^]

Альфонс V Великодушный (1396–1458) – король Арагона и Сицилии с 1416 г., король Неаполя под именем Альфонс I, с 1435 г.

[^^^]

О Дж. Никотера см. прим. на с. 57; Франческо Криспи (Crispi; 1818–1901) – политик и государственный деятель сицилийского происхождения, дважды возглавлял кабинет министров Италии.

[^^^]

«Стотравник», традиционный спиртовой
бальзам.

[^^^]

Прозвание римского палача Мастро Титта (Titta; наст. имя: Джованни Баттиста Бугатти; 1779–1869).

[^^^]

Чезаре Лукателли (Lucatelli, 1825–1861) – патриот-бунтарь, казнен по ложному обвинению в убийстве (в оригинале ошибочно Локателло).

[^^^]

Ваіоссо – мелкая серебряная монета, бывшая в употреблении преимущественно в Папском государстве.

[^^^]

Житель района Трастевере, «за Тибром».

[^^^]

Джакомо Антонелли (Antonelli; 1806–1876) – кардинал, государственный секретарь Папской области; Ксавье де Мерод (de Mérode; 1820–1874) – бельгиец по происхождению, архиепископ, сподвижник (военный министр) Пия IX.

[^^^]

«Карло Пизакане \Pisacane\, бывший паж короля Фердинанда, с горстью неаполитанских изгнанников (в числе которых были и недавний итальянский министр внутренних дел, барон Джованни Никотера), хитростью овладев почтовым пароходом, на котором они отправились пассажирами, пристали близ Сапри, возле Пиццо, где был расстрелян Мюрат, пытаясь вызвать республиканское восстание в Калабриях. Они большей частью погибли»; Мечников Л. Последний венецианский дож... (2017) – С. 270.

[^^^]

Аттилио Бандьера, иначе Бандиера (Bandiera) 1810–1844), Эмилио Бандьера (1819–1844) – два брата, родом из Венеции, предпринявшие неудачную попытку поднять антибурбонское восстание, были казнены в Калабрии. Л. Мечников посвятил им отдельную статью, посланную Н. Некрасову в «Современник» (принятую в № 3, 1863), но запрещенную цензурой.

[^^^]

Аджезилао Милано (в оригинале ошибочно: Милани) (Milano; 1830–1856) – офицер-республиканец; в 1856 г. ранил Фердинанда II штыком и был казнен; неаполитанский король умер по прошествии более двух лет, однако некоторые полагали, что его смерть наступила в результате ранения Милано, от заражения крови.

[^^^]

По службе (*лат.*).

[^^^]

Битва между сардинскими и австрийскими войсками в 1859 г., проигранная Австрией.

[^^^]

Сладок мне сон, но еще более жизнь камня,
пока продолжается позор и угнетение отече-
ства. Говори тихо! не пробуждай меня... –
Прим. автора.

[^^^]

Жан-Поль Рихтер (1763–1825) – немецкий романист и сатирик. Среди его популярных фраз – «Боязливый дрожит в ожидании опасности, трусливый – когда она настала, а храбрый – когда миновала».

[^^^]

Персонаж из «Мертвых душ» Гоголя («...Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом»).

[^^^]

Фердинандо Беневентано дель Боско (Beneventano del Bosco; 1813–1881) – бурбонский генерал, главный военный организатор сопротивления гарибальдийской Тысяче в 1860 г.

[^^^]

Я занимался войной как любитель (фр.).

[^^^]

Да здравствует Рим, столица Италии!

[^^^]

Раз, два, три / Папа – не король.

[^^^]

Полный надежды (*лат.*).

[^^^]

Долой (лат.).

[^^^]

212

Да здравствует истинная вера во Христа!

[^^^]

Клод-Этьенн Минье (Minié) – французский
оружейник середины XIX в.

[^^^]

Винченцо Джоберти (Gioberti; 1801–1852) – священник, мыслитель, деятель Рисорджименто.

[^^^]

Джованни Дурандо (Durando; 1804–1869) – военный деятель Рисорджименто, брат политика Джакомо Дурандо.

[^^^]

Дикторский пучок, фасцию, избрали своей эмблемой также итальянские фашисты, пытавшиеся эксплуатировать и наследие Гарибальди.

[^^^]

В католическом обиходе: обетные подношения.

[^^^]

Опубликовано в: «Современная летопись»,
1862, №№ 1–2.

[^^^]

Цитата из поэмы Данте «Новая жизнь»: «Подумай, если можешь, как открыться» (XIX: 66).

[^^^]

Анджело Брунетти, прозванный Чичеруаккио (1800–1849) – римский народный вожак.

[^^^]

Грузчик.

[^^^]

Хозяин.

[^^^]

Джузеппе Ла Фарина (La Farina; 1815–1863) –
пьемонтский политик, литератор.

[^^^]

Чиро Менотти (Menotti; 1798–1831) – итальянский патриот; казнен австрийцами.

[^^^]

Итальянизм: tedesco – немец.

[^^^]

Граф Уголино делла Герардеска (Ugolino della Gherardesca; ок. 1220–1289) – свергнутый правитель Пизы, вождь гвельфов. Выведен в «Божественной комедии» Данте, где рассказывается о его смерти вместе с сыновьями от голода.

[^^^]

English spoken (*англ.*) – «англо-говорящий».

[^^^]

Провидение.

[^^^]

Опубликовано в: «Русское слово», № 7, 1864.

[^^^]

Пеласги, иначе пелазги – имя, которым древнегреческие авторы именовали народ, населявший Элладу до прихода собственно греков.

[^^^]

Систематизированные сборники извлечений из трудов авторитетных древнеримских юристов, являющийся важнейшей частью свода римского гражданского права.

[^^^]

Кодекс Юстиниана – свод римских гражданских прав и законов, составленный в 529–534 гг. н. э.

[^^^]

Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (ср. «И перед младшею столицей / Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфироносная вдова»).

[^^^]

Разгневанные.

[^^^]

Итальянизм: baroccino – тележка.

[^^^]

Кавалер президент Королевского суда в Лукке.

[^^^]

Перекличка часовых.

[^^^]

Porta di Ercole – Геракловы врата, в настоящее время более известные как Porta dell'Arco (Ворота-Арка).

[^^^]

Итальянизм: самрагна – сельская местность.

[^^^]

Даниеле Риччарелли (Daniele Ricciarelli, иначе Daniele da Volterra; 1509–1566) – живописец, ученик Микеланджело, известный также как Braghettone («штанишник», «штанописец») – после того, как выполнил задание задрапировать обнаженную натуру в Сикстинской капелле. Однако Volterrano называли другого художника из Вольтерры, Baldassarre Franceschini (1611–1690).

[^^^]

Австрийский врач Франц-Йозеф Галль (1758–1828) и швейцарский теолог Иоганн-Каспар Лафатер (1741–1801) – основатели френологии, учения о связи человеческой психики со строением черепа.

[^^^]

В средневековом замке Maschio – главная башня, донжон.

[^^^]

Саромastro, устар. саромаestro – бригадир.

[^^^]

Лоренцо Лоренцини (Lorenzo Lorenzini; 1652–1721) – флорентийский математик, арестованный по приказу Великого герцога Тосканского Козимо III (не Франческо, как у автора) и осужденный на 20-летнее тюремное заключение (провел в тюрьме 15 лет). Суть обвинения хранилась в секрете, но как полагают историки, суровая мера была применена из-за его содействия переписке принца Фердинанда Медичи, сына Великого герцога, с его матерью, Маргаритой-Луизой Орлеанской, жившей в разъезде с мужем в Париже: Козимо подозревал, что его сын, с помощью матери, намеревается отнять у отца трон.

[^^^]

Библиотека, основанная флорентийским библиофилом Антонио Мальябеки (Magliabechi; 1633–1714). В настоящее время входит в состав Национальной библиотеки Флоренции.

[^^^]

Винченцо да Филикайя (da Filicaja;
1642–1707) – флорентийский поэт-патриот.

[^^^]

Может, вы еще безобразнее, но еще более могучи! (вероятно, цитата из поэзии Филикайи).

[^^^]

Авл Персий Флакк (Aulus Persius Flaccus) – римский поэт I в. н. э., уроженец Вольтерры.

[^^^]

Кавалер ордена святых Маврикия и Лазаря
(награда Савойского Королевского Дома).

[^^^]

Сражения, выигранные гарибальдийцами во время похода Тысячи в 1860 г. против бурбонских войск.

[^^^]

Электризует.

[^^^]

Фрэнсис Джозеф Слоун (Sharie; 1794–1871) – губернатор-англичанин семейства графов Бутурлиных, переехавший вместе с ними в 1818 г. из Москвы в Тоскану, где, получив концессию от Великого герцога Тосканского, занялся разработкой ископаемых и невероятно разбогател.

[^^^]

Рудники близ Монтекатини, называемые Капорчано (Caporciano), были закрыты в 1907 г.; в настоящее время часть туннелей музеефицирована (Museo delle Miniere) и доступна для посещения туристов.

[^^^]

Если Вы не возражаете.

[^^^]

Проклятый.

[^^^]

Итальянизм: «большие озера», лиманы, разливы.

[^^^]

Франсуа-Жак (в Италии: Франческо-Джакомо) де Лардерель (Larderei; 1790–1858) – французский предприниматель и инженер; получил от Великого герцога Тосканского Леопольда II титул графа де Монтечерболи.

[^^^]

Джузеппе Гверрацци, химик; не путать с литератором и политиком Франческо-Доменико Гверрацци, о котором неоднократно писал Л. Мечников.

[^^^]

Галлицизм: amateur – любитель.

[^^^]

самый итальянский.

[^^^]

Здравствуйте Вам!

[^^^]

Битва при Куртатоне (Cullatone) 6 мая 1848 г., когда австрийские войска нанесли поражение сардинским.

[^^^]

В 1848 г. в восставшем против папской власти Риме Дж. Мадзини (вместе с Саффи и Армеллини) был избран членом триумvirата.

[^^^]

Серьезное дело.

[^^^]

Джузеппе Маццони, иначе Мадзони (Mazzoni; 1808–1880) – тосканский политик.

[^^^]

«Современник», № 5, 1862.

[^^^]

Первые три Письма, вышедшие в «Современнике», № 7, 1863 г., имеют заголовок «Письма о тосканской Маремме» (в ед. числе), однако объединяя воедино текст Мечникова редакция посчитала возможным унифицировать название, выбрав то, под которым вышли последующие «Письма о тосканских Мареммах», учитывая также, что и в первых Письмах автор пишет о нескольких Мареммах.

[^^^]

Местный цвет, колорит (*фр.*).

[^^^]

Верховая езда (*устар.*).

[^^^]

В оригинале название города Norcia неточно: Норджиа, и соответственно, норджины.

[^^^]

Итальянизм: *barrossino* – небольшой экипаж; в оригинале – баррогино; вероятно, в редакции ошибочно прочитали рукопись Мечникова.

[^^^]

Романтический герой трагедии Ф. Шиллера
«Разбойники» (1782).

[^^^]

Энрико Стоппа (1834–1863) после ареста в Риме содержался во флорентийской тюрьме «Мурате», где скончался от голодовки.

[^^^]

Один за всех и все за одного (нем.).

[^^^]

Вероятно, имеется ввиду граф Дмитрий Николаевич Шереметев (1803–1871), меценат и благотворитель.

[^^^]

Разверзлись могилы, восстали мертвые.

[^^^]

Народные вожди.

[^^^]

В мае 1862 г. в Брешии по приказу итальянского королевского правительства были арестованы и заключены в тюрьму гарибальдийцы, пытавшиеся проникнуть на территорию Трентино, тогда австрийского, чтобы поднять там восстание итальянского населения. Попытка возмущенных сторонников Гарибальди освободить патриотов закончилась кровавым подавлением со стороны правительственных войск.

[^^^]

Опубликовано в: «Современнике, № 7, 1863 г.
Редакция оставила нумерацию последующих
писем, как в оригинале, хотя по счету они
должны были бы начинаться с порядкового
номера IV.

[^^^]

280

Carlino – неаполитанская монета, равная 10 грано (грошей).

[^^^]

Дословно: добрая рука (в смысле «чаевые» чаще пишется слитно: *буопатано*)

[^^^]

ЭТО МЫ.

[^^^]

Дословно: ради бога Вакха (чаще – per Вассо, или perвассо); эвфемистическое восклицание типа «черт побери».

[^^^]

Запрещено трогать выставленные предметы.

[^^^]

На середине.

[^^^]

Поль Деларош (Delaroche, 1797–1856) – французский исторический живописец.

[^^^]

Орас (Эмиль-Жан-Орас) Верне (Vernet; 1789–1863) – французский художник и дипломат.

[^^^]

Александр-Габриэль (в оригинале ошибочно: Эжен) Декан (Decamps; 1803–1860) – французский живописец и график.

[^^^]

Саломон Корроди (Corrodi; 1810–1892) – художник швейцарского происхождения, в возрасте 22 лет обосновался в Риме.

[^^^]

Винченцо Гаццотто (Cazzotto; 1807–1884). Иллюстрации к Данте, исполненные В. Гаццотто в 1854 г., на Национальной выставке во Флоренции получили медаль.

[^^^]

Бледно выглядит.

[^^^]

Стефано Усси (Ussi; 1822–1901) – художник,
профессор живописи.

[^^^]

Название в оригинале: «La cacciata del Duca d'Atene da Firenze»; в настоящее время картина экспонируется в галерее Палаццо Питти.

[^^^]

Персонаж (волк) из поэмы Гёте «Рейнеке-лис».

[^^^]

Scudo (щит) – *итал.* серебряная и золотая монета, соответствовавшая французскому экю и чеканенная с XVI–XIX вв.

[^^^]

В настоящее время – площадь Независимости
(Piazza dell'Indipendenza)

[^^^]

Padrone – хозяин.

[^^^]

Итальянизм: *comparsa* – статист.

[^^^]

Чезаре (1804–1879) и Луиджи (1813–1888) Муссини (Mussini).

[^^^]

Анри-Пьер Пику (Pisou, 1824–1895) – французский художник-академист.

[^^^]

Древнеримские богини судьбы.

[^^^]

Традиционные сладости в Центральной Италии (правильно: panperato).

[^^^]

Нарядный головной платок.

[^^^]

Леопольд Бурбон, граф (не герцог, как у автора) Сиракузский (1813–1860), брат короля Обеих Сицилий Фердинанда II, был известен как художник-любитель и меценат. Его соррентийская Вилла Сиракуза позднее принадлежала светлейшим князьям Горчаковым.

[^^^]

В т. н. Секретный кабинет Бурбонского (теперь Национального Археологического) музея Неаполя были помещены артефакты из Помпей и Геркуланума, которые в XVIII–XIX вв. считались «непристойными». После падения Бурбонов в 1860 г. Секретный кабинет был открыт для публики.

[^^^]

Джузеппе (1812–1888) и Филиппо (1818–1899) Палицци; сформировавшись как художники в Неаполе, братья позднее жили постоянно в Париже.

[^^^]

Акилле Вертунни (Vertunni; 1826–1897).

[^^^]

Жанр (*фр.*), т. е. «жанровая живопись».

[^^^]

Доменико Морелли (Morelli; 1823–1901) – ведущий неаполитанский художник XIX в.

[^^^]

Название в оригинале: «Vespri Siciliani».

[^^^]

Название в оригинале: «Gli iconoclasti».

[^^^]

Название в оригинале: «Bagno Pompeiano».

[^^^]

Адеодато Малатеста (Malatesta; 1806–1891),

[^^^]

Малатеста IV Бальони (Bagliori; 1491–1531); в 1530 г., будучи кондотьером на службе Флорентийской республики, заключил тайный стовор с ее врагами – с папой Римским Климентом VII и императорскими войсками.

[^^^]

Опубликовано в: Русский вестник, т. 36, № 11,
1861.

[^^^]

Джованни Делла Каза (Della Casa; 1503–1506) – литератор, архиепископ (кардинальского сана не имел).

[^^^]

О правлении государя (*лат.*).

[^^^]

О государстве (традиционный перевод титула).

[^^^]

J. Ferrari. «Histoire de la Raison d'Etat». Paris, 1860. Часть II. «La politique des savants», с. 227. – Прим. автора.

[^^^]

О правлении государей (лат).

[^^^]

Фома Аквинский не был епископом.

[^^^]

«Одно только нужно» (*лат.*) (Лк 10: 40); устар.
«Единое на потребу» – так называется и статья Л. Н. Толстого, где он говорит и о Макиавелли, но как о разоблачителе государства. –
Прим. М. Юсима.

[^^^]

Ibid [там же]. – Прим. автора.

[^^^]

Согласно древнегреческой мифологии, Кодр – последний царь Аттики, пожертвовавший собой ради спасения своего государства.

[^^^]

Окончательного мнения о времени написания трактата Данте нет: многие сходятся на дате 1312–1313 гг. (крайние точки— 1308 и 1318 гг).

[^^^]

Лос. cit., стр. 231. – *Прим. автора.*

[^^^]

Папа Григорий VII (1020–1085), борец за первенство духовной власти над светской.

[^^^]

Бартоло да Сассоферрато (Bartolo da Sassoferrato; *лат.*: Bartolus; Bartolus de Saxoferrato; 1313/1314-1357) – юрист; глава школы толкователей римского права.

[^^^]

«О наилучшем управлении государством»;
«Об обязанностях и добродетелях государя»;
«О приобретении свободе».

[^^^]

«Против галлов»; «Эпистула без названия» (лат).

[^^^]

О Чезаре Бальбо см. специальный очерк Л. Мечникова в: Последний венецианский дож... (2017). С. 111–131.

[^^^]

С кафедры (*лат.*)... со знанием дела, профессионально (*лат.*)

[^^^]

Знатный афинский род (иначе – писистраты), возводивший своё происхождение к тирану Пизистрату, упоминаемому в «Одиссее».

[^^^]

Вероятно, автор и здесь цитирует Дж. Феррари.

[^^^]

Loc. cit. – *Прим. автора.*

[^^^]

Ibid. – *Прим. автора.*

[^^^]

Маэстро дьявольских измышлений, превосходный помощник демона.

[^^^]

Исключение следует сделать в пользу едва ли не одних физиократов и экономистов. – *Прим. автора.*

[^^^]

Точное название: «Del modo di trattare i popoli della Val dichiana ribellati».

[^^^]

«Machiavelli a San Casciano». – *Прим. автора.*
[Автор дает вольный пересказ известного
письма к Ф. Веттори в 1513 г. – *Прим. М. Юси-*
ма.]

[^^^]

J. Ferrari. «Histoire de la Raison d'Etat». – *Прим. автора.*

[^^^]

J. Ferrari. «Histoire de la Raison d'Etat», стр. 260–263. — *Прим. автора.*

[^^^]

Опубликовано в: «Дело», № 5, 1872.

[^^^]

J. Ferrari. «Histoire de la Raison d'Etat», стр.
270. – *Прим. автора.*

[^^^]

Джован-Мария Меммо (Метто; 1503/1504-1579); Гаспаро Контарини (Contarmi; 1483-1542); Джироламо Гаримберто (Garimberto; 1506-1757).

[^^^]

«Это ничто» – «Чем должно быть?» – «Всем» (*фр.*).

[^^^]

Ошибка в переводе, т. к. вместо, как в итал. оригинале, Ріù... (Разные [советы]..., иначе Больше [советов]...) Мечников поставил Ріі... (Благочестивые...).

[^^^]

Полный русс, перевод трактата вышел в 1934 г. с названием «Заметки о делах политических и гражданских». – *Прим. М. Юсима.*

[^^^]

Ferrari, loc. cit. – *Прим. автора.*

[^^^]

Guicciardini, «Pii [правильно: Più] consigli...» –
Прим. автора.

[^^^]

J. Ferrari. «Histoire de la Raison d'Etat», стр.
277. – *Прим. автора.*

[^^^]

Лос. сiтстр. 282–286. – *Прим. автора.*

[^^^]

Джованни Ботеро (1544–1617) – философ, иезуит (епископом, однако, не был).

[^^^]

Делла Каза был архиепископом, но не кардиналом; см. прим. на с. 220.

[^^^]

«Уничтожьте подлую» (часто переводят как «раздавите гадину»),

[^^^]

«Sulla signoria».

[^^^]

«О лучшем состоянии городов».

[^^^]

Автор латинизирует английскую фамилию Томаса Мора (Thomas More; 1478–1535).

[^^^]

Джазоне Де Норес (De Nores; ок. 1530–1590).

[^^^]

Винченцо Сгвальди (Vincenzo Sgualcii); в ори-
гинале – Сгвальдо, также Сквальдо.

[^^^]

Джованни Бонифачо, иначе Бонифачио
(Giovanni Bonifacio; 1547–1635); в оригинале –
Бонифацио.

[^^^]

Ее не должно смешивать с «La République des abeilles [Республика пчел]» неизвестного французского автора XVIII в. – *Прим. автора.*

[^^^]

Опубликовано в: «Дело», № 6, 1872.

[^^^]

Данная статья Л. Мечникова вызвала критический разбор – см.: С. Н. О современной итальянской литературе (Ответ «Современнику») // Отечественные записки. 1864. № 7. С. 140–157. Анонимным оппонентом мог быть В. Ламанский, напечатавший в 11-м и 12-м номерах того же года в том же журнале квалифицированные очерки об итальянской литературе, однако в списках его работ такой статьи нет.

[^^^]

Исследовать (нем.).

[^^^]

Размышлять (*нем*).

[^^^]

Имеется ввиду осада (и последующая капитуляция) бурбонских войск, засевших в морской цитадели Гаэты, ставшая последней страницей в войне короля-объединителя Виктора-Эммануила II с неаполитанским королем Франциском II.

[^^^]

Гризетки – парижские девушки, обычно швей (имевшие репутацию легко доступных).

[^^^]

Криёр (от *фр.*) – глашатай, уличный продавец.

[^^^]

Устар. для Ariosto, Лудовико Ариосто
(1474–1533).

[^^^]

Его Каин и Лвель в петербургском Эрмитаже. – *Прим. автора.*

[^^^]

Название на итал.: «Ultime lettere di Jacopo Ortis» (1802).

[^^^]

Луидоки Каррер (1801–1850) во время восстания венецианцев против австрийского правления (1848) сначала выступает с патриотическими текстами, но затем, под давлением австрийских властей, вновь захвативших власть в Венеции, отказывается от своей позиции и вскоре умирает в состоянии тяжелой депрессии.

[^^^]

Правильно: Алессандро.

[^^^]

В оригинале неточно – Дон Аббонзио.

[^^^]

Чезаре Беккариа, иначе Беккария (Vesparia; 1738–1794), и Пьетро Верри (Verri, 1728–1797) – выдающиеся миланские просветители; см. о них и их отношениях с Россией: Спаджари У. Петр Великий, Екатерина II и «Миланская школа» // PЕТRO primo CATHARINA seconda. Два монарха, две эпохи – преемственность, развитие, реформы. СПб.: Европейский дом, 2017. С. 310–319.

[^^^]

Точнее – Монца (Monza).

[^^^]

Вооруженные дружины на службе крупных землевладельцев (преимущественно в Северной Италии в XVI–XVII вв.); термин стал известным после романа Алессандро Манцони «Обрученные».

[^^^]

Сознание гражданского долга, патриотизм (от *фр.*).

[^^^]

О Даниеле Маннне см. очерк Л. Мечникова «Последний венецианский дож», опубликованный в одноименном сборнике (СПб., Алетейя, 2017), с. 8–64.

[^^^]

Смешанный жанр (*фр.*).

[^^^]

Название романа В. Скотта – «Ламмермурская невеста» (The Bride of Lammermoor, 1819); по его мотивам Г. Доницетти написал популярную оперу «Лючия ди Ламмермур» (1835).

[^^^]

Более точная транслитерация: д' Адзельо, или д' Адзелио. См. о нем в: Мечников Л. Последний венецианский дож... (2017); указатель имен.

[^^^]

См. о нем там же.

[^^^]

Предвзятое мнение (*фр.*).

[^^^]

Персонаж повести В. Скотта «Талисман. Легенда о Монтрозе» (1819).

[^^^]

Барон Антуан Оже де Монтион (Montyon; 1733–1820), филантроп, учредитель существующих доныне французских премий за добродетель (prix de vertu), а также за сочинения в пользу нравственности.

[^^^]

Английский философ Фрэнсис Бэкон (Bacon; 1561–1626) был осужден в 1621 г. по обвинению во взяточничестве (сразу же был помилован).

[^^^]

«Растрепанная школа» (*фр.*) поэтическое направление 1820-1830-х гг.

[^^^]

Карло Бини (Bini; 1806–1842) – литератор, после смерти любимой женщины впал в фатальную депрессию, что вызвало резкую по- смертную критику со стороны Гверрацци. Описание его творческой биографии Мечников дает позднее повторно, почти дословно; см. его очерк «Франческо Доменико Гверрацци» в сб. «Последний венецианский дож...» (2017), стр. 68 и далее.

[^^^]

Александр Иванович Полежаев (1804–1838) – поэт-бунтарь. См. также прим. на с. 341.

[^^^]

Гверрацци, «Assedio di Firenze». – *Прим. автора.*

[^^^]

Там же. – *Прим. автора.*

[^^^]

Опубл. в: «Современник», № 12, 1863. Свое обещание рассказать подробнее о Гверрацци Л. Мечников выполнил, опубликовав в журнале «Современник», в 1864 г., в №№ 5 и 10, а затем в журнале «Дело» в 1871 г. в № 10, специальные обстоятельные статьи, причем некоторые пассажи из настоящего очерка были им дословно повторены (см. сб. «Последний венецианский дож...», с. 65–90; тут, на с. 90, прим. 2, ошибочно указано, что переиздаваемый текст вышел в «Современнике», в то время как нами был взят текст из журнала «Дело»),

[^^^]

Из Послания апостола Павла (1 Кор. 15: 36–38).

[^^^]

У старости для красоты есть вот это (*фр.*).

[^^^]

Неустановленный персонаж; возможно, неверно переписанное редакцией журнала имя.

[^^^]

Граф Джузеппе Риччарди (Ricciardi; 1808–1882), литератор, политический деятель.

[^^^]

Цветущая Тоскана.

[^^^]

С течением времени, в конце концов (*φр.*).

[^^^]

Из басни И. А. Крылова «Ворона» (1825) – о выскочке, стремящемся проникнуть в более высокий общественный круг.

[^^^]

Из «Демона» М. Ю. Лермонтова.

[^^^]

Мотиттапо – в настоящее время: Монсумма-но-Терме.

[^^^]

Pescia, близ Пистойи.

[^^^]

Министры Великого герцога Тосканского – К. Ридольфи и Дж. Капони; три члена Временного правительства в Тоскане – Ф.-Д. Гверрацци, Дж. Монтанелли, Дж. Маццони.

[^^^]

Джустини был дважды избран в Национальное собрание (Assemblea legislativa) – в июне 1848 г. и в январе 1849 г.

[^^^]

Наречие (*фр.*).

[^^^]

Raccolta di proverbi toscani. Firenze: Le
Monnier, 1853.

[^^^]

В отечественной литературе теперь утвердилось название, предложенное Е. Солоневичем – «Покорное намерение переменить жизнь».

[^^^]

В настоящее время творческая биография Дж. Джусты подробно изучена итальянскими литературоведами и историками (см. труды М. Параненти, М. -А. Бальдуччи, М. Босси, Л. Анджели и проч.). Что касается юношеской поэзии, то она имела устный характер: будучи студентом в Пизе, Джусты славился своими экспромтами и эпиграммами, которые он читал в кафе-салоне «Ussego», упоминаемым и в стихотворении «Воспоминания о Пизе», переведенном Л. Мечниковым (см. ниже).

[^^^]

Esceletissimo – превосходительнейший – в Италии титул докторского звания. Джустини не говорит диплом на звание, а *diviso*, что значит девиз, мундир, форменная отличка. Но переводить слово в слово – значило бы сделать его совершенно непонятным. – *Прим. автора.*

[^^^]

Кофейная под вывеской Гусара в Пизе, где собирается студенчество. – *Прим. автора.*

[^^^]

«Le memorie di Pisa» написаны в 1841 г.; см.: «Le Poesie di G. Giusti», edizione Diamante, Firenze, 1861, с. 144. – Прим. автора. [Перевод стихотворения на русс., выполненный А. Лариным, включен в сборник Дж. Джусты «Шутки» (М.: Наука, серия «Литературная памятки», с. 102–107).]

[^^^]

В пятнадцать лет меня смущало тоже, / Как
может бедолага, честный нравом, / Считаться
каждый раз во всем неправым, – / Господи Бо-
же! (*Пер. Е. Солоновича*).

[^^^]

«L'Incoronazione».

[^^^]

«La Vestizione».

[^^^]

«Al congresso dei dotti».

[^^^]

«Ballo».

[^^^]

В оригинале непере译имое выражение: le bogie anticipira и пр. Мысль та, что лакей, докладывая, принимает выражение лица важное, сообразно с важностью, кто должен войти – своей физиономией вперед дает почувствовать всё чванство вновь прибывших. – *Прим. автора.*

[^^^]

Отдается внаймы. – *Прим. автора.*

[^^^]

Зловонные, удушливые, по имени древнеиталийской богини Мефитис.

[^^^]

Некогда (*лат.*).

[^^^]

Здесь: развратная женщина.

[^^^]

Год после Р. Х.; дословно: лето Господне (*лат*
.).

[^^^]

Это говорит Джусти от своего имени. – Прим.
автора.

[^^^]

Низложенные, разжалованные.

[^^^]

Переводчик – предатель.

[^^^]

Полная строфа, в переводе Н. Курочкина: «Дитя, рожден ты гол на свет, / Фортуной не пригретым / Но вникни чутко в наш совет / И ты умрешь одетым!».

[^^^]

«Uapologia del Lotto».

[^^^]

Немцы (также и австрийцы).

[^^^]

Порядочность (*фр.*).

[^^^]

«Тирада против Луи-Филиппа».

[^^^]

Опубл. в: «Русское слово», № 1, 3, 1864.

[^^^]

Матери-родины.

[^^^]

Каплун – Сароппе. Слова [Пьера] Капони Карлу VII: Sonate le vostre trombe, e noi sonerem le nostre campane [Трубите в ваши трубы, а мы ударим в наши колокола], заставившие этого короля уйти с войском из Флоренции. – *Прим. автора.*

[^^^]

Обе эти строки относятся к Медичи, которые, как известно, разбогатели от торговли аптекарскими снадобьями. Начало третьей строфы: «он стал меня чистить» и пр., относится собственно к Лоренцо Медичи, прозванному il Magnifico [Великолепный]. Вообще же Джусти не специализирует факты и характеризует целые династии и эпохи в одной или двух строфах. – Прим. автора.

[^^^]

Да подерет его черт! (дословно: да прославит его черт!).

[^^^]

Папа Климент, содействовавший занятию Италии императором Карлом V за то, чтобы тот утвердил во Флоренции незаконного его сына от одной неизвестной негритянки – Александра Медичи. – *Прим. автора.*

[^^^]

Латинская цитата из 22-го Псалма: «Разделиша ризы моя себе [и о одежде моей меташа жребий]».

[^^^]

Эрцгерцог Райнер (итал.: Raineri) Иосиф, вице-король Ломбардии и Венето.

[^^^]

Джирелла – Girella от глагола girare – флюгер, поворачивающийся по направлению ветров. — *Прим. автора.*

[^^^]

Ср. у Гоголя: «—А! заплатанной, заплатанной! – вскрикнул мужик. Было им прибавлено и существительное к слову “заплатанной”, очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим».

[^^^]

Brindisi di girella. Стихотв. Джустини. Стр. 96. Издание Барберы 1861 г. – Прим. автора. В журнале «Искра», № 29 за 1864 г. был опубликован перевод этого стихотворения, выполненный Н.С. Курочкиным, под названием «Тост» («Да здравствуют фигляры, / Паяцы всех родов...»).

[^^^]

Фиваида – египетские пустыни близ Фив, место отшельничества раннехристианского монашества.

[^^^]

Pietro Colletta (1775–1831) – патриот и историк.

[^^^]

Vincenzo Salvagnoli (1802–1861) – политик, памфлетист; как член «Молодой Италии» в 1833 г. был заключен в тюрьму вместе с Гверрацци.

[^^^]

La Terra dei Morti, 1844 г. – *Прим. автора.* Dies irae – День гнева (лат.), т. е. день Страшного Суда.

[^^^]

Здесь почивает.

[^^^]

О болтуны, / О сочинители эпиграфов, / О про-
давцы слез, / О разрушители чердаков.

[^^^]

Вероисповедание (*фр.*).

[^^^]

Собственное стихотворение Джусти, написанное ИМ при начале движения Против умеренных. – *Прим. автора.*

[^^^]

Да будет воля твоя (*лат.*).

[^^^]

Речь идет еще не о реакции, а о примирении с партией Великого Герцога. – *Прим. автора.*

[^^^]

Джустини признает своими убеждения крайней партии и, кажется, не думает, что, поддерживая министерство сперва Ридольфи, потом Капони, он действовал против этих убеждений. Но он все еще продолжает быть в разладе с Гверрацци. Человек, по преимуществу, увлеченья, он слишком отделяет в голове своей личности от убеждения, от принципа, ею представляемого, и на практике слишком смешивает их.

[^^^]

Лик умирающего (*лат.*).

[^^^]

456

Воры воруют – это их долг; мой – их высмеять.

[^^^]

Французский рыцарь и полководец времен Итальянских войн (нач. XVI в.), прозванный «рыцарем без страха и упрека».

[^^^]

Опубликовано в: «Русское дело», 1864, № 3.

[^^^]